

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й  
М И Р

№ 10

8

---

2004

# **НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР**

## **БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ**

**В 2004 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2005 ГОДА  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**НИККОЛО АММАНИТИ. Я не боюсь** (роман; перевод с итальянского);

**ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ. Роман с китайцем;**

**РОДИОН БЕЛЕЦКИЙ. Николай не понимает** (повесть);

**ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А»** (роман);

**ЮРИЙ БУЙДА. Переправа через Иордан** (книга рассказов);

**ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт** (роман);

**ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение** (роман);

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы** (повесть);

**РУБЕН ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО. Новая книга;**

**ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;**

**ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Эти квартиры** (рассказ);

**НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое Вассилии и подвижнице Серафиме;**

**ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. Гардеробщик** (повесть);

**БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;**

**ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Холст** (роман);

**АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин** (исторический роман);

**ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;**

**ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Святая земля и вокруг нее** (эссе);

**АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть** (повесть);

**ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Из пороха в порох** (повесть);

**МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса** (повесть);

**ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;**

**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. В долине блаженных** (роман);

**ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер** (роман);

**ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;**

**МАРИНА ПАЛЕЙ. Хутор** (повесть);

**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки** (повесть);

**ПИНДАР — МАКСИМ АМЕЛИН. Победные песни (с древнегреческого);**

**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);**

**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Три рассказа;**

**ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Новая повесть;**

**ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;**

**ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);**

**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);**

**ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);**

**РОМАН СЕНЧИН. Дочка (повесть);**

**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);**

**АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;**

**АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. Автопортрет в лицах (рассказы);**

**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;**

**РОМАН СОЛНЦЕВ. Книга провокаций;**

**МАРИНА СТЕПНОВА. Хирург (роман);**

**ИРИНА СУРАТ. Мандельштам и Пушкин (статья третья);**

**АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);**

**ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Птица счастья (повесть);**

**АНТОН УТКИН. Крепость сомнения (роман);**

**МИХАИЛ ХАРИТОНОВ. Зимы не будет (повесть);**

**ОЛЕГ ХАФИЗОВ. Полет «России» (повесть);**

**СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);**

**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;**

а также стихи **МАРИНЫ БОРОДИЦКОЙ, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ИНГИ КУЗНЕЦОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ;** статьи, обзоры, эссе **КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, АНДРЕЯ ЗУБОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, МАКСИМА КРОНГАУЗА, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ЭРИХА СОЛОВЬЕВА, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2004 году: \$ 10.

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

*(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)*

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_





## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2005. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек, 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах: ООО «Паолине» (Большая Никитская, 26/2, т. 291-65-15), ПК «Фаланстер» (Большой Козихинский пер., 10, т. 504-47-95), ООО «Анега Р» (Большая Дмитровка, 12, т. 229-34-53), «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий пер., 5/7, т. 951-93-60), ООО «Викмо-М» (ул. Нижняя Радищевская, 2, т. 915-27-97), ООО «Анега Д» (ул. Никольская, 19/1, т. 921-58-27).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

### *Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir». Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб. Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

## СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС ЕКИМОВ — Рассказы	7
БАХЫТ КЕНЖЕЕВ — Возбудитель праха, стихи	20
НИКОЛАЙ КОНОНОВ — Нежный театр, роман. Окончание	24
ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА — Письма к пресвитеру, стихи	102
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ — Все люди умеют плавать, рассказы	107
ДМИТРИЙ САРАБЬЯНОВ — Долгожданный дождь, стихи	118

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

АНДРЕЙ ЗУБОВ — Размышления над причинами революции в Рос- сии. Опыт восемнадцатого столетия. Окончание	125
---	-----

### КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Скрытый сюжет: перемена участи	145
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАЛЕРИЯ ПУСТОВАЯ — Новое «я» современной прозы: об очищении писательской личности. В. Маканин, С. Гандлевский — Р. Сен- чин — И. Кочергин	153
---	-----

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Елена Невзглядова. Морфология жизни	174
Павел Крючков. Счастливый пленник стихотворства	178
Юрий Кублановский. Pro et contra Ивана неистового	183

---

КНИЖНАЯ ПОЛКА ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ	189
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	198
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК НАТАЛЬИ КУРЧАН	205

(См. на обороте)

**СОДЕРЖАНИЕ (окончание)**

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ**

<b>Книги</b> (составитель Сергей Костырко)	212
<b>Периодика</b> (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	216
<b>SUMMARY</b>	240



**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА!**



**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ЕВГЕНИЯ РЕЙНА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ!**

---

---

БОРИС ЕКИМОВ

\*

## РАССКАЗЫ

### ТЕЛЕНОК

**В** глухой час зимней городской полночи улицы пустынные, дома безглазо темны. Все живое спит. Лишь на перекрестках явственно щелкают в стылom безмолвии механизмы светофоров, переключая ненужные зраки: зловеще красный, мертвенно-зеленый да желтый.

На одной из улиц спящего града съехались две легковые машины — кургузые «Нивы». Переморгнувшись фарами, они согласно, друг за дружкой, продолжили теперь уже общий путь: сначала по просторной, в шесть рядов, улице; а потом — из города вон, мимо ясно видимого в ночи указателя «Ростов-на-Дону — 600 км. Калач-на-Дону ...».

Спящий в электрическом свете большой город остался позади, повешая о себе лишь заревом. А впереди — зимняя тьма да желтый свет фар по черному асфальту.

В кабине машин от приборной доски зеленоватый сумрак. И жаркое веселое толковище, какое бывает лишь у рыбаков да охотников. Им есть что вспомнить и о чем загадать. Ехали на Дон, на один из глухих его хуторов, где из года в год промышляли. В городе, считай, и не виделись, обходясь редкими телефонными звонками. И потому теперь все разом хвастались новыми снастями: блеснами, мормышками, лесками, все это — в полутьме, на ощупь. За встречу, за удачный отъезд выпили по глотку-другому. И тогда вовсе загалдели. Особенно в первой машине. Во второй было потише, потому что там ехала десятилетняя девочка, дочь одного из рыбаков.

Ее с трудом отпустили из дома: дорога неблизкая. Но она выпросилась, как и в прошлом году. Парного молочка попить, свежей ухи похлебать, провести пару дней на хуторском приволье: замерзшая река, зимний лес, а еще бабушка — дальняя родственница, жившая в хатке для нынешних дней диковинной: приземистой, глинобитной, с большой русской печью, словно избушка на курьих ножках. И эта избушка полна жильцами. В ней кроме хозяйки три кошки живут, спасаются от холода малые козлята, словно живые игрушечки: колечками шерсть, милые мордочки и веселый озорной нрав. А еще там должен быть теленок, который на свет появляется как раз в эту январскую пору. Он и вовсе прелесть: бархатная шерстка, большие синие глаза с длинными ресницами, тычется, словно дитя, горячим носом, говорит: «Му-у-у...»

Девочка скоро заснула в тепле, под мерное гудение мотора, под мужской говор, который тоже поменьше стихал. Задремывали и засыпали.

Машины бежали во тьме, оставляя позади невидимые километры. Лишь изредка, от асфальта поодаль ли, близко, проплывут и отстанут скупые огни селений. И снова — тьма.

Девочка спала крепко и даже видела сон, в котором был хутор, маленькая хатка-мазанка, большая русская печь, а возле нее — малый теле-

---

Екимов Борис Петрович родился в 1938 году. Постоянный автор журнала. Лауреат Государственной премии за 1998 год. Живет в Волгоградской области.

нок в густой золотистой шерстке, на высоких смешных тонких ножках враспых, нетвердо стоит и глаза таращит, а потом говорит тоненько: «Му-у...» Не столько слыша, сколь чуя своего теленка, утробным и низким мычаньем отвечает ему большая рогатая корова Маня из теплого сарая.

Но это был лишь сладкий сон девочки. Теленок, который грезился ей, родиться не успел. В эту по-зимнему глухую предутреннюю пору коровы Мани уже не было в живых. Ее ободранная туша тряслась в машине, по дороге к райцентру. Рогатая голова с открытыми глазами валялась посреди чужого двора в чужом хуторе, рядом со шкурой; и рядом же, застывши в крови и слизи, лежал так и не успевший родиться теленок, большеголовый, с желтыми копытцами, в коричневой шерсти. Все это было брошено и еще не убрано после того, как в ночи корову увели с родного двора, а потом забили и разделали братья Репины, Анатолий да Михаил.

— Голову и ноги матери отдадим, — рассудил старший брат Анатолий. — Об родителях надо помнить, — произнес он наставительно. — Они нас вырастили и воспитали. И шкура сгодится. За нее нынче неплохо платят. Только надо прибрать. Но это потом... Сначала выпьем, согреемся. А потом...

В доме, за столом Анатолий поднял стакан с питьем, оглядев невеликую, но все же компанию, в которой кроме них, братьев, были еще две молодые девки, хмельные и веселые. Обведя взглядом застолье, он произнес внушительно:

— Для-ради брата, для родного... Как обещал. Базару нет. Сказал — значит сделал. Родного брата я всегда встрену как положено, как следует. И провожу, если надо. Тем более солдата. Все мы служили, отдали долг и знаем. На то я есть старший брат.

Крепким кулаком он постучал себя в грудь, до слез растрогался, только что не заплакал. И выпил, одним разом опрокинув в себя стакан.

Младший брат, Миша, сидел рядом и глядел на старшего снизу вверх, с благодарностью. Молоденький, двадцатилетний, вчерашний не солдат, а солдатик, мальчонка во хмелю: светловолосый, голубые глазки осоловелые, в них любовь и преданность к любимому старшему брату.

Гульба шла уже не первый день. Сначала в родительском доме у отца с матерью, как и положено, встречали дорогого сынка, из армии демобилизованного. Потом, через день-другой, когда пламя гульбы попритухло, старший брат, живший отдельно, забрал «дембеля» к себе, догулять. Вот и догуливали, с молодыми веселыми девками, каких нынче хватает.

— Базара нет, — внушительно повторил Анатолий. — Сказал — сделал... Для родного брата все сделаем... — И он рукой повел, приглашая к пиру, который в нынешней ночи прервался на час ли, другой.

Младший брат этого словно и не заметил. Кажется, от стола и не уходили. А если и уходили, то лишь просвежиться, горячую голову остудить. Все словно во сне.

По накатанной зимней дороге летел во тьме мотоцикл. Управлял машиною, конечно же, старший брат. Дорогу он знал на память и видел ее даже в ночной тьме, безо всяких фар, где надо притормаживая или объезжая. Позади сидел молоденький брат его, который всему удивлялся и все-му радовался, тем более что был хмелен от вина и воли. Еще вчера на шее — армейский хомут, все расписано: когда шагать и куда, когда щи хлебать. А ныне... Вот сидели они в доме: гуляли, плясали, девок голубили. А теперь на мотоцикле мчатся во тьме. Разве не удивленье! И так сладко дышится после душевной хаты. Ночь, ветер, звезды, простор... Не сумев и не желая сдерживаться, солдатик, перекрывая голос мотора и погромыхивание железного листа, который, словно прицеп, скользил сзади, закричал, пригибаясь к брату:

— Я люблю на скорости! Я в армии так наскучал!

— Молоток! — ответил ему старший. — Имеешь право, боец! А мы для родного брата, для дембеля, все сделаем! Базара нет!



Он тоже был хмелен. Но пьянило его сейчас не пошло, а злость и решимость. Так было всегда, если что-то или кто-то мешал ему.

Вот и сегодня... Как хорошо гуляли: самогон, девки, музыка. Не для себя, для младшего брата все делалось. Он — из армии, словно в тюрьме отсидел два года. Положено встретить как следует. И, как старший брат, он обязан все предоставить. И он предоставил.

Но вдруг среди ночи опустела последняя бутылка. Девки заканючили, да и самим...

Он был старшим братом и был обязан... И голова была на плечах. Он скомандовал:

— Боец, ты готов?

— Всегда готов! — по струнке вытянулся младший братишка.

— Следуй за мной, боец. И будет порядок. Наш порядок! — гаркнул он. И девкам команда: — Приберитесь чуток. Подтопите печку, воды нагрейте в большой кастрюле. Ровно через час... — подчеркнул он, — ровно! Я вам такого шику дам... — хохотнул он, уверенный и сильный, не кто-нибудь, а Толик по прозвищу Репа. Таким его знали на хуторе и в округе. Довольные девки завизжали.

И вот уже хутор пропал в ложбине. Зимняя ночь, звездное небо, а на земле — тьма. Гул мотора и ветер, остужающий и прогоняющий хмель.

К соседнему селенью подъехали низом, пологой ложбиной. Остановились.

— Жди, — коротко сказал старший брат.

— Так точно, — ответил младший, толком ничего не понимая.

Для него продолжался счастливый праздник «гражданки»: гульба, езда, теперь еще что-то будет.

Рядом, в разлатой ложбине, стекающей к Дону, лежал во тьме спящий хутор. Два мутных огня виднелись поодаль, не разжигая ночную вязкую тьму. А звезды, яркие, словно самоцветы, с переливами в голубизну и зелень, звезды сияли лишь для себя.

Ожидая брата, солдатик пытался во тьме, словно во сне, припомнить здешний хуторской магазин, школу, машинный двор, медпункт, контору. И все вспомнил, потому что бывал здесь не раз, и много было знакомых, и было что вспомнить.

Но ожидание оказалось недолгим. Сначала послышались шаги, а потом тяжелые вздохи. Рядом с силуэтом старшего брата обозначилось большое и темное.

— Корова... — удивился и обрадовался солдатик.

Старший брат молча и быстро поставил корову на просторный железный лист, прицепленный к мотоциклу, нагнувшись, спутал ей ноги, а потом завалил на бок тяжело екнувшую животину.

— Садись на нее, придерживай, — приказал он младшему брату.

Завелся мотоцикл. Поехали.

Солдатик пристроился возле теплой, лежащей на боку скотиняки, забормотал:

— Корова... Я люблю корову... Я в армии так скучал по коровам. Потому что привык с детства. А в армии нет коров...

Он бормотал, устраиваясь поудобнее возле большого теплого тела, угреваясь и задремывая. Гудел мотор. Шуршало и потрескивало под металлической полстью льдистое корье дороги, хрусткое снегово целины. Что-то урчало ли, помыкивало в коровьем чреве, негромко и усыпляюще.

А потом снова был праздник. Теплый дом, яркий свет, веселые девки. Большие пластмассовые бутылки с самогоном, под горлышко налитые. Так хорошо пьется после морозца, для согрева. А на закуску хрустящая вилоквая соленая капуста, ядреные помидоры в укропе. Для девок — цветастые шоколадки горкой.

И уже кипит на печи, доспевая, пахучий, крепко сдобренный луком и перцем шулом из свежей коровьей печени, осердя и легкого. Гулять так гулять!

Холостое жилище старшего брата не больно приглядно: захватанные занавески, на кроватях — матрацы, тряпье, ватные драные одеяла. Но музыка в доме имелаась. Включили ее, и грянуло, даже за двором слышать: «Мама, я шику дам! Мама, я шику дам!»

Теперь уже ничто не могло помешать веселой гульбе. Дом стоял на краю селенья, даже на отлете, на взгорье. От него шел долгий пологий спуск через весь хутор, к приречному лесистому займищу, к просторному донскому заливу, ныне покрытому льдом и снегом. И лишь недалеко от берега темнеют две майны-проруби; туда поздним утром пригоняют на водопой скотину, у кого ее много.

Ночь уходит, понемногу светает. А потом над хутором неспешно встает тихое зимнее утро. Большое, чуть не в тележное колесо, малиновое солнце всплывает над займищем. И все вокруг словно сказка: розовые снега на окрестных холмах, розовые столбы печных дымов, розовая опушь инея на деревьях, заборах, кустах, стайки розовые снегирей, свиристелей, шелушащих кленовые листья. А день еще впереди.

В такой же утренней сказке оказалась и городская девочка, когда, осилив неблизкую дорогу, машины подъехали и смолкли возле всегдашнего хуторского поста.

Приземистая беленая хатка под шифером нынче, словно в молоке, тонет в пуховой гуще заиндевелых абрикосовых деревьев да смородиновых кустов; лишь труба наружу торчит.

Пока мужики после долгой дороги, кряхтя, выбирались из машин, разминались да закуривали, девочка, не забыв увесистый пакет с гостинцами, уже летела в словно для нее распахнутые воротца, чтобы скорее увидеть старую хозяйку, а главное, малую животину: козлят да теленка, ради которых стремилась сюда.

Но сегодня здесь девочку не ждали. Калитка — настезь; и в хату двери открыты; во дворе — чужие люди, их говор, плачущая хозяйка то к одному кидается, то к другому.

— До трех разов ночью выходила глядеть и не углядела. Она же, моя родная, причина. Вот-вот теленочек. И собака не гавкнула... — И вот уже для городских, приехавших, горький рассказ со слезами: — Нету, нету моей Мани... Свели с база. И ведь спала комариным сном, теленочка застудить боялась.

Горе людей не красит, а стариков — тем более. Морщинистое лицо, седые волосы, слезы. А за слезами — вовсе боль. Поневоле взгляд отведешь.

— В милицию звонили, не едут. Бензину, говорят, нет. Господи... Кормилица моя... Где она и чего с ней... — И снова покатались стариковские горькие слезы.

Девочка как вбежала во двор, так и встала, не понимая случившегося, но видя беду. Она стояла, пока отец не повел ее прочь.

— Пошли, — сказал он. — Тут нынче не до нас.

— Почему?

— Корову у бабки украли.

— Маню?

— Маню, Маню...

— А как ее украли? Она — большая.

— Вот так и украли. Вывели со двора — и ищи-свищи.

— Зачем украли?

— Зачем крадут? Зарежут на мясо.

— А теленок?

— Какой тут теленок, если коровы нет. Ну, может, еще найдут, — успокоил он дочь. — Собираются. Вечером вернемся, узнаем. Долго они только собираются, — попенял он. — Ладно, поехали. Окуней будешь с нами ловить.

Городские машины одна за другой, вперевалочку спустились по кочкастой хуторской дороге к донскому берегу и покатали ровным наезженным следом по жесткому снегову, по льду, к местам привычным.

Девочка больше ни о чем не спрашивала, прижухнув на заднем сиденье. Но толком она понять не могла: как можно украсть такую большую корову и зачем? Тем более зарезать ее... При чем тут мясо? А главное — о теленке: где он и что с ним? Ему ведь нужно тепло, как всякому малышу. Смежив веки, словно воочию, она видела милую лобастую мордашу, большие синие глаза в длиннющих ресницах, по-детски тонкие и ломкие ножки, шишкастые в суставах. Это виденье баюкало, навевало добрым: «Может быть, ошибка... что-то перепуталось. А к вечеру, когда вернемся, все будет на месте. Найдутся корова Маня и ее теленок. Наверное, она просто ушла куда-то и заблудилась. А потом найдется. В городе ведь тоже часто теряются собаки. Сколько объявлений... Терялся же пудель Маркиз. Целый день искали его. А он сам пришел, прямо к подъезду. Вот и корова Маня найдется...»

А на старухином дворе сборы оказались и впрямь небистрыми, но все-ррез. Ждали милицию, не дождались. Снарядились ехать впятером: двоюродные племянники, крепкие мужики, с ружьями; местный лесничий с сыном, у него осенью быка угнали, да еще позвали охотника с собакой. С помещью был пойнтер, но чутыистый.

С трудом упихались в «УАЗ», потихоньку поехали от скотых ворот старухиного база снежной целиной, по коровьему и человечьему следу к явственным же следам мотоцикла и второго человека, который, видно, на карауле стоял. Широкий след волокуши лысым обдутым взгорьем, но все же видимо потянул к проезжей дороге.

— Вот тут его и ищи... — с горечью вздохнули в машине.

— Возьмет... Он верхом хорошо берет.

— А сколь времени прошло. И там ветер.

На холме, выбравшись к дороге, остановились. Сунули пойнтеру под нос тряпку, какой старуха вытирала при дойке коровье вымя, и собака уверенно показала, потянув влево, в сторону соседнего хутора.

— Только бы в лесополосу не свернул.

Но шла по дороге собака, и не везде, но видны были мотоцикла след и волокуши на колее не больно заезженной. Кому здесь мотаться? Редкие рыбаки да охотники... Но у тех — «Нивы», «УАЗы» да заграничные вездеходы.

Не спеша доехали до соседнего хутора, приглядываясь: не свернул бы след.

— А ведь это Репа, — сказал лесничий. — Точно, Репа. Рядом с бабой Нюрой Верка-мордовка живет. Он к ней ныряет. Вот и сообразил по-соседски. Давай к нему поворачивай. Я и осенью на него грешил.

Подъехали ко двору, где жил Репа. И сразу же за сараем увидели так и не убранную коровью голову, ноги, послед с теленком, кишки и прочее на залитом кровью и зеленью снегу.

— Наглая тварь... В открытую.

Из дома никто не вышел. Заглянули в окошко. А потом осторожно вошли. Хотя стеречься было и незачем. В избяном пахучем тепле хозяева сладко спали: одна пара — в горнице, другая — в боковушке. Они и очухаться толком не успели.

— Подъем!

Старший брат вскочил с кровати и тут же рухнул, получив два крепких удара. Во двор его потянули за ноги.

— Не имеете права!! Вы кто?! Бандюги!! — кричал он, цепляясь руками за ножки кровати, стола, дверные косяки. Но его выволокли, попутно охаживая дубиной, прикладами ружья, и бросили посреди двора, на окровавленный и загаженный скотьей жижею снег.

Младший брат, увидев ружья, вначале закричал несуразное:

— Охотники пришли! Я тоже люблю охотиться!

— Сейчас поохотишься, стрелок.

И тут же его отправили к старшему брату, провожая через дом и с крыльца в тычки, взащей и под зад и в конце концов — мордой в землю.

Испуганные девочки завывали в голос, на них шикнули: «Вон отсюда!» — и они прыснули чуть не голяком, на ходу путаясь в одежках.

Старший брат, когда его связывали, пытался бунтовать:

— Ответите!! За беспредел ответите!! Гад буду!! Вас всех посадят! По статье! Тем более за брата! Он — дембель!! Нехай милиция, суд решает!! Везите в милицию!!

— Вот вам и будет суд. Но не тот, какой вас — «на подписку» и воруи дальше. Дедушка водяной вас рассудит. Понятно?

Младший брат ничего не понимал, его била дрожь.

Хутор был невеликий. Несколько дворов на отшибе да вилючий длинный «порядок»: за просторной усадьбой — другая, третья по дороге, ведущей вниз, к Дону.

По этой дороге и тронулись неспешно, с трезвоном. Колотили крышками в пустые кастрюли, пару раз стрельнули, призывая хуторской народ. Поглядеть было на что.

Впереди, по ногам спутанный и с веревочной петлей на шее, шел старший брат — Репа, лицо измазано скотьей и своей кровью, скотьей же зеленой жижей, на плечах — рябая коровья шкура да еще и теленок, выдранный из чрева.

Позади него, отставая и спотыкаясь, младший брат, тоже спутанный, с трудом тащил на груди коровью голову, ухватив ее за рога руками. Глаза коровы глядели будто бы вживе: большие, выпуклые, прикушенный язык торчал между черных губ.

Рядом, по сторонам, — конвой с ружьями и дубьем. Старший брат шел угнувшись, но зырил по сторонам, надеясь на случай. На лице младшего застыло недоуменье. Ему казалось, что видит он дурной сон. Это не могло быть явью. Ведь было совсем иное: приезд, всем на радость долгий праздник, ведь только что пели-плясали, девку миловал, а теперь: на ногах — путы, веревка — на шее, коровья голова в руках, конвой с ружьями и дубинами, холодный ветер, саднящая боль, ископыченная дорога, а впереди река и черные квадраты прорубей. Не верилось. Хотелось проснуться, убежав от страшных видений, и порой вырывалось из груди тонкое: «Ма-ама...»

Но первой увидела своих не мама, а старшая сестра, замужняя баба, жившая недалеко. Она вышла на шум из своего двора, признала братьев и закричала:

— Вы чего делаете, сволочи!! А ну отпустите! Фашисты!! — кинулась она. — На расстрел ведут!! Люди добрые!! Помогите! Вася! — звала она соседей и мужа.

Грохнул выстрел прямо у бабы под ухом. И она разом смолкла, побелев и застыв на месте. А ей втолковывали:

— Ты не ори, не кидайся. Орать надо было, когда они воровали. Мы их не на расстрел ведем, а чтобы люди глядели и знали, чем твои братушки занимаются. А потом в Дону их будем кунать, по старому обычаю. Водяной с виноватых взыщет. За ними — долг. Корова с теленком, каких нынче зарезали. Да еще бычок-летошник, его осенью Репа угнал. Беги к отцу. Поняла?

— Ну, отпустите хоть молодого. Он там и не был. Он лишь из армии.

— Зато его сапоги там были. Из армии — и сразу бандитничать. Беги к отцу! Нехай гонит скотину, откупает своих деточек.

И снова ударили в пустые кастрюли, призывая добрых людей, которые выходили на шум и гам, любопытничая. Хуторская ребятня набежала, кружилась, словно мошка. Люди взрослые подходили, шли рядом, расспрашивая, узнавая. Толковали всяк свое:

— Доигрались, соколики...

— Так и учить, вдвое кнут ссучить.

— Житья нет. Ни курей, ни утей не убережешь.

— Теперь за скотину взялись. На чеченов грешим, а тут свои хуже чеченов.

— Работы нет, властей нет, родители не указ. Воля... А воля, она и меды пьет, и кандалы кует. Сколь веревочке ни виться...

— А где же отец, старый Репа?

— Не знает еще. Таиска побегла рысью.

— Это какую сердцу надо иметь отцу с матерью?.. В кузне кованную. Какими слезьми реветь... Деточки мои, деточки...

— А какими слезьми баба Нюра ныне ревет? Корову потерять... Мыслимое дело?

— А Варя? Овечек пестала, пестала, продам, мол, да, может, на уголь хватит. Вот этот же Репа и угнал. Рожка бесстыжая. Правильно мужики делают. Старые люди, они не глупей нас были... Своими средствами. Плетьми... А зимой в проруби накунать. И плетьми так освежают, что больше свежатинки не захочешь. До смерти зарекешься.

— Наша бабка тоже рассказывала. По всем хуторам вот так-то вот, со шкурой и головой. На Скуришки, Теплый, Осиновку... По лету все заволяется, мухота роет. И так ведут до станицы.

Звякало железо, призывая народ хуторской, мыкались ребяташки, забегая наперед, с удивлением и страхом разглядывая извратленных в коровьей крови и навозе братьев.

Старший народ судил:

— Они сроду такие были, а ныне — и вовсе.

— Господи, теперь ночи не спи, про своего думай... Мыкается, хоть на цепь сажай.

— Век на цепи не просидит. В колхозе работа все же держала: трактористы да комбайнеры, шоферы, а ныне и вправду мыкаются без дела.

— Люди ищут, находят. Едут и в Крым, и в рым.

— Чего они там находят? Так-то вот...

— А все же жалко, молодые. Репанцы, они сроду глупомордые, а как выпьют — совсем дураки.

Между тем помаленьку, но миновали последние хуторские дома. Ребятишки не отставали. Да и взрослые нашлись любопытные.

Разгорался ясный январский день. Под солнцем, под легким ветром облетал с деревьев куржак, сверкая переливчатыми блестками.

Дорога пошла под уклон, к Дону. Чернели у берега на заснеженном льду две большие квадратные майны.

Городские же рыбаки к этой поре успели проведать Голубинскую протоку, там ловился окунь, но мелкий. Поднялись по течению выше, где в устье невеликой речки брались хорошая плотва и красноперка. Но отцу девочки на месте не сиделось. Он любил «судачить» на блесну, «вуалехвостку», живца. А судака, как известно, надо искать, не лениться. Вот и катили с дочерью от места к месту по толстому ледяному панцирю. Бурили лунку за лункой. Но судак, как говорят рыбаки, «молчал» и даже «не любопытничал», играясь с наживой.

Скопление людей возле правого берега заметили издали. А это был знак. Рыбаки кучею зря не собираются. Значит, ловят. Устремились туда.



Слишком поздно отец девочки понял, что это вовсе не рыбалка, совсем иное. Хотя по-рыбачьи, на бечеве — «урезе» — в четыре руки тянули из-под льда тяжелое.

Девочка вышла из машины и, обомлев, глядела. На белом заснеженном льду лежала большая голова старухиной коровы Мани, приметная белым пятном на лбу. Рогатая, с прикушенным языком. Это было неестественно и страшно: белый снег и голова словно живая, глаза глядят. Рядом валялась коровья шкура и ни на что не похожий, но все же теленок в коричневой шерсти. Плоский, словно спущенный шарик, а значит, совсем неживой.

А в большой черной квадратной проруби, влекомая бечевую из-под льда, с шумом выплеснулась голова человечья: мальчишеское лицо, омытое, без крови и грязи, синие глаза, светлые волосы мокрыми прядями. А в глазах — изумление впервые увидевшего белый свет и людей. Через сведенные холодом синие губы пробилось тонкое: «Ма-а-а...»

«Му-у-у...» — послышалось девочке, и она бросилась на помощь.

— Теленок!! — кричала она. — Теленок!! — падая на колени возле черной воды и обхватывая руками мокрую, но живую голову.

Девочку подхватил на руки отец. Потом, в машине, лежа на сиденье, она стала плакать. Плакала и пыталась подняться, увидеть, что там, за машинным стеклом, на льду, возле проруби.

Нашатырь из аптечки, горячий чай, отцовские руки, его лицо рядом, его голос... И девочка ожила, спросила: «Его спасли? Ну, тогда поедem отсюда... Скорее!.. Поедем домой. Домой поедem».

Отец и сам понимал, что нужно уезжать.

Уехали, оставляя позади развязку этого зимнего, короткого, еще не прошедшего дня, где от берега, на выручку своим, спешили старый Репа и дочь его, гнали скотину. Но этого уже не видели ни отец, ни дочь.

— Уедem, уедem, уедem... — повторяла девочка. — И больше никогда сюда не приедem... Никогда, никогда, никогда... — Она говорила протяжно, словно бы пела, и глядела вперед, на просторную пустую бeль замерзшей и занесенной снегом реки.

— Ты приляг, — попросил отец. — Подреми. Или просто закрой глаза.

Он не понимал, что закрыть глаза — значит снова увидеть страшное.

— Уедem, уедem, уедem... И никогда не приедem.

Так и ехали. Сначала замерзшей рекой. Потом черным, прометенным ветром асфальтом. До самого города, в котором уже зажигались вечерние желтые огни, разноцветные гирлянды сияли в магазинных витринах и дружелюбно помаргивали светофоры, открывая и открывая машинам и людям дорогу к дому.

## ХУКА

Миливон, миливон алых роз!  
Миливон, миливон для тебя!

Который уже день кружилась эта песня по хутору. С утра пусть и сипловато, но бодрый голосок ее напевал: «Миливон, миливон...» К поре обеденной, и теперь уже дотемна, в три ли, четыре голоса выводили хором бабьим, несладженным, с хрипотцой и надсадой, порою с криком: «Миливон, миливон алых роз!!»

Один день пели у Маши Сапухиной, другой — от Нюси Калмыковой «миливон» разносился. Это навсегда прощалась с родным хутором Валя Дадекина, покидая его и переселяясь в районный центр, где умер родной ее дядя, оставив в наследство неплохой домик. Туда и перебиралась. Но особо спешить причин не было. Здесь, на хуторе, невеликое, но хозяйство:

корова с телком, поросенок, куры, немалый огород — все как положено. И потому враз не поднимешься и не улетишь. Надо скотину повыгоднее сбыть, картошку выкопать, помидоры, лук и прочую зелень собрать, а уж потом уезжать.

Оттого с утра, пусть не в охотку, Валя домашние дела управляла: доила, кормила да еще огород поливала, зная, что в час вечерний будет не до него.

Который уже день твердый был распорядок: дела домашние, а потом — к Гришке Бахчевнику, который давным-давно не бахчами занимается, а самогоном.

Гришкина хата на бугре. Весь хутор на виду: ветхие домики, сараи, базы, их и осталось — на пальцах перечесть. Одно старье да руины, глаза б не глядели... Но скоро, скоро... «Скоро, скоро я уеду... — вертелась в голове давнишняя песенка, которая вовсе о другом. — Скоро, скоро...»

Хата Гришки Бахчевника словно лисья нора: темная, с вечно закрытыми ставнями, с желтым электрическим светом, с кислым запахом браги, нечистого жилья. Может, поэтому и самогон у Гришки вонючий.

Пластмассовая бутылка была еще теплой.

— Свежачок... — похвалил свое изделие хозяин, посверкивая в полутме вставными зубами.

— Таким свежачком жука колорадского морить, — ответила Валя.

— В городе будешь ликеры распивать, — обиделся Гришка.

— И буду! — с вызовом ответила Валя. — А ты, — уже за порогом добавила она, — так и подохнешь в своей воню.

Скоро, скоро она уедет и как страшный сон забудет Гришкину хату и его вонючий самогон. В райцентре, словно в городе, магазины, на полках которых чего только нет. А можно в ресторан пойти или в кафе. Сядешь за столик — и тебе принесут... Музыка играет. Скоро, скоро...

При одной лишь мысли об отъезде на душе светлело, и любимая песня словно сама собой слетала с губ:

Миллион, миллион алых роз!  
Миллион, миллион для тебя!

Сегодня очередь попрощаться с Натаней Боковой. Вчера ей было обещано. Хотя будут все те же: Танька, да Нюся, да Вера Хромая прибудет. Но нынче соберутся у Натани. Вон он, дом ее. Там уже собрались и ждут. «Миллион, миллион алых роз...» — замурлыкала Валя и легкой ногой покатила вниз, с бугра, к Натаниному двору.

Там и впрямь ее уже ждали, за дощатым столом, на воле. На столе — миска с крошенными огурцами да помидорами, а еще — желтое прошлогоднее сало на блюде, зеленый с белыми головками лук, крупная соль в солонке да хлеб. Чего еще надо...

— Давайте выпьем... — начиналось всякий день с одного. — Выпьем за Валю, за ее удачу. Пускай едет и живет по-людски, по-человечески...

Этого и ждала Валя, затевая всякий день не больно нужную ей гульбу. Не вино, а отъезд и жизнь будущая кружили голову. Прощай, хутор, прощадом пропади...

Выпивали по первой, развязывая языки.

— Там — жизнь... — завидовали Валиной судьбе. — Асфальт везде, магазины. А тут за хлебом шесть километров пеше бреди.

— Там — больница, враз вылечат, а здесь...

— Зачем ей больница, она — не старуня. Ей в парикмахерскую. Завивку сделает, маникюр наведет — и пошла как картинка. Не то что мы — замухоренные.

«А ведь и впрямь... — оглядывала Валя подруг своих. — Старухи...»

Темные, заветренные, морщинистые лица. Беззубые в тридцать да в сорок лет.

Это когда-то хуторские девки и бабы берегли красоту, в полевой да огородной работе кутая белыми платками лица так, что лишь щелочки глаз на белый свет глядели; на ночь освежали кожу огуречным соком да кислым молоком. Вот и цвели... А нынче про все забыли.

— Там работу найдет хорошую, пенсию заработает. Не то что здесь, на издох...

На хуторе последние годы все на развал. Помер колхоз, и податься некуда: пустые поля, разваленные фермы. Лишь в своем огороде ковыряйся, добывай пропитание.

— Она там человека найдет! Для жизни! За это надо выпить! — с надрывом и болью вырывалось, может быть, главное. Четверо за столом, и все горькие бобылки, вдовицы ли.

С мужиками на хуторе вовсе беда: спиваются, мрут. Если и прибьется какой, то — затюремщик, бродяга. Доброго не сыскать. А ведь хочется доброго: человека и жизни.

И потому «за человека!» пили до дна. И пели печальное:

Что стоишь, качаясь,  
Тонкая рябина.

Это была песня про бабью жизнь, про бабью тоску и про надежду:

Как бы мне, рябине,  
К дубу перебраться...

А потом — любимую Валину:

Миллион, миллион белых роз!  
Миллион, миллион для тебя!

Пели искренне, потому что верила женская душа: если и не было, то будет такое: не дружок-пропитуха с «поллитрой», а кавалер с любовью, цветами.

И громче всех пела Валя Дадекина, она-то уж точно верила: будет новая жизнь, скоро уже, совсем скоро.

Пели громко. Но, слава богу, услышали гул автомобиля, который по теплomu времени, в погожую пору раз в неделю привозил на хутор печеный хлеб. Услышали — и заспешили. Еще неизвестно, сколько привезет. Разберут, а потом всю неделю кукуй без хлеба.

Вера да Нюся помчались к своим дворам за сумками. Натаня искала чистый мешок, она ждала гостей. Лишь Валя поднялась от стола спокойно. Думалось вовсе не о хлебе. Вино, песня, скорый отъезд, мысли о новой жизни по-доброму волновали душу. И оттого даже нынешнее, обыденное, такое надоевшее, от которого убежала прочь, даже оно казалось милым: ветхие хуторские дома, плетни, руины в зарослях репейника, теплый летний день, щебет ласточек.

Так вспоминают милое деревенское детство, о горьком забыв. Так будет вспоминать и Валя, хотя детство ее прошло не здесь, а в районном центре. Там она когда-то училась. Там школьные друзья да знакомые, там давняя молодая любовь — все с годами будто забытое, а теперь всколыхнулось.

Машина-хлебовозка осторожно, вперевалочку, словно утка, въезжала в хутор, где у развалин бывшего магазина уже собрался невеликий народ: старая Шахманиха да ее сверстницы: Хомовна, Карповна, Митрофаныха, бородатый дед Митрий да бритый дед Федор. Из молодых лишь Вера — переселенка с пригильным мальчишкой на руках. Мальчик что-то лопотал, досажая матери.

Валя Дадекина подошла к мальчонке и матери его сказала с улыбкой: «Растет казачок... — И протянула руки: — Иди ко мне, иди... Мамку замучил...» Мальчишка, испуганно прижавшись к матери, закричал, на Валю

указывая: «Хука! Хука!» — и заплакал. «Ты чего?» — спросили его разом мать и Валя, не понимая причины слез. А он кричал: «Хука! Хука...» — и прятался у материнской груди.

Валя отступилась. Ей стало неловко. Слава богу, машина была уже рядом, люди кинулись к ней с обычными для шофера вопросами:

— Сколь привез? Всем хватит?

— Какой хлебушек? Нам вечно азадки!

— Хоть бы раз калачом нас побаловал, для праздника.

— От калачей слабит. А докторов нет на близу вас лечить.

Шел обычный веселый перебрех. Сладкий дух печеного хлеба растекался от распахнутых створок будки. Разве не праздник? Лето пройдет, будешь на сухарях да на пресных лепешках сидеть, о нынешнем вспоминая.

Взяла хлеб и Валя Дадекина, обычные пять буханок, и сразу ушла. И уже не вернулась к веселому застолью, к подругам, где ждали ее.

А в доме своем она встала у зеркала и глядела на себя, словно не признавая. Да и кого признаешь в этой угрюмой, морщинистой, черноликой бабе?.. Как говорится, такая глянет — конь прынет и собаки три дня лаять будут. Недаром малый ребенок кричал: «Хука! Хука!» — и прятался, даже плакал.

Покойная мать когда-то корила: «В зеркало глянь, на кого ты стала похожа... С гульбой твоей...»

Теперь вот смотрела и видела. Видела и ясно понимала, что никакой новой жизни не будет. Все — позади, все — растеряно. И райцентр не поможет. Там будет хуже. Если и вспомнят, признают старые подруги, учителя из школы, соседи, с кем рядом жила, — если признают, то лишь ахать да охать начнут, жалея да сострадавая. А разве об этом мечталось?..

В доме, под низкой крышей, в тесных стенах, не было сил оставаться. Ноги сами несли. И понятно куда — на бугор, к Гришкиной хате, за самогоном, а потом к Верке ли, к Натане, чтобы выпить, все рассказать и, теперь уже ничем не гордясь, просто плакать и плакать. День, другой, третий...

Но она себя пересилила и, торопясь, спотыкаясь, прошла через свой огород, левадой выбралась к бараку, заросшему тернами да бояркой. Хотелось уйти куда-то далеко, в глухую балку, сунуться в землю головой и завить, а потом помереть. Она шла и шла, продираясь через кусты. Трезвая. Но словно уже не в этом мире. Брела и брела, не видя белого света. А потом упала на землю и стала выть, словно и впрямь волчица. Потом долго плакала горькими слезами. А наплакавшись, просто лежала. Незачем, некуда вставать и идти.

Замерев, она услышала голос родника. Он журчал где-то близко. Невнятное бормотанье воды похоже было на голос ребенка. Слов не разобрать, но так хорошо лепечет живая душа.

Понемногу наплывало забытье ли, светлое виденье: детство, юность, молодость, зеленое лето, синее небо, светлый день... Так хорошо на душе, что появляются слезы, теперь уже светлые, сладкие. И во слезах, как в тумане, а потом все ясней и ясней видится: по светлой тропинке навстречу малое дитя бежит, раскинув ручонки. Смеется, радуется и вот — наконец! — обнимает, целует. Господи, как хорошо...

— Зачем ты меня целуешь? Я такая страшная.

— Нет! Ты — хорошая, ты — красивая!

«Красивая...» — так сладко, так больно отзывались в душе и сердце слова ребенка.

Она понимала, что это лишь сон, непрочное забытье. Но какое счастливое!

Снова и снова повторялось: солнечная тропинка и спешит по ней светлоголовый, словно ангелок, мальчонка. Спешит, смеется и радуется. И вот-вот обнимет. Как прежде, как раньше. «Красивая...» И вот уже обнимают ее чьи-то горячие руки, голубят так жарко, что сердцу становится тесно в груди. «Красивая...» Сердцу тесно. И счастьем тесно; оно разливается по всему телу все горячее и горячее. И вот уже вспыхнула кровь.

## ЗА ОКНОМ

В городское наше жилье на шестом этаже любой человек заглянет — сразу к окну, посмотрит, потом вздохнет, завидуя: «Как у вас хорошо...» Но ведь это не у нас, а там, за окном. Вот и нынче объявилась девушка с листами-анкетами для «переписи населения». Провел я ее в кабинет, а она, до письменного стола не дойдя, застыла, взглянув в окно, потом промолвила: «Как красиво...»

Я и сам знаю, что из просторного, во всю стену, окна открывается картина приглядная. В свою пору зеленеют, желтеют ли тополя да березы под окнами, в сквере, дальше — Волга, просторные воды ее, синева ли, голубизна, а то и свинцовая стынь, за рекой светит песчаный берег, его косы да отмели, займищный лес — до самого горизонта, потом небо, простор его. Все это я вижу и, конечно, ценю. Старая мать моя говорит: «Здесь только художнику жить, рисовать...» Она права. Утром проснешься, в день погожий, — в комнате светло, за окном разгорается заря от нежной алости до пламенного полыханья. Потом солнце встает.

Хороший вид из окна. Но только лишь вид, пейзаж, экран телевизора, хоть и просторней. В поселке летнее утро начинается по-иному. В комнате — зеленоватый сумрак; не от занавесок, а от листвы, той, что снаружи. Проснулся — и вон из дома. Босыми ногами шлепаешь по деревянным половицам, а потом мягко ступаешь по мокрой от росы ползучей траве — «гусынке», чуя щекочущий ее холодок и парное тепло за ночь не остывшей земли.

Выйдя из дома, ныряешь в зелень и цвет: пахучие фиалки возле крыльца, полыхающий костер цинний. Смородина, виноград, за двором — акация. По тропинке к огороду идешь, задевая головой и плечами влажные листья и ветви старой раскидистой вишни да сливы, выбираясь на невеликий простор, где картошка да огурцы. Солнце встает за деревьями; желтые лучи его там и здесь пробиваются через зелень.

Это сейчас за столом я вспоминаю, описываю, а тогда, в летней жизни, спросонок особо ничего не различаешь. Просто — утро, которое не только глазами видишь, но чувствуешь слухом, чутьем, голыми плечами, босыми ногами, всей плотью и каждой клеточкой пьешь эту зелень, росу, птичий посвист, солнце, тепло, дух... А все вместе это называется летнее утро, которого не поймешь, если будешь глядеть на него из окна, даже очень просторного, во всю стену, такого, как в нашей квартире на шестом этаже.

Просторное, повторюсь, окно. В ясную погоду из него слева видны строения города Волжского, а это, слава богу, километров тридцать; а справа — думы и трубы других пригородов: Сарепты, Красноармейска, тоже десятки верст. Получается целая панорама.

Нынче — осень, октябрь. Еду в гости, на хутор. Сначала — асфальтом, потом — проселком, через хутор Малооголубинский. Его минуешь, от школы дорога ведет крутым подъемом, особенно трудным в снега да грязь. Поднявшись на гору, облегченно вздыхаю и всегда останавливаю машину. Заглушишь мотор, выйдешь.

Нынче — осень, октябрь. Обжигающий льдистый ветер, близкой зимы дыханье. Воздух прозрачен, словно молодой лед. Огромный немереный распах земли и неба. Близко и далеко, и вовсе далеко, но ясно и четко видятся степные курганы, сияющие белью меловые осыпи, желтые пески, сочная зелень далекого озимого поля, фиолетовая чернота пашни, стьялая просинь речной воды, суровые, седые с исподу облака ли, тучи, плывущие от краев северных, а в прогалах, поминая о лете, голубеет ласковое небо. Проглянет солнце — и суровый осенний мир светит улыбочиво, переливаясь из края в край.

Тишина и покой. Ни людского знака, ни машинного гула. Лишь небо, земля, облака, ветер. Да я — нечаянный соглядатай.



Это вам не окошко в городской квартире, пусть даже просторное, из которого всякий день вижу я Волгу. Просыпаешься ли, за столом сидишь — река словно на ладони. Всякое видишь: утреннюю да вечернюю тишь или сердитые волны с белыми гребнями в непогоду, теплую синеву или холодную стальную стылость. Но все это — за стеклом, за окном; красивая, но картина.

С детских лет и доныне берега донские — мой дом. Об этом много рассказано. Но продолжается жизнь. Прошлой осенью, уже в ноябре, погодой ненастной, все же решили мы с приятелем попытать счастья на судака. Потеплее оделись и не торопясь, полегоньку шлепая веслами, поплыли от хутора вверх по Дону, к Картулям, когда-то хутору, а ныне просто уловистому месту. Судак не брался, но мы домой не спешили, поднимаясь по течению вверх. Погода стояла теплая, но пасмурная. Мелкий-мелкий даже не дождик, а бус потихоньку шурился по брезентовому капюшону, туманил даль. Над облетевшим займишным лесом желтыми камышами, пустыми водами реки царили осенняя глушь и безлюдье. Полегоньку мы шлепали веслами, на безрыбье, на худой конец, решив поискать грибов, чтобы пустыми не возвращаться. Товарищ мой, местный рожак, знал здешние места и грибы в свою пору брал, словно в огороде. «Чего их искать? — говорил он. — Пошел да набрал». Вот мы и плыли, чтобы «набрать». Плыли, плыли — и увидели рыбака на надувной резиновой лодке, на якоре.

— Какой-то упрямый хохол сидит, — сказал мой товарищ. — Не мы одни дураки.

На Картулях с давних пор рыбачат шахтеры с Донбасса да Ростовской области. Всех их беззлобно именуют хохлами. Приезжают они надолго, ставят палатки, живут. Но обычно по теплomu времени: август, сентябрь. А этот припозднился.

Проплываем мимо. Рыбачок наш сидит словно врытый, накрывшись большим плащом.

— Клюет? — спросил мой товарищ.

— Нет.

— А с утра клевало?

— Не шевельнуло.

— А чего сидишь?

— Куда спешить...

Мы поднимались выше, и помаленьку, в мелком дожде ли, бусе, нахоленная фигура рыбака стусевалась, пропала.

Грибов оказалось много. В приречных дубняках, тополельниках было светло от желтой и рыжей листвы, еще не отгоревшей. Хмарь да морось остались на воде, на берегу. Резали грибы и резали, мешок, другой, третий. В дубняках рядовка была темной, словно дубовая кора, а в зарослях тополей да кленов желтела яркой праздничной тропкой, уводя в глушь.

Грибов мы набрали и поплыли вниз в пригруженной лодке. Все такая же погода стояла: туманец да мелкий бус. А наш рыбак по-прежнему сидел в лодке, накрывшись брезентовым плащом. Мы его не затронули, проплыв мимо.

Что клев, что рыба... Осень, река — и покой в мире, в душе. Душа ведь не дремлет. И хорошо здесь думается. Никто и ничто не прервет, даже не заденет долгие нити раздумий: о прошлом, о будущем, о жизни своей и чужой и, конечно, о том великом, что теперь окружает, подступая все ближе и порой раскрывая свои вечные истины, суть которых проста и оттого неподвластна уму человеческому. Разве что малым детям да мудрецам. Но кто им верит...

---

---

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ



## ВОЗБУДИТЕЛЬ ПРАХА

\* \*  
\*

Средняя полоса России. Декабрьская ночь долга  
и подобна собачьей похлебке из мелкой миски.  
Сколько хватает взгляда — снега, снега,  
словно в песне военных лет, словно в твоей записке,  
по мировой сети пробирающейся впотьмах  
в виде импульсов, плюсов, минусов, оговорок.  
Разумеется, ты права. Мы утратили Божий страх.  
В нашей хартии далеко не сорок  
вольностей, а восьмерка, уложенная, как фараон,  
на спину, забальзамированная, в пирамиду  
встроенная, невыполнимая, как резолюция Ассамблеи ООН.  
Мне хорошо — я научился виду  
не подавать, помалкивать, попить портвейн.  
А тебе? Мерзлое яблоко коричневеет  
на обнаженной ветке. Запасливый муравей  
спит в коллективной норке и если во что и верит —  
то в правоту Лафонтена, хрустальную сферу над  
насекомыми хлопотами, над земною осью,  
поворачивающейся в космосе так, что угрюмый взгляд  
мудреца раздваивается. Безголовье —  
слепота — отчаяние — слова не из этого словаря,  
не из этой жизни, если угодно, не из  
наших розных печалей. По совести говоря,  
я, конечно же, каюсь и бодрствую. А надеюсь  
ли на помилование — это совсем другая статья,  
это другие счета, да и вино другое —  
горше и крепче нынешнего. Сколько же воронья  
развелось в округе — и смех и горе,  
столько расхристанных гнезд на ветлах с той  
оглашенной осени, летучей, дурной, упрямой.  
Как настойчиво, с правотою ли, с прямою,  
мышь гомеровская в подполье грызет  
итальянский мрамор.

---

Кенжеев Бахыт родился в 1950 году. Окончил МГУ. Автор девяти сборников лирики и пяти романов, выходящих в США, России и Казахстане. Лауреат нескольких поэтических премий. Живет в Москве и Монреале.

\* \*  
\*

...не в горечь и не в поношение скажу: еж, робость, нежность, нож. Войдешь в ночи, без разрешения, и что-то жалкое споешь — вот так, без стука и без цели, переступает мой порог венецианской акварели дрожащий, розовый упрек, и покоряет чеха немец под барабанный стук сердец, и плачет нищий иждивенец, творенья бедного венец, в своем распаханном жилище, и просыпается от тоски, кряхтит, очки на ошупь ищет (а для чего ему очки — прощение ли сна измерить? или глухой кошачий страх с разрядом огнезубым сверить в богоугодных облаках?), и все лопочет «лейся, лейся» наяде черного дождя, и все лепечет «не надейся» — и вдруг, в отчаянье отходя от слабости первоначальной, уже не в силах спорить с ней, становится светлей, печальней, и сокровенней, и темней.

\* \*  
\*

Проснусь, неисправимый грешник, не чая ада или рая, и, холостяцкий свой скворешник унылым взглядом озирая, подумаю, что снег, идущий подобно нищему глухому, привычно жалкий, но поющий о Рождестве, о тяге к дому светящемуся, все же ближе не к подозрениям, а к надежде, допустим, на коньки и лыжи, на детство, что родилось прежде эдема и айда. Если мудрец довольствуется малым, повеселимся честь по чести над постсоветским сериалом, когда увидимся, когда не расстанемся, когда иронию оставим, и опять по пьяни заговорим про постороннее, и пожалеем древних греков, что в простодушии решили не видеть смысла в человеках без ареопага на вершине доледникового олимпа, где боги ссорятся, пируя, — закурим, и поговорим по-английски, чтобы русский всеу не употреблять, ведь этот жадный язык — разлука, горе, морок — не терпит музыки всеядной и оловянных оговорок — но, выдохшись, опять впадем в него, заснем в обнимку, не рискуя ничем, под куполом огромного и неизбежного. Такую ночь не подделаешь, ночь синяя, обученная на ошибках огней неотвратимых, с инеем на ветках лип, на окнах зыбких.

\* \*  
\*

Осень воинственная выставляет шесть тысяч глиняных, беспощадных солдат  
на посмертное поле боя императора. Сколь мускулист, усат  
каждый из них — раскос, в стеганом кителе, с глиняным же копьем  
в обожженной руке. Почтительнейшим образом подойдем,  
восхитимся. Шесть с лишним тысяч, терракотовых, молодых, безо всякой  
вины  
простодушно закопанных в могильную землю у подножья Великой Стены.

Так называлась свиная тушенка без имбиря, но с чесноком и лавровым  
листом,  
что в период великой любви меж Цинь-Ши-Хуанди и белым царем  
пересекала Амур в контейнерах, на пыхтящих парамах. Чем мы с тобой

за нее расплачивались — ураном ли? юностью? уссурийской морской травой?  
 Вероятней всего, ничем. Жестяные банки, ящики, покрывающий их тавот — для тиранов — пустяк. Пусть о них беспокоится подозрительный счетовод

(полагают они), поделом расстрелянный за вредительство. Впрочем, я преувеличиваю — в эти годы врагов народа всего лишь ссылали в деревню для перевоспитания, и любой изощренный знаток Лао-цзы — сгорблен, печален, сед — быстро осваивал радость молчания. Но и это кончилось. Мой сосед, тридцатилетний компьютерщик из Шанхая, ни о какой стене — будь то великая или берлинская — даже не хочет слышать, не

желает распространяться о когда-то раздававшихся орденах красного или желтого знамени. Давай погрустим, любимая. *O Drang nach Osten!* За рябого и сухорукого! За терракотовый гроб Господень!

Не судите, да не судимы будете, дорогие мои, драгоценные дамы и господа, сколько ни обсуждайте в рубище у замкнутых городских ворот недосып, недолёт, недобор погребенных воинов, недород.

\* \*  
 \*

Сумерки жизни пахнут ванилью, перцем, корицей, напоминающими о тропиках, где на рождество детям дарят бокастые яблоки, где эмигранту снится медленный и пушистый снег над Марбургом. Никого на извилистой улочке, разве что братья Гримм, под хмельком рассуждающие о языке муравьев, пещерах и неопрятных городских голубей и не слышащие, как мы говорим, спотыкаясь, об отчаянной, обреченной музыке, а скорее — о житейском, о бензоколонке, где допоздна продают не такой уж противный шнапс, и о том, как клонится ветка к ветке, о том, как растерянно — не поют, только вскрикивают — вороны, страдающие бессонницей, в облетевших кленах. Фотовспышка слишком слаба для осенней темени, и если мне говорят: судьба, я улыбаюсь, ведь я — как и все — не более чем временщик, турист, наблюдатель с перочинным швейцарским ножом в кармане пиджачка. Вот и последний (прости за сентиментальность) лист полетел под октябрьским ветром. *O money, money,* допотопная «Абба» выкрикивает из чужого окна. Постоим, усмехнемся. В конце-то концов, не мы ли из самых умных, да и везучих, вот и шнапсу достали, а что до анчутки — бог с ним, если игрушечный, детский ландграфский замок на заросшей горе подсвечен оранжевым, яростным и золотым.

\* \*  
 \*

Человек под старость покорен своей судьбе — где же я об этом прочел? Лишь язык шевелится сам по себе и не просит хозяина ни о чем. Он лепечет, взмаливается, горит, он с гортанью строго говорит, сам не в силах произнести ни звука. В человеке тьма, да и в вышних тьма.  
 Не способен ни жить, ни сойти с ума, астронавт во сне напрягает ухо,

словно воду пробует, будто свет зажигает. Но в космосе звуков нет, как и воздуха, как и святого духа. Ни крестов-полумесяцев, ни ворон над остывшим, покинутым полем боя; если ты покорен и покорён, не страшись, не рыдай — выбирай любое из полей, чтобы в нем

обращаться в прах, вспоминая грозный рассвет в горах Средней Азии, двадцать четыре слова на прощание. Ветрена и легка, что стакан кобыльего молока, неуместного, пузырящегося и хмельного...

\* \*  
\*

Вечером первого января запрещенный табачный дым вьется под небеленым, под потолком моего жилища. Холодно, и засыпать пора. На бумаге я был одним, а по жизни, кто спорит, глупее, зато и проще, и чище. Пыльные стекла оконные подрагивают под новогодним ветром, колокольные языки качаются, и оставшиеся в живых мирно посапывают во сне — опаленном, не слишком светлом, но глубоком и беззащитном. Пес сторожевой притих

в конуре, постылую цепь обмотав вокруг правой передней лапы. Брат его кот, вылитый сфинкс, отмахивается от невидимых мух, снежных, должно быть. Неприкаянная, неправедная, могла бы, как говорится, сложиться удачнее, но уже, похоже, потух желтый огонь светофора на тушинском перекрестке. Се, отвлекаясь от книги лжемудреца, над электрической плиткой грея пальцы, подливаю случайного в восьмигранный стакан. Осе или пчеле, сладкоежкам, спокон веков ясно, что немолодое время

совершенно не зря сочится по капле, когда на дворе темно, высыхая, воспламеняясь, дыша — полусладкое, недорогое. Снег идет. Плачет старик. И пускай на крестинах оно одно, в одиночестве — близко к тому, а на поминках совсем другое — обучись — коль уж иного нет — обходиться этим вином, чтобы под старость не лицедействуя и уже без страха и стыда поглощать растворенный в нем невесомый яд, возбудитель праха.

\* \*  
\*

Зима грядет, а мы с нее особых льгот не требуем, помимо легкомыслия под влажным, важным небом — и хочется скукожиться от зависти постыдной то к юношеской рожице, то к птице стреловидной. Все пауки да паузы, веревочка в кармашке — у помрачневшей Яузы ни рыбки, ни рюмашки не выпросить, не вымолить, не прикупить, хоть тресни. У старой чайки выбор есть, ей, верно, интереснее орать, чем мне — дурачиться, отшельничать во имя музыки да собачиться с красавицами злыми. О чем мой ангел молится под окнами больницы? И хочется и колется на снежную страницу лечь строчкой неразборчивой к исходу русской ночи — а лед неразговорчивый рыхл, удручен, непрочен — и молча своды низкие над сталинским ампиром обмениваются записками с похмельным дольным миром





---

---

НИКОЛАЙ КОНОНОВ

\*

## НЕЖНЫЙ ТЕАТР

*Роман*

**В** рухляди нашей жизни Буся проявилась негорючим женским веществом. И я, к моему великому сожалению, не смог никогда сказать о ней, что она вышла из сгустка материнского тумана.

Но все-таки плотным теплым телом.

Проявилась из той области, где, не оставляя даже зияния, отсутствовала моя мать.

Я помню Любу вместе с собой, помню ее с низины своего детского возраста в «парке культуры и отдыха». Эти три слова, словно выделенные курсивом, в моем сознании навсегда застыли нераздельной триадой. Любое из трех повлечет за собой два остальных.

В Бусин выходной день, не совпадающий с календарным из-за посменной работы, мы оказались в этом парке. Долго тряслись в переполненном жарком трамвае. Буся нервно держала меня и свою сумочку.

Вот перед нами распахнулись чахлые зеленя, простерлись убогие клумбы, зашевелились зеленой тухлые пруды, где никто, будучи трезвым, не купается. Вот она, сидя со мной за столиком летнего кафе, ест из мельхиоровой вазочки чуть желтоватое мороженое. Мы любим только развесное. «Оно рассыпчатое, не тянучее», — аттестует его Буся.

Я ей очень нравлюсь, когда она со мной, — к ней никто в наших злополучных краях не смеет приставать, так как она вроде бы при серьезном деле — молодая «мать с дитем». Вот лавочка у одноименного белого фонтана. Из кувшина на кроху, всего покрытого белыми струпами, в несуществующую ладошку его поврежденной ручки-культы ничего не сочтется.

Буся внимательно и явно волнуясь читает в который раз одну и ту же сентиментальную книжку. Она будто бы вздыхает. Но кроме чтения, ее волнует и публика, коротающая свое время. Иногда она искоса бросает в разные стороны оценивающий взгляд.

Это совершенно детская площадка чахлого перегретого июлем парка, и она, Буся, под моей вооруженной охраной. Ведь дети — это святое и неприкосновенное. Так кто ж их тронет вместе с самой женщиной-матерью прелестного дитя...

С аванса и зарплаты она приносит мне робкие гостинцы. В самом начале месяца и в середине. Легкие незначительные дары. По их появлению я, кажется, научился считать дни и понимать григорианский календарь. Из шестого и девятнадцатого числа, именно из этих отверстых цифр, как из тоннелей, на меня нежно выкатываются легкие неопасные машинки. Из древесины или пластмассы, а я ведь люблю только железные и тяжелые. Чтобы порезаться. Лучше сказать — я их уважаю. Так как они не малышковы. А она еще приносит занудные картонные игры с фишками и краплеными кубиками в плоских коробках, они меня тихо бесят, и мне ничего не стоит их забросить. По-настоящему я тянусь к взрослым картам

и дроботу игральных костей в стакане. Пока еще не на деньги, пока еще только на спор. Я мечтаю об избытии гвоздей, шурупов, о подшипниках, что крутятся в неостановимом масляном свисте.

О, ее воспитательные игры с гномами и другими яркими дураками хорошо умещаются за нашим платяным шкафом. В узкой надежной щели. Может быть, их там уже около десятка. Хотя нет, я иногда устраивал из них детское пожарище у помойки. Аутодафе.

Голубые ландшафты с маршрутами для дураков быстро занимались с четырех сторон. В середину я возлагал самодельную ловушку с черным тараканом. Таракан должен был громко кричать. Но только потрескивал и в конце концов начинал нестерпимо вонять и тихонько взрывался.

Бусенька бы очень огорчилась, узнай судьбу своих даров. Но еще больше ее расстроили бы моя безжалостность к таракашкам и мой растущий, не подавляемый ничем азарт картежника и кидальщика тех самых кубиков, цинично изъятых из коробок с воспитательными добросердечными играми.

В один прекрасный жаркий день, придя к нам, она гордо потрянула обесцвеченными мелкими кудряшками, осеняющими ее смуглый лик. И бабушка, сняв очки, открыла рот, как будто поперхнулась, всплеснула руками и воскликнула изменившимся голосом:

— Ой, батюшки-светы, и что наделала-то! А? Что наделала-то?

Вместо скромной Буси перед нашим взором предстала наглая горелая блондинка. Она стояла в балетной позиции, недвижимо. В раме незакрытой двери как в паспарту. Она во весь рот улыбалась. Золотая коронка сияла. Как я этот блеск не любил!

— Вот, волосы высветлила. Как, а? Покрасилась прямо в парикмахерской при заводе. Записалась заранее через бытовую комнату. На сегодня. Ну и химию заодно. С прогрессивки решилась.

Она подняла руки и аккуратно коснулась кудрей, будто взяла сама себя за голову, вот-вот сейчас снимет ее с плеч. Черная штриховка ее подмышек обожгла мое зрение. На меня пролилась невыразимая робость. И я должен был о чем-то невыполнимом ее попросить. Я инстинктивно сглотнул слюну, вдруг заполнившую весь мой рот. Я помню это извятие кариатиды, поддерживающей самое себя, и посейчас. Жесткий фарфор разогретого тела. Будто я подержал ее в руках, как матвеевскую статуэтку-голышку.

Бабушка, не сводя глаз с Бусиных кудрей, молчала целую минуту. Она запуталась своим зрением в их химическом жаре. Это было непомерно. Буся каменела.

Бабушка своим скрипучим голосом, не делая смыслового ударения ни на одном слове, произнесла, выталкивая из себя слова ровной презрительной консистенции фарша:

— Это полы в твоей парикмахерской можно покрасить, Любовь, а волосы только — окрасить. Голова, это тебе не половицы в казарме. Хоть офицер ой как на блондинок обращает. Ой как обращает.

Она словно воспалялась, но темп ее речи не убыстрялся:

— Вот и его мать-то драгоценная была попервости, пока здоровье позволяло — ну чистая прям тебе блондинка. И все тебе светлее и светлее раз от разу. Я ей так и говорила, что скоро седина из тебя будет переть.

Кажется, она сглотнула слезу. Она отвернулась от меня...

Буся еще долго приходила к нам, являя собой послушный образ умерения страсти к офицерам. Так как черная поросль, поднимающаяся с корней, на наших глазах отодвигала преступные светлые завитки. Словно чувственность покидала ее тело. Мне было так жаль ее. И через несколько месяцев только завершения ее жестких отросших локонов хранили память о недуге, медленно отпускавшем ее.

Однажды бабушка взяла в руки ножницы и состригла те витые сантиметры Бусиных волос, хранящие вызолоченную память о прошлом нездоровье. Это было и тогда похоже на миф, словно расколдовывала Бусю раз и навсегда.

— Теперь, Любовь, такая дурь тебе и не примерещится. Ну, офицер, он и офицер, такой же, как и все, заруби себе на носу, дурень — о двух ногах.

— Да я уж и не интересуюсь теперь. — Бедная Буся не сказала, кем она не интересуется, будто само имя тех восхитительных мужчин было запретно.

— Не интересуйся, не интересуйся, — выговаривала заклинание бабушка в ритм ножницам.

Буся сидела с газетной пелериной на плечах. Она скорбно смотрела вниз, не видя в зеркале своего поругания.

Пряди, прежде чем слететь на пол, тихо шуршали о бумагу.

— Я тебе сейчас хвост-то твой в пучок хаароший и заложу, чтоб ты им перед всякой ерундой не вертела. Шпилек у меня запас аж с самой послевоенной.

И она, не понимая этого, специально старила Бусю.

Священнодействие окончилось тем, что я в соседней комнате подпалил срезанную перепелесую прядь. Необъяснимое желание вдруг обуяло меня. Бабушка и Буся стремглав прибежали на запах паленого. Завиток омерзительно истлел, погаснув сам по себе. Я не выпустил его из пальцев.

— Вот твоя кучерявость какой вонью-то исходит. Ты понюхай, понюхай.

Поправила вылезшую из своего пучка шпильку и сказала с улыбкой:

— А это он тебя, Любенька, приворожил ведь.

Она по-прежнему приходила к нам.

И что же, впрочем, ей, Любе-недотроге, еще было делать в свои скудные выходные? Чем заняться? Посуда вся перемыта, половицы полов выскоблены, постельное белье выкипчено, перестирано и накрахмалено, одежда наглажена. Да и кто, кроме нее, будет все это богатство мять и пачкать?

Да, я теперь понимаю, статус Буси в бабушкином доме был незавиден.

В этом вечном помыкании и эксплуатации была некая тайна.

Я не пытаюсь ее разгадать. Ведь жил я столько лет, не раздумывая о ней.

Буся с радостью помогала по дому, всегда что-то делала в стареющем хозяйстве. Особенно гладила она с упоением — тяжелым чугунным утюгом на мостке гладильной доски, перекидываемой между тумбой и спинкой тяжелого стула. Плеща звуком «эф» на торосы хлопка и льна. Гладила и проводила ладонью по свежему, будто специально разгоряченному и разровненному белью. Утешая наш штопанный лен и перекроенный хлопок, расходовала на дурацкое белье свою ласку. Будто молодила нашу жизнь, вычитая себя.

А бабушка неодобрительно взглядывала на нее поверх очков:

— Что же ты, Любовь, челку-то остригла?

— А я только подровняла.

— Вот верхняя соседка за три года как самой-то помереть — болонку свою от жары остригла и челку заодно ей и подровняла. Так та под кровать забила и из-под бахромы на все и зыркала, пока шерсть на морде не отросла. Там ее из миски и потчевали. Ни за что выходить с подкровати не хотела. Ни на кость, ни на конфету не шла. Чуть от тоски там и не подохла.

Бабушкины жизненные сюжеты почти всегда населены собаками и кошками. Их обижают люди. За что и бывают наказаны. Неотвратно и беспощадно. Они и умирают от этих непрощенных обид, нанесенных безвинным тварям.

Буся в ее разговорах — повод для укора всему человечеству.

Вечная, никогда не взрослеющая воспитанница.

Вот, скажем, воспоминание: в низком окне быстро вытемнело отяжелевшее небо, но еще не начался ливень, и в комнате запахло прибитой уличной пылью, и она, невидимая, войдя в ноздри, как-то онемела, изнемогла, но по-особенному, не лишившись смысла, а вдруг обозначив собой отчуждение, дикость, редкостную праздность небытия. В этот миг вмещались великие смыслы. Что может так случиться, что не будет ничего. Вообще *ничего*.

И уныние этого смысла смывалось дождем, — южным неудержимым ливнем.

Бабушка выносила на двор тазы. Ведь Люба, приходя к ней иногда, мыла дождевой водой свои волосы. И это была их тайна, несчастный женский ритуал, на который мне смотреть было нельзя. Я только слушал уютный стук кружки о таз и маленький шум воды, преисполненный робости. Сами они молчали. И я тогда ловил себя на том, что почему-то не могу сдержаться. Так мне хочется помочиться. Тут же. Немедленно. Я сжимал бедра и казался себе русалкой, только на миг выползшей на сушу. И слабенькая бегония в бабушкиной комнате, где я отсиживался за закрытыми дверями, едва выдерживала натиск моей детской урины. «Ну что за дух стоит? Как в предбаннике — ну чистый дубовый веник», — жаловалась бабушка самой себе.

Наверное, поэтому кислый запах мочи никогда не отталкивал меня, я его не брезгую. И потому не боюсь плотского духа русских отхожих мест. Мне видятся ровная почва, присыпанная распаренной дубовой листвой.

Вот скетч. Учебный фильм. Середина жаркого лета.

Буся режет крутые яйца для крошки. За окнами — летний ливень. Внезапный, как и должно быть в наших краях летом.

— Больно крупно, Любовь, ты что-то яйца посекала. Крупно, говорю. Почему? А потому, что, значит, сейчас град пойдет.

И действительно, небо моментально напрягалось, в его чернильницу бухала гроза, мы включали свет, и ливень обращался градом. Сверху сыпалась прозрачная скользкая фасоль. Будто прорвался пакет.

Бабушка вздохнула, как радио:

— И посевам не повезло.

Это «и» означало, что до града не повезло всем остальным.

Бабушка, забывшись, возражает радио, выкрученному на полную громкость.

— Знаю, знаю я твою брехню хваленую, как индюк, растренделся, — едко говорит она, издеваясь над диктором, и машет раздраженно газетой в сторону радио, как на муху.

Мужской голос, полный галантности, только что провозгласил прогноз погоды. Словно замечательное стихотворение, сочиненное к этому часу.

— Вот-вот, солнечно-то оно, может, и солнечно, без тебя вижу, и все одно — дождю быть! Что тогда и в левом колене подсвербливает.

Она уже говорит не диктору, а в том же раздраженном регистре себе, своему потаенному учебнику великого русского языка:

— «Дождю быть» или «дождю бывать», как правильно-то...

Дальше, уже молча, она ведет диалог сама с собой, и речь, как змея, легко вернулась в щель ее рта. Она лишь поправляет высокий, еще не сползший на затылок пучок<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Она проговаривается, что осталась совсем одна в своем доме. Совсем одна, но все-таки вместе со мной. Это «все-таки» очень много значит в наших отношениях. Иногда она обо мне забывает. О чем она думает на самом деле, разглядывая сложенную вчетверо несвежую газету, скорее даже не читая ее, я не ведаю.

К вечеру он съедет к самому воротнику пестрого халата. Словно в цветник.

Характерный автоматический жест всегда свидетельствует о напряженной умственной работе. Она словно затыкает пучком шевеление клубка мыслей.

И изощренный глагол «подсвербливает» ее совершенно не волнует. Ведь на самом деле — не свербит, а именно подсвербливает. Обозначено безупречно, а ее волнуют только напряженные абстракции: вроде быть-стать-есть-идти...

Она не терпит чужого резонерства, это — только ее епархия.

Любаша обожает вместе с бабушкой купать меня, вполне повзрослевшего для осознания невеликого тела — как собственного, мальчикового, неотъемлемого. Во мне в самой глубине ведь уже проснулось липкое чувство стыда. Но ко мне относятся во время этой необходимой процедуры с такой любовью, что мне делается моего стыда стыдно. Под их «купы-купы» я инстинктивно слабею, хочу свернуться калачиком и улечься в таз в околоплодные мутные воды.

Бабушка чувствует что-то. И, поворачивая меня к себе, инстинктивно заслоняет, и Буся выглядывает и заигрывает со мною из-за ее надежной спины. Поэтому женские взгляды, гуляющие по мне, смешиваются на мне, как пряжа, и к концу купания я становлюсь одетым в их долгие шарящие по мне зрительные волокна.

Я, расслабляясь, поддаюсь их гипнозу.

Их гуляющие голоса сплетаются в сплошную теплую скользоту, делается ласковым духом мылкой земляники, безупречным мочалом, нежащим меня. Спутанным голосам этих двух женщин невозможно развязаться.

Буся бывает так счастлива, если ее приход совпадает с днем моего купания. И банальное слово «купание» мне хочется заменить на торжественное — омовение.

Ей так нравилось подливать в корыто обжигающе горячую воду — кружку за кружкой. Осторожно-осторожно. Помешивая. Нежно смотреть на меня.

И я из той поры запомнил ее скользкий по мне теплый, но не в смысле сочувствия, а именно температуры, немного выше моей, помывающий скользкий взор ее темных, почти черных очей. Я никогда — ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности — не мог различить ее зрачков, затопленных темной радужкой.

Она так упоена своим занятием, что голос ее уходит в отдельную несопрягаемую с ритуалом сферу.

— А щас как покупаем, как покупаем, как сынуленьку нашего накупаем, — лепетала в сладком забытии Любаша.

Пока бабушка не выговорила ей строго и даже зло:

— Ну какой он тебе, Любуся, скажи-ка мне на милость, «сынуленька». Никакой и не сынуленька.

Не думаю, что ею, бабушкой, тогда овладела ревность<sup>2</sup>.

Но, распалаясь, она продолжила свою тираду непозволительной фразой, вышедшей из ее недр, граничащей со святотатством, к чему, надо отдать ей должное, сама была весьма чувствительна.

Она осеклась чуть раньше, чем из ее узких строгих губ излились жесткие слова:

<sup>2</sup> В особенных случаях, когда бабушка переходила со своего обычного торжественного лада на гневливый или, наоборот, речь ее наполнялась союзами, которые можно было без ущерба для смысла избежать. Она словно приступала к сказу, полному драматизма. Будто фольклорный тон не мог вызвать и тени возражения у оппонента. За этой речью толпой стоял сам народ, как в лучшей кинокартине моего детства «Война и мир». С дреколем и рогатинами.

— У него же, и ты это прекрасно и знаешь, Любовь, есть своя собственная и покойная мать.

На «и покойная» она мгновенно прижала жменю ладони к губам, прихлопнув свою речь. Как вьюшку печи.

Но было поздно.

Ведь слово «мать» вылетело, так как было спаяно в ее сознании именно с тем самым эпитетом. «Покойная». Как заклинание, заклатие. Я вмиг понял это своей особенной железой, где смешиваются ужас и страх, где хранится непоправимое. Уяснил во тьме испуга — раз и навсегда.

Тогда в меня что-то проникло, вошло. Действительно «вошло» — как смоляной кляп в рот пленника, отданного на мучения, или острие каленого копья в живот бойца, принимающего смерть. По самое древко. Проплавленная жизнь сразу прошла, так как стала прошлой.

Я взлетел из банного корыта как на катапульте, я стал бегать и отбиваться от них — голый, мокрый, намыленный и яростный, я стал что-то несусветное и страшно ругательное орать им.

Они отступили от меня, опешили, потому что детские внятные ругательства, в отличие от взрослых, по-настоящему очень страшны. Они ведь в конце концов обязательно сбываются.

А я истощно многократно скандировал, приседая в низкий старт для силы крика. Прижимая к туловищу напряженные руки, как бесперые крылья. Жестоко до хрипоты выпевал проклятья, как солист авангардного хора. Ведь за мной уже столпилась стая мстительных бесноватых Эриний. Бабушка с Бусей это мгновенно почувствовали. Бабушкин народ отступал в кусты, он в ужасе рассеялся. Буся была сметена с лица земли лишь дуновением моей ярости. Во мне запылал пожар:

— Чтоб вы все передохли!!! Бабка и Буська!!! Буська и бабка!!! Вы подохнете сейчас!!! Чтоб вас сгнобило!!! Чертовы твари!!! Суки!!! Крысы!!!

В меня ворвался огненный кошачеглавый бес невероятной силы и верткости.

И во мне до сих пор иногда шумят те страшные глаголы — «передохли» и «сгнобило».

Глаголы ведь были гораздо опаснее обычных существительных вроде «твари», «крысы» и «суки».

Они ведь, эти глаголы, переполненные спящей действенностью, словно заведенные тогда на тысячу оборотов, в конце концов сработали.

Мне кажется, что именно тогда я эти главные глаголы и придумал, как Адам, наделенный впервые на земле страшной членораздельной речью.

Рай при пристальном взгляде оказался ужасен.

Значит, он был изначально опоганен чудовищной кражей.

У меня.

Самого дорогого.

И я не мог надеяться на обретение.

Я желал им мгновенной смерти. Они ведь еще раз отнимали у меня мою мать.

Я догадался тогда во время своего крика, хоть он и не имел человеческой длительности, в чем состояла паскудная тайна ее исчезновения.

Они!

Они хотели, чтобы ее не стало у меня!

Они все...

Но следом за истерикой ко мне приходят друзья, они подбираются ко мне, взявшись за руки. Это сладкий покой и полное примирение.

Все ужасное растаяло в вечернем мягком времени.

Я лежал в постели, я спал.

Я, сколько себя помню, вернее, помню свое зрение, — всегда подглядывал за Бусей. Да, сколько себя помню, и это не аберрация той удален-

ной, но не потускневшей поры<sup>3</sup>. Ведь кроме того, что я видел ее, я как бы смотрел еще и ею, ее зрением, а может быть, даже ее телом. Мне так теперь кажется или тогда казалось. Точности тут не будет.

Я представлял себя ею, но не в смысле — женщиной, а распорядителем особенных таинств, проистекающих чрез нее. А она, я был в этом уверен, имела к ним самое прямое отношение. Сначала это была такая тихая игра. Невозмутимая, тихая, безобидная. Детский антропоморфизм.

И она сама однажды принесла мне дивные штучки с завода. Я даже помню тот день. Была осень. Конец ноября. Глубокая темная пора, низкие облака были видны в окно, из них чуть, едва заметно снежило. В наше окно, если сильно изогнуться, можно было увидеть сквозь их просветы зыбкую и унылую луну. Буся ожидала больших премиальных к получке, но что-то случилось, и премиальных она не получила или не получила столько, сколько ждала, она на эту язвящую несправедливость цехового начальства горько пеняла бабушке. Смутная луна тоже слушала зыбь ее речей.

— А и в сам заводской профком и давай-ка! И пойди, — сказала мудрая бабушка с пафосом, посмотрев за окно — будто слабая луна кивнет ее мудрости.

Союзом «и» она скликала своих партизан в подмогу неумехе Бусе.

— Да все они, не поверите, заодно. Куда я пойду, еще, не дай бог, чего подумают, что я жадная, к примеру, какая.

— Нет, ты, Любовь, и не права вообще. Заработанное — оно на то и есть заработанное. Пойди и куда положено и скажи им. Мол, и вынь да и положь!

И вот они передо мной, следы Бусиной обиды — чистые-чистые, позвякивающие в белейшей тряпице, как будто к нам уж стучится сумасшедший Новый год, и вот они там лежат, дожидаясь двенадцатого удара, привалясь друг к другу игрушечными птенцами в специальном уютнейшем, чистейшем гнездовье.

Отполированный мощный болт, может быть, даже специально хромированный в гальванической ванне — только для меня одного. На этом болте может удержаться что-то непомерное — целое жаркое лето. Или снежная ясная зима, например, но не столь долго.

Потом еще — восхитительно крупный, тяжело лежащийся в ладонь подшипник.

И, наконец, сизо-белые металлические сферы разных калибров, будто их снесли эти самые болт с шарикоподшипником. Такие безупречные плоды их прохладной страсти.

Меня ослепила целесообразная красота этих вечных, не поддающихся порче предметов. Они чудно двигались, упоительно гнездились в ладони, блаженно продолжали мое тело, делая его движущимся, чуть ли не летящим. Навсегда.

Я представлял себе, как Буся там, где-то, на священном заводе, вырабатывает из ничего эти вещи. Я прозревал ее руки, лепившие волшебные предметы, словно плюшки из невидимого теста с помощью пассов. Не прикасаясь ни к чему.

Погружаясь в сон, я представлял себе магическую Бусю на волшебном заводе, точнее, не саму Бусю, а различаемой ею завод со всей машинерией. И неутомимую суету дивных изделий, легко слетающих с ее рук, не устающих никогда.

И с той самой поры я стал наблюдать за нею, имеющей к этому волшебству прямое отношение, острее и пристальней, задавая себе перед ее приходом сложную задачу. Смотреть, смотреть, смотреть так, чтобы она

<sup>3</sup> А оно действительно потускнело, как доказательство того, что оно было — как протяженность. Мне достались обломки.

не узнала, как я, скользяще взглядывая на нее, на самом деле — без усталости пристально и неотрывно смотрю.

Так смотрит ребенок на свой комнатный мир в маленькое зеркальце, ловя в нем вывернутое отражение, отмечая в нем новое — замечает миметический порок или прозревает увечье, исчисляет зазор с привычным, обнаруживает самого себя в этом раздвоившемся мире. Принимает все как подарок, в котором и благодатная радость, и смутная подозрительность, и необъяснимый легкий драгоценный страх неизвестно чего.

Или вот еще — встав на карачки, согнувшись в три погибели, опустив голову между своих расставленных ног, он, то есть я, смотрит на то, что перевернулось и опрокинулось. Летит в головокружении прямо на него, но уже совсем другого.

Вот таким перевертышем и стала для меня моя привычная Буся.

Был ли я маленьким злодеем, злым преступным малепуленькой?

А вот ответ на этот вопрос меня совершенно к сегодняшнему дню не волнует.

Я ликовал, я узнал в ней, живой Бусе, и такую ее особенность, как таинственные «ноги», предназначенные не только ходьбе на работу и в гости, но и перетекающие, сходящиеся в тугой округлый «зад». И «руки». А от них недалече и до «грудей». И «спину», опять-таки спускающуюся в «зад», обтянутый платьем. Но под ним, под эфемерным тряпичным слоем, точно ведь были и сам зад, и сама попа, и сами царственные стыд со срамом.

Все ее тело стало для меня срамным, яростным и безмерно любопытным. Мое любопытство словно вызолотило всю ее с изнанки. Она словно просияла. И я не мог наглядеться на это сияние, ведь его имагинацию, не видную никому, жадно наблюдал только я. Глядя на постыдный — колеблющийся в простых глупых словах — блеск мирового переизбытка.

И острота того открытия, когда я вдруг замечаю женщину, нравящуюся мне, иногда посещает меня легкой сладкой отрыжкой до сих пор. Будто я переел ирисок «Кис-кис» и насорил злополучными липкими бумажками. Их коричневые загорелые тела<sup>4</sup>.

Я глядел на Бусю — мне так нравилось, когда вслед за движением моего взора в меня легко входило и чувство сладкого стыда, переиначившее мою скучную жизнь, снабжавшее меня тайной, никогда не разделяемой мною ни с кем.

И, едва умея писать, я, прикрываясь ладошкой, царапал на листках слово «попа». С наслаждением жевал в нем каждую букву, обращающуюся в круп, прикрытый платьем. Вырисовывал два полумесяца, раздвигающих округлость.

Как легкая муха, я полз по медовой эпидерме Бусиной волшебной руки, я забирался в круглый вырез платья, потом в замятую пройму рукава к подмышке и даже, разыгравшись, нагло, но мягко под подол, как в лавиноопасное ущелье. По белой гладкой ноге, переходя от коленки к тыльной стороне бедра.

Я подозревал, что в ней живет некая тайна и через ее познание я смогу наткнуться на путеводную нить. Эта нить должна привести меня к моей матери, в ее мир, в ее чертоги через особые истины женщины, которые я не помнил, но понимал, созерцая их в неродном существе Буси.

---

<sup>4</sup> Я до сих пор ведь покупаю иногда этой сладкой ереси. Не больше ста грамм. Хочу этого не делать, но не могу совладать с собой. Это странная покупка, ведь никто не дарит своим детям такое малое количество дешевых конфет. Кто их покупает в таких скромных количествах? Мистические извращенцы для приманивания робких сладкоежек или сумасшедшие, не могущие обойти стороной вычурное изобилие кондитерского отдела. Ведь даже самые простые, не избалованные собаки не едят ириски из-за липкости. Но немолодые продащицы смотрят на меня, будто разумеют природу моего застарелого порока.



Мне только надо было поднапрячься.

И за темным ветром, скользнувшим в волосах ее склоненной головы, я видел приметы другой невероятно печальной женщины, все время ускользающей от меня, как нежизнеспособная Дафна. И я не мог не только познать ее облик, становящийся смутной листвой, но и увидеть себя, желающего это сделать. Лишь легкое смятение, засекаемое мной в самом себе, когда я подглядывал за нею.

Мне так хотелось увидеть ее наготу, и я прятался под столом. Но кроме сомкнутых круглых коленок и сдвинутых тонких лодыжек и стоп в домашних тапочках, мне ничего не приоткрывалось. Ведь, купая меня, должна же она тоже в конце концов раздеться...

Так ли она устроена, как Пашка со второго проходного двора, что щедро предлагала мне в сырой полутьме между сараями пощупать себя. Только осязать, хоть целый час, но ни в коем случае не подсматривать туда. И я мял в самой низине ее тощего живота замшевый двойной бугорок с липкой ложбинкой посередине. До одурения, как самого себя, но со знаком минус.

Я прочел ей тогдашнюю литературную новинку:

*Единожды един — шел гражданин.  
Дважды два — шла его жена.  
Трижды три — в квартиру зашли.  
Четырежды четыре — свет потушили.  
Пятью пять — легли на кровать.*

И вот — самая главная строчка.  
От этого Пашка точно обалдеет:

*Шестью шесть — он схватил ее за жезль.*

— Ну ты и дурак! За «шерсть»!

— За какую еще «шерсть»?

— Там у всех тетенок — шерсть. Ну ты и дурак! Ой, ну и дурак!

В глубине меня образовался провал, и в него ухнуло все, что было во мне. Я задохнулся. Трахеи и легкие в мгновении кашле заросли густой шерстью.

Опомнился, когда колотил Пашечкино козье личико, когда попадал в мякоть ее тела и когда задевал черные дощатые стены сарая. Как мельница.

Я дико вопил, разбрызгивая слезы:

— У моей матери шерсти нет! Она не то что твоя. Она не сука собачья!

Пашечкина мать с рычаньем ухала за мной вокруг клумбы. В ее руке опасно краснела четвертина кирпича. Если б догнала, то убила б. Но мальчишки, в отличие от толстых тетенок, очень верткие существа, тем более когда тетеньки одышливо хрипят им в спину ругательство, страшнее которого на свете нет: «Изверг, изувер, фашист, ээсовец!»

Но все-таки складки на платье Буси, когда она сидела за нашим обеденным столом или на диване, особенно те, где рукава через чуть зажеванную теснотой, заминающуюся пройму переходят в тугой по тогдашней моде лиф, — говорили моему любимому стыду больше, чем вся ее голизна, прозреваемая мною, когда я ворочался ночью в постели.

Я искоса рассматривал ее запястье с поперечинками тонких складок, потом следы заусениц, распаренные круглые лунки, где залегали коротко остриженные некресивые ноготки. Она перехватывает мой взор и собирает пальцы в горсть, отводит, чтобы я их не видел.

— Вот как на пенсию пойду, перво-наперво, не поверите, отпущу себе вот такой красный маникюр, — говорила она бабушке, смеясь.

Она треплет мои вихры. Играя, чуть прижимает к себе.

Но бабушка заглотила наисладчайшую речевую наживку. Она оправляет плавники фартука, как рыба.

— Неправильно ты все говоришь. Не «пойду», а «выйду». На пенсию выходят. И не отпущу ногти-то, Любовь, а отращу. Отпущу — это ни в коем разе. Вот косу, пожалуйста, отпусти или там, коль захочешь, распустить, а можешь и вокруг макушки, тогда уж — «заложу» говори, — поучала бабушка, не имеющая тоже никакого маникюра, но проявляющая всегда редкостную чувствительность к русским глаголам. Типа «одену» — «надену», «вдену» — «продену» — «дену», «накрою» — «укрою». И откуда это было в ней?

— Век мне разговор не показать культурный, — согласилась простодушная и заранее во всем виноватая Буся.

Но я-то видел, что она совсем не расстроилась.

— Да уж, по культуре говорить — это тебе не то что там на лавочках с дурами балакать или с хамами болтать. Мать так и не приучилась. Все тоже «ложить» говорила. Все ей было — «ложить» да «наложить». Когда, ясно дело, — «ложить» там или «класть». Так и где ей было-то, бедной, научиться. С деревни — на завод, да оглянуться не успела — так замуж за курсанта, вот тебе и хорошая прописка, да и жилье городское. И комнатка самая светлая и теплая — у меня. Не гнать-то ведь единственного сыночка.

Бабушка поджимала губу. Эпитет «покойная» из ее речи исчез. А появление частоколов «и» показывало крайнее раздражение. Глядя на меня, она начинала магически причесываться, вела округлым гребнем к пучку седин на затылке. Это означало, что она входит в фазу осуждения своего сына — моего отца. Волны такого недовольства, наверно, докатывались в такие вечера и до него, где бы он ни находился. Еще немного, и бабушка начала бы сжигать вычесанные волоски на стеклянной розетке для варенья.

В ней явно было что-то колдовское. А то, что глаз тяжелый, — так это несомненно. Ведь если она меня упреждала: гляди, «упадешь», «слетишь», «опрокинешься» или «навернешься», я точно через какое-то время падал, слетал, опрокидывался и наворачивался. И мне порой чудилось, что глаза ее устроены как стреляющий язык хамелеона. Они опережали меня и всегда подсматривали, где со мной стряется несчастье. На все мои сетования, слезы и вопли она изрекала одно и то же:

— Смотри, я ведь тебе говорила. На тебя йоду не напасешься.

И слово «смотри» я понимал как кругляши ее глаз, способные выкатываться из очков и отдельно от нее повсюду со мной следовать, не упреждая, а только фиксируя мои несчастья.

Буся смолчала. Она ведь была в полном разладе с глаголами. Она, как сороконожка, задумавшаяся о своей сорокостопой походке, впала в речевой ступор. В такие моменты она всегда оправляла на коленях матерью платья. Как-то стыдливо натягивала ее. Будто собиралась штопать несуществующие прорехи.

Надо сказать, что для забвения своих давних обид и поправленных амбиций бабушка была еще очень энергична. Старчество не наделяло ее уступчивостью. А даже больше распаяло. А я был для нее свидетельством рухнувших надежд на выход сына на ту орбиту, где обретаются «настоящие люди». Но что с этим можно было поделать? И я, еще не понимая всей сложности мировых вещей, уже ненавидел эти бабушкины ничего не связывающие союзы, они ведь ничего не соединяли, а действовали ровно наоборот, разделяя и обижая еще сильнее, чем самая поганая нищая жизнь.

Я тихонько бормотал, глядя на ее седой пучок, стишок-дразнилку. Этот стишок я как бы скандировал одними ноздрями, узко вдыхая в себя:

*И-и-и-и и-и-и  
Ишаки икать пошли.*

На «пошли» я, задыхаясь, глядел уже в ее увеличенные мутные глаза за линзами очков.

Глагол «икать» я менял на более дерзкие, а иногда и совсем ругательные, связанные с опорожнением ишачьего организма. В зависимости от количества союзов в бабушкиных речах.

Мне кажется, Буся понимала, что я про себя такое твержу. Ведь она была мне больше чем простая союзница.

Думаю, что вряд ли я смел так же, как Бусю, «наблюдать» мою мать, если бы жизнь дала мне шанс ее хотя бы раз осознанно увидеть, узреть и опознать. Хотя бы во сне. Пусть в самом кратком и мимолетном. Но сны о ней, плотской и ласковой, у меня были так же изытаты, как и она сама. Она мне не являлась во сне.

Мы никогда с Бусей не катаемся на быстрых каруселях, так как меня при одном только виде сидений, висящих на цепях и ровно покачивающихся, начинает тошнить. А Буся после одного несчастливого случая панически боится, что от скорого движения подол ее платья задерется и будет тогда «стыдоба и срамотища».

«Стыдобаисрамотища» — в одно страшное слово.

Она очень предусмотрительна и аккуратна, так как боится этого самого стыда. Он для нее одушевленный объект, следующий всегда за нами следом, куда бы мы ни отправлялись.

Он представлялся мне исполином в пыльном рабочем платье, поворачивающим площадки бессонных глазниц в сторону моей бедной Буси.

Жуть.

Ведь ей в ее одинокой жизни ни при каких обстоятельствах нельзя было осрамиться.

Но однажды я увидел ее первый и последний бунт против этого божества.

Когда жарким летом она, юной озорницей, полной задора, слетела кубарем с сумасшедшего раскрутившегося диска в «комнате смеха» в том самом злосчастном парке.

Маленькие мальчики, ведь надо сказать, не только очень наблюдательны, но и столь же памятьливы. Эта мальчиковая память меня изнуряет. Ее слишком много во мне.

И я помню-помню ее белые-белые топорные, косо-косо стоптанные босоножки. Многократно чиненные. С толстым накатом. Она нерешительно переминалась вместе со мной у чудного заманчивого аттракциона. Недоступного мне, так как «тебя стошнит вмиг». Но она так хотела там впервые в жизни «крутануться».

Тем более два бравых офицера-летчика, ни мгновенья не раздумывая, расположились на опасной конической вертушке. На самой вершине. Будто прилипли — спиной к спине, в самом центре круга. Как сиамские близнецы, выставленные напоказ. Их наглая мужская молодеческая слитность была порочной. Даже я это понял тогда.

О, Буся и бодрые военные — это древний невоплотимый сюжет. Буся была к ним так равнодушна. Ее томили мужские тела, стиснутые кителем, застегнутые на золотые пуговицы. Она разумела в них все самое лучшее — и стать, и доблесть, и верность, и бог знает что еще.

Когда мы проходили мимо офицера или он шествовал мимо нас, ритм и мера ее шага менялись. Стопа ее начинала тянуться по вычурной дуге

по-балерински, по-балетному. О, ведь Буся посещала романтический кружок балета в заводском ДК имени Крупачева. И ставала в бледнейшей пачке корифейкой вблизи самой рампы. С правого края сцены, если глядеть из зала. Она мне об этом много раз говорила. Так что, само собой, на балет мы с ней никогда не ходили, она опасалась, что ей сделается «до слез грустно на душе».

— Лёчики, — тихохонько против своей воли шепнула она мне, моя бедная, совершенно не нужная никаким летчикам в мире Буся.

Вмиг, сделав батман, она купила копеечный билетик. Вручила мне сумочку. Войдя в распахнутые воротца, воссела на низкую пирамидку диска. Подле дуболомов в синей форме. Сбоку-сбоку, как бы у самых кулис. Серый стыд остался топтаться рядом со мной.

Для меня загадка — кем она мнилась себе? Прекрасной вилисой в светлом тканье из чистого света и серебряного дыма, призванной к эфемерному круженью? Никому не доступным женственным соблазном? Легчайшим воплощением тела?

Я ее об этом никогда не спрашивал. Да она бы и не смогла мне ответить.

Может быть, она была в тот краткий миг сама собой? Давным-давно умершей невестой?

Глубоким реверансом она опустила подалее от центра, на приличном расстоянии от оживившихся бравых вояк. Чтобы они ничего там себе не только не позволили, но и подумать не посмели о ней. Она победно взглянула на них. Восстала на краю их никчемной жизни недостижимым зыбким соблазном. (О, как это было комично на самом деле!)

Смерила гордым взглядом и была не удовлетворена осмотром.

Сиамские летчики пребывали в подпитии. Они дураковато терлись спинами, как клоуны.

Она послала мне, оставшемуся за низким бортиком, самый легкий в мире, воздушнейший поцелуй. Она сдунула его с ладони в мою сторону. Как семя одуванчика.

— К середине бы, дура, села, ну шас навернется, — досадливо сказал грязный шкет, стоящий рядом со мной. Я сильнее сжал ее сумку.

— Катаешься! Ток даю!!! — выстрелила тумблером незримая фея аттракциона.

Конечно, фея должна была сказать «катающиеся», но она знала в отличие от Буси, куда выкинет всех «катающихся» необоримая центробежная сила вместе с дурацкой буквой «ю» заодно. И действительно, думаю я теперь, — «ю» это «йу». Этот звук язык скидывает с себя в один присест.

Тембр голоса старой феи не предвещал ничего хорошего. Но я, крепко держа сумку, не успел крикнуть о своих подозрениях Бусе, решившейся на дерзкий шаг, Бусе, раздразившей божество.

Мне начинает казаться, что, может быть, сейчас мое сообщение, когда я это все пишу, наконец ее настигнет. Ведь мне совершенно ясно, что с нею будет через мгновение. Но кто она такая против синклита сил? Электричества, вращения, отталкивания, понурости и смерти, как оказалось, поджидающей ее, если ее жизнь померить взрослым временем, совсем неподалеку.

Сидящие в центре круга два друга-офицера, переглянувшись, белозубо ослабились. Сплотились прямыми спинами, отклячив локти. Как борцы, захватили друг друга в замок. В такое мужское непорочное слияние.

В теле Буси прогнулась истомленная лебедь. Припав крыльями ладошек к глади вод. Ведь она стала совершенно невесома.

Проплыла мимо меня. В волшебном течении.

Оборот, еще один, еще.

Краше ее не было никого.

И еще круг.

И, взревев, диск стал набирать обороты, все скорей и скорей.

И она отклонилась, она словно стала выходить из себя, за все мыслимые пределы дозволенной приличиями позы. Ее корячило. Ее ломало. Ее, наконец, понесло. Ее сдвинуло ближе к краю. Она как-то сплющено завалилась. Бедным поломанным манекеном.

И вылетела, коряво и вульгарно дважды перевернувшись через бок. Ее просто грубо выкинули.

Даже матрасик ограждения грубо навалился на ее сметенное отброшенное тело. Из-под матрасика торчала нижняя половина ее туловища.

— Нуууу, к чертям собачьим, прям с башкой завалило, — присвистнул пацан, стоявший рядом со мной.

Он болел за офицеров. И я вообще-то тоже поставил священную золотую фишку на пару летчиков. Я ведь подло держал за них в кармане специальную волшебную монетку. Другой рукой я мял противную тетскую сумку. Сумка норовила отнять у меня мужество.

В моей голове пронеслось раздраженно: и куда это она полезла, глупая мымра, дурында, Буська, позорище степное, кура щипаная, метизница, балерина дворовая...

Я всегда умел искусно ругаться. В учителях не было отбоя. Я знал семиэтажные матерные поношения. И если бы я так ее обозвал, то под ней точно бы разверзлось тощее устройство круга и мотор бы раздробил ее беленькие косточки. Это пронеслось во мне как ужасное видение. Я сдержался.

Злоба и досада вмиг сменились во мне жалостью и соболезнованием.

О, ведь у нее, у заголившейся на глазах всех зевак мира, из-под платья показались скучные тусклые трусы. Большие, голубые и застиранные. Как у опрокинутой в драке никем не любимой алкоголички. Подол ее «выходного» платья завернулся гораздо выше пояса. Блеснула бедная полоска живота с темным фунтиком пупка и продолговатым родимым пятном. Я все увидел. Она лежала раскорячившись лишь мгновение. Пупок был завязан маленьким узелком. Темный испод бедер, чуть коричневеющий, словно подпаленный у самой пашины...

Я захотел накрыть ее своим телом.

Я простоял в столбняке целый век.

Никто из зевак не успел или не смог засмеяться. Она ведь осрамилась на глазах у всех, рискнув так доверчиво и простодушно. Этот жест доверчивости будто почувствовали. Ее пожалели. Она ссадила в кровь самую нежную в мире коленку. И, забыв обо мне и сумке, она, коряво вскочив на ноги, стремглав побежала наружу, к хилым зеленым, — дриада, надеющаяся спастись если не в дупле, то хотя бы в чащобе.

Вон из этого дьявольского несмешного павильона.

Я со всех ног, оттолкнув поганого мальчишку и расталкивая глупых зевак, бросился за ней, за моей погибающей Бусей<sup>5</sup>.

Сам грозный бог стыда в два человеческих роста ухал за ней следом пыльной горячей тушей, почти наступал ей на голые пятки отвратительными бахилами.

Стоя на асфальте между дощатыми павильонами, не найдя спасительной зелени, под лютым полдненным солнцем, почти не отбрасывая тени, так как это было именно в полдень, она, закрыв лицо руками, рыдала навзрыд. Будто лицо — это самая постыдная часть ее поруганного падением тела.

Она невнятно захлеб редела, причитая. Я разобрал:

---

<sup>5</sup> Она бежала самой женственной в мире манерой, как-то сведя колени, откидывая голени в разные стороны, так, как бегают только аккуратные девочки или русалки, вставшие на плавник. Все женщины в моей жизни бегали, пробегали мимо, убегали от меня всегда иначе, по-мужски, по-спортивно, с резкой азартной отмашкой андрогинов. И, глядя на бегущих, я до сих пор хочу узнать ее манеру бега, но с ее пластикой в чистом виде я не встречался никогда.

— Ай, дура я, дура, ай, дура я, дуреха, ой, какая я бедная, бедная.

Никогда больше я не слышал, чтобы она так сама себя жалела. Этими причитаниями она ранила и наказывала меня. Они были непомерны, вырывающиеся из ее нутра, и до меня дошло, что, кроме этого горя, в ней больше ничего нет. О, я не уберег ее от позора. Не держал монетку за нее. Не кричал ей: «Поберегись, уходи оттуда. Ты ведь погибнешь!» В ней, рыдающей, не оставалось никаких примет, за которые могла бы уцепиться моя жалость. Только утробные всхлипывания — ровные отчаяние и боль, изымающие ее из нормальной жизни.

Я потянул ее к ближайшей лавочке. Она плелась за мной как сомнамбула. В ней тлела лунная нежаркая ночь. Из ссадины на ее коленке уже не сочились узенькая струйка крови. Она стемнела запекающейся линией прямо на моих глазах. Глядя на эту ссадину, я сглатывал свое волнение, соболезнование и досаду на ее поражение.

— Девушка, не надо плакать. С кем не бывает. Мы тоже с парашютом каждый день падаем. Вот, ваты не хотите? От сладкого легче становится и помягче немного, — сказал самый добрый из сиамских летчиков.

Они незаметно подсели на нашу лавочку. Молодец протягивал ей облако розовой ваты на тонкой ножке. Незатейливое лакомство походило на макет микроба.

— Ой, уходите, дураки! Кричать буду! — Она уже, перегнувшись через меня, замахивалась сумочкой на тех самых летчиков — победителей центробежных сил.

Я отделял Бусю от них волшебной горой.

— А кричать не надо, девушка, — обидевшись, серьезно сказал летчик с ватой.

— На хрязи, хржданочка, вам бы надо. У Трускавэц. Нэрвы — это тэбэ нэ шутка, — спокойно прибавил второй.

Он говорил с вопиющим украинским акцентом.

— Ну, Мыкола, похияляи. Во тоже — нэрвнобольная.

Бросив досадливый взгляд на меня и Бусю, друзья похияляи.

И жаркий ветерок снес все — и несостоявшихся ухажеров, и фрикативное «г». Наверно, и не было никого.

Буся теперь заплакала по-настоящему. Горько, без причитаний.

И она, сидящая рядом со мной, не смешала с горючими слезами на своих гладких скулах и щеках ни черную тушь, ни ярую помаду. Так как ими никогда в своей жизни не пользовалась. Ведь у нее была чистейшая кожа, как изысканный тонкий пергамент. Прекрасной розоватой желтизны. Отменной выделки. Кожа с призрачным пушком, если приглядеться вблизи. Если очень-очень-очень близко придвинуться к ее мокрым скулам. К вздрагивающей от рыданий шее с легкими крапинами редких родинок. Ведь в роду у нее, кажется, были калмыки. Но этого не оценили никакие летчики.

Такая внешность случается у скромных простых женщин на нижней Волге, в самой ее дельте.

Вдруг откуда ни возьмись — в русской семье рождаются смуглые детки с чуть раскосыми очами и высокими боевыми скулами.

Она горько беззвучно плакала, буквально проливая себя через край. Слезы стекали как из источника, уже не язвя и не мучая меня.

Я очнулся с ней рядом.

На парковой лавочке в теплом кольце объятий, в запахе женского тела, лицом на ее груди. Она будто со мной прощалась, будто она смирилась с разлукой.

Ведь тогда от нас впервые отвернулся наистрожайший Бусин бог стыда.

И я понял, что она совсем другая, что она совсем не моя мать, не моя тусклая невнятная греза, а просто — она. Мягчайшая и теплая. Сидящая рядом. Только что взхлеб рыдавшая и целовавшая меня.

От ее слез кожа на моем лице сделалась липкой. Но я постеснялся утереться. Я серьезно делал вид, что все в порядке. Мы просто пришли в наш городской убогий парк культуры и отдыха погулять.

Прямо за нашей лавочкой посреди хилого цветника грузно паслось серебристое животное существо. Понутив тяжелую голову с короной в самую почву, оно не сходило с низкого серого постамента.

Я прочел вслух выпуклую надпись:

...лень

Буся, примирительно всхлипнув, тихонько засмеялась.

С ее зареванного лица слетела нежнейшая улыбка, блеснула бенгальским лучиком золотая коронка, одна-единственная, но такая заметная в ровном белейшем ряду. Я и сейчас помню, что это был нижний резец, чуть левее, поближе к уголку улыбнувшегося, еще вздрагивающего рта.

Мы умылись двумя копеечными стаканами простой газировки.

— А Николай симпатичный даже, чернявый такой, — сказала она в сторону пруда.

Сказала самой себе.

В зеленке пруда лодки плавали щедрыми клецками.

Ее первое публичное падение было, как мне понятно теперь, неким видимым расстройством и зримым свидетельством уже неостановимого разлада. Ведь ее сбрасывала со своей орбиты сама жизнь, которой она была так безропотно предана, к которой она так низменно ластилась, у которой она ничего никогда не просила и которую она никогда не проклинала.

— В парке, когда нагулялись, с симпатичными летчиками-парашютистами познакомились. Сладкой ватой угощали. Розовой. Даже хотели адресами обменяться. Николаю на границу ехать заменяться вскоре. На Дальний Восток. Куда мне-то на этот самый Дальний Восток? Там и профессии моей наверняка и нет. Одни леса да болота.

Она это сообщила столь значительно, что передо мной повисла карта Дальнего Востока. В серебряном самолете Николай проник облака.

Но бабушка, помолчав, заметила:

— С парашютистами? В парке прямо? Но не «обменяться», Любовь, а «поменяться». Это жилплощадью можно обменяться. Да и не «нагулялись», а «нагуляли». Тьфу ты, что я! «Нагуляли» — это ребеночка вполне можно нагулять. Конечно, «погуляли». Да, надо по-правильному — «погуляли».

И она глянула на меня, ребеночка, нагулянного ее военным сынком. Ребеночек вообще-то все про все понимал.

Бабушка никогда не могла лишиться себя сладости поученья. С ней было лучше говорить безглагольно. Оборванными дефектными предложениями.

Ей вообще-то нравился только один вид глаголов — особенного вечно совершаемого времени, самого совершенного вида. С пафосом неиссякания. К таким глаголам легко мысленно приставлялись наречия «всегда», «вечно», «постоянно», «неизменно», «как обычно». Так она изживала банальный страх смерти<sup>6</sup>.

— А что ты, Буся, на них дураками обозвалась, — вставил я предательскую реплику, мне отчего-то было жалко, что офицеры похилили.

— Не «обозвалась», а «обозвала», а грамотно по-русски: «назвала». А правда, почему же — дураками, Любовь? Если парашютисты, так сразу тебе и дураками. Они и по земле, замечу тебе, могут ходить, как люди нормальные. Да и парашютисты не все, прямо знаешь, и дураки тебе как на подбор.

<sup>6</sup> Так она боролась с беззаконием своей жизни, делающим из ее еще крепкого тела старуху. И она старалась судорожно восстановить порядок, начиная хотя бы со своего языка.

Бабушка говорила уже сама с собою, плавно перейдя к былинному распеву. Взор ее восшел к потолку.

Ведь она чувствовала себя народом, хранила в себе стихию языка и обращалась к ней, когда вдруг начинала мыслить вслух. Будто она сама для себя — толика непомерного, как море-окиян, чуть колеблемого эпоса.

— Не дураки как на подбор, а «богатыри как на подбор», — сообщил я цитату из классика. Мне тоже надо было принять участие в дискуссии.

— И не умничай, — глянула на меня с едва заметной улыбкой бабушка.

Бедная Буся стихла и потупилась. Я ведь сам, того не желая, грубо отобрал у нее легенду о безупречных небесных офицерах.

— Вы не поверите, но за два дня все как по новой перечла. Прямо опять до слез, аж забыла, про что раньше читала, — тарыхтела она моей бабушке о турецкой книжке «Королек — птичка певчая», читанной ею в десятый раз.

— Не поверите, но и в третий раз прямо как вкопанная просидела. И он и не шелохнулся даже. И в антракте, не поверите, опять мороженое ели — хороший такой пломбир из белых вазочек, по сто пятьдесят, — умильно ворковала в другой раз она, полная тихого свечения, о спектакле ТЮЗа, куда опять хаживала со мною в срединедельный выходной.

Это был «Аленький цветочек». Каникулярное представление.

Люминесцентное чудище выкатывалось светящимся буфером из темного бархатного депо и через миг под барабанный грохот и молниевые вспышки оборачивалось крашеным парнем. Кажется, этой метаморфозы она пугалась сама и крепко в театральной кромешности сжимала мою ладонь, будто просила защиты.

В каком-то смысле я и был ее плотно эшелонированной защитой, взрослеющим смыслом, она меня ведь тоже растила. В рыхлости одинокой жизни — сначала общежитской, а потом коммунальной.

И я не сопротивлялся и не перечил ей. Только иногда подглядывал.

Ведь это была для нее все-таки прелестная игра в живую жизнь с живым взрослеющим мальчиком, за которого она дрожала куда больше, чем переживала бы родная мать. Но отвечала за него все же меньше — и своим ограниченным временем, и привязанной к нему свободой. И этот ее игровой смысл в моем детском бытии и ненастоящий статус я хорошо разумел тогда.

Траченный, тончайший флер завода в любой сезон колебался в такт Бусиному телу. Она оставляла за собой такой узенький след, как очень высоко летящий боевой самолет. И мне казалось, что я всегда смогу ее найти. По этому фантастическому несуществующему нитевидному изъязвлению времени.

Но все-таки она волшебю подныривала ко мне из совершенно непонятной стихии, связанной только лишь с мифической «памятью матери», о которой я на самом-то деле почти и не помнил, а только самоуглубленно фантазировал, глядя на фотокарточку.

Даже те крохотные эпизоды, в чьей достоверности как на иконе клялась и божилась моя бабушка, были, и я доподлинно знал это, измышлены только мной самим.

Ведь это складывалось вольным стихотворением.

А кто им верит, кроме самих поэтов.

Итак, я начинаю скандировать, помахивая рукой от возбуждения:

Я-не-помнил-ни-как-мать-ехала-в-больницу.

Ни-как-она-стояла-горестно-в-дверях.

Ни-как-взглянула-на-меня-так-печально.

Ни-как-я-зарывался-в-подол-ее-оснеженного-холодного-пальто.

Когда-она-она-она-вернулась-за-чем-то-чем-то-из-скорой-помощи.



Все ведь произошло на самом-то деле тихо и совсем без меня.  
 Ее просто-напросто изъяли. Изъяли.  
 Отец.  
 Болезнь.  
 Случай.  
 Или все они вместе.

— Ой, она тебя как пеленала-кутала, ой, грудью кормила, баловала-тешила, над тобой баяла-баюкала, — как меня упрекала моя причитающая Буся.

Если уличала в чем-то плохом.

Но, как все мальчики, я был и скрытен, и хитер.

Так что к этой тяжелой артиллерии страшных упреков ей почти не водилось прибегать.

Мне до сих пор кажется, что Буся без меня и не жила вовсе, а ожидала, притаившись в смутных недрах воспоминаний о моей матери, очередной возможности прийти к нам, материализоваться в молодую женщину, перестать быть неживой вещью, робкой обворованной нежитью из бедлама общаги или опустошенным атрибутом своего молоха-завода.

Моя подрастающая персона долгие годы была чуть ли не единственным настоящим противовесом Бусиному общежитскому прозябанию.

Девки-соседки — на хамские гулянки с потными козлами, а она — в приличный дом моей бабушки на чай с печеньем-вареньем, разговорами-поучениями правильно говорить по-русски.

И чем дальше мой вдовый отец-офицер отдалялся от меня и бабушки, тем чаще проявлялась, выйдя из-под руин сумбурных заводских выходных, одинокая станочница шестого разряда — безотказная и незаменимая легкая Буся. Ближайшая подруга моей матери, которую, как говаривала, глубоко вздохнув, будет «помнить вечно». Ее землячка «по детству». Односельчанка «по юности лет». Лучшая подруга «по заводским делам». Душевная поверенная бедной жены настоящего офицера.

И этот сложный странный статус был для нее так важен.

Но она однажды начала по-иному говорить о себе.

В ее речи наметилась новая интонация согласия и безразличия, будто она до конца себе не верила, а может быть, боялась сглазить:

— Вот, значит, стою в заводе на очереди. И не поверите — и опять, на тебе, отмечаться. Вот папка — и всё одни документы со справками. Они же всё сами про меня там знают. Ан нет. Давай им бумаг кипу. Но отмечаться так отмечаться<sup>7</sup>.

Но все же в ее тихом голосе главенствовала смутная степень достоинства, равного понурости. Как новая зависимость и еще большая несвобода.

Невидимая абстрактная очередь теснила ее, будто была плотским усилием, прилагаемым к Бусиному телу. Буся должна была ее переживать всю свою рабочую скользкую пятитдневку. Пропускать сквозь себя, как дождевой червь проглоченную нескончаемую почву. Чтобы двигаться по этой блаженной очереди вперед. Как маленькое безобидное существо, шагок за шагочком.

И вот на ее лице можно было прочесть новые серьезные выражения — блаженной кротости и согласности.

Она ведь из стокомнатной унижительной коридорной коммуналки должна была когда-то в будущем торжественно въехать в абсолютно отдельную квартирку со всеми упоительными непривычными особенностями. От туалета — где унитаз со стульчаком, не согреваемый никем, кроме тебя, до

<sup>7</sup> Эти «им» чудятся мне сонмом божеств, находящихся где-то там. Синклитом из букв. Превращающим слово «там» в недоступность, прозрачность и вездесущность.

газа, искренне свистящего только тебе, не говоря о горячей воде, о ее бескорыстном даре.

Она так и говорила, одним тянущимся прилагательным, словно сглатывала остаток растворившейся между нёбом и языком конфетки, — «вадельную». Будто подзывала ее, незаметно причмокивая. Уговаривала проявиться из тех водянистых местностей, именуемых неопределенным местоимением смутного, еле бредущего времени — «когда-то».

Полуторная кровать на колесиках с блестящими металлическими дугами, ореховой вставкой изголовья переехала к Бусе в ту пору, когда она переехала в коридорную коммуналку из удушающего улья общаги.

Такой гигантский дом, начала двадцатых, когда полагали, что нет ничего радостней, нежели поесть питательную еду, сварганенную на фабрике-кухне. В прямые железнодорожные рекреации выходили только двери одинаковых комнат и редких сортиров. Домина несся куда-то, опоясанный и внутри и снаружи — по коридорам и фасадам — летящими лентами беспрерывных грязных окон.

Но это была ее первая убедительная победа на пути к настоящей «отдельности».

Там, в чистой комнате, стояла кровать моей покойной матери, лучшей Бусиной подруги и землячки, жены настоящего офицера.

Офицер офицерил в смутном далеке.

Так говорила о своем сыне, моем отце, бабушка — чудесным выразительным глаголом «офицерить». Именно офицерить, а не служить.

Даром этого ложа бабуля окончательно разлучала его и мою покойную мать. Даже умершая, она не оставляла в покое бабушкино ревнивое сердце.

А я, по правде говоря, не любил эти прогибающиеся панцирные кровати. На них было хорошо прыгать, легко взлетая к низкому потолку. Как на батуте.

Я думал иногда, что и мать, чуть похлопав слабой ладонью простыни, легко и неостановимо взвилась со своей постели прямо в небеса. Ведь на это у нее должно было достать сил, даже когда она так тяжело болела и с постели почти не вставала.

И я никогда не сожалел о потере этих летательных кроватей. Тем более одна из них и не исчезала из моей дальнейшей жизни. Мне помнится, как искажалось мое лицо в поблескивающих дугах.

Тогда-то и произошло это наложение — меня, моего облика, взрослой Буси, промелькнувшей рядом, и моего невоплощенного поиска. Где же я потерял впервые свой облик? В выпуклом боку электрического чайника с надвинутой набекрень ватной Солохой? В черной глубине незадернутого окна? В блестящей хромированной дужке кровати?

— А ведь могли раньше-то хромировать, слоя не жалели, держали в гальваничке столько, сколько для ГОСТа держать надо, — довольно заключила Буся, перехватив мой взор, блуждающий по блестящим сегментам.

— Не рассказывай только мне снова про вашу гальваничку, пожалуйста, — просил я ее чуть-чуть язвительно.

— Да уж, чего там рассказывать, по сути — липко там все, вонь одна да лужи едкие на бетоне.

И она не прибавила свое извечное «не поверишь». Ибо та жизнь была для нее вовсе не веселым двоящим зеркалом, куда она с удивленьем смотрелась, не веря тому, что вот так легко и незатейливо существует — и в его стеклянной полости, и сама по себе, — стоит только перевести взор на свое собственное плечо или руку.

Но она жестко знала, что на самом деле существует только там, где есть большие гальванические ванны, быстрые станки, сорящие жесткими завитками, где в дальнем конце участок литья и жужжащие козловые краны.

Там есть доплаты за вредность, там есть льготы, премии и прогрессивки, там есть продуктовые пайки и небольшая надежда.

Буся о чем-то говорила с бабушкой, и я запомнил реплику:

— Да я словно как Тонька-учетчица стану, что ли? За каждый рубль орать, что ли? Словно мне и этих денег на жизнь не хватает.

Бабушка напряглась. Ей вообще-то были безразличны Бусины денежные перипетии, но она возбудилась, как охотничья собака звуком рожка. Она подобралась, мгновенно похудела и даже сглотнула. Она думала совершенно о другом. Ей открывалась глубинная суть языка, о котором она не переставала думать, мусолить свой стареющий ум, наливаясь важностью и значительностью.

Это был редкий случай.

Она набрела на наречие «словно».

Простенькое только на первый взгляд.

Она набрела на него, как такса на лисью нору, и бесстрашно ввинтилась в муторный ад смыслов.

Она провозгласила:

— Вот-вот, «словно»... Ты, Любовь, все «словно» всегда говоришь. А «словно» — ведь значит только на словах что-то сделать. Не по-настоящему.

Бабушка сама поразилась своему открытию. Она заскандировала, углубляясь в самые дебри слова:

— «Слов-но», «слов-но», слышишь, «слов-но»? А на деле, не на словах, Любовь, а тебе, может, эти деньги-то и не нужны. Вот можно и ничего тебе не давать, в смысле — полочки не платить.

Буся опешила. Она нервно поправила волосы:

— Почему это не нужны, а как я без них вообще жить-то стану? В магазин просто так ведь не зайдешь с дырой в кармане.

— А зачем «словно» к ним, к деньгам своим, тогда употребляешь? Так все тебя на заводе понимают. Как скажешь: «словно мне надо», так все и думают, что на деле-то ничего тебе и не надо. Ты, Любовь, не «словно» говори, а если без него не можешь никак, так и скажи им: «вынь да положи до-словно». Чтоб они до всяких твоих «словно» как надо на деле платили.

Бабушка легко путала бедную Бусю, и та входила в недоумение и сокрушенно кивала. Мере почтительного доверия, что Буся испытывала перед бабушкиной демагогией, не было предела. Может быть, на этом и держались их странные взаимоотношения. И потом, Буся все-таки очень ей помогала. Но главное, не «помогала», а «внимала».

«Внимала, внимали, внимало», — твержу я про себя.

Можно и в три слова «в ни мало».

Говорят же: ни много ни мало.

Если еще задуматься, то смысл вообще исчезнет.

## V

Весной перед нашими окнами начинали влажно коричневеть побеги сирени. Еще безлистые кусты переставали быть прозрачными, и их несуществующая зелень заявляла о себе робостью, расцветала, не проявившись призрачным обещанием, незримо благоговела.

Ветер, задувающий по вечерам из степи, отдавал теплой газировкой, которая согрелась, стала липкой и чуть-чуть запахла. Бабушка уже не сутулилась, из ее пучка переставали выпадать космы, эта пора молодила ее. Она не говорила о смерти.

И однажды, после внезапной весны, она словно на что-то решилась и легко отпустила меня с Любой посмотреть на нижнюю Волгу, на родину

моей матери, может быть, найти там кого-то из дальней родни. Чтобы я иногда к ним ездил, а не только сидел в четырех стенах. Может быть, она таким образом хотела найти противовес отцу. Она ведь понимала, что со мной что-то произошло — после тех осенних каникул, проведенных с ним.

У Любы наконец-то выдался отпуск — летний, а не зимний, самый настоящий. Она предвкушала долгий бесконечный отдых. У нее были отгулы. У нее были донорские дни. И она говорила о том, как любит плавать «по теплыни» вечером, как в молоке. Как любит волжскую рыбу во всех видах — жареную-пареную-сушеную-копченую. И по большому секрету, что у нее нет и, наверное, не будет там на осетрину сытости. А осетрина — браконьерская, почти что дармовая, и ее ловит на кукан один ее ухажер. И как здорово она плавала бог знает когда с моей матерью через русло в пойму. Где даже есть лотосы. Но рвать их нельзя — плохая примета. Можно умереть во время дневного сна.

После фразы о смерти во сне она растерянно замолкает, понимая, что сказала что-то запретное, нарушила обет, глупо проговорилась. Она виновато смотрит на меня. Я делаю вид, что ничего не понял. Что это имеет отношение вообще к кому-то, но только не к моей матери.

Простые рассказы о жарких изобильных чудесах она перемежала обычным своим «не веришь». Но я ей верил. И по мере приближения к далекому селу браконьеров и потаенных огородников я убеждался в полном правдоподобии ее тихих, как вода, речей.

Мы плыли мимо самого покойного пейзажа.

Заросли прозрачного тамариска — зыбкий и неподвижный огонь. Он исчезает, замерев, и проявляется, припадая к низменной почве дельты, лаская ее, не зная конвульсий. Его ничто не может изнурить. Он почти сливается с водой в хроническую, ничем не возмущаемую ровность. Это созерцание чудного вида — особенный культ плоскости. Упраздняющий все иное, когда-либо виденное мною.

Пелена низких деревьев совсем не похожа на обычную листовую зелень, на хвойный добросовестный грим. Они ничего не маскируют. И, будучи неотъемлемой частью видимости, преуменьшают ее, делают иллюзией, миражем, заставляют сомневаться в остроте своего зрения. Трансформируют эту видимость в пронзительные чувства — мягкости, утраты, легкости и невозможности. В них же самих, кроме поименованных качеств, нет ничего. Только — чистая легкость и безвозмездная трата созерцания.

Я сразу начинаю думать об огне. Он мерещится мне почти невидимым, перемешанным с ярким солнечным светом.

Эфемерный дневной костер слижет остатки скудной травы, соблазняя их принять себя и непоправимо разгореться. Ведь под ярким солнцем почти не будет видно пламени.

Призрачные тамариски — лучшая растительность в мире.

Они проползают кулисой мимо нас. Во время летнего путешествия на ее родину, в село, затерянное в Волжской дельте. Там, где Волга, Ахтуба, Мумра, коренники и ерики промывают столешницу ландшафта.

Мы с утра плывем по течению из самой Астрахани на неказистом катерке, и мне кажется, что я уже врос по пояс в землю, так как горизонта не видно, он нетрезво заваливается в сплошную плоскость, налитую всклянь с синевой небес. Редкие подмытые течением вёты, тающие вспышки дерев, траченные декорации слабых прибрежных сел.

Все предстоящее мне отполировано жаром, ветром и нашим зрением.

Жар этого дня делался видимым, он садился розовой вывернутостью на ослепленную почву. Жаркий вес атмосферного столба, который удерживали святые, ушедшие еще дальше в пустыню, делается различимым.

Святой Павел и святой Антоний, например.

Вот и крупная птица, что приносила святому Павлу половинку хлеба. Она реет на одном месте. В клюве у нее ничего нет.

И зрелище, насыщающее меня, поражало особой свежестью, так как к нему никогда не было обращено ни одного культурного жеста, никто не пытался превратить его в интеллектуальный пейзаж, состоящий из трех параллельных полос цветного скотча, и никто не похищал у него слабой сладости переизбытка.

Он был свержчистым, но понурые долгие годы, смывающие реку с него, его не дистиллировали. В нем были сложные нервные остатки. В нем одно-моментно наличествовали закат и заря. В нем не было ни полтакта цивилизации. И его прекрасная тавтология, не становясь скукой, сразу обращалась в чистую, но безутешную прибыль. Расточительству не было предела. Я был обогащен. Все было притупленным, сказочно богатым и одномерным.

Лента зрелища двигалась мимо меня с сухим непостижимым скрипом: и мне чудилось, дали, равные первому плану, тоже пахнут сухим трением. Воздуха о песок. Ветра о глину...

Никогда никакая литература не разворачивала на этом фоне свои утешения. Этим местам осталась только интрига болезни, чреватая бескоробной утратой. Я понял со всей очевидностью, что означает эпитет «безропотное».

Персонажи маленькой команды — четыре человека, едва ли больше, носятся, бросая друг в друга скользкие залихватские термины, перемешанные с ругательствами. Термины оснастки я не могу запомнить, поэтому они и кажутся мне скользкими. Они раскидывают их, как силки, сами попадая в словесную петлю то голой рукой, то ногой в домашней тапке. На Волге летом все норовят обуться в домашние разношенные тапочки, шлёнцы. Их ткань если не выносились до дыр, то задубела от пота. Этот расслабленный атрибут сообщает их движениям укромную домашность. Они вот-вот затанцуют. На корабле все становятся семьей. Чуют свою обшую не волчью кровь. И здесь, в среде родственников, себе можно позволить больше, чем на берегу.

Я это хорошо чувствую.

Суэта корявых парней похожа на отрепетированный куртуазный балет. Назначенная функция и любимая роль, — когда они залихватски перехватывают причальный конец, накручивают его бухтами на кнехт, спихивают сходни и как бы невзначай кажут пассажирам свои магические татуировки, — пританцовывая, они входят друг в друга, как блестящие шестерни. Мне кажется, что и теснота между их телами теплеет и становится вязкой и скользкой, как тавот.

На берегу им останется только пить горькую, лузгать подсолнух и скучно ждать смерти.

Это непревзойденный спектакль.

Вот к ровным кулисам невидимые служители подвели лодку...

Парни легко управляют с ходом суденышка по створу. От бакена к бакену или по свободному, видимому только рулевому рисунку свеженамытого дна, выворачивая ход иногда чуть ли не в обратную сторону. Русло все время меняется, и легкая наглая бравада моториста, капитана и матросов вполне оправданы. Они постоянно прикуривают друг у друга. Будто их папиросы гаснут на ярком ветру. Кажется, что на всю команду у них всего один коробок спичек. И самый частый жест, которым они обмениваются, — нежный захват и робкая передача толики пламени из ладони в ладонь, из горсти в горсть.

От села к селу, от пристани к пристани они посылают по матушке наглых крикливых баб, желающих сесть без билета, наводят порядок, гипнотически утихомиривают пьяного, дающего дурацкие советы, со всей серьезностью обещают в Мумре его, уже полумертвого от жары и хмеля, утопить. Пьяный садится на палубу как оползень, стекленеет, делается частью неугрожающего сюжета. Его вот-вот размочит день.

Они все вмещены в ландшафт, проявляются его всеобщим качеством, сглаживающим непорядок.

Лихой грузовик тащит над собой высокий султан пыли. Как наперегонки. Тоже только для того, чтобы подчеркнуть прямую линию берега. Апогей неизменности...

Буся ловко чистит крупную серебряную воблу, отделяя от хребта спинку, выпотрашивает из-под ребер, как из шкатулки, ссохшуюся икру. Раскладывает у себя на коленях тугие малосольные огурцы. «Нежинские», — зовет она их.

Она кормит меня с рук, чуть прикасаясь пальцами к моим губам. И это не совсем игра. Кормит, едва задерживая подушечки пальцев на моих губах, так, чтобы я успевал их чуть прикусывать. Я принимаю эту прелестную гастрономическую идиллию. И начинаю тоже в ответ кормить ее так же. Оказалось, что мне ничего не стоит сломать этот незримый барьер. И она, моя ласковая Люба, так мягко, так мягко прихватывала мои пальцы, как добрая доверчивая кобыла<sup>8</sup>.

Когда я о том дне вспоминаю, в подушечки моих пальцев вселяется странная, удивительная мягкость, будто я их когда-то чуть-чуть, совсем не больно опалил и они так и не зажили.

И я был не в силах оторваться от Бусиных губ, сухо прихватывающих мои пальцы. Я бы скормил ей миллион нежинских нежнейших огурчиков. Я бы облизал свои пальцы после ее рта. Но на это я не решился.

Я обращаю внимание на странную сцену.

Молодая, даже очень молодая цыганка на другом краю суденышка. Она странно тетёшкает ребенка, она зарывается в него лицом, и вдруг я понимаю, что она просто-напросто вылизывает его тельце. Он заброшен кулем за ее спину, и она, выворачивая шею, с безразличным усердием лижет и обсасывает его грязные пальчики, лижет руки по локоть, плечи, затылок, шею. Малыш ей с удовольствием подставляется, как ласковое безропотное животное.

Он полон животного, почти непристойного довольства.

Буся шепчет мне на ухо: «А ты хочешь, цыганенок, чтобы я тебя так облизывала?»

Но я не цыганенок.

Я не знаю, хочу ли я этого...

Я смущен.

Но на самом деле она мне этого не шептала, но посмотрела так, что наверняка именно это подумала.

Люди, едущие с нами, — невероятно далекие — как в кино, почти недостижимые. Выразительные и словно стертые, всякие. Есть очень красивые, но какие-то подозрительные — из искусственного нелюдского вещества. Как этот парень, стоящий метрах в пяти, прекрасного облика, не подозревающий о самом себе ничего. Он нас не видит. Он эманировал безупречным телом в пустоту дня, как в пучину, совсем не растрчивая себя. На нем только одни подвернутые штаны. Пачка сигарет за поясом. Все. Неужели он проиграл рубашку? Пропил сандалии? Он мог бы играть за деньги напоказ в русские игры — в бабки, свайку, городки, сияя нестыдной голлизной, не изнуряя ни себя, ни соглядатая. Казалось, оперевшись о борт, глядя вдаль, он что-то ждал и уже изнемог от одиночества.

---

<sup>8</sup> Это вовсе не грубое сравнение. Ведь в те времена еще не вымер гужевой транспорт. И кубик рафинада, легко подбираемый с руки понурой лошадкой лишь одним дыханием, исчезнув с ладони, образовывал самую нежнейшую в мире выемку. В детстве моих ладоней никто нежнее глупой кобылы не касался. Я бы точно это запомнил. Но ни мать, по известной, не зависящей от нее причине, ни отец, по причине совершенно обратного свойства, ничего подобного не оставили в моей тактильной памяти.

Он пребывал настолько во внешнем однообразии, что мог бы оказаться глухонемым, вообще не иметь никакой психической структуры. Как изваяние, неотъемлемое от забранного сеткой невысокого борта, от образа ожидания, которому он служил аллегорией. И если бы в него ударила молния — он бы рассыпался в восхитительное крошево. В иных связях представить его было невозможно. В этой статуарности не было ничего косного, он неукоснительно занимал место, отведенное только ему в жерле этого дня, не имеющего конца. Давал свободно читать себя как воплощенное единство — времени, простертого в эту даль, не принадлежащего никому, и теплого ветра, удостоверяющего, что мы все-таки есть и разделены и любовь глубже эпидермы не проникнет.

На железной палубе, выкрашенной глухой голубой краской, он стоял босым — и тощие щиколотки и длинные пальцы его стоп будто намекали, что до греческих колоний уже совсем близко. А мы — я и Люба — дремучие азиаты против него. Глядя на его фигуру, в чьей плавной завершенности проступало так много женского, я только просил, чтобы он молчал, не плевал в воду, вообще не двигался. И он будто услышал меня. Самая большая загадка — что же он созерцал в той стороне, где взору было не за что зацепиться? И он, едва слабая телом, будто бы оплывал в самого себя.

Я все понял про его прошлое: со всей очевидностью он походил на свою мать, будто сверх меры счастливо пробыл в околоплодных водах. Ведь безмятежность, плавкость и податливость проистекают именно от этого. Походя на отца, я это качество всегда остро чувствовал. И безошибочно и ревниво различал во всех, невзирая на возраст, положение и пол, неискоренимые следы чужого счастливого детства<sup>9</sup>.

Парень где-то сошел. Как и был — босым. С тем же багажом — пачкой сигарет и спичками.

На самой корме на лавочке восседает странная недвижимая пара пожилых аккуратно одетых людей. Они настолько аккуратны, что в этом есть избыток и надрыв. Женщина в легкой косынке, повязанной не по-деревенски. Он — в пиджаке в такую жару. Это супружеская чета. Наверное, учителя. Они занимаются очень странным для этой летней поры делом. Он держит пряжу, а она наматывает клубок. Они связаны этим занятием и друг другом. Очевидно, что они будут и зимовать здесь. Иначе — зачем им эти клубки серой пряжи? Мне кажется, что они счастливы.

Мимо выразительно и бойко пробегает самый ловкий и самый молодой матрос, ответственный за чалку. Его голая рука пестрит свежими морскими наколками, хотя он плавает только по пресным рекам, то и дело меняющим русло, и мелким-мелким протокам. Но я чую тонким слоем своего телесного вещества, что простирается под самой моей кожей, как на мои плечи и мою спину ложится колючая пенька его завистливого недоброго взора. Как он упирается в меня и царапает.

В Мумре по вздохам еле идет матерая бабища. Наконец-то добралась до своего села. Возраст ее трудно поддается определению. Может, и тридцать шесть, а может, и шестьдесят три. Ее ядренность состоит не в этих сомнительных цифрах. Она, полная сил, грузенная всякими городскими

<sup>9</sup> Мне известно только одно преодоление этого прекрасного закона, тупая победительная сила материнского, — подросток-мулатик, обретающийся на соседней улице, «нагулянный» в столице обычной теткой. Он, томно-коричневатый и тонкий до вычурности, абсолютный африканец, сын своего далекого быстрого папули-эфиопа, словно в шутку или отместку был начисто лишен экзотической для наших мест плавности, двигался тупо и жестко, будто его африканские суставы были смазаны русским солидолом, будто мать насильственно отучила его от всего отцовского. Он был так похож на отца, что материнское ревниво затмило в нем эту видимую истину, вошло в него противоречием и, очевидно, разрушило его. Казалось, что он был сделан вторично, переплавлен и затвердел при неправильных русских температурах. В своей крошечной жестикующей он и оставался сыном унылости и предопределенности. Потом он пропал. Слово жестко опрокинулось кеглей за край. Спился? Сел? Сбежал в Африку? Никто ничего про него толком не знал.

покупками, гневно приостановилась на качающихся сходнях. Зыркнула в нашу сторону. И звонко сплюнула вниз. В теплую воду полетела целая пригоршня едкой жижи. Движения бабы распались на выразительные ритуальные фазы. Верно, она давно, сидя на своем барахле неподалеку от нас, репетировала эту шаманскую сцену. В дыме негодования она сошла на берег.

— Когда в воду, то ни за что не сглазит. Вот, тварь, зараза какая, — быстро затараторила очнувшаяся Буся и сама сухо дунула в сторону тетки: тыфу-тыфу-тыфу. — Вот ежели в золу еще теплую плюнуть, то такое может быть, не дай Бог, не поверишь.

Буся тыфует трижды, «перекрывает» сглаз.

Катерок, будто не в силах больше бороться с течением, отчаливает от ржавого, разошедшегося дебаркадера, и корявая надпись «Мумра» делается все меньше и меньше. Матрос сворачивает растрепанный канат в бухту. У самых наших ног лежит пеньковая змея. Он, пробегая мимо, чуть не задевает нас. В этом есть наглость и вызов.

— Ты чё, балда, так гоношишься? Смотри, сейчас твой канат как на ухо повешу, добегаешься тут. Не веришь? — серьезно, но не зло говорит ему Буся.

Парень замирает на месте, как речная птица, скребет свежий след на колки на тыльной стороне лапы. Она не спускает с него взгляда. Он, конечно, ей верит. Людей он чувствует. Он жует пустую слону напряженными губами, будто собирается сплунуть. Но и на этот жест не решается.

Я сначала увидел их серо-серебристую стайку. Они возникли из ничего. Мне показалось, что они охотятся на нас — стая маленьких быстрых самолетов, легко взмывающих над низким побережьем.

Сборы, полигоны, ученья.

Мне кажется, что они несутся не согласно точному расчету, а по крошечной воле рока. Указывая мне на силу перемены, что властвует сейчас и надо мной.

Тут же за ними наваливается рев, смывающий меня.

Мне показалось, что после их пролета я прижался к Бусе по-настоящему — безоглядно и искренне. Кто еще мог послужить мне заслоном?

Они взмывают почти над нами, и мне кажется, что меня обдает гарью и жаром. Но это — тепло Буси, в чье лицо я уткнулся своим.

Она, наверное, хочет мне тихонечко сказать: «Хочу, чтобы они еще раз пролетели и ты испугался».

Но она шепнула мне:

— Летчиком ты не станешь...

— А я и не хочу летчиком<sup>10</sup>.

Я смотрю в Бусино ухо. Оно легко закручено в мелкую раковину, и я стараюсь говорить, чтобы слова удобно улеглись, уместились в ней, приняв форму маленькой низкой волны. Что я говорил? Этого уже не узнать. Она поворачивает раковину ко мне так, что мне чудится — я губами лов-

---

<sup>10</sup> Ведь я после, после всего узнал, как она хотела выйти замуж за офицера, но их вокруг нее не наблюдалось, как она хотела поехать в Москву и познакомиться с порядочным офицером из академии, но все порядочные были разобраны. И куда ей было вообще-то ехать, ведь незримо и неотступно за ней влачил шлейф ее завода с запахом каленой стружки и масла, сочащегося на детали, которые она точила и на токарном станке, на фрезерном и даже на револьверном. И солидол, его липкий низкий флер тащился за ней как конвой, куда бы она ни пошла после утренней, вечерней или ночной смены. И во мне она любила несостоявшегося офицера, которым мог стать почти любой мужчина, имей он какое-никакое высшее образование. Она рассказала мне, как моя мать отбила у нее ухажера, быстро ставшего моим отцом. Как «отбила»? Я повторил ее боевой глагол. Какая между вами проистекала бойня? И я представил себе амазонок в легких доспехах, идущих на ловитву ослабленных службой офицеров.



лю тепло отраженного воздуха, принесшего ей мои слова. Гладкого, чуть желтоватого воздуха.

Она едва склоняла голову, она пересекала невидимый рубеж и делалась печальной.

И сладкая субстанция схватывала мое сердце и подгоняла редкими толчками не кровь, нет — неповоротливую лимфу. Почему-то я чувствовал колкую легкость в своих стопах, как будто должен был куда-то прыгнуть — в самую глубину. А может, взлететь — босым и полегчавшим.

Я скашивал глаза и замечал зеленую плотную массу реки; ее в пароксизме брезгливости отталкивал от себя наш катерок.

И представил себя утопающим, и передо мной вся моя жизнь, какую я только мог за мгновение вспомнить, быстрее этой мысли пронеслась.

Из самой далекой кулисы памяти невидимые служители сцены выкатили экран, и невидимый проектор показал быстрое жестокое кино. Не смотреть туда было нельзя. Оно пронеслось белым мерцанием. Оно было про меня. Мне сделалось больно, и я вдруг понял, увидел воочию, что у меня толком ничего нет.

Совсем ничего, кроме этой нежной, желто-розовой створки уха, ничего, кроме этой мягкой мочки, этой глупой сережки с красным камешком, — у меня в моей жизни не было. И не малость этого достоинства, а отсутствие всего другого, что должно быть у человека, повергло меня в печаль и немочь.

Я вдруг все про самого себя понял, но не так, как разумел множество раз и говорил себе всякие суровые жесткие слова, а иначе, совсем по-новому. Не словами, а телом. Рот мой сжался, и зубы непроизвольно скрипнули, словно срослись. Это самый отвратительный, самый кислый звук людского нутра. Его все ненавидят. Когда скрипят молочными зубами дети, то у них наверняка гельминты, а когда взрослые, то у них не в порядке с пневмой. Флогистон неправильно омывает их плоть. Они замкнуты или вывернуты. В самих себя.

Стоя рядом с нею, я ушел в самого себя и сам себя не заметил. Большой тяжелый зверь положил мне на плечи лапы. Я ссутулился.

Как только наш катерок приостанавливался, чтобы совершить очередной маневр, мы оказывались в рою мошек, назначенных умереть с заходом солнца. Всего-то. Они мельтешили и делали эфир еще более бесплотным, равным тому, что пронеслось сейчас перед моим взором.

На отмели стоят высокие серые цапли. Матросы начинают гикать в их сторону и показывают им кулаки. Самый молодой странно по-животному оглядывался, наверное, искал камень.

Три мелких, ласковых кратера на плече Буси. Я представляю, как царапали кожу ланцетом, как ее клевали острым металлом... Это следы прививки оспы.

Низкое солнце вызолачивает испод облака. Какая нежная кухня...

— Прямо котлету в молоке парят, — говорит в унисон моим видениям Буся.

Она возвращает меня из сумрачной замкнутости сюда, к своему теплому телу.

Краснеющее солнце подсаживает облако повыше, умоляет его заглянуть за горизонт.

Мимо нас плывет ровный берег. Сам по себе. Как лента декорации.

Я искоса смотрю на этот совсем не парадоксальный, абсолютно не волнующий меня вид, начинающий действовать исподволь, как соблазн или угнетение. Мое движение по нему, если бы со мной не было Любаши, воплотилось бы в чистый глубокий сон. Такой, когда, проснувшись, о самих сновидениях не помнят, но они, все-таки существовавшие, вызывают кристаллизацию нового зрелища, делают его абсолютным, как сон, и незабвенным, как миф или сказание.

Катер идет у самого берега.

У обочины грунтовой дороги будто окаменела баба. Коляя идет по столь плотной почве, такой слежавшейся и уснувшей, что в нее ничего не проваливается, да и дорога будто стерта резинкой особенной робкой интенсивности.

Каменная баба смотрит на что-то, неразличимое мне. На какой-то мешок. Но мешок сам привстает на карачки и опять валится в сон. Баба стоит, как специальная подпорка горизонта, без нее свод небесный падет, свернется в скатку, исчезнет, и руки ее опущены вдоль сухого тулова.

Странный, стертый оттиск — словно монета, найденная в степном кургане. К ней никто не прикасался добрую тысячу лет, но она вся истерта и уже потрачена во много крат больше, чем стоила и стоит.

Этот вид мне помнится посейчас не зрелищем, а как-то иначе — непомерной стоимостью, вобравшей в себя все — и мою побитую жизнь, и мое тело, которое постареет и обязательно умрет.

Если я поеду тем же путем через полсотни лет, увижу то же самое. Ведь то, что я узрел, — абсолютно, так как внезапно; это при мне доказали чудесную теорему о безупречной растрате человеческого бытия, о баснословной прибыли любого существования.

Вот как надо было бы сказать: меня им осенило, и я одновременно понял его безусловность и безупречность.

Баба наклоняется, поднимает палку и начинает лупить завалившееся кулем тело. Звуков не слышно. Только пыль, поднимающаяся от неспешного счастливого шевеления, якобы они получают невероятное наслаждение, являя эту сцену. Это высокая античная драма — поругание предателя, добивание павшего, дерзнувшего роптать и противоречить богам.

Дальше, через несколько километров или через час, мальчишки играют в футбол. Матч явно не имеет счета, так как нет ворот, а следовательно, нет длительности. Пылевые смерчи сражаются друг с другом. Они могут гнать мяч до самой Персии. Словно гунны периода упадка. Гунны, гунны, гунны.

Ведь их лиц никто не видел.

Окружающее пространство входило в меня, стекая мне в рот, глаза и уши с идеальной плоскости низких берегов. Я будто прободал некую очень важную живую мембрану. Я опускался все ниже и ниже, пока не застыл вровень с берегами, я вошел в свою собственную низменность. И что самое значительное и пугающее — она во мне давно существовала.

Я слышал, я дышал всеми ими и видел их. Как, несомненно, и они — меня.

Я был — собой. Был ли я ими?

Я забывал, занятый этим зрелищем, о себе.

Я расставался с мрачностью, присущей мне почти всегда в том юном возрасте. Да и позже я ведь вообще-то от нее так и не избавился.

И я вступал в новые неги, где дали опущены пылью, которую я чую кончиками пальцев, ближние планы укутаны тамарисками, чей шелест упирается мне в зрение, и я заодно со всем остальным, что и есть я, — припорошены невещественным светом заката.

Плоское и длинное, будто бы поперечное, небо надвигало полог нового, непонятого мне сюжета на прибрежную местность. Мягкий и кроткий смысл происходящего, обволакивая, исподволь подчинял меня. И я до сих пор не могу найти абсолютных слов для описания новой пассивности, тихо обуявшей меня.

Я ведь был словно пробит этим зрелищем исключительной ровности, нижней низменности, где обитала моя неведомая мать. Точно такая же — ровная, невидимая в своей язвящей равности всему. Мне показалось, что я обречен на такое же уподобление ей — моей матери, приволжской низ-

менности, разящей меня своей скрытой силой. Мне чудилось, что я останусь здесь. Навсегда.

Буся приумолкла.

Ведь всем стало не важно, сколько километров по темным зимним утрам они вместе с моей юной матерью, моей непредставимо юной мамочкой одолевали до школы. Одни-одинешеньки. Юная и совершенно неведомая мама и глупенькая бесхитростная Любочка.

Да-да, они торопились вместе, вместе, хоть моя мать и была постарше. Но школа-то сельская, и детей немного. А бывало и так, что они, ученики, старшеклассники и младшие, сиживали в одной горнице.

Буся так и сказала «в горнице». Чему, Боже мой, их там учили?

И наверное, в рифму к тесноте классной комнаты тугой зарницей высветилась бледная щель горизонта. Где запропали две девочки, поспешающие по зимнему проселку на уроки.

— А ты серых волков не боялась? — спросил я ее.

Я сказал «ты», а не «вы». Ведь я никогда не расспрашивал ее о матери. Она все говорила сама. И любой подобный вопрос показался бы мне особенным кощунством. Ведь я не должен был никогда уравнивать их между собой — живую, стоящую подле меня, и ту, чью прошлую жизнь я только прозревал и восстанавливал из своих мечтаний.

Я гнал от себя измышленные мной дурные подробности.

Ведь, по правде говоря, я знал, что они меня по-настоящему не задевают, не волнуют, а только угнетают. Будто я становлюсь повинным в ее ранней смерти.

И Буся, что-то поняв, ничего не ответила мне о зимних степных волках, промчавшихся во мне — от пяток до макушки. В два сердечных удара.

Волосы мои, несмотря на липкую жару, стояли торчмя.

И я впервые устыдился своего детского вопроса, обращенного к ней. К молодой женщине, взволнованно стоящей совсем близко. Рядом со мной — очень молодым, юным, но мужчиной.

В легких сумерках ее футболка осветилась внутренним светом, как специальный тихий фонарик для ловли насекомых. Слово стало гореть ее тело. Как греза. Такой энтомологический чувственный манок. И я ждал, что на Бусино плечо, прижатое к моему, вот-вот усядется мучная бабочка — в мелкую выемку от бретельки лифчика. Как на порожек.

Мы несколько часов, то есть почти весь путь от Астрахани до нашего села, простояли рядом, облокотившись о нагретые металлические поручни. Будто это парное стояние, любовный караул, — наша особенная миссия. Неотменяемое дежурство на катере. Будто мы помогали обойти новые мели, незаметно намытые жирным течением с последней ночи.

Ведь если мы сойдем с этого места, то зеленая вода, загустев у ватерлинии и уплотнившись, встанет как кисель, как подтаявший студень. Можно ли в ней сделать хотя бы два гребка? Полный оборот несильного винта?

Я подумал об этом. Будто мне предстояло испытать и свое тело этим плаваньем.

И я не понял тогда, что это первое чувственное томление посещает меня.

И оно растет и беспричинно всего меня полонит. Поражает меня своей странной силой, как тот бесконечный вид плоского берега, прекрасного-однообразного до сладкой тошноты и счастливого головокружения.

И источник этого низкого, гудящего, обволакивающего все томленья я себе не называл.

Я о нем не думал. Он ведь стал мной, моей второй сущностью, разлитой повсеместно — как во мне, так и вне меня. Я просто со всем этим смешался, оставаясь самим собой.

Мы были с Бусей даже не одного роста.

Догнать и перегнать Бусю к пятнадцати годам оказалось совсем не трудно.

Она была невысокой и как-то скрытно крепкой. Подтянутой и ладной. Плавные поверхности ее сильного тела чудесно сопрягались друг с другом. И, как кажется мне теперь, — она вообще-то была почти безупречной. И я вижу до сих пор ее завершённые линии. Будто могу пощупать. Седловину плеча, овалом втекающую в высокую шею. Подбородок, нависающий легкой лукавой дугой над шеей. Или низкий узелок черной косицы, распускающийся у затылка. У нее ведь были прямые волосы<sup>11</sup>. В теплой мочке — сережка с красным камешком. Даже сейчас они в ничтожном сантиметре от моего лица.

Только вот золотая коронка на нижнем резце просвечивала сквозь Бусину болтовню, приковывала мое внимание и почему-то всегда печалила. Словно это было игровой костью и от выпавшего числа на ее грани очень многое в моей жизни зависит.

При виде этой золотой вспышки я понимал ее инаковость. Ее скрытый азарт. Ее другое прошлое, ее другое, отличное от моего тело. С металлической гладкой меткой. Я видел в ней еще одну, совершенно неизвестную мне жизнь. И я старался не смотреть на ее уста. Но сейчас она говорила о чем-то тихо-тихо, не поворачивая ко мне лица.

Она смотрела в сторону, где слабело воспаление последнего розоватого света. И световая припухлость рассасывалась на глазах.

Я хотел перестать понимать любую речь — всех существ всего мира. Меня одолел горький смысл тотального нежелания. Новая жизнь сама собой придвигалась ко мне. «Перестать, перестать, перестать, — громоздилось во мне. — Быть, то есть стать. Стать — существовать».

В голове моей осыпалась цветная штукатурка всех слов. Серые голые глаголы сдвигались во мне, как ожившие ущелья. Во рту твердел бетон онемевшего языка — сухой и безупречный.

Давным-давно, в раннем детстве я нашел в укромном месте странный золотой сегмент — несколько коронок, спаянных в дугу. Отполированную слюной, вероятно слюной, языком, пищей, и неприятно тусклую по внутренней стороне. Сверточек лежал в шкафу под стопкой белья, завернутый в навощенную праздничную бумажку. Я показал находку бабушке, и она резко выхватила ее у меня так споро, что я с испугу, догадавшись о принадлежности и функциональной предназначенности этой вещи, позабыл облик этого предмета. Остались только блеск, матовость и шершавость.

Она страшно рассердилась, назвала меня «котом лазучим», смахнула вдруг выступившую слезу. А она никогда не позволяла себе рыданий... Она потаенно перепрятала отобранную вещицу так, что та никогда нигде мне не попадалась. А надо заметить, я был очень любопытным.

Тогда на мой вопрос: а что это? — она страшным шепотом сказала мне, что будешь много знать — очень скоро состаришься и умрешь гораздо раньше отмеренного срока. Выражение ее близко придвинутого морщи-

---

<sup>11</sup> Жесткие на вид и удивительно мягкие на ощупь... Их насыщала телесная тайна, но мне не погрузиться в нее и не разгадать. Глядя на эти темные пряди вблизи (теперь и много позже), я осознавал, что моя нежность, моя тяга, робость и стыд, равные друг другу, будоражат и одновременно отменяют длительность моего возбуждения. Это бескорыстное зрелище, множество раз настигавшее меня, с какого-то момента сделалось уникальным и неповторимым. И моя жизнь, утрачивая координаты, застывала. (Как в детстве, когда, разглядывая себя у зеркала, я ковырял первые робкие прыщи и мог это делать не часами, а вечно, так как протяженность у этого занятия исчезала. И лишь жгучая краснота кожи свидетельствовала о моем бытии.) В том новом безвременье, принимая несказанную прибыль своего чувства, я волен был только расплакаться. Когда я отстранял свою руку от ее расстрепанных прядей, то понимал, что ко мне обязательно придет смерть. Эти жесты касания ее волос всегда были преувеличены во мне, больше обстоятельств дня, значительнее погоды, несоизмеримы с расстоянием до ближайших выходов.

нистого лица, бесцветные глаза — сложились в гримасу куда страшнее ее непонятных слов, и я искренне поверил в свою мгновенную кончину в первом же темном углу нашего дома.

Ведь я действительно тогда узнал очень много. Слишком. Чересчур.

И каким-то образом понял на всю оставшуюся жизнь, понял вовсе не умом, а всем своим телом, — кому принадлежала эта вещь и откуда, из какого рта ее с трудом добывали. Уразумел это помимо моего опыта, которого, по сути, и не было.

Только страшная мифология детства...

Сказочные бесконечные темноты и выемки.

Я тогда поверил словам своей серьезнейшей бабушки настолько сильно и глубоко, всей силой своего сердца, что по-настоящему заболел, совершенно внезапно. Я будто мгновенно вступил в болезнь — сразу, с исподу, а потом и снаружи сильно нагрелся от ее особенных шершавых слов, засевших во мне. Будто я их проглотил. Я точно калился от скорого неумного трения их ужасающих смыслов о мое сознание. Бабушка словно стала меня жевать. Золотыми коронками, извлеченными изо рта моей бедной умершей матери.

Это день в день совпало с окончательным отъездом отца в бесконечную недостижимую даль. Служить. Служить. И бабушка, затворив дверь, выговаривала ему, неостановимо клацавшему защелками на чемоданах, говорила своим белым голосом, но только одной интонацией, почти без слов, но так зло и так вопиюще тихо.

Что она ему говорила? Какие доводы бросала поперек его уже отворившегося пути? Как старая Ундина — злые волшебные гребни с седыми очесами и мутные зеркала, помнившие кошмар?

До меня донеслись сквозь жар бабушкины плотные словеса, сказанные вятно и громче других. Они были липкой тряпкой брошены в сторону отца. Словно заклинание.

— Смотри, сын, всего золота и не заработаешь. Всех и орденов не заслужишь.

Она будто плеснула тогда лютой кислотой на все то золото, что он собирался выковырять для своей новой военной жизни. На все ордена. Ведь в ее голосе не было ни укора, ни осуждения. Она будто уже надзирала с высоты его неблестящее будущее.

Это «и» превращало ее речь в неукротимую интенсивность. Сталкивало слова с орбиты в открытый черный космос. Преодолеть эту силу отец никогда бы не смог.

Вот я вдруг увидел, что между нами исподволь устанавливалось странное дивное равновесие, которое все же еще не равенство. Но не глазами, а по-другому, когда не поверить в это нельзя. У меня так случалось, когда я играл — в карты или в кости. Будто я знал о своем выигрыше заранее. За секунду.

Я впервые почувствовал тогда, что, столь близко стоя к ней, я уже, одновременно, от нее так же и отстранен. И я не понимал — чем. Но это нечто хоть и было между нами, но я также понимал — оно невероятно легко может быть убрано, преодолено почти без усилий. Одним резким свободным движением.

Но я также обнаружил, что, невзирая на реальную телесную близость к ней, нахожусь в тотальном непреодолимом отдалении.

Какая-то даль дали.

Что я еще неполон, недостаточен. Просто мал. И приближусь ли к исполнению? Неизвестно...

Оцепенение вечера.

Мне отчетливо слышно, как мошкара трется о желтый ореол фонаря, горящего на маленьком шесте на носу катера.

Вот и весь свет устал, он как-то приторможен, и мне кажется, что настоящему так никогда и не стемнеет. Буся плотно прижимается боком ко мне, и я чувую ее тело своим. Именно чувую, а не чувствую. Оно одновременно и мягкое и твердое. И неслышный ее легкий дух, настаивающий меня, — такой же, как и теплый ветер, создаваемый движением катера. Они равны друг другу тем, что без меня, чувствующего их, — их не будет никогда.

Мы едва проталкиваем серое время, его несгущающееся позднее вещество. И эта субстанция не делается ночью.

Что-то случилось с часами, они перестали идти мерным шагом.

Они стали набухать.

Воспалились.

И вот-вот округа не выдержит этого напора, как я Бусиной тяжести, открывшейся мне в ее теле, неотделимо примкнутом к моему.

И я не уразумел, поцеловал ли я тогда ее сухие мягкие губы, обнял ли ее за шею, положил ли руку на ее тугую талию, переходящую в бедра и круп<sup>12</sup>.

В том женском теле, прижатом к моему, я начинаю медленно по непроявленным чертам опознавать мою умершую мать.

Она ко мне будто притиснута сторонней силой.

У нас с нею одна совокупная нераздельная оболочка.

Единое дыхание.

Ведь мы постепенно меняемся кровью.

Правда, мама?

Как это случилось и посредством чего? Мама, дорогая моя, мамочка?

Каким таким чудным образом?

Через эфирную плаценту, незримую вездесущую пуповину?

О, я не знаю.

На фоне ее родины — в обрамлении плоской потемневшей земли, вдоль которой мы с Любашей или же с ней, моей прекрасной изумительной матерью, плыли.

Во мне оживает видение, пронизанное неподвижным сквозняком. Оно возникает во мне потому, что я начинаю о ней, о моей матери, помышлять. Я напрягаюсь, будто видение, не перешедшее в образ, должно развоплотиться и исчезнуть, неузнанное мной.

Но я опять не могу поймать ее образ, и она, отвернувшись, уходит от меня. Как стоячая волна по этой реке, замещаясь новой и новой, но все тише, тише и ниже. Плотская, теплая на ощупь, уставшая от моего взгляда, подталкивающего ее. Я словно припал к некоему пределу.

И мне надо было делать выбор.

Когда мы стояли рядом, я точно помню, что вся Буся была далеко впереди, там, куда был простерт ее взор. Может, она была в том пейзаже, на который смотрела уже не один час.

Так что же я обнял и поцеловал тогда?

Одинокое дерево на самом берегу, размытое еле видимое облако, серый далекий ореол пыльного столба над автомашиной?

То, чем был тогда я сам?

То, чему стал равен?

Эта мысль, идея особого странного равенства, будет теперь надо мной главенствовать.

<sup>12</sup> Не то чтобы из моей памяти это впечатление легкомысленно выветрилось. А давление света, общая неподвижность, чреватая прорывом, вынесли все чувства за скобки, как пустой единичный множитель, ничего не меняющий в неподатливом итоге. И чем меньше и меньше я могу объяснить свой чувственный ступор, тем больше меня пронизывает ток тихого бессловного языка, на котором я изъяснялся тогда сам с собою. Языка, с помощью которого я понимал и принимал все. И также безъязыко обращался ко всему. И наверное, впервые попробовал согласную Бусю на вкус. Это похоже на галлюциноз особенной немотивированной достоверности. На сонный бред безропотного, совершенно неопасного животного.

Я должен ее разрешить.

Не как задачу на противопоставления меня и ее, Буси. А как воплощение особенной задачи, у которой есть ответ, но он ищется иначе. Не натиском раздумий, а бесконечным перебором подобий, почти равенств. И они, воплотившись, станут навсегда моей зияющей, ненаполнимой горькой точностью.

И это решение будет меня соблазнять, отталкивать и уничтожать.

Вот прибрежное село. Мне почему-то кажется, что ниже поселений нет — только пресная вода Волги, превращающейся в едва соленый Каспий. Это — самое последнее. Дальше — море.

Вот доска сходней со стоптанными поперечинами сдвинута на маленький притопленный причал. Матрос первым сбежал на берег. Закрепил чалку.

На причале косо стоит ржавая сварная будка с надписью «КАСА» и желтой, перезрелой для легкого сумрака лампой.

— А как твое село называется? Не Каса?

— Какая еще коса? Имени Тельмана. Вообще, Тростновка. Верхняя Тростновка.

— А что, есть еще Нижняя?

— Даже Средняя есть. Съездим везде еще. Накупаемся. Наедемся. Видишь, вон наш лодочник стоит дожидается. — И она указала на длинную мужскую фигуру в свете фонаря.

— А ты мне о нем ничего не говорила.

— А что говорить-то. Говори не говори. Одним все кончится.

— А чем это «одним»?

Удовлетворить мое любопытство она не успела.

Об этом я впоследствии очень сожалел.

Мы быстро сошли на берег. Нас поджидали. Этот самый молодой мужчина и его безразличный огромный пес. Животное восседало, как архаическое изваяние, в луже яичного света, стекшего с фонаря. Вроде бы пес тоже нас поджидал.

Жилистый мужик по-родственному крепко приобнял Бусю. Она почему-то увернулась и по-детски фыркнула. Вырвавшись, сказала:

— Пусти, ну, Толь. Придушишь. Ну же.

Поправив белую тенниску, пахнущую мною, она добавляет, отойдя на полшага:

— Замнешь всю. Как медвежонок прям.

Хотя на медвежонок он совсем не походил. Только на человека. Животного, в смысле низкого и тупого, в нем, я сразу это увидел, не было ничего. Только иное — некая способность переходить от сомнамбулической тупости к мгновенному движению, выказывать кошачью сноровку и прочее, что не может быть поименовано низменным несвободным эпитетом. Тем более он не мог быть и выловленным, одомашненным и упокоенным в вольере. Только если в возвышающем смысле.

Бусины короткие реплики, незначительные фразы и истории колеблются в магме моего слуха до сих пор. Я их будто пеленгую из баснословного прошлого, не ставшего таковым. Ведь оно существует во мне лишь для того, чтобы меня нынешнего лишать мягкой полноты и плавной завершенности. Но все-таки эти ее «не поверишь», словно метки отставляемые тут и там, эти ее «прямо» или «прям», наделенные петелькой «о» на конце в зависимости от расстояния между нею и собеседником, служат мне и по сей день смягчающим обстоятельством. И мне не в чем себя винить. Так как я не верю собственным обвинениям<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Я про себя, чтобы никто не услышал или, лучше, — не признал на мне ее женственного отсвета, говорю «прямо» или «прям», не вкладывая в эти вводные слова ни тени вопрошания, которыми она наделяла их бог знает сколько лет назад, не надеясь утвердиться в ненадежной прямизне своего прошлого бытия.

И он, этот длинный Толян, оттуда, из тревожного прошлого, повернулся ко мне, жестко выбросил руку, быстро стиснул мою ладонь своей — плотной сухой уключиной.

Мне показалось, что я в ответ робко скрипнул.

Через сто лет.

Как сухое дерево, из которого можно выдолбить лодку для тихого не-весомого плаванья в легчайших нетях и тишайших заводях.

И я сразу, некоей запредельной частью своего ума понял, что быстрые жесткие жесты вообще-то ему совсем не свойственны, что он их себе навязывает, извлекает из своей неестественной, неорганичной ипостаси.

Я уяснил это особенной сферой ума, где не живут контроль и слова, но существуют мерила и лекала, отвечающие за мое существование в этом мире как за умение вдруг поплыть по реке или поехать на взрослом двухколесном велосипеде.

— Анатолий, — серьезно сказал он, будто кинул голыш по плоской воде.

Посмотрев на меня с высоты, он добавил, примирительно сжевав сказуемое:

— Вще Толяном.

Теперь я понимаю, что он мне, юнцу, приехавшему в его выгоревшую степную тмутаракань, говорил, что он со мной — ровня.

Мой рюкзак и Бусин чемоданчик он легко подхватил одной рукой, очень длинной. Другой он держал за холщовую шлейку свою псину непонятной породы, большую и серую, как волк. Он чуть грустно кивнул на животное, не выплевывая уже погасшей докуренной до гильзы папирасы.

— Серкин помет. Да. Давно ж тебя... Мальку уж аж два по весне.

«Уж? Аж? Какому еще ужу? Что за чушь он несет», — подумал я, ненавидевший рептилий. Но я услышал, как внятно и тщательно он проговаривает сухие частицы — «ж», «уж», «аж». Словно чистит скользкие атрибуты боевой амуниции жесткой щеткой. До медного лоска. Будто он ими, как крючками, будет держаться на неустойчивой поверхности речи.

Малек исподлобья оглянулся на его тихий жужжащий голос очень умными печальными глазами. Почти по-человечьи.

— А что он у тебя такой важный, хоронить кого собрался? — Буся заревновала Толяна к прекрасному псу.

— Да, Люба, типун тебе на язык.

— Ну ты, Толик, сроду без собак ведь не можешь, — примирила его с чем-то непонятным мне Буся, будто упрек относился не к ней.

Она сказала свое особенное предложение, не значившее ничего, в нем не содержалось сообщения, на которое рассчитывал собеседник. Я всегда чувствовал в ней это качество, умение возводить загородки и мгновенно плести вокруг себя коконы. Она ведь боялась мира, угрожающего ей «стыдобой и срамотищей». Это я тут же почувствовал. Что она все-таки испытывает перед Толяном робость. Может, даже за то, что привезла меня в эту самую далекую Верхнюю Тростновку.

Больше Толян (я так стал звать его про себя) ничего не говорил.

Мы нырнули за ним в теплую ветошь проулка, уползающего от реки, побрели мимо рябых дощатых заборов. На редких столбах теплились желтые фонари. Они освещали сухую теплую ночь. Ладная мужская фигура, гибко и завершено качаясь, как-то по-охотничьи (но совсем не так, как охотников изображают в старых балетах) крадучись, вдвигалась в сухую темень — всего в двух шагах от нас, но я знал о непомерном расстоянии, разделяющем нас с Толяном.

Я почувствовал глухое волнение. Будто должна была зазвучать изумительная тихая музыка. Я понимал со смятением, что начинается другая полуса моей жизни.



Буся, глядя ему в спину, серьезно шепнула мне в самое ухо, тихо-тихо, так, что я едва различил ее жаркий детский шум:

— Не поверишь, мой тутошний ухажер. Все женихом себя считает. Аж с самой школы еще.

Мое ухо от ее слов или близкого шевеления щекотных губ отчаянно покраснело. Я мог им осветить сумрак. Я услышал свою кровь, она уперлась в мой слух, натянувшийся радужной мыльной пленкой.

Малек, свесив пудовую башку, лениво ковылял на провисшем поводке за нашим вожатым. Лапы его скучно заплетались. Если бы это шествие кто-нибудь нарисовал, то получилась бы занятая картинка.

Толян неслышно переставлял длинные легкие ноги. Мы семенили за ним, не попадая в его шаг.

На меня наваливается неведомый запах какого-то гигантского тела, он тихо подминает меня. Вместе с ним приходит тихий треск, будто где-то далеко-далеко многоярусная трасса игрушечных заводных машинок, одолевающих подъем. Чем дальше мы отходим от реки, тем сильнее меня теснят иные атмосферические силы. Звуки, сиянья и запахи. С шуршанием обваливается пересохший сеновал, съезжает с платформы безымянный материк, свет звезд не прокалывает, а проминает темень восприимчивой тверди.

Мимо сладкой одури спящего курятника.

Через дебри скотного двора.

Домов, обернувшихся задами к тропинке...

Искренность этого уклона такова, что слова почти не нужны.

Сравнения кажутся ничтожными.

И разве прекрасный индюк полощет тяжелую ртуть в самом ночном зобу?

И разве свинья с свиньей говорит, — как землеройный снаряд, напорившийся на мелкий, совершенно не блестящий щебень.

Все, все вопиет о том, что слова не нужны.

Брезентовые брючины Толяновых штанов при каждом его шаге шуршат и пробуют эту наваливающуюся ночь на износ, ломают своей машинерией цитадель, возводимую в моем взволнованном уме цикадами.

Краткий лай Малька, брошенный в темень, пугает меня так, что сердце падает на самое дно колодца, мимо которого мы идем.

Вот и луна, сползшая с низкой крыши, мнится мне непристойностью. Едва шевелятся черные лужи ее теней. И мы идем в ее блеске друг за дружкой.

Минут через десять мы добрались до большого дома на отшибе села.

На сухую улицу, переходящую в пустую тускло-черную даль, глядели три высоких и, как мне показалось, каких-то наглых незанавешенных окна.

Так как о своем приезде Буся сообщила телеграммой, то на широком дворе было развернуто позднее застолье.

Несколько ярких ламп обильно привлекают обреченных насекомых. Дурные бабочки с треском бьются о горячие колбы и падают вниз. Кошка собирает легкую добычу. Она тоща, и от стола ее гонят. Я это сразу все увидел, и во мне щелкнул затвор фотоаппарата.

На длинной столешнице первым планом — рыбы во всех видах. Потом, уже небрежнее, как задник, — крупно нарезанные помидоры, небольшие огурцы в мисках, картошка в чугунках, пучки зелени в стаканах, домашние хлеба, соленья, самогон, красноватый взвар в стеклянных графинах с вишнями на дне.

Человек с десять уже галдят за длинным столом. Они уже зарядились.

Буся, быстро переодевшись где-то в глубине дома в нарядное голубое платье, беспрестанно лопочет с нарочитой серьезностью, будто все только

и ждали несколько лет ее рассказов о городской работе на большом метизном заводе, очень приличной, по деревенским меркам, получке, очереди на отдельную, со всеми удобствами квартиру, шебутных, но порядочных и совсем не вороватых соседях по ее нынешней коммуналке.

— Да, невороватые коль — то это, кажется, совсем хорошие люди, — кто-то из сидящих на дальнем конце важно отчеканил простодушную максимуму. В этом чувствовался скрытый кураж.

Так тут не говорили.

— Сказанул, инда в воду пернул, Жорка, — вступила главная старуха, Бусина тетка, она была тут корифеем.

Прокуренный голос со странным акцентом — «эр» немного грассирует, — отметил я про себя.

А Бусина карьера, конечно, одобрена, ею гордятся, ее уважают. У нее есть достижения. Это несомненно. Старуха самодовольно смотрит на Бусю, комментирует то, что видит:

— Смотрю вот я на тебя, так сразу твою мать, сестру мою, как будто перед собой и углядела. Как ты с ее лица всю красу тогда за девять месяцев, что она тебя в утробе носила, — и повыпила. Потом так и не захорошела Шурка, царствие ей небесное, не захорошела. А по себе очень хорошая баба ведь была, работающая, все тебя уму-разуму учила. Я так сразу и сказала ей. Сестрице моей, царствие ей небесное, — опять повторила старуха, будто покойная Шурка может воплотиться из душной тьмы и воссесть за один длинный стол с нами.

Старуха устроилась, как сказительница, зачем-то оправила лиф блузы, как-то расправила вся, будто кто-то еще, кроме полной луны, будет за нею наблюдать.

— Так прям и сказала Шурке: «Девчонка у тя будет». — Она победно обвела взором округ.

— Да уж, видим, — не мужик, а мадемуазель, — сказал тот же хриплый голос пьянеющего человека.

Старуха его не услышала, она продолжала свою партию. Она словно выбрасывала краткие бессвязные сегменты речи, придавая паузами и вторыми сверхсмысл этим побасенкам:

— С мальцом в брюхе вообще не так садятся.

И она мимически попыталась изобразить, как же садятся с мальцом. Я, честно говоря, не понял.

Но во время нарочитой паузы, глядя на старуху, все гости как бы чуть ерзнули, заглянули в себя, проверяя, кто же заложен в их обмякшие от еды, питья и разговоров яловые чресла.

— И живот-то у нее был не вострый.

Пауза.

— Совсем не вострый.

Она написала неотменяемый торжественный диагноз. И тут же перешла к хореическому ладу, тараторя и прихлопывая ладонью по столу напрасный ритм. Будто сейчас все могут под этот идиотский стук заплясать.

— И она все: «ой, моя любя» да «ой, моя любя», — и вот здесь себя давай гладить. Вот так все по самый январь и гладила, и гладила, и гладила. А я ей: «Ой, Шурка, да ты дите-то умнешь во чреве. Как оно жить само-то по себе станет?»

И она промокнула уголком платка уголок одного глаза, округло проведя ладонью, как по большому арбузу, в чьей сфере должна была вызревать чудесная, наконец-то пожаловавшая в гости Любовь.

Буся расчувствовалась:

— А я вот как вспомню, как мама стала помирать, а я совсем девчонкой еще все бегала.

Заразила старухиным тоном, ведь эпос не мог обойтись без новеллы о смерти. Нарождение младенца требовало равновесного ухода кого-то в небытие. Хотя бы и на словах.

— Так вот, говорит она мне, — показывает Буся свой тогдашний рост, — «А снеси-ка мне с подпола, Любуся, молока хоть с литр и тарелку малины, чтоб холодные были», — это зимой-то все случилось. А я ей: «Мам, а откуда малины-то взять, ведь зима сейчас на дворе». А она и ответила: «А чё ж у меня так нутрь жарит, будто прямо лето».

Буся помолчала важно и завершила:

— И сразу мне стало ясно, что отходит мама. Так и померла к утру, тихо, почти и не кричала совсем.

— А все к утру и помирают. Дело-то обычное. Любовь, ты все правильно сказала, как по писаному. Так оно и было. Такая тихая она стала, такая тихая.

Старуха важно перехватила первенство у Буси, назвав ее торжественным именем «Любовь».

Иногда Толян переводит свой взор на меня. Я каждый раз ловлю тяжесть его взгляда, брошенного в меня, как тугое яблоко.

— Чё, не куришь? Да? — спрашивает он у самого себя.

Легко, как длинный аист, усевшись напротив.

В нем мне всегда будет чудиться череда чудесных животных, будто я листаю страницы бестиария.

Я молчу.

— И — молодец малец, а я вот, как себя помню...

На слово «малец» Малек, дремлющий у забора, вострит уши и встряхивает башкой. Будто его призывают.

Порой Толян теряет свою жесткость, как-то обмякает, сутулится, делается гибким, как бамбуковое удилище, почувствовавшее клевету. Будто с него сходит мужской покров, оборачивающий одинаковое для всех, невзирая на возраст и пол, тело. Он тянет за помидориной плавную ладонь, как продолжение той самой общей сущности.

Буся подкладывает мне куски рыбного пирога.

Мне постелено в сухой дворовой постройке. В ней кругом разложены и развешаны снасти, лежат весла, непонятные мне атрибуты охоты и лова. Во всех углах, как сказочные кулисы, рыбачьи сети — мережи и бредни. За подобными занавесями может скрываться чудовище, как в «Аленьком цветочке». Мне кажется, что я попал в чрево старого театра. Только вымытые до скрипа некрашенные полы светятся в полутьме.

Буся проверяет, все ли мне там нормально устроили. Так ли, как надо. Мягка ли подушка, гладки и сухи ли простыни. Будто собирается на них почивать вместе со мной.

Да, всё в наилучшем виде.

— Ну вот и спи, моя детка...

И, едва припав к высоченной подушке, куда-то проваливаюсь, на несколько корпусов опережая свой утомленный, отстающий от меня сон.

Я сползаю в сон, как леска в воду за рыбиной, прихватившей крючок с наживкой.

Разлитая теплота ночи делается второй кожей, удваивая меня. Мне не выскользнуть из плотности вечернего часа, он не даст мне сна, так как кажется, что я уже давно сплю, завернувшись в свое тело.

Нежный гул голосов, доносящихся ко мне с поздней трапезы, тихо, без борьбы овладевая, входит в меня. Как неостановимое зрелище бесконечного низкого ландшафта. Какие-то акации, потерявшие от жары половину мелочной листвы. Они стоят как сети на глубине.

До меня доносятся волнами смешки моей Любаши. Все звуки словно легкие невзрослеющие деревья, они так и остаются саженцами у ближнего горизонта.

По плотному веществу сна, навалившемся на меня, пробегает конвульсия слабости.

Особая точность, уместность и полнота сна восхищают меня.

Я, догадываясь, что сплю, но не могу опознать, кто же или что это. Из-за безъязыкого говора, соткавшего волнующуюся оболочку видения.

Ему нет границ и глубины, оно непомерно и одновременно неопасно.

Оно — сладостно близкое и бесконечно отчужденное.

На него нельзя смотреть.

Оно восходит из почвы и струится с небес.

Оно избыточно, как любовь, и недостаточно, как сиротство.

Во сне из последних сил я силюсь распознать — зачем это мне, с какой стати.

Краем ума, а может быть, всем сердцем я понимаю переизбыток этого неуплотняющегося видения.

Это мимо меня так близко проходила моя мать.

Проницая и не касаясь.

Как абсолютное, восхитительное, непомерное, полное света, состоящее из низкого вещества гула, мое неотъемлемое *ничто*.

Восхитительное и непомерное.

Может ли быть так?

Воплощение моей матушки... Ведь она особым усилием избежала насилия смерти, преодолела разложение болезни, восстав из плена тупого исчезновения.

Она пришла, как марево слов, которых я никогда от нее не слышал, как их разреженное гудение, опережающее несказанный смысл и невозможный вид.

Как наслаждение, которое я, никогда в сознательной памяти не общаясь с ней, не испытывал.

О, она, будучи всегда, узнала обо мне, не видя и не касаясь меня...

И мне кажется, что я не смогу никогда выбраться из этого тесного сна, простирающегося и за мои пределы. Я понял, что пронизан этим бесплотным видением. И, не познав тайны моей матери, я в нее непостижимым образом без толики усилий проник.

Будто мне на миг дали подержать беглую стенограмму моей общей неотъемлемой жизни с нею. Лишь на мгновение, чье вещественное время физически переполнило меня.

Я очнулся в холодном поту. Не знаю, сколько длилось это видение и вообще имело ли оно какую-то соизмеримую с людским тривиальным временем длительность...

Ведь она, моя мать, моя матушка, никогда, никогда, никогда в жизни мне не снилась.

Ни до, ни после той первой ночи на ее родине.

Но облако, не имевшее облика, а одни невидимые неисчислимые свойства, о которых мне все — тайным образом безъязыко — было известно, несомненно явилось мне воплощением моей матери.

Бесплотным, плотским и беспечальным.

Она мне предстала всем, уединенным от всего.

Особенной моей пустотою, приворожившей меня навсегда. Полостью, где только что находился Нарцисс. Перед тем как утопиться по воле случая, каковым вообще-то был он сам...

Страшное подозрение посещает меня, что, кроме того, что есть во мне, нет ничего. И вот во мне — морок, искушение, бессмыслица, напрасные поиски. Чего? Того, что, с таким трудом обретенное, так легко может быть подвергнуто иссечению.

И вот я могу ее пустоту приравнять любой близкой мне женщине. И самое страшное, что это равенство будет иметь и обратный ход.

Она ведь была, когда меня еще не было, и только эта мысль вызывает во мне ревность. Ко времени.

Все прошлое стало потерянным временем не потому, что меня в нем не было, а оттого, что там когда-то пребывала моя мать без меня.

Я вышел во дворик дома. Сон еще колебался во мне, как сладкий дым. Луна изливала оплавленный свет из низкого белого жерла. Она, оплавляясь, зияла — по-военному отвесно, нелениво, словно ядовитое зеркало, должное отразить ужасную личину Горгоны. Она белела так, что звезды, острые на закате, притупились, стали невидимыми.

По вытоптанной траве ходили быстрые люди, что-то носили, по-деловому отбрасывая свои жирные тени. Они их именно отбрасывали, опережая на полстопы.

Строгий Малек сидел темной глыбой в метре от стола, на котором несколько человек сразу разделявали огромную, может быть, полтораметровую рыбину. В таз, стоящий на табуретке, шмякались мокрые куски убойны. Пес провожал их глазами, сглатывая и напрягаясь каждый раз. Рыбина была столь велика, что явно досталась мужикам не в тихом промысле, не в доброй ловитве, а как трофей тяжелого опасного боя.

Громадный Толян, вымахавший за ночь, распорядился. Он иногда вбрасывал в молчаливую суету какие-то термины, как снасти с наживкой. Половина наиострейших слов его рыбацкого жаргона мне были непонятны. Они только поскверкивали, попадая гранью под прямой лунный свет.

Буся в халате и фартуке подскочила ко мне, радостно обняла, будто не видела меня вечность, зашекотала мое заspanное ухо нежными губами:

— Ну, не поверишь, прямо как с час вот белугу взяли. Хотела тебя сразу будить, да не успела. Насилу с лодки приволокли. Хотели там рубить. Да не видать совсем, надо костер на берегу жечь. Опасно. Ты смотри. Никому. Могила. Донесут. Тсс...

Толян с мокрыми блестящими руками подошел к нам. Просто пере-несся по воздуху. Легкая муть бензина мешалась со сладким духом рыбины. От его неподвижного тела мне стало скользко. Будто я стоял на осклизлом настиле. Он был явно недоволен нашим шепотом, он надвигался на нас, как черная лунная тень.

— До визиги дошли. С визигой-то чё? А то к чертям собачьим... Вон едоки про блох позабыли, — буркнул он, кивнув на собаку и кошку.

— Сами все, Анатолий, в дело пустим, жизнь наша длинная, зима холодная, пути далекие, — благоразумно провозгласила, хихикнув на слове «пути», Буся.

В ней открылась фольклорная рассудительность, она делалась уплощенно взрослой и по-народному мудрой. Абсолютно чужой мне. Заводилой самодеятельного хора промысловиков.

Она словно положила на раскачивающиеся весы правильное количество разновесов. Успокоив сумрачные ревнивые колебания, охватившие Толяна.

— Эхма, — как-то преувеличенно тихо и обреченно выдохнул он. Его слышал только я, точнее, видел и прочел по губам то немного, что он сказал.

Вытащил из пачки папиросу, пережал ее мундштук, раскурил в кулак, будто боялся снайпера. Свернутый тесный рупор ладони приставил ко рту. Будто бы он должен сейчас воскурить фимиам священной луне. Или просто загудеть рым небесам о своей тоске и печали.

Я словно смотрел черно-белое кино в летнем кинотеатре повторного фильма. О густой, но бестелесной народной жизни, про ночных людей и их почти отделившиеся лунные тени, о тихих пугливых браконьерах, о разливающимся кругом сиянии ревности. И самое главное, о подступающей страсти, становящейся из незримой видимой и могущей начинать двигать предметы.

И вправду, стакан сам опрокинулся и упал с края стола на затоптанную землю, не разбившись.

— Счастье мое граненое, — сказал стакану Толян.

Но отличие от кино состояло в том, что меня от этого зрелища теперь ничего не отделяло. Между нами не было даже тряпичного экрана. И я почувал себя самой достоверной частью происходящего. И, развиваясь, оно было не в моей власти. Я не мог выйти.

И я испытал приступ жалости. К рыбьему трупу, своему сну, болтливой нежной Бусе, нелепому огромному Толяну, яркой луне, бессердечно гуляющей по этой сцене<sup>14</sup>.

Кошка, полная аккуратной ночной грации, пятясь потащила в сторону тонкую рыбью кишку. Малек только рыкнул на нее, и кошка, мотнув головой, отбросив краденое, исчезла, как дымный призрак.

— Не поверишь, на селе кошек отродясь за просто так никогда не кормят. Чё найдут, тем и сыты. А вот когда мыши в подполе или хуже — на чердаке, то хорошо закармливают, молоко дают, сметанку, чтобы выиграть хотелось. Кошка на мышью только играючи идет. А так ведь — все время сонная. Силы бережет.

— А почему на чердаке — хуже, чем в подполе? — спрашиваю я.

— Ты про чердак лучше забудь, — сказала, посерьезнев, Буся.

Она перевела разговор на другое. Добавила о кошках с ревностью:

— Да не поверишь, у них одни коты на уме и никакой благодарности к людям.

— Почему не поверю, очень поверю, — успокаиваю я расстроившуюся Бусю.

Речь ее изменилась, она стала акать, как ночные люди, бесплотно окружающие ее.

Все походило на декорации второго действия балета, когда ночь, тишина, подступы к волшебному лесу.

У самых кулис на ловитву мышей шли легко вооруженные длинными острогами кошки.

Совы бесшумно вздохнули, чтобы вот-вот заухать, ведь они, преисполненные нетерпения, только ждали знака.

По телам червей в глубине неотвердевшей почвы скользнул липкий браслет судороги.

И люди должны были одновременно вздрогнуть.

Буся растягивала слова, как-то их выпевая. И если бы не ее всегдашнее «не поверишь», то я бы решил, что это кто-то другой говорит со мной про обычай кошачьего ублажения.

Я посмотрел на нее теперь иначе, пристальнее. Я увидел в ней легкую небрежно одетую молодую женщину, занятую странным делом. Разделка рыбы, приготовление и засол чернейшей икры делали ее незнакомой мне. Я почти не узнавал в ней мою городскую робкую Бусю.

Все остальные дни проходили под знаком рыб. Ту огромную, принесенную ночью нельзя было съесть не то что за неделю, а и за месяц. Из нее делали балык, ее коптили, варили, жарили. Что-то втихую продали цыганам. На сухих дощатых стенах дома со стороны двора висели в марлевых кафтанчиках пахучие куски подсыхающего балыка. Кошка, глядя на это великолепие, вяла, как цветок на жару, тихо сходила с ума. Малек охранял от нее, некормленной безмышачьей твари, развешанное на сотне гвоздиков добро. Сто тысяч кусков нарывали пахучим жиром. Пьяные жадные

<sup>14</sup> Люди передвигались по двору так, словно весь день их вынужденно скрывали в мешках. Будто они рады наконец приобрести свойства, отличные от уныния и безразличия. Они перестали сутулиться и шаркать, походка их, перейдя в охотничий регистр, помолодела, и веса, дневного тяжелого веса в них ощутимо поубавилось. Все действие приобрело непреклонность и должно было вот-вот завершиться кульминацией. Над двором висело ожидание как снасть.

осы ползали по выжелтевшей марле. На ночь куски убирали, чтобы их не разорили совы и нетопыри.

В забор вокруг дома, в изгороди, делящие большое хозяйство, были специально воткнуты сотни длинных антенн сухого тростника. На них присаживались стрекозы, словно шифровки о боевых действиях времен древней степной войны. Но таким образом хозяева просто отпугивали комаров, призывая боевых насекомых. Ведь стрекозы — беспощадные неутомимые охотницы, прыткие, как амазонки.

И если задрать отвесно вверх руку, то на выставленный палец усаживалась пара огромных прекраснооких стрекоз. Через минуту-другую.

— Коромысла-коромысла, — звала стрекозий шелест Буся, — я их вообще-то не очень люблю. Они, не поверишь, но бабочек жрут. Прямо вцепятся и дерут в клочья.

Рыбину поедали на завтрак, обед и ужин. Словно должны были уничтожить улику беззаконного улова. Рыбу величиной с человека. И я чувствовал себя каннибалом. Я не должен был выдать аборигенам своего откровения.

И в конце концов деликатес стал казаться мне плохо усваиваемым пластилином. Мне стало казаться, что вот-вот и чай начнут заваривать из сухих плавников. В старухином хозяйстве ведь ничего не пропадало.

Весь мой организм пропитался жирной черной икры.

Я даже думал, что мне не надо больше плавать и загорать. Я почернею и так. И тело мое, осветясь изнутри бледным рыбьим фосфором, станет плавучим, скользким и упругим, как у той белуги.

Трудолюбивая Буся вставала куда раньше меня и успевала полить какую-то ботву на самых задворках, добыв ручным насосом из скважины воду. Старуха, помогая ей, таская без усталости воду, так и говаривала: «Воды добыть». Меня почему-то к процедуре полива не допускали. Я только видел, как Буся семенит с двумя ведрами в руках в дальний конец, туда, где заросли расплеток стояли зеленой невысокой стеной. Старуха уже ни свет ни заря шастает где-то там с тяпкой в руках. Поет негромко «ой, лен-конопель».

Старухе все тут и принадлежало. От ладного дома-сада-огорода до самой той делянки на задках, сокрытой непроходимой стеной сросшихся вишен-расплеток. Старуха яростно грозила их порубить к чертовой матери, потому что проку от них не было никакого, все склевывали птички размером с воробья, но в сотню раз проворнее. Молниеносные эластичные птички. Они носились над огородом меняющимся объемным лекалом. Их интересовали только вишня и мухи.

Дом стоит недалеко от воды, и в ранний час меня достиг плотно скрученный вал, где перемешались узкие волоконца рыбьего духа и распущенная пряжа влажности. Эту свежесть нельзя спутать ни с чем. Ты сам делаешься ничтожным и пропадаешь в тугих складках, как насекомое. Утробный и незыблемый запах, возобновляемый, не имеющий отношения ни к времени, ни к плоти. Как начало мира. Ни радости, ни печали.

Жгучее солнце с самого утра, и изленившиеся птицы тянут однообразные, какие-то резиновые звуки. Мир делается проще, словно раздевается для мытья в этот субботний день. В вишнях застревает шелест. Сегодня будет жарко, и теплынь уже приникает ко всему, расточая ласку. Низкий сквозняк тянет из степи полынный дух. Я чересчур напряженно его вдыхаю, пока ящерка, стрельнувшая по нагретым доскам крыльца, не выводит мой взор, застрявший где-то внутри меня, в другую сторону мифа — как иголка нить. Я увидел, как высоки небеса. Как высоки и отвесны. На этой стене не удержаться звездам. Я любил такое объяснение мира — оно облегчало мне жизнь, и моя мифология легко делалась кукольной галиматфией. В такие минуты я проваливался в детскую пору, выходил за свои пределы,

имеющие возраст, свойства и волю. Вот — звезды уже стекли с отвесных небес, и жизнь тоже стечет со всего, и я вместе с ней. Все делалось равновесным и безупречным. У крыльца охапками стояли высоченные мальвы.

Степные розы — они не имеют запаха, и в глуби их водятся насекомые — неразличимые, мельчайшие, побольше. Шевелящимся точкам никогда не снизаться в бусы, хотя они ими определенно были; ведь, видя их на дне мальвы, я различал и особое незримое устье, откуда, упредив все, проистекли порядок и предназначенность.

Поэтому мальвы, храня эту важность, отлучены от чистого простодушного цвета, — они не розовые, не красные, не белые. Их цвет обретается где-то рядом, так как не в нем дело. Они никогда не занимали меня как цветы (они ведь не были излишеством и шедевром), а подспудно свидетельствовали о других неистребимых свойствах мира — о его затхлой расточительности и одновременно скаредности, то есть о смертности. И я осознал, как весь мир поворачивается ко мне тусклой стороной, теряя умопомрачительный блеск. Но ведь он был. Был. Простирался...

Где-то вдалеке говорят на непонятном языке, начинают ссориться, вмешивая русскую ругань в неразрешимую массу звуков. Но шум речи смешивается с ранним часом — и все обретает мягкость и робость, невзирая на неистребимые смыслы и конечность. И я увидел, как мое тело, переходя в меру шумящего времени, делается смертным, ничуть не огорчая этим меня.

С самого-самого утра безотказным Толяном была вытоплена банька, спрятанная на отшибе старухины угодий. Слева от баньки аккуратные деланки, засаженные нежной коноплей. Я уже знал, что это вовсе не сорняк. Сама старуха и Буся бесконечно долго парились первыми.

Вот Буся наконец прошествовала разморенной дивой в тюрбане из полотенца, кожа на ее лице светилась, будто ее отполировали жаркими розовыми зеркальцами.

Потом настала наша с Толяном очередь.

Не глядя друг на друга, молча, мы сидели в жаркой низкой каморке. Как на ступенях для хора лилипутов.

Голизна Толяна, поблескивающая на свету, еле продирающемся через одно крохотное оконце, показалась мне плотским панцирем, будто под ней было нечто, что-то еще, что он тоже мог мне вот-вот предьявить.

Запах разморенного тела, живого, но тихо загнивающего к банному дню, как трухлявое дерево, переполнял маленькое пространство баньки.

Я безразлично хлестал его гибким ивовым веником, ведь дубов и берез в их краях никогда не было и в помине. Он, побряхтывая и ничего не говоря, лишь вертелся на полке, подставляя под мою безынициативную механическую порку то узкую гибкую спину, то плоскую грудь с пятнами сосков, то косой шрам на впалом животе, уходящий в заросшие волосней чресла и раскинутые в неудобной позе поджарые ноги.

Он лежал как живая аллегория реки, разбивающейся на рукава, перед тем как исчезнуть в море.

Я сам себе напоминал безжалостную тупую машину, заведенную злым мастером.

Хлеща Толяна с одинаковой силой замаха, я понял, что он как-то под меня подстроился и получает нехитрое субботнее удовольствие.

Чем сильнее он вздыхал, словно бы возбуждаясь, тем больше был мне виден сразу весь, каким-то непостижимым образом. И мое зрение в этой влажной полутьме пронизало его как нечто сквозное. Как субстанцию одинокого и жалкого прошлого.

Я почему-то увидел его стеклянным и наполненным легким дымком.

Узрел его кровь, но не красными жгутами проникающую тело, а как вспышку, как кончину.



Увидел его до самого конца.  
 До недалекого предела его жизни.  
 Узнал его смерть.  
 Я остановился.  
 Я погладил его по плечу.

Единственное, что он еле пробормотал, тихо попросив о чем-то из забвения:

— Ну, давай...

Я увидел его не как человека, а как человечину. И я перестал его бояться. Так как проник в его меру, взглянув не на него, а чрез него и прямо, туда-туда-туда, в эту несусветную даль.

Уж не Бог ли посмотрел мною?

В голове моей помутилось.

И единственное, что я помню достоверно, за что могу и сегодня поручиться, — острое, ни с чем не сравнимое чувство жалости, вдруг обуявшее меня. Ко всему на свете. К прекрасному голому Толян, повалившемуся на бок на этот липкий восхитительный полóк, поджав блистательные ноги к животу. (Он стал весь сверканием.) К облысевшему упоительному венуку, ставшему в моей руке звонким хлыстом. К черным скользким базальтовым бревнам, из которых была сложена эта драгоценная баня. К небольшой белой каменке. К узкому листку триумфа, прилипшему к ягодице произведения рук Божиих.

Я почему-то вспомнил своего отца, оставившего меня.

И мне почудилось, что он покинул меня, пребывая в самом благожелательнейшем расположении ко мне.

Он отступал от меня, пребывая в самом искреннем порыве попечения всего моего существа, уже обратившегося в вечность. И чем дальше он оказывался, тем сильнее я чувствовал его заботливый порыв, состоящий из любви и опеки.

Разве простертый в невесомом тумане Толян не годился мне в отцы?

И все во мне превратилось в теплейший плавкий воск, я почувствовал себя пролитым в неги для искренней любви.

Нашу скользкую наготу не увидел никто. Никто — из животных, рыб, насекомых и ангелов, населяющих небо.

В лицо, в самую переносицу меня ударил колокол.

Бухнула створка неподъемного последнего люка в этой жизни.

И настала тьма-тьма-тьма-тьма.

А так как это слово не имело конца и предела, то исчезло все.

Мы с Толяном угорели.

От этой чертовой старой каменки.

Еще немного, и нам бы никто не помог выбраться из морока моих видений.

Я еле дополз до порога. Хорошо, что мы дверь не заперли на крючок, я бы до него уже не дотянулся. Перевалив за порожек, я забылся в липкой мыльной луже, натекшей за сегодняшнее мытье.

Я хрипло звал на помощь мою верную Любовь.

Меня никто не услышал в этом мире.

Буся плотоядно смотрит на мой оволосатевший низ живота. Я вижу ее отяжелевший взор, но мне не стыдно, и я не прикрываюсь, так как я еле жив, я нахожусь там, где нет стеснения. Она стоит с ведром холодной воды в руке. Она вот-вот плеснет на меня. Я вижу ее снизу. Босые гладкие ноги, легкий цветной подол, склоненное лицо, смотрящее мимо моего лица. Я знаю, что она увидела, — мой член, мою мошонку, растительность, поднимающуюся по животу. У меня нет воли, чтобы отогнать ее или прикрываться.

Мне так хорошо, — я вижу синь небес, вот-вот сам туда поднимусь, взовьюсь.

Ее взгляд опускает меня в патоку легчайшей бездвижности. Мне кажется, что она может меня поглотить, съесть, начиная с того самого места, куда так сладко глядит.

— Сынуленька, ты живой? — наклоняется она совсем близко ко мне.

Я серьезно спрашиваю ее:

— Я умер? И Толян умер? Мой отец умер?

Откуда-то со всех сторон, сторон, не соотносимых ни с какими координатами, — мой жесткий скобяной голос. Он откуда-то и одновременно отовсюду, где меня чуть не позабыли, куда я был выbleван происшествием, где так уютно колыбался вместе с Толяном, где легко затеряться — только отойди от светлого проема, и обратного пути не будет никогда<sup>15</sup>.

— Так ты живой? Говори, говори, говори! — Она уже зло и отчаянно хлещет меня по щекам.

Она била меня с таким звуком, будто на меня падала струя фонтана. С высоты ее небольшого роста.

Толяна насилу выволокли с полка, ведь мне, когда я почувал что-то неладное, не удалось его растолкать и сдвинуть с места в баньке, заполнившейся легким угаром.

Его ели отпоили.

Он сказал мне потом, что мы с ним теперь побратались, и если бы не я, то он бы там так и упрел до смерти. Он ведь уже проваливался в черноту, когда я его усердно хлестал.

Хотя якобы и просил меня через одолевавшее его забытье несколько раз: «Ну, давай скорей отсюда».

— Но ты ведь не сказал «скорей отсюда», а только «давай», — возразил я.

— Вы теперь угарщики, — пошутила Буся, — значит, никогда не погорите.

— А чё, потонуть сможем? — спросил ее Толян.

В самый жаркий день Толян повез нас с Любашей на своей замечательной лодке-гулянке в таинственную Нижнюю Тростновку<sup>16</sup>. Сложным путем километров десять вниз, вернее, не вниз, а вовнутрь, в сторону, в глухие дебри, левее, правее, назад, — по тесным, заросшим сухими камышами и острыми осоками протокам, вдруг неожиданно вливающимся в коренник, и потом снова по канальцам, пробивающим ерики, да и то только потому, что вода этим летом стоит такая высокая.

Обычно в те места можно добраться лишь на машине, на полноприводном «газоне». И мне казалось, если на наш путь посмотреть сверху из голубых выцветших небес, то оказалось бы, что наша лодочка движется по

<sup>15</sup> И я удостоверился всей глубиной своей умиротворенной души — как страшно быть в забытии. Это значит — оказаться там, где уже нет бытия. Закатиться за... В отличие от того, кто просто позабыт. Ведь он просто исчез из привычного круга вещей, но может быть найден.

<sup>16</sup> Отчаянное солнце воспламенило само себя и, став бельмом, моментально выпарило грядущую дневную жару. Я это запомнил, так как встал очень рано, и просто почувал, как день, мгновенно миновав утренние сумерки, опрозрачил и довел до слепоты видимость далее, где обычно зрел пологий горизонт. Он будто мгновенно возвел пропили, которые не сойдутся в точке яростного жара. И жар, вымарав облака, отменил законы перспективы и усмирил речное эхо. Мне почудилось, что низко пролетевшая ласточка не смогла оставить за собой свистящий след, она прорезала воздух как скальпель.

Казалось, что раскрывается кулиса особенного всеобщего времени, очищенного от иссякания. Мерность его ослабевала. Никто не должен умереть, так как и здесь никому не предназначалось места, не задана последовательность и не предопределен порядок. Координаты иссякли, не проявившись. Это качество говорило только о моем наличии в мире, оно ничем больше не ошеломило меня, и только с замиранием сердца я понимал, что я — только «есть». Есть, и все. И этого было безгранично много.

Словно я почувал дежурство ангелов, сменяющих друг друга на острие иглы, которой был я сам, и их легкий ропот проникал сквозь мою эпидерму.

меандру, загибая налево, налево и снова налево, возвращаясь к самому началу, но там — все заросло, и я никогда не узнаю тех мест, где только что бывал.

Полураздетый смуглый Толян утяжелял корму, как сфинкс. Он чуть двигал рукой на отлете, перехватив длинную рукоять подвесного мотора. Легкий цвет его тела, выгоревший ежик волос, казалось, не имели веса, но узкая лодка проседает кормой, подымая узкий нос, не разбрызгивая ровную воду, а как-то на нее наезжая, немного подминая пленку самого верхнего слоя. Складки его штанов говорили мне о его теле больше, чем жесткие и редкие мужичьи прихваты и органичное напряжение позы.

Я вдруг понял, что и он взглядывает на меня, как бессонная птица, как неясность. Сразу обоими глазами.

Ловко управляясь с лодкой, он будто бы предъявлял мне свою биографию, исполненную на самом искреннем языке из всех возможных. Чувственнее исповеди, точнее документа, выразительнее нетрезвого откровения.

Это зрелище было слишком глубоким и травмирующим, более глубоким, чем могут сообщить слова. Откуда-то, где слова, их звуковые оболочки встречаются со своим смыслом, где нет самого времени, где испытанья преодолеваются только потому, что есть желание их преодолеть.

Он вот-вот должен был начать задавать вопросы.

Мне, как Эдипу. Ведь я захотел нашу Бусю на его глазах.

И за первый неправильный ответ...

На носу восседает внимательный Малек, как зашерстившее изваяние. Он уравнивает Толяна. Тонкие длинные лохмы на песнях боках чуть приподнимает легкий ветерок. Белобрысую шевелюру Толяна не тревожит ничто — настолько она коротка.

Наша Люба, наша Буся в ярком, липко-зеленом купальнике, белая тенниска подвернута под самый лиф, чтобы плечи не сгорели. Она, как наяда, перегибается за корму и загибает ладошкой. Толяна это нервирует. При маневре Буся все время качает лодку. В винт могут попасть прибрежные корни. И Толян, не выпуская давно погасшей «беломорины» изо рта, сумрачно смотрит вперед — сквозь нее, тяжело молчит в ее сторону.

Мы плывем второй час. Ни слепни, ни мухи не тревожат воздух, и он делается каким-то исчерпанным, целлофановым.

Я повернулся лицом к Толяну, спиной к движению. Буся, изгибаясь к воде, касается меня, наезжает на меня безупречно гладким, словно отполированным, бедром. Она двусмысленно теснит меня к низкому борту лодки.

Мне хочется, чтобы она не меняла своей позы, — и я тихо жмусь к ней. Но еще больше я хочу, чтобы Толян смотрел вперед поверх меня, видя смысл моего примыкания к моей дорогой, моей единственной.

И я был бы не против того, чтобы Толян по-братски любовно звезда-нул меня в левую скулу и пробил бы моей опрокинувшейся за борт тушкой перепонку заводи.

Я себе очень хорошо это представляю.

Как.

Он.

Это.

Делает.

Очень хорошо.

Вплоть до боевого придоха, почти видимого кратчайшего выхлопа, издаваемого при этом, выбрасываемого изо рта. Как боевая машина, скрипнувшая перед ударом. Как арбалет.

Я размечтался.

Я захотел быть наказанным.

Ведь меня никогда не наказывали, со мной просто очень строго обходились.

Но он, взглядывая поверх меня, спокойно молчит.

Только шевелит мне волосы своим безразличным серьезным взором.

И мне делается в конце концов не ясно, с кем из них двоих — с Бусей или Толяном — я нахожусь в странной близости. И все мы спаяны особым жестким ритуалом, чьи детали обговорили заранее.

И собака надзирает за округой. И ничто мне не угрожает. Кроме ударов моего сердца. Оно стучит так громко, что, наверное, гложет мелкая рыба.

Свободной рукой Толян безостановочно волочит по дну какую-то снасть.

Моя голая нога прижата к Бусиной. С мерной периодичностью я напрягаю и расслабляю мышцы. Бедрa, икроножную. Икроножную, бедра... Буся плывет почти по моей волне. Я словно озарен ее упругой угнетенностью.

Я беззастенчиво разглядываю Толяна, я брожу по нему взглядом. Ниже пояса штаны его топорщит. Я взвешиваю его торс. Стекаю каплей пота по ребрам. Безволосое нетренированное, но очень сильное тощее тело. Симметрия сосков. Выбывающийся светлый клочок завитка из-под мышки. Мелкий круглый узелок пупка деревенской завязки<sup>17</sup>.

Длинное напряжение шеи, убегающее жилой в сквозящий ежик на башке. Мать стрижет его почти под ноль ручной машинкой. «Как овцу корнает». Он так мне сам сказал в бане.

И когда я добираюсь до его скуластого, но мягкого лица, то зарываюсь в сложный лабиринт совершенно непонятных мне черт — ровного носа, бледного рта, чуть оттопыренных ушей.

Я почувствовал себя в лабиринте.

И вот-вот еще через одно робкое, но неотменяемое движение меня должен объять дух того, кто там — в полной тьме, невоплощенный, шастает, не касаясь вещества, и бесплотнo обитает. К моему сердцу подступает глухая теплота, словно я вступаю в месмерический обмен с тем, на кого смотрю.

И я разумел в нем неуловимый субстрат, уже встретившийся где-то мне. Когда-то.

Может, я ловил остаток, если можно так выразиться, лица моего отца? Вряд ли.

«Остатки, останки, осадки, станки», — бормочу я, прижатый к бортику Бусей<sup>18</sup>.

Вот я и добрался до Толяновых глаз, мне кажется, что мой взор подействовал на них, как подействовал бы сон. Он и потупил свой ответный взор, и прикрыл веки. Он встряхнулся, но это мимическое движение было мизерным, его не увидел никто, кроме меня и пары стрекоз, выющихся над нашей лодочкой. И совершенно незаметно для Буси и Малька, если бы не легкий рывок мотора, ведь рукоять он выпускать не мог.

— Ну, Толь, — вспорхнула Буся, но только одним голосом, не отлипая от меня, — утопишь всех, Толь.

В полном молчании мы плывем дальше.

Ни Буся, ни я, ни Толян не могли быть никем увидены не потому, что стали невидимы, а просто это мировое подглядывание не допускалось. Как

<sup>17</sup> Ведь его, как и Бусю, а значит, и мою мать принимала одна на три Тростновки повитуха, и пупки были у всех одинаковы, не то что мой — городской, чуть торчащий наружу.

<sup>18</sup> Мне ведь так и не удалось отца толком за ту единственную неделю каникул разглядеть. Его лицо. Как позитив смутного зеркала. Да и, по правде говоря, когда я принимался вспоминать его внешность, лицо и тело, меня населял какой-то легкий спазм. Да, всего лишь спазм, близкий к тошноте, по дороге к конвульсиям. Но до этого еще было далеко, будто я совершил страшное, но сладкое, сладкое предательство и вот — вынужден жить-поживать себе дальше как ни в чем не бывало.

До меня дошло доказательство — что равенство отца и его отражения в моей памяти не оставляет мне надежды на его бессмертие. Это равенство словно разряжало его, низводило память о нем до немощи.

будто все обрело другую анатомию — и небо, и бледнейшая луна, и тихие звезды, — ни у кого не было глаз.

Стыд ушел вместе с многоочитым миром.

Буся устает молчать и, глядя в воду, рассуждает о том, какие собаки ей нравятся, а какие не очень. Как она хотела бы «вадельной» завести собачку. Может, сухой песий запах Малька наводит ее на эти мысли.

— Вадельную только небольшого беленького кобелька приведу, — мечтательно говорит она внимательной зеленой воде.

Малек тихо фыркает, он понимает ее речи. Оглядываясь, подмигивает мне и Толяну.

«Веди-веди-веди». Толян безмолвно перекатывает папиросу из левого угла рта в правый и, наверное, ничего не говорит. Даже самому себе. Он просто мне улыбнулся. Жарко, солнце стоит отвесно, а эта чудачка все лодку качает...

Но я слышу не только Бусины речи, а огромный диалог, полный воспоминаний о совершенно неизвестных мне событиях. Кажется, воздух над нашей лодочкой нагревается и совсем немного, самую малость посверкивает, будто он наэлектризовался от наших ласк.

Буся всегда ввязывается в разговор с владельцами шавок, псин и собак, серьезно обсуждает с ними качества пород, особенности аппетита и сна. Хвалит любимые, нелюбимые осуждает. Она все знает про собак. Бездомных она жалостно прикармливает. Разговаривает с ними. Будто в ней, еще молодой, уже просыпается что-то старушечье. И собаки, особенно бродячие, понимают ее и слушают очень внимательно. Это не всякое там «сю-сю-сю, моя бедненькая, моя лапочка», а специальный вкрадчивый глубинный тон. Буся их понимает, как и они ее. Иногда они ей отвечают тихим скулежом.

Она, сердобольная, хочет особенную собачку. Она мне часто об этом говорила, забывая, что повторяется.

Особенность эта должна состоять в том, что собачке не обязательно быть породистой и тем более красивой. Лучше вообще совсем некрасивой. Она только должна любить Бусю беззаветно. Чтобы все заветы природы перед собачкиной любовью к Бусе были бы ничем, рассыпались в прах.

Эта мысль меня до сих пор озадачивает.

И вот Буся заинтересованно презирует каждую чистую породу. За специфическую, видимую только Бусей особенность, исконный неустранимый недостаток.

— Овчарка, не поверишь, — чистый горлогрыз.

Когда она говорит сама с собой, не обращая ни на кого внимания, то для меня, слушающего ее, происходит странный оборот видимостей, вроде бы должных восстать из ее речи. Они превращаются еще раз обратно — в слова, они лишаются вида и смысла, и мне начинает казаться, что я никогда больше не смогу различить в описываемых ею собаках ничего хорошего. Они так и останутся в резервации подозреваемых, заклеянные историями, рассказанными Бусей. Я ловлю себя на том, что, назвав их, этих разнообразных собак, именами, данными ею, я навсегда изымаю их из себя.

Толян позже скажет про нее, почему-то оглянувшись, хотя мы были одни. Будто его слова донесет ветер:

— Как начнет трепать, так пиши пропало.

И я часто ловил себя на том, что после каждого периода Бусиных речей, означающих нечто, мог поименовать это нечто термином «пропало».

Мне поэтому кажется, что в Толяне жил какой-то необыкновенный русский сфинкс, сжимающий туманные области моего тогдашнего недоумения до одной внятной философической точки, где смыслы оборачивались, насыщались и яснили, как дали после дождя.

Но чаще он молчал, просачиваясь в каменную дрему.

Вот вечно смолящий Толян перекатывает во рту из угла в угол окуроч. Уже давно погасшей полусжеванной папиросы.

И до сих пор не могу объяснить своего странного жеста. Его сделал не я, так как очень отчетливо увидел себя со стороны. Ведь, потянувшись к Толяну, сжимающему рукоять мотора, аккуратно, если не сказать нежно, вынул из его губ этот давно погасший окуроч. Увидел свою руку, тянущуюся к его губам очень долго — в замедленном кино. На глазах Буси, смотрящей с удивлением, словно сквозь меня. Не попадая в ее фокус. Мне почему-то показалось, что Толян давно нем, и я, не зная азбуки немых, ничего не смог ему сообщить. А может, мне стало его жаль. За напрасные надежды, за Бусю, в которую он был тщетно и как-то зло влюблен.

— Во-во, прикури-ка новую. Руки ж заняты. Хоть добрая душа нашлась.

В свободной левой руке он держал поводок или обрывок снасти. И он вел ее аккуратно по неглубокому дну. Что за засады он проверял?

И я действительно наклонился к нему и порывлся в его карманах, где лежали и папиросы, и спички. И раскурил первую свою папиросу, сильно закашлявшись вязким дымом «беломорины».

Коснувшись его, почувствовал маленький, ну, может быть, в пятнадцать слабых вольт разряд острого тока, или пролетел ветероч, как игрушечный мяч.

И мы с ним наконец подружились, не сказав друг другу ни одного раз-вернутого предложения.

Мы стали заодно.

На Толяна оглянулся Малек. Сумрачно, исподлобья глянул на хозяина. Мне показалось, что он приревновал. Что он его упрекает.

Наконец мы причалили к плоскому берегу, к руинам покинутой деревни.

— Тростновка Нижняя. Ниже нет, — тоном экскурсовода провозгласил Толян.

В деревне давным-давно никто не обитал.

— Даже собаки, наверно, ушли. — Толян оборотился к голубым далям, куда заваливался горизонт. Будто там было песье поселение.

Поблизости стояли пустые дома. Они будто были приготовлены для медленного затопления или отчаянного поджога. Сухость охватила все. Низкие осыпающиеся мазанки и дощатые пристройки. Следы улиц, запаршивленные низкой сухой растительностью.

На все мерно наступала степь. Перед ее натиском все вещества мира твердели, чтобы с хрустом рассыпаться. Только приложи усилие к нужной точке. Все пойдет прахом: никем не вдыхаемый воздух, дух брошенного домовья, прочнеющие беспорочные дали, не видимые никем.

На ближних к реке домах следы высокой воды, как будто по ним трех-летние дети провели ровной грязной кистью, обходя их периметры.

В дальнем далеке хрипло гавкнула собака. Ее будто ударили. Это была кульминация пустоты степного разглаженного пейзажа.

От внезапного резкого звука к вздрогнул. Будто меня в одно мгновение настигла весть, пролетев тысячу километров в один миг. Ее ведь ничто не могло задержать — ни дерево, ни холм. Собака что-то прокричала мне, как пифия. Отрывистая весть сулила неминуемые перемены. Остановку, обрыв движения. Этот был самый безвдохновенный звук, когда-либо слышимый мною.

Почему-то было понятно, что это лай не сторожевого пустобреха. Эта собака ничего не сторожит. И я много бы дал, чтоб перенестись туда, где порождался этот звук. Или получить оттуда картину происходящего. Не касаясь, только одно зрелище. Через стекло.

— Никак на селезня нашла, — жестко сказал своему сомнению Толян.

Он подтянулся, будто сразу раздвоился. В нем проснулся тревожный охотнич, вступающий в шумные тростники.

Я не сразу уловил, что глагол «нашла» означает «набрела», «сыскала».

— А может, на утку, — завредничала Буся.

Сразу стало понятно, что она совсем из другого, нездешнего вещества, мягкого и домашнего. Она пугалась незапланированных приключений. Она искоса посмотрела на меня. Вроде бы с опаской.

— Не морочь парню башку. Ну какая утка к себе подпустит? В эту пору.

Я становился парнем. И это мне нравилось. Мне совсем не хотелось быть мальцом.

Они начали меня, повзрослевшего, настойчиво делить. Я это хорошо понимал.

Буся, стоя по щиколотку в воде, перегнувшись через борт лодки, перебирала привезенную поклажу.

Я пересекся взглядом с Толяном, наши взоры спутались в одну крученую нитку, в быстрый узкий жгут. И может быть, мне удалось на миг перебраться в его тело, увидеть, словно свои, его ладонь и пальцы, стонящие в этот миг несуществующую букашку со лба.

Он ведь тоже искоса неотрывно смотрел на ее слишком легкий, не женский, узкий круп, обтянутый едким лепестком купальника. Слово «зад» к ее телу совсем не подходило. Это место было особенным и по-особенному выразительным, главным. Будто она так и должна навсегда застыть в этой вычурности. Человека и животного сразу.

Чуть вывернутая поверхность ее бедер, восходя к пятну трусиков, становилась чуть, ну совсем чутьточку темнее. И я увидел в ней ее яркий пол, яркий и яростный. Неумолимо открывшийся мне с силой неотменяемого приближающегося наказания.

Что-то во мне ослабло. То тайное место, где колеблется забвение, стоит колом соблазн и никогда не наступает довольство.

И я понимал, что к простому людскому желанию жалости, то есть к любви, это не имеет никакого отношения.

Я увидел, как смотрит на нее Толян, ведь я соскользнул туда же по линии его взгляда. Как хищно без прищура он глядел туда, на свою добычу. На законную добычу, что влажно и тускло зашевелилась в ячейках ловчей сети. Почти добытая, *его* Люба, она теперь-то от него никуда не денется, и он может не спешить.

«Она может только блеснуть и шевелиться», — подумал почему-то я.

Больше ничего.

Только блеснуть и шевелиться.

Самым дорогим блеском, не вырывающимся наружу. И шевелиться так, что никто не уловит ее движений.

Я почему-то подумал, что если так, то я вслед за ним тоже могу не спешить никуда.

Бусины маленькие босые ступни не проваливаются в речной песок, будто она ничего не весит. Так, самую малость, ровно столько, сколько должен весить фантом, вернее, его внезапное зрелище. Если она наступит на битую перловицу, рыболовный крючок, то никогда не поранится.

И я не позабуду, как она стоит вблизи от меня, поодаль низкой лодки, перегнувшись через дугу кормы. Дыбится посреди моего опасливого зрения чудесной дугой, словно специально выворачивая себя, не попирая речного песка своим весом. Ведь она должна была вдвойне отяжелеть от наших пристальных взоров, что вошли в ее розовое драгоценное нутро. И в том двойном созерцании не было ничего постыдного.

В мире не существовали стыд и порок...

Между нами, кажется мне, заключен договор, исключаящий постыдное в нашем тихом настоящем.

Мне стало понятно, что я никогда не смогу ее по-настоящему полюбить. В той же мере, как и разлюбить, невзирая на то, что она принадлежит не мне, только потому, что я этого никогда по-настоящему не захочу.

Так же как не разлюблю мою мать, которой не мог принадлежать никогда, только лишь потому, что не мог ее любить.

Так как... ведь... оттого... что ее просто никогда не было со мной.

И на самом деле, я понял это уже тогда, что люблю только морок своего соблазна, порождаемый близким, неприкосновенным движением тела, кружащегося на незримой привязи.

Я увижу ее распахнутые глаза утром.

Во внутренних уголках, у самого истока, с краю самых слабых в мире век скопятся мягкие белые точки, и я не разлюблю, как и не поллюблю ее за это.

И за это.

Я понимал, что в этом порыве, отрицающем меня, уже заключена особенная чистота моего смысла. Ведь этими словами я на себя донес. Сам себе. Тайно.

С Толяном что-то происходило.

Мне показалось, что вокруг него все мутнело, словно подбой грозового фронта. Он сидел, вытянув ноги, откинувшись на бревно, урытое в мелкий песок. Будто должен вот-вот собраться с силами, не покидающими его при любых обстоятельствах, встать и прошествовать за горизонт.

Он мерно и бессмысленно смотрел по сторонам: изменение небесного цвета, скопление серо-сизых облаков на горизонте, просыпавшиеся нитки ливней, словно потроха из туши, зыбкие раскаты совершенно беспрепятственно в него проникали, так как он перестал иметь границу. Они все оставляли на всем след, и он переставал существовать, хотя был тут, сидел рядом, на гладком бревне, едва перебирая пальцами ног плотный слежавшийся песок<sup>19</sup>.

Он атакован грозовым фронтом, мне кажется, что он побежден. Захвачен зрелищем дольней грозы настолько глубоко и сильно, что вот-вот сам исчезнет в ней, разворачивающей свои шинельные скатки за десятки верст отсюда.

Еще совсем немного, и я смог бы получить от него ответы на невероятные вопросы. Заглянуть в протокол смерти Патрокла, узнать, каковы были на ощупь лодыжки Ахилла. Где была та смертная точка. Он точно все это видел своими глазами, чье стекловидное тело замещалось чем-то пассивным и неживым — ониксовым шаром, например. Я погладил его по прозрачному ежику. Только одним своим зрением, обойдя высокий контур от крутого затылка; по заросшему темечку и ко лбу. Мне почудилось, что по его коже пробежала волна, опережая мой несостоявшийся жест.

Я понял, что на него находит помрачение. Вместе с помертвелым густым краем неба, с еле перекатывающейся подслеповатой тусклой зарей.

— Ты лучше его не трогай. Посидит. Сам отойдет, — тихонько сказала Буся, спокойно взглянув на сидящего вблизи Толяна, взглянула так, будто он действительно куда-то отошел, а на бревне осталась опустелая плоть, облаченная в его легкие штаны.

И мне почудилось, что вот он наконец стал податливым и проницаемым, как тогда, пару дней назад, в банном угаре под моим ивовым хлыстом.

Сквозь приоткрытый рот виднелся полукруг ровных зубов. Я мог провести по их краю пальцем. Язык, задранный к небу, его животный онемевший испод, скрытый напор, натиск. Зубы показывали, что у него есть белый скелет, а чуть покачивающийся в ритме дыхания язык — что он почти животное.

Я почему-то подозревал, что особые узы связывали Толяна и его мать, так как помимо соучастия в его болезни, натянутой между ними осязаемой

---

<sup>19</sup> Из-под бревна выбивается зелень. Не знаю ее названия. Тошая и тугая, иссушенная дневным жаром. Уже не зеленого, а угнетенного вызолоченного цвета. Словно растительность на летнем загорелом теле.



пуловиной, она беспрестанно стригла его, как покорное животное, предназначенное жертве. Ее труды щетинились на его голове кратким чувственным ворсом. Может, ей хотелось, чтобы солнце, приныкая к его черепу, осушило его древний недуг.

О матери он почти никогда не говорил, но умалчивал ее особенным образом — как страстную очевидность, ведь он приходил из своего дома как с любовного свидания. Мы только переглядывались с Любой, видя, как его равновесное умиротворение сменяется напряжением и беспокойством. Не заметить этого было нельзя. И однажды, когда он внезапно ушел от нас — ни с того ни с сего нырнув в щель между домами, я понял, что это она просияла ему совершенно незримо для меня и Любаши. Слово какой-то блаженный спазм развернул его в другую сторону.

Я не удивился, если бы узнал, что они и спали вместе: безупречным бесполом валетом на узкой лежанке, сливаясь и приумножая свою беспорочную связь, делаясь совершенно безупречными в нестыдной обоюдной прельстительности любви и болезни.

В его ухо забиралась, подрагивая брюшком, оса. Словно в чашу цветка. Я почувствовал, как все в мире вокруг нас замерло, напрягшись, как неправдоподобно это зрелище. Оно почти измышлено, но мне не удалось его сморгнуть. Оса попятилась и улетела низко-низко.

И вот на его глазах, не видящих ничего, кроме морока болезни, она меня в первый раз в моей жизни по-настоящему поцеловала. Как непугливая нимфа, выбравшаяся из тихой воды. Мне и вправду казалось, что, когда я обнимал ее за шею и касался нежных выпуклостей позвонков под путаницей прямых прядей, выпавших из ослабшего узла, я словно вступал в противоречие с подурневшей молчаливой природой. Ведь она под тихой нежной гладью бережет тугие камни, жесткие корни, осколки старых ракушек, припорошенных живым песком.

И я опознал гладкие блестящие, даже на вкус блестящие зубы и острый быстрый язык, проходящий по моим деснам нежным наждаком самого ласкового и одновременно дерзкого калибра, легко и как-то играючи оттопыривая и еле заворачивая мои губы.

— Да ты ничего не умеешь.

Мне чудилось, как она все время шептала эту фразу.

Я и вправду не умел. А она будто открывала во мне форточку. Словно в пустом классе перед экзаменом, только потянув на себя мое одеревеневшее тело, как хрупкую фрамугу, и вот-вот я должен навстречу ей распахнуться, с волнением войти в самого себя — в пустое помещение.

Все, что происходило между нами дальше, легко можно было прочесть в любой бодрой книжке, вычитая мое тело из календарных свойств дня. Но дело все в том, что во мне росло странное чувство, и я из бодрых книжек так про него узнать ничего не смог.

Вот в нем-то и все дело. Как и в том, что первая настоящая ласка в моей жизни оказалась связана с запредельной декорацией и глухим угрожающим натиском чужого, ненужного мне бытия.

Я постигаю собой, из себя, из своих распахивающих жил — новый, не мой мир. Всем — электрической эпидермой, еле-еле сдерживающей новую судорогу. Блуждающим взором, видящим и язвящим все. Скользкой слизистой рта, протирающейся сразу за моими губами, выворачивающей меня наружу, как умирающего жильца разломанной раковины. Мощно, одним мановеньем желанья.

Ведь она не дарила мне себя, она не была со мною мягка и податлива, а просто присвоила меня как законное наследство, которого надо дожидаться. И вот она дождалась, вступила в права. И могла уже делать со мной что угодно. Забить мне в рот кляп, прикасаясь к языку, губам и деснам только своим языком. Связать кисти рук своей жесткой волей, не связывая

их. Даже задвинуть в мой анус кол, сквозь весь кишечник, преодолевая сопротивление круглых мышц, чтобы я умер. Ей ведь стоило только захотеть. И, судя по всему, она хотела, так как наследства ей пришлось ждать слишком долго. Моей длинношеей. А мне хотелось только одного — чтобы она не переставала хотеть меня. Любым способом, избранным ею<sup>20</sup>.

Я отошел на глубину, я поплыл.

И чувство конца, полное невладение собой вошло в меня — вместе с ее сухим, сильным языком. Которым я тогда захлебнулся. И я не могу до сих пор сказать, где он побывал, так как слова ничего не смогут обозначить, кроме моей слезной топографии, заливаемой жарким паводком.

Я вмиг разучился плавать на мелководье и ездить на взрослом двухколесном велосипеде.

Ступор, в который я был вплавлен Бусей, и негнувшиеся латы, будто возложенные ею, ввели меня в чудную скованность. Время, соскользнувшее на меня с ее тела, обернуло меня, как влага купальщика, и повернуло все вспять.

Я ею рождался. Я изымался ею из мира смутности и неотчетливости, где пребывал.

Ведь по мере того, как член мой поднимался, я сильнее и громче слушал шум своего сердца и делался все меньше и меньше, постепенно теряя вообще все сведения о самом себе. Все сыпалось за мои пределы, как буквы из старых наборных касс. Я словно отряхивался. Я забывался, становился косным и малоподвижным. И, кажется, я входил в нее, только лишь едва ее целуя. Глядя на себя ее закрытыми глазами из-под жара тонких желто-золотых век. Главное — я был очень мал, я лишился возраста, веса, прошлого.

Я оставался только тем, чем касался ее.

Я сам бесконечно мал, меня нет, меня нельзя заметить.

Мне уютно мое бытие, так как оно гнездится уже где-то за моей границей.

Я вспоминал только имя — простое и короткое, стоящее облаком во мне — два одинаковых слога.

Я не могу их выговорить.

Больше всего я хотел, вернее, не я, а мой рот еще и еще ее языка, его кружевного вкуса и туманного говора, лучших безмолвных слов, переходящих в мою слюну.

Словно в двух проницаемых словарях в нас все перемешалось.

Я.

Хотел.

Ее плотнеющих сосков под липким трикотажем купальника.

Ее жесткого мелкоутопленного в плоскости живота пупка (она шепчет: «ниже, ниже, еще пониже», она направляет мою руку, она жужжит, как прекрасное вычурное насекомое).

Ее скользкого клитора речной нимфы в отмени жестких волос.

Хотел всего, чем я мог насыщаться, как маленькое опрятное животное, выбежавшее из реки, взятое в невыносимый сладкий полон.

Я ведь захотел, чтобы она меня наконец-то покормила собою.

Чтобы я наконец насытился.

Как это когда-то давно, совсем по-иному могла бы сделать моя мать.

Но оставив меня в границах моего беспамятства.

Мне мнится, и я не могу уразуметь — святотатство ли это, но я воплощаю в ней свою мать, и я попадаю туда, где уже пребывал однажды. В самом завершенном устье, полном влаги, оно само скользнуло столь благожела-

<sup>20</sup> Я почувал и вспоминаю посейчас, как она касалась меня. Но особенным образом — меня мною. Как я весь делался плотью, как исчезали границы моего тела, как я высыпался из себя, делаясь пылевидным.

тельно навстречу мне. Вот муфта, манжета, а вот — живой молчаливый выступ, уводящий в ее волшебные недра. Где нет и тени скорби, где нет и намек на тесноту и конечность. Этому месту оказались не присущи какие-либо свойства.

Мерное горячее шевеление, становящееся словами. Ее или моей матери. Слова, которых я никогда изустно не слышал. Только читал в страшных сказках. Они вдруг обросли плотью и волшебно нагрелись:

— Сынуленька, волчок мой.

Я оттого волчок, что в нее вошла вся моя уменьшившаяся во сто крат ладошка? Оттого, что я, выскочив из степи, состоящий из ласки и страха, мог в любой миг улизнуть обратно?

Я понял — мое сердце обожгло о нее. Как и мои руки, и губы.

Когда я про нее наконец-то смог сказать: «Вот она — вся»<sup>21</sup>.

И если бы мне кто-то в тот миг сказал: вот, посмотри, Толян умирает, то я даже бы не скосил глаза в его сторону.

Загребая песок, шлепая по нему, а потом по отмели, Малек громко ласкает воду. Он подходит к Толяну, ложится рядом и начинает лизать его руки. Толян не замечает его.

В пяти метрах от нас у бревна глубоко забывшийся, сползший на теплый песок Толян. И я, не переставая ласкать Бусю, все-таки скашивал глаза на его отчужденную фигуру, на эманлируемую им сладкую опасность, на его тело, замедленно сворачивающееся в позу зародыша. Уже устроившего для вечного беспробудного сна руки под щекой. Пес сворачивается в гурт рядом с ним.

Я гляжу на него, словно из остекленной прорези водолазного костюма, так как понимаю, что принадлежу совсем иной среде, куда он не будет допущен ни за какую плату.

Деньги, чтобы оплатить вход туда, он должен будет выиграть.

Сразу. В один кон. Без расчета.

Снедаемый лишь сухим жаром азарта.

Мы заночевали в пустом домике, высушенном, как древняя рыба, на полу, затянутом слоем мягкого ила, нанесенного сотней паводков. Запыленное оконце мутилось бесконечной далью.

В липком свете керосиновой лампы мы пьем травяной чай. Мягкую, пахнущую затхлостью воду Толян принес откуда-то из далекого колодца. Буся раскладывает на рябой домотканой подстилке снедь. Это опять рыба, пироги с визигой, вареная картошка, крупные помидорины. Мутноватая наливка в кефирной бутылке.

Малек вернулся затемно.

Засопел, перегородив собой низкий выход. Будто он отрезал по наущению Буси и Толяна все пути к отступлению. А я и не собирался отступать, так как не воевал. Но я не был и жертвой. Так. Просто так...

И ночью между нами произошло то, что и должно было произойти.

То, к чему мы все трое придвигались, плывя по протокам и кореннику, забираясь в ерики. К сумрачному смыслу жизни, повязавшему навсегда всех троих. Меня, Бусю и Толяна.

Подробности неблуднеющим огнем оплавливают меня. Потому что никакие детали не смогут никому предьявить того нового, занявшегося во мне вещества, которому предстоит всегда снедать меня. Во мне словно есть тонкая прослойка горячего глубокого торфа.

<sup>21</sup> В том, что я переживал, не оказалось ровным счетом никакого смысла, кроме звука моего сердца, ибо я был настолько меньше его, что ландшафт, вдруг зашевелившийся во мне, как и свет, хлынувший через мои глазницы, приумножил мою малость, и я совсем пропал в нем. Я исчез из виду. То есть из того вида, который наблюдал. И если бы я отважился посмотреть на собственную руку, всего лишь протянув ее к своему лицу, я ее бы не увидел. Как лодочку, пущенную мной когда-то в паводковый ручей в устье ливневого стока на моей улице у родной подворотни.



Я осознал их вид, лишь когда вышел наружу. Они ведь засветили во мне небольшой, но яростный лоскут эмульсии. На этой фотографии, полной робости и красоты, они лежали спиной друг к другу в одинаковых позах, специально отвернувшись, — между ними была натянута зеркальная непрободаемая плева. Натянута именно в том самом месте, где ночью был я, отделяя их друг от друга, и с тем же усилием воссоединяя.

Но на той, сугубой, моей сокровенной фотографии их не было...

Единственное, о чем я подумал, — как же я там уместился, в той щели?

Но ночью совсем иные масштабы, веса и меры, сообразил я.

Я увидел их легким боковым зрением.

Словно я — насекомое или рыба.

Посредством помутившейся оптики, откуда-то сбоку, в меня еще беспрепятственно проникают видения.

Этим зрением никого, а их в особенности, невозможно угнетать, унижать разглядыванием. Ведь такой глаз нельзя смежить, и то, что я им видел, никогда не станет для меня аффектом и травмой. Я захочу туда вернуться, так как не уверен, что это было со мной.

Иногда мне снится сон. Особенный сон соглядатая. Он меня волнует. Как будто я еще там и мне непонятно — как же оттиснется на их коже мое изображение в ночном безволии и доступности. Оттиснутся руки, ладони и язык. Как я их трогал и целовал.

Месяц, проведенный в Тростновке, как оказалось, не уменьшил тот заурядный год на себя, а удесятерил его переизбытком моей невеликой жизни. Тем, что я пережил, тем, чем я, наконец, не стал, но оказался. С тайной заодно. С тем, чем я буду шантажировать себя всю жизнь, ничего не оплакивая и ни о чем не сожалея.

Солнце уже встало, но не выкатилось из-за плоского горизонта. Еще не было теней, так как они в замешательстве не успели присоединиться ни к чему. Это длилось какой-то миг. Но я его заметил.

Ни одно ружье не целилось в меня.

Ни одна стрела. Ни одно копье.

Утром, пробудившись, никто не зевнул, так как ночь была проглочена и поглощена целиком.

В сизой пустоте стекленело тело реки, не осуждая меня и не радуясь мне. Я понял, что так больше не будет никогда.

Так тихо, что кажется — шум должен где-то обретаться, меня будто преследует возможность его проявления. Жесткая листва осокоря, стоящего в отдалении, шевеление пыли под кошачьими лапами, след от самолета, взявшийся неведь откуда в чистом небе, — всего лишь вымученные декорации происшествия, бывшего не со мной. Из меня что-то вынули, и все, что окружало меня, слишком ничтожно. По мне будто провели смычком — и я загудел, приняв навсегда это касание, — у меня возникло прошлое, которое не пройдет. Вот — я стал мужчиной. Все дело в этом обременении.

Я медленно иду по мелкой воде. Мельчайшие волны песка на дне, вторящие световым жгутам, сфокусированным рябью на теплой воде. Будто сам Бог преподает уроки оптики, и кажется, что нет большего чуда, чем в этом колебании видимого света. Вот — вещество, которого нет ни как веса, ни как протяженности — только колебание и проницаемость, — но почему-то делается понятно, что и по сути нет ничего больше. Вообще нет. И рыба, мелкая и жалкая, стоящая россыпью на одном месте, вдруг складывается в такие же исчезающие лучи.

По воде идут сизые разводы мыла, и мне слышится чуть скользкий звук. Толян брился, улыбаясь своему намыленному, обородатевшему отражению.

Почти нет течения, и ему не приходится ловить плоску мыльницы, что качается подле него. В меня легко входит скользкая нота, будто где-то

вскрикивает птица... Я издали смотрю на него. Он старается не распугать пленку воды, куда смотрится. Не меня согбенной позы, машет мне рукой.

Я подхожу к нему.

Он смотрит внимательно на мое лицо.

— А я еще не бреюсь — говорю я.

— Все равно — пора...

— Я не умею, боюсь порежусь.

Он распрямляется, кладет руку мне на плечо, поворачивает к себе. Его ладонь лежит на моем плече так, как мне хотелось чутяь отцовскую.

Лицо мое горело то ли от неострой бритвы, то ли от легких, каких-то немужских прикосновений. Он дышал мне прямо в лицо. И я слышал тихий, подпольный звук его дыхания, смешанный с детским земляничным мылом и ржавым табаком.

Я стоял перед ним навытяжку и вспоминал, как в осеннем военном городке, заросшем тяжелым лесом, отец покупал мне подарок. Электрической бритвой «Харьків» я еще не пользовался ни разу. Так, лишь изредка включал в сеть и слушал, как она жужжит.

Толян бултыхнул станочком в ровной воде, и тонкие островки моей первой мыльной щетины поплыли между нами. Он проводит по моим скулам и подбородку мокрой рукой так, как я только что гладил воду, только смотря на нее, не касаясь...

«Все, точка», — говорю я себе. Мне показалось, что во мне выполото поле и вот-вот через жаркую эпидерму должны пробиться новые ровные всходы.

На слабеющем голубом небе, таком голубом, что почти белесом, едва набухает луна. Как символ обещания вечера.

Это — белесая щербатость, останавливающая время, это — извращенный ослепший циферблат.

В дневной луне есть следы изъяна, будто кто-то ее уже ел, истирал челюстями, обсасывал, сверял по ней одряхлевшее время. Я всегда чувствовал силу угнетения, когда днем встречал взором луну. Будто на мгновение оборачивался в волка. Я заметил, что и Толян, посмотрев на ее бледное пятно, потупил взор.

Бросив в воду удилище, я бегу на отчаянный вопль. За мной, выпрыгнув из лодки, в веере брызг летит Толян.

Что?

Ее ужалила в шею быстрая змея?

Обвила вокруг голени жесткая сколопендра?

Клюнула в глаз наглая сойка?

Забила крылом железная бабочка?

Мне почудилось, что весь день мы торопили этот крик, словно чуяли ток судьбы, перемкнувший нас, не выдержали этой плотности и с облегчением дождались разрядки. Совершенно точно, что я побежал мгновением раньше, чем звук настиг меня. Это говорило о глубине связи, повязавшей нас, столь много, что мне стало не по себе. На одно мгновение невыносимо. Я ведь тогда захотел, чтобы она погибла. Только на один мстительный миг. Но длительность этого желания была не важна, так как желания не имеют длины.

Наверное, на слабеющем солнцепеке она размякла, задремала и со сна перепугалась, когда из-под карниза на нее сполз крупный ошметок пересохшей глины. У крыши белыми брызгами высохшего помета зиял абрис гнезда какой-то мелкой птички.

Люба стоит перед нами совсем раздетая, и мы с Толяном тоже голые, и до меня дошло, что никто не стесняется.

— Чуть не завалило, прямо как в цеху. — Она отряхивается, рассыпает пряди жестких волос, заглядывает себе за спину, смотрит на нас, замерших против нее, и растирает в пригоршне сухой пигмент.

— Только у нас глина тяжеленная, так как уже смоченная. — Извиняющейся слабой улыбкой она заполняет паузу.

Толян, смешавшись, отворачивается и идет к лодке.

Я замечаю, как она смотрит на его смуглую спину, белые ягодицы, тощие ноги, она будто пронизает его стеснение.

Перед тем как поцеловать меня, она чуть поджимает губы. Это едва уловимое движение, но я ловлю его.

Целуя ее в ответ, я взглядывал на смеженные очи, тайно и тихо, чтоб она не очнулась, засекал, как блуждают купола очей по матовой выпуклости век. На фоне обшарпанной стены. И в меня проникал керамический привкус хрупкости и жалкости, будто бы теснившийся в ней. И я слизал его, как лечебный порошок с пергаментной бумажки. Она отстранилась, будто почувала подвох. Пошла к берегу, и я, сам того не желая, вдруг заметил, что ее нагое тело будто чуть тяжело ей, и слабые колени сопротивляются весу чуть встряхивающихся при ходьбе лядвей и ягодиц. Я почему-то подумал — в своей ли среде она, моя Люба, обитает? Где она на самом деле должна быть? Борется ли она с силой тяготения? Ведь она определенно начинала тяжелеть, когда я всматривался в нее, следя за своим взором, обводящим контур ее наготы. Я был неумолим, будто не мог с ней смириться, уловив всего лишь чуть фальшивый тон ее голизны. Отчего я был уверен, что она не могла ею сфальшивить? Что за истину я в ней промышлял?

## VI

Перед моими глазами струится лента кино. Это так красиво, что уже и неправда. Я чувствую только напряжение и бесконечную протяженность этой сцены.

Холодноватый свет. Он поднимается от плоской почвы, а не нисходит с небес.

Так бывает, когда начинаешь плакать и слеза застит самый низ зрительного поля, пока ее не сморгнули.

От меня отступает многообразие моей жизни, обесценивая все прошлые переживания.

Они перестают меня касаться, так как, так как, так как...

Так как наш кораблик, низко бурча, отплывает.

За кормой завиваются медленные буруны, почему-то в воде клочок сена кружится, гарь мотора низко оседает.

Белая надпись на железной будке «КАСА» все меньше и меньше делается.

На скате берега Толян стоит.

Мне тяжело, поэтому сказуемые я ставлю в конце предложений, как грузила, чтобы мою память не снесло течением. Как снасти.

Все, что я вижу, перестает меня касаться, но странным, непостижимым образом примыкает ко мне плотнее и плотнее.

Входит в меня навсегда.

Толян некоторое время стоит столбом, а потом присаживается на корточки. Уже с трудом взглядываясь, можно представить себе, что он курит.

Мы смотрим на него.

Он остается неподвижен.

Сладкая слабая муть, стоящая в его очах, никогда не отпустит мою память. Только это его свойство, не имеющее отношения ни к его телу, ни к голосу, — слабая смутность, дрожащая на самой поверхности глаз, бессмысленно светлеющих от печали, вдруг обуявшей его.

Едва ли они хоть один раз темнели... так он и пребудет во мне светлым пятном, пока время и его не размоет...

Теперь я вижу череду тех событий иначе, будто они были не со мной.

Во мне остался легкий слой, прикрывающий более глубокие события, менявшие меня с отчаянной силой. Слой этот — легкий и колеблемый, вызывающий скудный обморок жалости. Он меня непоправимым образом самоутверждает. И прошлое через него обретает драгоценную, остро сфокусированную непрочность.

Она будет ранить меня.

В ней будет состоять смысл моего поиска.

Я сам пришел в себя.

И я сам в конце концов опустею. Это не значит почти ничего, так как состоит из одних слов. Это единственная одежда, под которой ничего на первый взгляд нет. Даже срама. Ведь моя Люба была вся одета ими. Она таковой и осталась, и если я какие-то уже забываю, то и в моей прошлой жизни осуществляется магическое вычитание: вещей, нарекаемых ими, событий, ими поименованных, не говоря уже о персонажах, носивших утекающие имена.

И я не могу никак вспомнить, как меня задевал ее широкий халат, когда она порхала по комнате. Слово «халат» обволакивает мой рот изнутри, оно садится пылью на мягкое небо, от него чуть першит в горле. Выцветшая на прямом свете простая бабочка. Что я чувствовал, касаясь белого испода капустницы? Пачкала ли меня пылью тихая моль?

Почему-то я всегда помню такое свое внутреннее рассуждение: «Вот, мне девятнадцать, а тебе — тридцать три...»

Меня это совершенно не волновало.

Единственное, что меня мучило, — это ее разговоры, вездесущая словесная легкость, будто сейчас все унесет ветром из ее комнатки.

Свалит ватную облезлую Солоху, надеваемую на чайник («Ни за что не возьму „вадельную”»).

Столкнет с прикроватной тумбочки маленькую фотографию моей матери в каменной рамке. Это давняя фотография, она вся выжелтела и вообще с чего-то переснята. Я никакой подлинности в ней не видел.

Опрокинет электрочайник — в его блескучей боковине отражались моя белая голизна и ее желтая комбинашка, висящая вялым лепестком на металлической поперечине кровати. Мне всегда это напоминало восковые цветы на кладбищенском памятнике. Но ей я об этом не говорил. Просто напоминало.

Даже захлопнув форточку, я не мог унять тот особенный сквозняк. Он меня пронизал, он оставался во мне.

Почему она мне все время что-то рассказывала?

Вот, скажем, такое.

Завод. Профком. Моя мать отличилась, и ей дали совершенно бесплатную путевку, не поверишь, аж на двоих. На двоих! Во как работала-то! С дорогой. За черные субботы, за сверхурочные, за безотказность, за смирение. Ей, ей, а не моему боевому отцу-молодцу. И это был настоящий Кисловодск! Туда на поезде целых двое с половиной суток с пересадкой. Настоящий санаторий.

Глаза моей Любы сияли. Будто она побывала там сама и вкусила всех радостей отдохновения. Созерцала горы в волшебных шапках и нежилась в громокипящих минеральных бассейнах, где кожа молодеет. Она прильнула ко мне. Я почувствовал ее жилистость. Теперь ее тело начиналось именно этим качеством, мягчея с трудом. Будто бы она теперь никогда не расслаблялась. Она стала тороплива, но по-особенному — где-то глубоко внутри себя, заражаясь от этого зернышка целиком, насквозь.

Она не продолжила эту историю. Я уже все знал. Что там, в кисловодском восхитительном санатории, хороший пожилой доктор, опытный диагност, выдавший всякое, поставил тот роковой диагноз и отцу один на



один сказал (я это уже говорил самому себе без ее топорной помощи): «Кхе-кхе, поздновато, друг-товарищ военный, поздновато... Но мужества вам, товарищ офицер, простите, не знаю вашего звания, не занимать, что напишешь, жизнь уж наша такая. Хорошо все-таки, что с мальчиком вы все-таки успели». Мне противно окончание этого эпизода, будто я крал его из плохого сопливого фильма.

Она будила и тревожила «мальчика» сперва перстами без маникюра. Так как была простой работницей и с трудом вымывала к нашим свиданьям траурную кайму темного масла вокруг ногтей. О, эту часть ее тела я помню необыкновенно отчетливо, как скрупулезный протокол. Вернее, как кодекс. Усталая, чуть желтая кожа ладоней, будто дактилоскопия, оставив ровную гладкость, скоро сойдет. Я загибал ее пальцы в сухие кулачки. Я разгибал их снова. Плоские и выстриженные в жесткий овал ноготки, глубокая лунка без белого полумесяца у плоского основания. Будто в горсти она прятала от меня несуществующего жука.

«Если нет полумесяца, то не будет и подарков», — заодно говорил я.

«Не нужны мне ничьи подарки, потом век не расплатишься», — отвечала она, стряхивая с постели крошки небывших пиршеств, разглаживая мифические складки, где могли водиться разве что нимфы, способные потревожить покой сомнамбулы. У меня был целый перечень наблюдений за ее моторными движениями, связанными с опрятностью и ровностью. Конечно, клинически чистая постель, где нельзя было найти ни одной складки. Даже ее сон не смог бы покатиться по простыне, настолько все было ровным, как и она сама — замкнутой.

Но вот она склоняла голову так, что начинала читаться ее шея. Мне всегда трудно было предвидеть это положение, но я так ждал его. То ли отвесно падающий свет заиграл в ней этот рисунок; но от неизъяснимой тяжести этой сумеречной тени, скользящей от подбородка к ключице, от этого тусклого недоступного мне смысла, возникшего бог знает по какому произволу, я обмирал. Слабел всем существом, только чувствуя, но ничего не видя, трепет едва задрожавшей нижней губы. Погнавший на меня маленькую волну какой-то простой и легко выполнимой просьбы.

Но также я отчетливо понимал, что смысла в этом не было никакого. Я знал, что самообольщался, ведь она просто печалилась, горевала, мечтала, пребывала в задумчивости. Где-то поблизости от меланхолии и понурости.

Мне хотелось задержать эти состояния, перехватывая ее взор, но он стыдливо убежал от меня — вдаль, где на самом деле ничего непостижимо-го для меня не было. Просто скользя по уровню узенькой синей линейки, отделявшей холодноватую голубизну стен ее комнаты от кипенно белого неровного потолка. Будто это келья, высеченная с трудом в скале. Ну какие в этом были высокие смыслы? Да никаких. Она чуть-чуть надувала губы... На миг. Но все кончалось. Она начинала улыбаться<sup>23</sup>.

«Сейчас холодца! И почаевничаем».

Она угощала меня холодцом, этой скромной народной пищей. Невзирая на погоду. В холода и теплынь.

<sup>23</sup> Много позже я объяснил эту легчайшую безмятежность женственности в ней — именно она так влекла меня. Это свойство словно сфокусировалось во мне в наставшей оптической пустыне на восприимчивую эмульсию памяти, вытеснив все остальное, что досаждало мне при ее жизни. Понял я это очень поздно. Но это не важно. Мягкая точка, почти всегда зримо тлевшая в ней и томившая меня, была, конечно, оставлена ее матерью; от нее Буся оторвалась так рано, что никто из них не успел испытать друг друга обожанием и ревностью, не одолел психозом мгновенного побега из дома, не прожег ненавистью взросления и старости. Мать вообще почти ничего не успела для нее сделать, только столь совершенно старая в ней. Совершенно непостижимым образом.

И вот я позабыл, как это очарование метастазировало ее лишней тканью, обуявшей все ее телесные и душевные движения, сделав всю ее для меня в конце концов пародийной; словно она проросла сквозь свой прежний облик и, уже не оставаясь в нем, превратилась в препарат прошлой себя, будто сумела сама себя растлить.

Все-таки ей удавалось разжечь свою чувственность самыми простыми способами. Даже рассуждениями о еде, о долгой и трудной варке ингредиентов, доступных народу. Понимая, а она была все-таки чувствительной, что нельзя столь долго повествовать только о себе, Буся легко переходила к неопрятной прожорливости подруг и подозрительной аскезе (больны небось чем?) знакомых мужиков. И я, кажется, знал всю ее бригаду как энциклопедию добродетелей и пороков.

— Знаешь, как холодец по-русски готовить? — спрашивала она не меня, а совсем другого человека, например новую жилищу, вышедшую к вечеру на кухню. И сама же с плотоядной и одновременно слабой улыбкой отвечала, наверное, чтобы та заучила чудесный рецепт древнего обольщения: — Варишь свиные копыта (чистые, самую нутрь), не поверишь, всю ночь, часов семь, в ведерной кастрюльке с чесночком-перчиком-лаврушкой, воду доливаешь до уровня, а лучше бульоном долить, а потом ранним утречком разбираешь аккуратненько по формочкам, заливаешь наваром, можно еще морковкой украсить, и в холодильник или там между окон, если зима, — и вечерком, добро пожаловать, — на стол!

Рецепт кончался восклицанием.

Это ее чудное «не поверишь» навсегда перевело простые рецепты в область сказки со счастливым концом, когда все делается сыты и благодушны. Настолько, что злодеи позабывают о приуроченных злодеяниях, а прочие — просто о несчастьях.

«О, не поверишь», — хочу сказать я сам себе, но она ведь считала, что я очень люблю мутную гущу с белой наледью жира. Бруски холодца, трепещущие, колебались ожившим сочувственным телом.

Во время еды она неостановимо болтала, как будто проявляла глубинную суть глагола «есть», то есть «быть». «Быть» — не тревожа себя и не исчезая, находясь в липкой сети слов, которые мерцают, скрадывая тяжелый смысл еды, моей жизни и всего, чему я не верил на этом свете.

Но я видел, видел, я догадывался, догадывался, что, говоря об этом холодце, она приоткрывает некую завесу, за которой стоит голая разнузданная маньячка, и в этот краткий миг манипуляции и жесты ее рук меня ужасали. И развела нас вообще-то еда в каком-то метафорическом смысле. Именно из-за одного нового изошренного приема во время любви, прелюдии, вдруг как-то неожиданно примененного ею, я угадал все о ее другой жизни. Угадал, не увидев ничего, но моего чувства оказалось более чем достаточно. Это была новая, но изошренная деталька, совсем маленькая моя догадка, но все-таки...

Ее слова о моей матери, летающие вокруг, были поедаемы мною вместе с застывшим варевом, дрожащим в глубокой тарелке, когда эти мутные сколы я подносил к губам. Они таяли во мне, не оставляя следов ни в сердечной памяти, ни в моей утробе, заполняемой грубым варевом.

К холодцу полагались горчица и хрен, обжигающие меня, будто отворяющие еще сильнее Бусиным словам. Водки она никогда мне не предлагала. «А вот пивка. Я ведь пивко всю жизнь, не поверишь, люблю». И пиво в стеклянной банке обычно я приносил с собой, выстояв трезвую очередь серьезных работяг. В разливочной у самого метизного завода. Дверь в дверь. Это все было неподалеку.

В очередь за мной всегда становился невидимый тихий бомж. Ноздри замечали настоящий породистый запах, и только через некоторое время я понимал, что это смрад прелой человечины...

Мы пьем с Бусей это пиво. Я начинаю тихо распускаться, теплеть в себе, как иерихонская роза. Все внутри меня оживает, но остается неприятно ржавого цвета. И вот я сам себя способен оцарапать изнутри; мне делается горько.

Но мне казалось, что через ее сладковатый женский флер, не смываемый никакой водой (невидимо розовый и истомленный, будто он сам ра-

зогревал ее), сочился дух завода, принижающий ее, как горизонт зорю. «Да не нюхай ты от меня», — говорила она, будто я приуменьшал ее, дыша ею. Она и вправду становилась все суше и суше, будто из нее исчезла особая магма мягкости, и мне порой чудилось, что я виновен в этом, что это я выдышал весь ее жар. Наверное, так старела Диана-охотница, пускающаяся на ловитву все более крупных и малоподвижных зверей. Зайца она уже не поймала бы.

Будто завод так сушил ее члены и сопряжения, как алкоголь, делающий из женщины боевого скрипучего андрогина.

Мне казалось — когда я вижу и осязаю ее таковой, то обкрадываю ту, давнюю, пребывающую в моей памяти в неизменности и сиянии; но на самом деле объекта для кражи давно не существовало. Даже во мне. В самых глубоких дебрях моих снов.

Она становилась парадоксом, который я не должен разгадывать (так как жертва пониманию была слишком велика). Я только фиксировал почти неуловимые перемены, опознавал их, не нарекая. Чувствовал нечто нудящее меня сильнее и сильнее — совсем недалекое от жалости и сострадания. Будто мне открывалась мельчайшая мера ее сокровенности. И в конце концов я начинал не только обонять, видеть и чувствовать ее иначе — как новую смутность и тоску моей жизни, на которую лимит сил давно исчерпан. Даже особые тайны женского детства перестали оживлять ее.

Теплая благодать равнодушия сливалась во мне с самыми простыми вещами — временем суток, названием ненужного фильма, что мы вместе смотрели, неисполнимыми обязательствами перед нею. Что перемена произошла, я понял, когда не захотел прогнать крохотную уксусную мушку-дрозофилу, шныряющую по щеке спящей Любы. Я поймал себя на мысли, что уже могу смотреть на нее как на труп... Не отворачиваясь. Как мое зрение втекает в ее ноздри и приоткрытый рот. Через неплотно смеженные веки я вижу, как блуждают белки, — как моллюски в створках. «Вот-вот, она совсем ничего не чувствует», — с облегчением я сообщил себе. И это облегчение было в сотни раз хуже самого едкого злорадства. Ведь в этом сообщении наречие «ничего» обосновалось навсегда. Я понял, что я ее уже проводил.

У Любы чуть высветленный край радужки, сжимающий ободком купол роговицы. Я всегда просил ее посмотреть в сторону, немного скосить глаза («вот туда, туда взгляни», — и я указывал ей за свою спину, как врач-окулист), чтобы они целиком наполнились моим самым любимым отсветом. Камеди. Мягкого обугленного окисла. «Ну не смотри ж ты так, ты прям в меня забрался», — она, не выдерживая моего взора, шурясь, смаргивала несуществующую слезу, как бы отряхивалась от меня. И я никогда не мог уловить настоящей тьмы, таящейся за ее дышащим зрачком. Там обретались сумерки — ее сумерки и моей матери.

Иногда нашу гастрономическую идиллию прерывала соседка. Она входила, мощно распахивая только чуть-чуть приоткрытую на ее костяной стук дверь.

Не отворить было невозможно.

В комнату сухо врывалась густо заgrimированная женщина. Мгновение стояла не озираясь, глядя перед собой, как деревянная скульптура. Она казалась мне аллегорией «Мести».

Из шелковых тапочек легким веером расходились длинные пальцы с ногтями отчаянного малинового цвета. Эта плотская деталь меня притягивала невероятно, она заслоняла почти все в ней — одежду, прическу, мишуру. Какая-то изнанка тела.

Пришелица начинала с того, что очень хочет, ну просто очень-очень, сладкого чаю, так как у нее к вечеру — извини — сахар как-то перевелся.

«А сладкое для головы полезно». Держа чашку тощей, но сильной кистью, отключив мизинец, она, поглядывая на меня, быстро стекала к одной и той же притче.

И в повторении мне не чудилась неукоснительность безумия. Что вот... Что вот опять ее козел, блудливый котяра, опять повадился.

Она вынужденно замолкала, чтобы Люба привычно и бесстрашно в этой паузе спросила:

— И к кому ж, скажи на милость, теперь-то твой повадился?

— Да ты тварь эту не знаешь — с третьего этажа блондинка крашенная! — Посетительница выстреливала этот текст, ударяя костяшками фаланг по столешнице. Всегда один и тот же, только титулы крали были разные: прошмандовка, лярва, шмара, мадам (это самое вычурное).

Мне становилось немного не по себе.

— Да, — соглашалась всегда в этом ритуальном месте Буся, — третий я плоховато знаю. Как на нашем слив исправили, я туда и не спускалась уж с год, наверное. А они там злющие. Мадам! Мне что, ведро потом на Мичуринской плескать, что ли? А, ну ты мне скажи — на обочину, под троллейбус лить прямо, что ли?

Замечая, что заражается этой ритмизованной истерикой, она начинала сердиться на непрошеного гостя, ее поползновеньям на нашу краткую свободу.

— Ну, чаю как, попила? — вопрошала она, будто схлопывала папку с чужим клавиром. Она могла быть решительной. Вся ее слабость досталась только мне.

Та отставляла чашку, глядела в открытый зев сахарницы (можно было сосчитать, наверное, до двадцати), потом, будто по какому-то щелчку, вместе со стулом отодвигалась от стола, хваталась за крашеное лицо и, перегнувшись пополам, в низменном и страшном для своего верткого тела регистре выдыхала бездну ужасного воздуха. Куда-то в пол, прожигая половицы, коврик, половичок. Будто в ней прорывался адский клапан:

— Да и по брюху ее поганому, да по морде блядской! А?! Чем я хуже? Чем? Мадам, говоришь?! Как пить-жрать, то в дом, а блядовать, так туда... Мадам, говоришь?

Ну и все такое.

Атмосфера в комнате делалась некротической, и Буся начинала вытеснять собой гостя, словно присыпала ее стрептоцидом, приобняв за плечи, выставляла, доводила до двери. Та выплывала из проема в бесконечный коридор чистой менадой — по прямой, но как-то криво, будто шла закрыв глаза, близясь к очевидному кошмару своей болезни. Буся отряхивала руки, оправляла платье.

Все кончилось, конечно, плохо.

Та самая, с третьего этажа, была однажды при помощи добрых свидетелей выслежена и уличена — прямо на месте преступления. И с чужим мужем, уже раздевшимся совсем, и с брюхом от этого самого мужа, ну прямо на сносях. «И что та дура так поздно ему давала?» И Буся рассказывала, что от злости ревнивицы тот муж «был просто остолбенелым, даже трусы не надевал». И разлучница, попав в эпицентр смерча, была избита, измолочена, истерзана.

Да!

До полусмерти.

Так и вышло — жизнь досталась бабе-разлучнице, а смерть — ее утробе. Убиенного, почти доношенного младенчика хоронили сразу всеми четырьмя этажами. И бабы у закрытого кукольного гробика выли так, что все оперы должны стать бесцветными и ничтожными — и по страстям, и по силе голошения.

На суде, когда «нераскаянной» убивце дали всего ничего — восемь с половиной лет не самого строгого режима без конфискации, услышав эту роковую цифру, совпадающую с возрастом плода, бабы аж взвыли — то ли

от жалости к убиенному в утробе, то ли от ревности к жизни, которая им-то, простодырам, такими страстями никогда не обернется.

Бабушка тогда и произнесла одну из самых лучших своих максим.

Я все пытаюсь ее вспомнить, но точность и скрупулезность бабушкиной речи откатывают от меня, как быстрая волна прибоя. Смысл ее заключался в том, что ревность и жалость при определенных обстоятельствах могут быть примерно одним и тем же. Но моя память утратила языковой ключ к точной природе тех удивительных обстоятельств. Когда я где-либо встречаю слово «ревность», я вспоминаю ту самую бабу, Бусину соседку, ее лицо, ставшее ликом восковой персоны с чересчур блестящей кожей, плохо видящими глазами, сосредоточенными на зрелище тотальной измены.

Порой мне слышится голос Любы. Немного странный, чуть отдаленный от ее тела, перемешанный со слабым эхом, будто она всегда расточала слова в небольшом гулком помещении. Ведь в ее голосе не было того, что мне так хотелось слышать, — легких грудных нот, неявной способности к пению, которому она никогда при мне не предавалась.

Но вот ее нет, а я иногда чую, как в углу моего жилья напрягается звуковая дуга — я почти осязаю ее. «Ты не веришь», — говорит тишина, и пыльный жгут шипящих опадает, как ветошь. Кажется, я могу вытереть об эти слова ноги.

«Буся, а ты правда ребеночка от меня не хотела никогда?» — мне слышится мой вопрошающий голос, беззвучно заливающий меня.

Я лежу в постели рядом с женой.

И я знаю, что Любаша ответила бы мне: «Вот еще, какого больного рожу, — потом, не поверишь, всю жизнь мучиться». Я легко имитирую ее речь. И я провижу историю, которую она могла бы мне рассказать. А может быть, и рассказала, но я не помню, рассказала ли... — о добром дауне, которым мучилась одна женщина из ее цеха, брошенная или вообще родившая его, как говорится, «по случаю». И он дожил до английского совершеннолетия и отличался отменным аппетитом, никаким здоровьем, проливной уремией и удивительной добротой. Его непомерная ласковость всех соседей вгоняла в краску стыда и самоосуждения. Его избегали.

И вот эта история воспитания и смерти идиота. Полная брезгливого сострадания.

Спал он в коконе клеенок, как грудничок. Но все равно благоухал люто. Сосал палец. Сморкался. И стеснялся, когда ему за неопрятность выговаривали. Он сразу начинал торопиться, шаркал к умывальнику на далекую общую кухню и стирал свою засопливленную тряпицу, к неудовольствию стряпух. И не было простуд, которыми он бы не переболел, не было органов, которые в нем в зависимости от сезонов не воспалялись. Зимой, например, — желудок, летом — легкие, осенью — печень, весной — все суставы, что и немудрено, ведь он съедал в день по пригоршни таблеток, от одного они помогали, но другому — вредили. Слабоумие старило его детское лицо. Сетка морщин, тусклое старчество в молочных очах, робкая неровная, кустиками, щетина, которую он нервно скреб.

Мать была вынуждена перейти с денежной посменной работы в тупые учреждения призрения, по которым они вместе кочевали. Но ночи во что бы то ни стало они всегда проводили дома, как нормальная семья, и все выходные и праздничные дни, конечно.

Я встречал его в Любином гигантском коридоре.

Одним словом, пошла та женщина с этим недоделанным, как говорили соседи, насквозь больным сыном в очередной раз к врачу.

Посмотрел доктор на него, посмотрел так внимательно и говорит грустной женщине: «А давайте-ка я ему один укольчик сделаю, вы сразу домой его ведите, пусть он заснет поскорее, только уговор — перед сном не кормить».

Так и сделали.

Ну и заснул он, заснул, заснул, заснул, заснул наконец-то... Мам да мам, мам, мны... и сон его скрутил. Помочился он на клееночку, конечно, вздохнул, ойкнул и отошел...

Поплакала-поплакала та женщина, а потом после всего купила бутылку хорошего, самого дорогого в хорошем центральном гастрономе коньяку и отнесла тому доктору. А доктор с самых дверей кабинета ей: «Только не надо меня благодарить, мамаша». А она: «Я и не мамаша уже». А он ей кивает: «А я знаю».

Когда я вернулся из военных лагерей (уже закончив университет) коротко стриженным охламоном и показывал ей кучу смешных фотографий, то подметил, как остро она взглядывала на те, где я кривляюсь или позирую в дурацкой форме партизана. С настоящим оружием — автоматом Калашникова и штыком на поясе.

— Ты б и в летчики смог пойти, — тихо выдохнула она грустную, как слабый мыльный пузырь, фразу. Ее радужное желание было обречено.

И в том далеком голосе я услышал столько печали, столько ломкой выразительности, что мне почудилось, будто я верчу в руке траурный повядший цветок.

Эта фраза засядет во мне, как самое безыскусное сожаление, как самое искреннее «прости», на которое я буду только способен самой чистой частью своей души.

Я говорю эти слова про себя. Я говорю их про себя самого. Себе. И вот подмечаю, как мой голос, говорящий с сожалением об исчезающих в небесах летчиках, к середине этой мизерной фразы повышается к фальцету, делается Бусиным, и вот я сам скашиваю глаза в сторону их исчезновения, у меня по-женски повисают в беспомощности руки, я чувствую, как круглеют мои бедра. Как при этом я весь делаюсь ею. Моей незабвенной, не переселенной никуда — совсем никуда. Только в меня, может быть, все глубже и плотнее.

Но в тот миг, как это и случается в реальной жизни, я испытывал едкую молодую ненависть — и к ней, назойливо дышащей мне в щеку, и к небесам, где маются эти самые козлы летчики, так возбуждающие ее своим безрассудным отсутствием в ее бытии...

Мучит ли меня совесть? Нет, нет и нет!

Но что-то жлохнет и холодит так, что я от этого твердею.

И если я встречаю военного, то неизменно примеряю его пропахшую строгостями неукоснительного закона шкуру и вижу, нехорошо раздваиваясь, себя со стороны ее оценивающими глазами. Начинаю говорить с собою в этой личине ее тихим голосом.

Толяна и свою родную Тростновку она никогда не вспоминала. И я с ней больше в другие плавания не отправлялся. Просто раз или два в неделю я с нею жил. Я не испытывал особого восторга от неизменности этого обычая и чуял наползающую на меня скуку, которая, надо заметить, тоже становилась частью ритуала.

Да и моя бедная невоплощенная мать, видимо превращающаяся в абсолютно неуловимую суспензию, интересовала меня все меньше и меньше.

Тело мое делалось твердым, будто я заражался от Буси грузом ее труда на заводе, да и свою душу я стал примечать, как летчик клубы белого газа за своим самолетом.

Я, одним словом, сам себя опережал. Или отставал от себя, — что, в сущности, одно и то же.

— А, старуха звонила, совсем позабыла — Любовь какую-то завалило. В третью городскую отвезли. Старуха у нее уже отметилась. Вот ведь силушка у старой. И не лень ей, а? Ну ты подумай?

Я тогда еще жил со своей второй женой. Она-то и пересказала мне вечером бабушкин телефонный звонок.

Она говорила окончание фразы уже не мне, а пустеющему желатиновому существу. Сквозь мою смутную шкуру можно было разглядеть остекленевшее сердце, незаколебавшийся сероватый воздух в легких, посиневший студень неотзывчивой крови. Я себя мгновенно таковым увидел, я не смог пошевелиться. Если бы жена была понаблюдательнее.

Я позвонил бабушке.

Молчал в трубку.

Что толку пересказывать бабушкину историю — она состояла из одних причитающих союзов, не связывавших уже ничего. Она плакала в трубку. Потом прибавила совсем немного: и в палату не пускают, и она санитарам дала, чтоб только глянуть, и за свежий халат дала, и яблок даже нельзя, и смотреть страшно, и помирает, и живого места нет, и только через стекло и показали, а лучше б и не показывали, вся в трубках.

Эти «и» слились во мне в протяжный и голый вой. Она должна к концу разговора перейти на сплошные заплачки. Ни одного вопроса задать я уже не смог. В конце концов бабушка действительно перешла на тихий скулеж, будто должна вот-вот помереть сама. Будто ей дали зловещую карточку с лохотрона. Она потеряла своим старым ногтем серебряную полоску, а там дата и час. Дата и час, и больше ничего. Бред.

Я понял, что она уже умерла, по мере иссякания бабушкиных союзов и перехода на сплошной плач. Именно в этом самом месте.

Я положил трубку на рычаг.

Ее уход стирал из меня, с меня, — не знаю, как еще, — но именно стирал и мою вторую жену, и мою так и невоплотимую мать. Ведь вообще-то, если теперь признаться самому себе, она и была для меня таковой. Двойною, бинарной. И настоящей женой, и неподдельной матерью, не побыв по-настоящему ни одной минуты ни той, ни другой. Она была осью, разделяющей их поразительную симметрию.

Я понял, что все переменялось безвозвратно, так как лишилось последних координат.

Я сам делался раздавленной маленькой щуплой Бусей. Ее тело переставало существовать в моем сознании, замещаясь поуродованной плотью ломаных позвонков, расплюснутых мышц и рваной эпидермы...

Жена что-то молола о моем завтрашнем походе на рынок. Что я должен непременно купить там того, другого, пятого и десятого. К какому врачу позже должен повести наше чадо и т. д., и т. д. Она работала как миксер, мельча и мельча меня, и я понял, что уже стал суспензией. Еще немного, и я протеку и просочусь через любую щель — в нашем свежем полу или в аккуратнейшем окне, завалюсь в микроскопическую прореху за обои.

Я не пошел ни в больницу, где она пролежала несколько дней в коме, ни переулками на ее похороны.

Вообще-то давно ее в себе похоронил, без этого рокового события ее физической гибели. Не в дурном и жестоком смысле, а честно подверг сердечной укромной консервации. Да и слова вроде «кладбище», «пепелище», «займище», «пожарище», «торжище» вызывали во мне зуд омерзения. В них слишком глубоко утоптан хищный непобедимый смысл — из-за этих чертовых «ща».

И есть же легкое слово — «погост». Краткое, как точка. Острое и покойное. Как хорошая осенняя погода. Как невидимый покров свежих холдов. Да-да — оболочка прохлады, сулящая конец, сон без сновидений.

Получилось так, что ее, мою утлую, и похоронил жестокий завод. Ему же и отошла ее коммунальная комната, а все остальное, что у нее такого из скарба было, — соседям. Хотя что у нее было? Деньги? На книжке? Никто ее не прочел...

На похороны ходила бабушка. Я не пошел. В качестве кого я предстал бы синклиту метизников? Смешался бы с толпой, стал бы проталкиваться к гробу. Эти мысли вводили меня в ступор. Ну зачем это вообще кому-то надо...

Бабушка сказала, что ее похоронили «прямо в той самой свинцовой кофте». Как она это узнала, ведь помятое тело было в закрытом гробу. Но старушечья мафия (если и не посещает все похороны государства, то знает про платье упокоенных все подробности) сильна и проникает все покровы. И я вспомнил, как в предпоследний день в Верхней Тростновке, пойдя за водой к «хорошему далекому колодцу», она вернулась через час вместо десяти минут. Она надела, оказывается, теткин подарок — нарядную кофту, которую у самого колодца пришлось снять, так как «стало смертельно тяжело — как в сбруе свинцовой». Так что до дома она добиралась полураздетая, задами и огородами...

— И ничего не надо выбрасывать. Ни так, так эдак сгодится, — сказала тогда бабушка, услышав эту историю.

Но ведь после Любиной смерти я застиг себя за пробуждением нового чувства, не имеющего никакого отношения к печали и тем более скорби, — я словно застал себя у начала другой жизни. Это ощущение толкало меня своим массивом, будто передо мной наконец приотворялась обитая старым войлоком таинственная дверь, рвется холстина с намалеванным очагом. И я чувствовал, как в щели начинают биться мешанина разлохмаченных сквозняков и цепких возбужденных запахов — будто вечером выкосили газон и не сгребли траву.

Почти увидел, как лучится влажными ростками свет этого всепобеждающего духа.

Как свечение тусклого лоска золоченой церковной кровли под дождем, любовно примирявшего меня с Богом. Без подобострастия, низости и изнурения. О...

Я вдруг почувствовал, что у меня опять нет возраста и я ничего не хочу начинать сызнова, я просто без усилий продолжаю.

Искренность этого ощущения больше никогда не отпускала меня.

Ведь знание о ничтожестве и непомерности пережитого было одновременно порочным и обольстительным. И сладость его неизгладима, хотя бы потому, что после смерти все просятся.

И ранней осенью, когда даже утренний свет делается последним, едва золотя листву, жухнущую и обмирающую от его касаний, в троллейбусе третьего маршрута, который плывет по бульвару, поворачивая в гущу растительности вместе с ним, словно по закопанному руслу, я зацепился за обрывок разговора двух теток, сошедших у ее завода, и моментально понял, что они говорили о ней. Мутный запах, слабеющий свет, вздорный говор, не помню ни одного их слова... Будто за моей спиной быстро пронесли свежеприготовленную снедь, и я не смог догадаться ни о природе ингредиентов, ни о форме, им приданной.

Но чем дальше я отделяюсь от *случая* ее смерти, тем больше и больше знаков укажет мне на неслучайные совпадения дня ее исхода. Я будто узнаю специфические, невыговариваемые приметы ее бунта, меня достигает отсвет мгновенной вспышки произвола. Того, что оказалось сильнее ее жалкого инстинкта жить. Того, что несомненно, — и я всегда это знал, — обреталось в ней.

Что это был не рок, а именно случай, ясно хотя бы потому, что люди, действующие всю жизнь в плену автоматизма, не делают таких оплошностей — не ходят под полным ковшом и тем более не замирают на месте, когда им орут: «Любка, свали!» Случайность слишком легко ее поглотила.



Она, наша Любаша, словно умыла руки. Простой жест, его кроме безумцев никто не обдумывает...

Со всей грухой на меня обрушивается какое-то сыпучее особенное вещество воспоминания. Когда мы лежали втроем, бог знает сколько лет назад, совсем внутри моего возлюбленного прошлого: Толян, Люба и я, в прибрежном домике на сухой подстилке, мягкой и податливой; ее мениск едва удерживал нас, словно водомерок.

И мне кажется порой, что я уже испытывал такое, когда моя младенческая кровать, люлька, колыбель стояла у ложа родителей в комнате бабушкиного дома. И я наблюдал за их любовью во всех прекрасных неразличимых подробностях из того времени, которое ничего не оставляет на поверхности памяти, но властно овладевает мною.

Я часто думаю теперь о том, как мысли о словах приходили в седую голову моей бабушки. Отчего она все время маялась злосчастными глагольными формами? Пробовала их на вкус, обползала, как муха, в конце концов зализывала, как пологая волна. Ее волновали только те, в которых была энергичная моторика. И если совершать что-либо по их действенным законам, то жизнь приняла бы иные формы.

Бабушка словно репетировала другие варианты своей гипотетической жизни, на мгновение приоткрывала низины своего путаного сознания, как здание знаменитого театра для туристов в выходной день. Она, пугаясь вариативности своего бытия (мне стыдно сказать «прозябания»), словно останавливала свою жизнь, расщепляя такой лингвистической операцией свои действия. Жидкость налита вровень с краями, еще одна капля размышлений — и прощай, скатерть, стол и т. д. Она гнала старую себя — молодеть, двигаясь от идеи к идее, и я именно этим объясняю скрупулезный выбор «действующих», активных, телесных глаголов. Может быть, она отчаянно не хотела стареть? Боялась смерти? Того, что кроме нее я, свалившийся на нее вторично, был вообще-то никому не нужен? Она очень резко реагировала на слова, возвышающие быт, делающие его торжественным и настолько верным, что уже непопираемым. Это было похоже на стихи. И мне чудилось, что она скандирует дактили, ямбы, анапесты. И от ее речей мне доставались только удерживающие ритмы. Не более. Я ведь ее почти не слушал. Так — редкие диковины, сведенные торжественным ритмом...

Скромной еде она назначала правила и упорядочивала примитивный процесс.

— Продукт смотреться должен, — провозглашала она, нависая над кастрюлей, как над мифическим жерлом.

И в бульон опускались крутые очищенные яйца целиком. Предикаты. В компоте плавали выразительные целые фрукты, как эпитеты. А курица или цыпленок варились или жарились не меньше чем половиной, как жертвы.

И я вспоминал, как Буся когда-то грустно ей говорила:

— Не поверите, сколько лет уж вас знаю, а правильным блинам так и не научилась.

— А знаешь, Любовь, почему?

Великолепная пауза приостанавливает мое воспоминание. За это время Буся могла бы сходить в канцелярский магазин на Мичуринской улице, купить блокнот и карандаш правильной твердости, очинить его ножиком, собрать кедровые опилочки и замереть острием над чистой страничкой. Но бабушка выдавала ей совсем другой рецепт:

— Не научиться, а обучиться. Научиться можно всякой ерунде, да и то без толку — как он.

Она кивала в мою сторону, закидывая руку, чтобы поправить выползшую любопытную шпильку. Дряблая белая кожа предплечья уже была велика для ее тела на полразмера.

— А блинам только обучиться, так, чтобы толк был. Но я тебя обучу.

К сожалению, из самого рецепта в моем сознании уцелела лишь одна безглагольная фраза:

«И палочку дрожжей, только с Крытого рынка, лучше у рябой тетки, посеки на осьмушки...»

И словно после долгой разлуки, я снова достигал все запахи женской старости. Как лазутчик, попавший в ненужное будущее, я разведал, как бы постарела там моя жена, переставшая быть мне женой. Это было совсем не страшно.

...Моя бабушка будто катит перед собою колясочку чуть скрипучего духа сухости и опрятности. Она боится не самой старости, она ничем не маскирует зрелище своей дряхлости, она опасается ее очевидных презренных атрибутов: вьедливой и неодолимой немочи, она боится печали, она не хочет сама себе соболезновать. Даже в пищу она теперь добавляет избыточные, как кажется мне, возбуждающие компоненты, стариковский эрзац наркотика — для недостижимой бодрости и ненаступающего веселья. И вот в пирожках и плюшках — переизбыток корицы, похожей на больной пожелтевший снег, в щах — месиво укропа и петрушки, извлеченных из зеленых бутылок, где они, посеченные, перемешанные с солью, изнемогают в полутьме.

Я стал примечать, с каким автоматизмом она протирает все в доме нашатырным спиртом. Быстрый запах, отражаясь от обеззараженных вещей, вспыхивал фейерверком. Еще она снежит белыми порошками у плитусов, побивая невиноватых насекомых. Их тела на порошковой полосе кажутся мне гиблыми эсэсовцами в снегах Сталинграда. Когда-то в моей школе хулиганы-рукодельники смастерили из пластилина и стекла диораму знаменитой битвы — неигрушечную кульминацию жестокости. Там наши «зеленые» потопили в своей жирной пластилиновой крови «черных» — немцев. Меня язвит это липкое, как пластилин, воспоминание.

Жену, с которой я к тому времени расстался, бабушка продолжала «уважать» за сметливость, за кулинарные способности, за то, что баловала мягчайшими пирожками («для двух зубов», — говорила жена). Жена всегда легко вступала с ней в бессмысленные разговоры, перенимая и темп и говор, калькировала речь, жесты, отбрасывала ровно такую же тень, а по сути, становилась сама собою. Она ухала, как филин, или скрипела, как леший. Мне казалось, что они обе имеют единый мифологический корень. Я чувствовал, сколько силы таится в этих столь непохожих, но абсолютно родственных существах. Причесавшись, бабушка выбирала из редкого гребня оцесы и скатывала их в пегий валик, чтобы нарастить узелок прически. И, будучи взрослым, я не мог отделаться от сказочного ощущения, что и после смерти у нее будут расти волосы. Ведь у нее было столько сил, что она почти не спала, только кемарила. Сидя, полулежа, не раздеваясь. Напряженно, будто что-то караулила.

Лицо мой спящей жены я тоже никогда не мог рассмотреть, так как та спала всегда с видимым, но плохо осознаваемым усилием — предавалась сну как работе, плотно загораживалась своею поверхностью, по которой метались шары твердых снов. Она, спя, всегда чуяла мой взор на самых дальних подступах, когда я взглядом только искоса касался ее. По ее коже пробегала зябкая волна, как от насекомого, которое надобно смахнуть<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Я вспоминал, как разглядывал спящую Любу, воображал, как мне удавалось легко проникать ее, как я различал состав ее истончающегося тела сквозь стеклянную эпидерму. Ведь время, прошедшее после ее смерти, изобильно приукрашало ее. Моя вина перед ней сублимировала в один сон. Вот он — в кладбищенской каптерке я дерусь с могильщиком, передвинувшим ограду на Любашиной могиле, подхоронив вплотную к ней мою супругу. «Сука! — стучу я его по морде. — Если не передвинешь обратно, я тебя убью! Проверю через неделю!» Но даже во сне я знал, что не проверю никогда.

Одним словом, получалось так, что, прожив с ней три года, я ничего про нее не знал.

Когда, разведясь, я вернулся в бабушкин дом, то все опасные бритвы она выкинула и кричала на меня со слезами:

— Чтобы этой рукорезки проклятой не видала! А ты к парикмахерше на угол ходи! С одеколоном!

Голливудский жемчужный протез клацал на звонких согласных.

И я брился «Харьківом», древним отцовским подарком. Подарку ничего от времени не делалось, только стал жужжать хрипловато и нервно вздрагивать через пару минут работы.

Я возвращался в свой детский, не очень-то теплый мир.

За шкафом по-прежнему лежали коробки с древними играми. Две совершенно целых, неигранных игры. Фишки и крапленые кубики были на месте. Я сыграл сам с собою. Прошел от начала до конца розовую дорожку веселых положительных человечков. Миновал сумрачное поле, полное голодных волков. Переплыл на плоту реку, кишевшую каверзными вопросами.

Поначалу я ничего нового в этом жилье не замечал. Так, несколько новых вещей — телевизор и пылесос, которые я сам и покупал когда-то. Бабуля шумного агрегата боялась и не пользовалась им:

— После него вещь с вещью совпасть не могут.

И она была права. Ведь если в вазочке, стоящей на диванной полочке, пускает павлиньи брызги букет из крашеного ковья, с розочками из легчайших перьев, то какой уж тут пылесос.

Иногда, не слушая ее, упершись острием карандаша в бумагу, я начинал рисовать, черкать, выводить овалы. Через некоторое время до меня доходило, что я хочу нарисовать свою мать — именно сейчас, безмерно хочу. Все, что получается, я перечеркиваю и заштриховываю густой рябью, так как рисую только себя самого. Словно в самом себе я умер. Я себя не вижу — как и ее.

Еще одна частность нового уклада состояла в том, что я начал заходить в заведения, которые никогда не посещал раньше. Просто однажды поймал себя на этом. Будто в этом был незамысловатый позыв моего организма. Это были плохие комиссионки, выгороженные при ломбардах лавочки, где за ничтожные деньги продавали всякую немислимую ерунду. Но меня привлекала в них не торговая дребедень.

Я слушал запах чужих домов, где веет человечиною. Людьми, их прелой сладостью, их живучей кислотой и обмирающей затхлостью, а не унылыми дезодорантами, стиральными порошками и лимонной дезинфекцией.

Я начинал искать другую, плотную жизнь.

Странное любопытство — заглядывать в дрянные магазины, где отдыхали скатки отрезков, привезенные бог знает сколько веков назад из Германии, чахли сервизы с полуголыми тетками, облитые уютной нефтяной глазурью, пялились фотоаппараты, как постаревшие циклопы...

Но страсть, моя тихая страсть и слабость была в других выгородках. Там покоились вещи, не выкупленные вовремя. О, у них была сокровенная история, не прописанная в ценниках и квитанциях.

Меня влекли запахи. Нафталина, не отпугивающего моль, а отбивающего прежнюю тельность хозяина — умершего или угодившего в тюрьму, что почти одно и то же. Непросыхающей сырости оставленных оболочек. Я еле подавлял себя, чтобы не купить драповое пальто с биркой, где цифры цены были перечеркнуты трижды. Приди я еще раз после следующей уценки, за это дивное дамское пальто давали бы прикуп. Только унеси.

На меня посматривали продавщицы, но я все равно мял лацканы податливых одеяний. Словно в распахнутом шкафу материнскую одежду.

Я, кажется, начинал понимать что-то важное про себя и свою мать, преодолевая невыносимое чувство ревности, основанной лишь на том, что она все-таки была, и вот я осязаю эти ничейные следы, но она была тогда, когда не было меня. И мое прошлое потеряно для меня не потому, что меня не было в нем, а оттого, что там пребывала моя замечательная мать, но без меня.

— Вы, что ли, моль там ищите? — вспугнула мой затянувшийся поиск игривая продавщица. Я замедленно листал уплощенные старые одеяния.

Это был какой-то спазматический интерес. Не литературный. Грубо биологический. Я ведь ходил по этим магазинам, вызывая в себе особенную тошноту, которая меня приоткрывала, предьявляла миру. Брала сердце ватной теплой рукавицей. В меня начинали хлестать потоки невидимых слез, в меня врывались никем не слышимые речи, жалобы, крики. Они, не существуя, выпячивали и шлифовали мою страсть к саморазрушению. Распуская во мне узел припадка, которому так и не суждено было состояться.

В конце концов я все-таки купил одну особо тронувшую меня своей безобидной пошлостью и вопиющей никчемностью вещицу, вещь, штуку. Не могу сознаться — какую. А потом уже не мог остановить в себе торгового бреда и скупал все — еще, еще и еще. Ведь кроме абсолютной функциональной ненужности в этих предметах было столько же неприкрытого людского низменного непотребства. Только я и мутное зеркало знали о них. Я смотрелся в зеркало столь долго, что с него стекала амальгама, и я начинал прозревать мир, как свою эпидерму.

Я иногда начинал медитировать у помутневшей хилой амальгамы. Высокое зеркало было вправлено в створку старого платяного шкафа. Мне необходимо было напрячься и одновременно расслабиться, чтобы тот в зеркале, точнее, то узрело именно то, что хотел созерцать я.

Из сероватого, как немилый осенний день, стекла, чью толщину я не мог померить, на меня шел человек. Чем теснее я приближался, тем больше становился и он, идущий на меня.

Я не угадывал ни его пол, ни тем более имя.

Это ведь было абсолютно не важно.

О!

Я один в зашторенной легкой тканью комнате.

Я пришел с работы, я не очень утомился за день.

По радио, настроенному на «Маяк», вывернутому на полную громкость, передавали заунывные простосердечные песни — о реке, о любви, о безмятежном возрасте юности.

Чуть дрожащий женский голос, словно надрывая мембрану небесно-голубого целлулоида, как будто шел через многие анфилады мира ко мне, «издалека-долго», лия на меня голый смысл моего поиска, моего обоснования моей иссякающей жизни.

Правильный овал чуть одутловатого лица, пухлые губы, обведенные жирной помадой, насурьмленные веки и брови.

На меня из-за глубокого стекла смотрела женщина.

Я ни мгновения не сомневался в том, что она, которую мое зрение пронизало насквозь, не задерживаясь на ней, — моя мать.

Все ее существо захвачено темным свечением болезни.

Прозрачные мочки ушей поблескивали клипсами безмерной вульгарности.

Она уже запахивала тяжелое демисезонное пальто, словно собиралась погулять в ненастную погоду. Этим действием она огрубляла мое видение. Она вот-вот выйдет за дверь. Ведь отец, нетерпеливо переминаясь, как конь, ожидает ее на улице. Он закуривает вторую папиросу. В его рдеющей шевелюре — снег.

У этого зеркала не было амальгамы, и я понимал, что прошлое, мое прошлое, моя мать — становятся моей эпидермой.

Я вижу как бы ее и не ее. Я созерцаю безупречный механизм, наделяющий меня, мои желания мощью произвола. Мне наконец предъявлен документ, точный оттиск того, что мучило, давило и звучало.

Это не галлюциноз. Ведь она, моя мать, теперь перемещена в мир хоть и недоступный для моих касаний, но бесконечно распахнутый мне, без кожи и облика!

## VI

Из проходной завода вываливают мужики — пожалуй, целая бригада. Они сплочены то ли авансом, то ли зарплатой. Явная иерархия работяг, подносящих и подправляющих. Сейчас с хозяевами жизни мы будем идти вместе до ближайшего пивного ларька. Я знаю этот ларек, эту узкую норку между домами, я сто тысяч раз наполнял там сто тысяч трехлитровых банок разливным «Жигулевским». Когда еще ходил к Бусе. Мне кажется, что этот ветхий ларек и лужа рядом с ним не исчезнут никогда, как самый крепкий монумент слабине уходящей жизни.

Среди темного изработавшегося мужичья гнется и чудит один-единственный стилига в тугих джинсах и расстегнутой почти на все пуговицы ковбойке, он самоуверенно и негромко что-то рассказывает. Его летящая двусмысленная жестикуляция парит над ровной компанией. Я не слушаю его рассказы. Ему кивают, заходятся в смехе. Он купается в популярности.

Я его знаю с самого детства, он живет через дорогу, во дворе «дома с фиалками». Он всегда был самым стильным, первым парнем на нашей улице — у него был мотоцикл «Ява», и он когда-то был совсем недолго женат на Пашечке.

Наши отцы были приятелями, частенько выпивали в былые времена. Эта почва, думаю я, темная почва, связывающая меня с ним. Но мне всегда было наплевать на джинсы и прочие модные причиндалы, на все мотоциклы и машины мира. После отца я обременен старым «Москвичом», серого козьего цвета, как тоска и робость. На нем в глубокой древности мы катили с отцом к домику дорожного мастера. По стратегическому осеннему шоссе. Наверное, его уже нет, дремучие леса сошли над ним.

Мы со стилигой обмениваемся рукопожатиями, и меня тут же с почтением принимают в бригаду. Но квасить с ними я не собираюсь.

— А что, ученые это дело не уважают? — Кто-то звонко щелкает по горлу.

В другой раз я бы пропустил с ними кружку-другую. Но сегодня я переживаю их как угрозу моей шаткой реальности. Грубую и непомерно тяжелую.

Из-за поворота выползает с нервным свистом трамвай. Как-то жирно свистят рельсы, стесненно проворачивается налитое тяжелое тело. На этой остановке бодро выходят те, кто пойдет в театр. Я сливаюсь с нарядными целеустремленными людьми.

Ни с кем из этого пестрого потока, текущего к драмтеатру, я себя не отождествляю, я никем из них не хочу быть, так как я именно я в своем собственном теле и счастливо знаю, что произойдет через три часа, знаю, как это будет болезненно и какое облегчение придет ко мне потом.

С отчаянной радостью стрелка я засекаю свое несовпадение со всеми. Мужчи́нами, женщи́нами, детьми. Все они мне кажутся взаимозаменяемыми. И я вижу себя в зеркальной стене театрального подъезда нарядной жертвой и тайным палачом, который все это измыслил.

Он ожидает Эсэс. Они еще не знакомы.

Это главное условие моего бреда, я будто заточен в себе, и вынуть или выудить меня на свет божий невозможно. Ведь я сам себе заказываю свет.

С досадой думаю о том, что ни мать (она просто не успела), ни отец никогда не водили меня в театр. Да, впрочем, бывал ли отец в этом здании хоть однажды? Может быть, только на торжественном собрании своей любимой партии, которая дала ему, как он торжественно выражался, «все, вплоть до жизни». В той его фразе меня до сих пор по-настоящему интересует только слово «вплоть». А может быть, так, в два слова? «В плоть». Дело в том, что у меня-то ничего никогда не случилось «вплоть», то есть я был плоть от плоти сам от самого себя и сам собою наполнен — «от и до». Сам для себя — как излишество.

Все должно начинаться именно там и именно с того, что Эсэс нет. Просто и вообще. Нет. И я в это начинаю верить. Как пыльный занавес, передо мной разверзается кошмар. Я делаюсь сам собою — без букета, в партере. Рядом пустые места. Холщовый сумрак зала.

Она будто подобрала меня на фронте. Связь с медсестрой — старинный скабресный сюжет, наивный и глупый, полный горечи, чреватый утратой. Но только не с моей стороны.

Я никогда не мог сфокусироваться на чертах ее лица. Они от меня всегда ускользали, стекали за обратную сторону моего зрения. Куда-то за оборот. Стоит ли мне говорить, что мы с нею и не думали любить друг друга. В обычном смысле. Ведь нас связывала более глубинная связь — необходимой зависимостью, порочного уговора.

Именно поэтому она всегда представляла чем-то вроде англосаксонской куклы, героиней быстрого хмельного фильма. Правильные черты лица выскальзывали из моего зрения, потому что я никогда не смотрел на нее цепким взглядом, каким смотрят влюбленные.

Мягкость и жалкость — то, что меня волнует в подобных случаях, — лежали за границей моих визионерских возможностей. Я не нуждался в ее специфических чертах, так как, думая о ней, представлял только самого себя, словно перед зеркалом, — томящегося, изнывающего от ожидания. И, честно говоря,нисколько не удивился бы, если бы кто-либо из «доброжелателей» указал мне женский вопиющий и ужасающий изъян в ней. Ведь мне виделась в ней только плотская машина, специфическая, нужная мне. Без нее мне не справиться с бытием.

Да и голос ее всегда приходил ко мне, словно она транслировала что-то из самой глубины моего тела. Эта стабильность была необходимым качеством, условием возобновляемости моей жизни. Ее малоизменчивости.

Просто женщина из общественного транспорта, которой все же стоит уступить место. Вот она опустила на сиденье, достала плохую книжку, и ее слабый лик мелькнул, окунувшись в буквы. Я тоже прочел какое-то краткое предложение, другое, реплику, и она перевернула страничку.

Я навсегда отстал.

Так что нос, брови, веки, скулы, виски — с завидной мягкостью выскользнули из моей памяти. Увы, я запомнил ее как комик!

И между эпизодами не было промежутков. Будто я посещал амбулаторию, и душевные раны выразительно заживали, меняя былую эластичность на жесткость бесчувственного рубца.

Серия перевязок.

Это соответствовало моей нелюбви к театру. Я не верил ни одному слову, доносящемуся со сцены. Я сомневался во всех словах. Я пытался их не слушать или слышать так, чтоб не задумываться о смысле. Но их вульгарные мантии были пошиты из дешевой шумной мишуры. Это был сплошной обман. Тусклый и безрадостный. Будто вот-вот обворуют, и я сам себя к этому приутожил.

В антракте в красном платье, словно примеченное мной в больнице белье разрослось и стало сплошным, Эсэс опускается ко мне по широкой лестнице. Она плотная и сильная. Она влита в свое одеянье, как моллюск.

Как самозародившаяся, колеблемая по неизвестным законам субстанция. Ртуть? Ее не смачивает ни липкий воздух театра, ни воспаление моего зра. Я вижу ее впервые, мы оцениваем друг друга, нисколько не смущаясь. Мы довольны, что все-таки встретились, невзирая на опоздание.

— Как звать вас?

— Строгая сестра. Сонная стрела. Серная сурьма. Сильная синева.

Я несколько раз угощаю Эсэс по дороге мороженым.

Мне казалось, что ее тело было зрячим, в отличие от ее глаз, которыми, как чудилось мне, она меня не видела. И я правда не знаю — как струились вены на ее руках, сух ли был ее язык, и как она отворяла рот, и как там ворочались слова. Иногда я ловил асимметрию ее улыбки — быстро, за один мгновенный взгляд, будто в меня стреляли. Но все-таки она была уплощенной, так как ее имя, состоящее из двух одинаковых букв, заслоняло от меня ее тело. Оно было как марка авто. Больше, чем автомобиль. Я чувствовал ее как границу, как краевые условия, как описание функции.

Она бодро и долго излагает мне подробности больничного дня. Кого привезли, кто с чем. Разнообразия, к счастью, никакого. Как кого попользовали. Но вот она говорит о детстве. И я представляю ее прошлое, расцветное алыми проблесками различных зорь ее злого кукольного отрочества.

Она повествует простыми бесцветными словами, не обладающими силой. Но за ее речью, описывающей простые действия дневных рычагов, есть второй, не подразумеваемый ею, но столь нужный мне план.

Мне было все равно, что она говорила, как она обманывала глупых злобных учителей и идиотов-хамов родителей. Как однажды какой-то очередной циничный, связанный с припрятанными в шкафу деньгами обман открылся, и она, будучи четырнадцатилетней взрослой девочкой, пушистой барышней, была высечена вмиг одичавшей матерью-ягой. Дуболом отец не выдержал ее воплей и умотал к соседям выпивать.

Она рассказывала эту историю, как-то скрытно улыбаясь — не мне, а в себя, своему особенному дну, будто знала что-то такое про себя. Звякая ложечкой о блюде с некой снедью, не помню с чем — пирожным или кусочком торта, заглядывая мне в глаза, будто тоже пробовала меня на вкус.

— А ты на месте отца ушел бы к соседям пить горькую, а? Или ты под мои крики выпрыгнул бы в окошко, прямо в палисад с георгинами?

— Нет, я бы стал вопить сам и просить, чтобы меня тоже избивали. Заодно с тобой, — всегда в этом месте отвечал я.

И я проникновенно прибавлял, глядя в ее глаза, без отрыва, еще глубже:

— Меня никогда не наказывала мать. Она не успела, а отцу было все равно. И он вообще хотел от меня совсем другого. Но об этом я тебе, моя Сонная Стрела, Сорная Страна, не расскажу.

— А я тебя и не попрошу никогда.

— А я знаю.

Когда она произносила это, я понимал, что наконец достиг такого места языка, где наш с нею словарь делается общим, единым, мизерным и страшным. Я понимал, что тяжело устал — не таская неудобные тяжести и не перебрасывая лопатой терриконы земли.

Словно начинал захлебываться в этой усталости.

Одновременно во мне поднимались волны восторга от такого угнетения.

Начинал понимать, что слова, произносимые мной, рождаются моим телом, что они — продолжение меня, как рука, как член.

Они уже находятся в некоем отдаленье, но они — всецело мои.

— Никогда не выпрыгнул бы в палисад с георгинами. Ненавижу эту цветущую ботву. Они какие-то жирные. Они ничем не пахнут.

Передо мной, как конспект, пролиставалась назад сцена порки непослушной, отбившейся от рук вороватой девочки, легко стягивающей утром

на своей спинке между лопаток пластиковые горячие застёжки свежего лифчика.

Во мне разрастались ее чувствительные муки, разделяемые в ее немиллом доме только невротиком папашей. Кстати, после той порки он как-то тихо и подобострастно решил ее маленькие финансовые проблемы. И Эсэс, отмечая отцовское унижение, важно подымала перст.

С этого момента я хотел, чтобы ее речь не прекращалась, но мне всегда было стыдно просить ее прибавить более стильных подробностей к интимной сцене избияния. Да, впрочем, могла ли она их мне указать? Любила ли она приметы? Частности?

В круг лампионов из темноты вошла нестареющая дама в слишком белом легчайшем платье из капронового тюля с алыми лентами. Очевидно, она измыслила и соорудила наряд сама. Она подошла к нам. Я различил, что ленты были приметаны по-мальчишечьи, через край на живую нитку. На ее руке в большом ридикюле, вывязанном из бельевой веревки, покоилась безразличная белая кошка. Животное было украшено бантами из таких же алых лент.

Дама вычурно стояла рядом, отставив по-балетному ногу, и я протянул ей купюру.

— Кс-кс-кс, — позвал я, умоляя.

— О, это совершенно бесполезно. Моя Тоша глухонема от самого своего рождения, но вас, джентльмен разлюбезный, она благодарит от всего сердца и просит принять памятный дар, — важно ответствовала безумица.

Перед тем как перейти к другим столам, она с легким полупоклоном протянула мне красную ниточку с завязанными бантиками на концах. Я провел крошечным кошачьим подарком по своей нижней губе.

Эсэс с удивлением взглянула на меня. Она рассмеялась ровным, несколько утопленным смехом. Угнетенным. Словно она на людях может предъявить только небольшую звуковую толику себя.

Вслушиваясь в ее смех, я обретаю вину, за которую буду вскоре наказан, обретя такую невинность, что не отнимет даже смерть. Мое настоящее потеряет однородность.

Ведь я не страдал самым сильным страданием человека — разлукой с матерью.

Но я был разлучен не с ней, а с ее отсутствующим, измышленным мною двойником.

Это он отнимал у меня ее страдание, и я боялся его больше всех — отца, бабушки, матери, в конце концов самой умершей от его силы.

Мне даже кажется, что я во всем виноват, что я — побудитель ее смерти...

Мы с Эсэс сидим в кафе, оно открыто допоздна — друг против друга за пластиковым столиком в шатучих, как моя жизнь, пластиковых креслах.

Мы для посторонней толпы, плывущей мимо, не очень молодые «чисто полюбовники», то, что в народе называют простым словом «пара».

На ее красное платье смотрят: мужики с пониманием, как на продолжение ее плотного тела, бабы — с завистью и раздражением. Мне всегда казалось, что она, как ни одевайся, всегда какою-то очень важную часть себя оставляла открытой, и эта мнимая часть была куда значительней того, что платье не прикрывало.

Видя меня с подругой в алом как стяг платье, прошлые знакомцы не узнают меня. И я смотрю сквозь них. Они оставляют меня в новом, недоступном им покое.

Эсэс рассказывает о кулинарной примитивности аборигенов местностей, где протекала их бесшабашная семейная жизнь. Особенно, таков наш уговор, она напирает на аппетиты отца. Что едала ее мамаша, для меня не представляет никакого интереса. Тени, зияния, полости не нуждаются в еде.

Ее отец вообще-то был аскетом, еда его не очень-то и радовала. И она говорит, не насыщая мое любопытство, поминутно оправляя платье, слов-



но узкая талия наряда сама собою поднимается. Слушая, я думаю о ее платье и белье. Она в нем прячет не скелет и мышцы, не тело и эпидерму, а что-то иное, чем она необыкновенно населена, то, что является ею, что я, как мне кажется, так люблю, то, что я столь сильно и недостижимо хочу.

— Ну, зимой — ши, ну, летом — крошка. Котлеты там, макароны. Он домой приходил всегда подвыпивший и раздевался мигом, прямо у двери, в прихожей, стаскивал гимнастерку, галифе, мать всегда помогала ему стянуть сапоги, он любил узкие голенища. Просто бутылки, а не сапоги.

Я спрашиваю:

— А ты не помогала ему?

— Вот еще. С потных-то ног галоши тянуть.

Я продолжаю, не услышав ее:

— Знаешь, мой тоже любил все меньше размером, и он тоже с самой прихожей начинал раздеваться...

— А ты что, его встречал, после того как он сбежал от тебя?

— Да был один случай. Длинной в неделю и тысячу км.

И я вспоминаю, как вместе с одеждой он всегда расставался с доблестью и самоотверженностью, как высокая туля фуражки скрывала его залысины и беззащитный затылок. Я даже не знаю, вспомнил ли я это или домыслил вслед за речью Эсэс. Ее слова меня всегда укачивали, я плыл вместе с ними<sup>25</sup>.

— Ну что нос повесил? Хочешь, веселую историю расскажу? Как меня мамаша учила правильные котлеты по-русски жарить. Знаешь как? — Я не знал про правильные котлеты. Я знал только про русский маниакальный холодец. — Ну там мясо, лук, четверть булки, молока полстакана. Сквозь мясорубку. Как обычно. Но главное — надо мять фарш, пока не станет как мужской хер в стоячем положении. Это мать мою в молодости соседка по офицерской общаге учила, а мать никак понять не могла, что значит «в стоячем положении». То есть она на первом году замужества этого «на ощупь» не знала, хотя была уже мной беременна. Во дела! Ну — невинность и непорочность. Все они — девы, хоть и дуры набитые. Про твою не знаю.

И она вкусно сказала слово «хер». Как диктор имя упраздненной буквы. Выкорчевала из садового чернозема своими голыми сильными руками, выступающими из пройм красного платья.

Она увлекается. Я люблю в ней эту прозрачность. Когда она несет бог знает что. Когда нет тайн, и поэтому нет пошлости, так как все тайное имеет хоть какую-то ценность. Мне кажется, что я наконец-то чую, как бьется ее красное сердце в силке тела под красным платьем.

Поблизости, всего в одном квартале от этого кафе, находится магазин затрапезной мужской одежды, там куплена моя славная рубашка. В полотне оказалось слишком много синтетики, и после сотой стирки она сохраняет колкость, садистическую чужеродность, — но именно это мне и нравится, я люблю дичающие, неприручаемые вещи, которые не дают позабыть, что у меня есть тело.

Если бы семейством отца мне была предоставлена возможность купить для него погребальное платье (но его все-таки, хоть он и был давно на пенсии, хоронили в военной форме), то я бы все приобрел в этом наидостойнейшем магазине. Во всяком случае, рубашку точно такую же, как сейчас на мне. И дикий, самый скромный, но с крапинами огня скорбный

<sup>25</sup> Одежда отца составляла его статус, и когда он вышел в отставку, — он сам по себе в партикулярном платье стал для меня нереален. Я не мог его таким помыслить. Ведь я часто представлял, как он со мной спорит и критикует. Но уже не грозный Кронос, а просто стареющий мужик, из семени которого я произрос на свет Божий. «И как он умудрился меня породить?» — думал я, измышляя его образ. Но что же было в его военной одежде прекрасного и тяжелого? Того, с чем он хотел моментально с самого порога дома расстаться? Какой смысл она на него налагала? Что несла ему? Что стояло за легким духом дезинфекции и тяжким, особенным, — множества людей, запахом, входящим вслед за ним в двери дома?

галстук. Синтетика отменно горит. Нейлон, болонья, полиэстр, кримплен. Всполохи рыжего огня с черной прядью гари!

Мои старые кримпленовые брюки иногда искрят и никогда не мнутся — как агония, за которой нет выздоровления!

Когда мы идем с Эсэс слишком близко — ее красный подол электризуется, липнет к ее ногам, и она вынужденно его одергивает, то отступая вбок, то шутя прислоняясь ко мне.

— Это все из-за этих древних штанов, электрик.

Она боится соприкосновения со мной.

— Ну вот, опять искришь. Не надо волноваться!

Но.

Рубашка куплена.

Отец спален в крематории.

Из мира вытекли последние остатки, что он непристойно содержал.

Лишь Эсэс вступила со мной во властный союз.

Вот очерк его бытия окончен, и мне нечего прибавить, хотя смерть умножила мое состояние, выдумав синонимы избыточности. Ведь я обрел старый автомобиль, совершенно мне не нужный, но Глазунья так причитала и убивалась, что пришлось мне его, невзирая на все мое сопротивление, обрести. «Такова была его эта... как ее... воля», — все твердила она, с трудом вспоминая самое важное слово. За эти годы она превратилась в некое запечное божество, да и на улицу, по-моему, не выходила долгие годы.

Когда она сказала слово «воля», я почувствовал себя жалким пленником, прикованным к столбу.

Краткое слово обвило меня несколько раз, как длинный арапник.

Этому серому «москвичонку», закрыв гараж, я несколько раз включал мотор на холостых оборотах. В вонючей густеющей скользоте я начинал заливаться слезами, как женщина. Но именно так умереть я все-таки не хотел. После той бани в Тростновке, где мы с Толяном чуть не угорели, я не хотел подобной смерти. Я не был силен в теориях самоубийства, но мне казалось, что если я угорю, то, погибая, непременно обмарюсь.

Припадок омерзения моей свежей вдовы, когда она должна была узреть все то, что я, рыдая в гараже, так подробно представил, вызывал во мне рвотные позывы.

Давясь и кашляя, я отворял ворота и проветривал столь милое каждому домовитому мужчине помещение.

Ведь я искусно притворялся, что тоже очень домовит.

Что-то не позволяет мне теперь вспоминать ранящие подробности тела отца, ведь то, что я уразумел в морге, принадлежит скорее умственному зрению, падкому на парадоксы, чем памяти душевной, где саднят незаживающие ссадины и порезы. То, до чего нельзя дотронуться.

Неизреченный смысл, обобщающий его всего — целиком и без промедления.

Вот я четко вижу его траченную юность.

Она прибавляет ему возраст — тихой порчей, а не умудренностью<sup>26</sup>.

Живя на белом свете, он не сделал никаких даже самых невеликих открытий. Ведь он никогда не подал мне знака, что мы были с ним в том придорожном домишке. Были ведь... Папа. Открывшись, он тут же замкнул себя. Он только буксовал, и мне виделась стена, на которой была нарисо-

<sup>26</sup> Ведь и по прошествии стольких лет возраст и тело моего отца всегда стягивались к одной ночной точке и в моем восприятии лишались не только протяженности, но и надежды на какую-либо перемену не своей, нет, а моей участи. Он весь сворачивался и уплотнялся в неизменность. Мне делалось больно от осознания, что это именно я загоняю его в такую непроходимую плотность, но переиначить его я уже не мог.

вана аляповатая военная перспектива. Он не смог понять, что это мазня ни к чему не призывала. То, что он выбрал, было совсем не для него.

И это можно понять хотя бы по форме его уха с легкой мочкой, как рокайльный завиток грифа музыкального инструмента, способного настроиться только на светлый тон.

Мне так легко это домыслить.

Может быть, только слух он мог по-настоящему подставить жизни. Ни плечо, ни руку. Так как был для меня всегда невесом.

И мне кажется, что я смог бы, не отрывая пера от бумаги, прорисовать гармонический символ его слуха.

Ведь он когда-то той ночью, что мы были вдвоем, запевал при мне — не более трех-четырёх тактов какой-нибудь уже позабытой арии, но попал в изысканную шемящую тональность. Приоткрывал свои светлые недра, где обитал в бескоробной отдельности от всего его существа светлый русский тенор. Совсем не слезливый. Бесслезный.

Меня не оставляет впечатление, что он всегда глупо подставлялся. Всегда за все переплачивал, никогда не умел договариваться и жил так, что перебирался с одной оплошности на другую. Как в болоте с кочки на кочку, но все дальше уходя от твердой живой почвы.

У меня, право, нет сил для того, чтобы описать его последние злоключения на подступах к небытию.

Я и знаю о них понаслышке.

Собственно, и это зрелище, вернее, то, как я его себе представлял страдающего, было у меня изъято тем, что я увидел на самом деле.

Зрелищем его мертвого тела на секционном столе.

Изболевший, в разливах желтизны мой отец.

Вот наконец он не принадлежит никому.

Кажется, он не верил в Бога.

Наверняка никогда не думал на такие темы.

Я, право, не знаю.

Это тело почти не похоже на того человека, который был моим отцом.

К его ноге за палец не была привязана этикетка из клеенки с чернильным номером. Я почему-то был уверен, что этикетка должна быть. Откуда я это взял... Из кино?

Дух уже давно покинул его останки.

Навсегда.

И другие могли делать с его телом все, что угодно, ничего, по сути, в нем не терзая.

Глядя на него, я понял, что не могу ничего вспомнить, связанного с ним, только тупо смотрю, не вспоминая ничего. И этот голый, заливающий меня покой, где-то совсем глубоко, почти не во мне, не вызывает беспокойства... Неужели чувствовать в себе полость и есть — не чувствовать ничего? Или я стал настолько проницаем, что зрелище его трупа зарядило и меня холодным отчужденным покоем.

Я понял, что не хотел бы иметь его посмертной маски, так же как и слепка с ослабевшей руки. В его кисти никогда не было сухой силы, она была мягкой, хотя и не влажной на ощупь, но волглой по своей слабости. Я вдруг понял, что эта кисть, эти чуть согнутые бессильные пальцы никогда по-настоящему ничего не держали. Даже меня.

Из его рук ведь выскальзывало все.

Когда его, то есть урну с его прахом, захоронили в тощей неглубокой норе, то я окончательно уяснил себе, что близнецы — вовсе не его дети и совсем мне не братья. И эта новость была для меня безотраднa. Кровные чувства мало что значили для меня.

Я уже не мог погрузиться в рыхлую плоть воспоминаний. Все было засыпано навсегда бледным и удивительно пухлым метафизическим снегом. Я ничего под этим завалом найти не мог. Та жизнь прошла и не вызвала во мне ни угрызений, ни сожаления, ни оторопи. Вообще ни-че-го.

Теперь-то я понимаю, что хотел иметь на память о своем почившем, спаленном в жерле печи отце все-таки нечто.

Нет-нет, не прядь — я не любил сызмальства его слабые секущиеся волосы.

Нет, не ноготь — из-за того, что бабушка, ставя отца мне в пример, всегда говорила: «А ты — лодырь, и ногтя с его мизинца не стойшь».

Так зачем же мне, стоящему уже столь немного, его бесценный ноготь.

Я хотел получить в свое распоряжение скромный лоскуток, так — клочок, всего лишь сантиметра три-четыре квадратных, едва ли больше.

Сушую безделицу.

Татуировку с его плеча.

Я не помню ее сюжета, но тот меняющийся военный меандр сопровождает меня всю мою дурацкую жизнь.

То танчик, то пушечка, то надпись о верности.

И я захлебываюсь, видя на телах совершенно чужих мне людей пороховые разводы. Будто с них только что сняли декалькомани с детским символом мужественности и непобедимости. И они стали сами собою.

О, я бы тайно хранил выбелившийся, ослабший от моих взглядов лоскут в совсем маленькой колбе, запаянной в горловине! А что?

Так кто же прекретнет меня за мое искренне сыновнее желание.

Иметь некое нечто, уже не подверженное порче...

Отцовское развороченное тело не произвело на меня никакого впечатления — как грунтовая дорога, по которой мы с ним сто лет назад прошли в баню. Тогда на ее обочину он, совершенно не стесняясь меня, помочился. Но его новая голизна была иной.

Она слишком тупая, податливая, не могущая прельстить никого в мире.

Просто оболочка неотзывчивой вещи.

Такой вещи, что уже и не вещь, но еще и не ничто — просто ветошь.

Я проговорил это в самом себе без помощи слов, только смыслом. Ведь звук и смысл иногда бывают разделены так, что им не соединиться никаким мостом:

— Мой бедный ветхий ветошь.

И я незаметно для себя открыл формулу его смерти.

Во мне разыгрывается пьеса, в ней не то что словеса, но и жесты — совершенно излишни.

Абсолютная норма — покой и беспамятство.

Все персонажи, видимые мной в моей жизни, просто стоят вдали, повернувшись спиной ко мне.

Этот сон, видение, оно множество раз повторялось и, кажется, перекочевало в явь, став моей неотъемлемой частью.

В секционный зал госпитального морга вошла статная девица, она что-то очень тихое мурлыкала. Только для себя одной. Мелодии я не разобрал. Какой-то пресыщенный вокализ. Руки в резиновых перчатках она держала чуть на отлете, наверное, готовилась что-то безошибочно найти. На ощупь, закрыв глаза? Она замерла в дверях. Она смешалась, застав меня в этом не предназначенном для посетителей месте<sup>27</sup>.

— Я ошибся дверью, извините, но мне нужны справки, — пояснил я, — но это кстати. Не буду волноваться на похоронах.

— Это ваш отец? — тихо и безошибочно спросила она, подойдя близко и ко мне, и к телу.

Будто я был очень похож на труп.

Мной уже овладела обычная скупая тупость. Тупость не очень молодого мужчины, должного заниматься неотложным муторным делом. Помол-

<sup>27</sup> Я ведь попал в этот госпиталь, этот морг, так как оказалось, что только я один-единственный носил отцовскую фамилию. Вся казенная часть его похорон пала на меня.

чав, она прибавила немного резонерски (ведь именно ей представилась возможность в этом сакральном месте разбавить мои горечь и потрясение, все те чувства, что я вовсе не испытывал):

— Да уж, что теперь вам волноваться. А вы не врач? А хотите протокол вскрытия посмотреть?

Я промолчал. Она продолжила, глядя на меня:

— Вы его в военном хотите хоронить?

— Я не хочу...

Она промолчала.

— ...его хоронить, — добавил я.

Я мог уйти, но сказал это, глядя на ее красоту, полную здоровья. Она ведь без всяких скидок красива. И вот цветет в таком месте.

Итак, я продолжил:

— Мне все равно. Он был дрессировщиком.

— Как интересно. Военных дельфинов?

Из нее посыпалась чепуха:

— Я про это недавно читала, что у нас на юге давно уже натаскивают дельфинов-убийц. Против диверсантов. Как интересно. Значит, дрессировщиком. Дельфинов.

— Нет, мышей.

— Это, очевидно, с ядами связано, да, я знаю, я про это что-то читала. Как интересно.

У нее дивная русая коса до лопаток.

Цвет, вызывающий умиление.

Моей самой любимой масти, лучшей длины.

Коса заплетена низко и свободно, как я больше всего любил, — у основания шеи, и складывала ровные волосы в свободный античный шлем, он был больше размером, чем необходимо для обороны.

Пересиливая ее магию, боковым зрением я по-воровски углядел: кишки в брюшине открытого тела моего отца змеились плотным розово-сизым зигзагом.

Его тело поразило меня качеством целостности, невзирая на то, что он был просто освежеван, но это действие, его словарная суть, почему-то к нему не имело отношения.

Я не смог выделить в нем никаких особых черт, так как все его увядшее полое существо и его поза, в которой он был распростерт, приобрели новую, не свойственную живым, смазанность. Это была однозначная монументальность. Он был обращен, как памятник, в некую внутреннюю точку, о которой было известно, что она непостижима и находится совсем не в его, прости Господи, нарядном нутре.

Он стал лицом походить на каменного льва.

Он либо пятится, либо вот-вот прыгнет<sup>28</sup>.

— Вы его хорошенько побрейте. Этого вам хватит? Красьте не сильно, я этого не люблю.

Я помолчал, повернулся, чтобы уходить.

— А ему наплевать, — сжевал я фразу. Слова повисли посреди секционного зала помимо моей воли, я ведь не хотел что-либо говорить.

— Ну что вы, мы ничего не будем малевать, — сказала девица.

Купюра просвечивала сквозь ткань нагрудного кармашка красивого халатика, куда я только что сам ее опустил, чуть нажав на грудь. Она ведь

<sup>28</sup> Когда я понял, какой тяжкой болезнью он страдал, свистел своей фистулкой, занавешенной марлевой шторкой, то мне стала понятна и его бессловная речь, которую он, почти всегда при мне молчащий, обращал ко мне, утратив внимательность, находясь в вечном ступоре. Но для меня до сих пор более выразительно его тело, нежели слова, так редко порождаемые им. И вот я узнаю его в своей памяти, наделенного не речью, а страданиями и наслаждением и более всего — отрицанием и того и другого.

Даже сквозь сомкнутые веки он любовно смотрит на меня и молчит.

приподняла руку в перчатке, намекая, что ею лучше ничего не брать. Я равнодушен к крупным медсестрам и анатомам с косой. В другой руке она держала клеенчатый фартук.

— Простите, коронку желтого металла будем снимать?

— Нет. Можете оставить на память о нашей скоротечной встрече.

Она фыркнула. Она быстро все поняла про меня. Меня всегда понимали медсестры. Она поглядела на меня, прощая. Я еще раз обернулся на него, на моего отца, на тело моего отца, как-то через плечо. Будто бы брезгливо. Но я его не брезговал никогда. Ни в каком виде. Даже в этом. Я ни секунды не сомневался, что это — мой отец. Сомнения впервые меня оставили.

Для меня отец, после того как мы встретились с ним, чтобы никогда больше не увидеться, связан со словами из Евангелия, где Спаситель вопрошает, безмерно страдая: «Зачем ты меня оставил, Отец?»

Я тоже задавал этот вопрос.

Ведь все-таки я мог обратить этот вопрос к нему.

Написать.

Дозвониться.

Дать телеграмму.

— Ну так зачем ты меня оставил?

Еще раз:

— Зачем ты меня все-таки оставил, отец?

Но я очень рано понял, что не продвинусь за риторический завал этого вопроса.



---

---

ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА



## ПИСЬМА К ПРЕСВИТЕРУ

*Посвящается В. Д.*

\* \*  
\*

Псевдоготика для русских романтических сердец:  
эти стрельчатые арки в сочетании с морем снега...  
Но в Быково твой баженовский овальный храм-дворец  
самый лучший из конца восемнадцатого века.

Этот строй остроконечных обелисков наверху  
в виде игол, вокруг главы, венчанной шпилем  
(видных даже и теперь, в великопостную пургу), —  
парой башен-колоколен угловых еще усилен.

На Владимирскую церковь так похож ее собрат —  
стрельчатый собор Николы с крепостной стены Можая...  
Двухколонность парных портиков с боков — стройнит фасад,  
белым камнем темный пурпур древней кладки украшая.

Белокаменных, ведущих в храм холодный наверху,  
полукруглых парных лестниц превосходны балюстрады,  
а меж них портал (не топтана дорожка по снежку) —  
входа в нижние, и теплые, Господни вертоград.

Это здесь, в семи верстах с Новорязанского шоссе,  
в иерейском облачении, для меня почти немислим,  
пред началом литургии обойдешь с каждым все  
образа — и чист, и строг, и силен, и независим.

Лепит наспех анемоны, к удлиненным окнам шлет  
атлантический циклон, щедрый гость океанийский...  
Здесь душистое тепло, хор на клиросе поет,  
здесь в кадило, к угольку вложен ладан аравийский.

Расточатся смолы жизни, ароматный жар уйдет,  
так же как сгорит смола из надрезов древ босвеллий.  
...Нищий голубь за стеклом долго слушал, как растет,  
топчет воздух у меня в доме болеро Равеля.

Из латыни: «Будь здоров!» или, может быть: «Прощай же!»  
это имя твое «Vale!»... На второй Поста седмице  
вспоминай и ты меня, вертоградарь мой кротчайший,  
глядя в постную Триодь с каплей воска на странице.

---

Ермолаева Ольга Юрьевна родилась в Новокузнецке, окончила режиссерско-театральное отделение Московского института культуры. Заведует отделом поэзии в журнале «Знамя». Автор четырех поэтических книг. Живет в Москве.

Эту медленную силу топчет дней моих орда;  
 власть имущая — прошу милостыню под откосом.  
 Я почти не ем, не сплю, скоро буду так худа,  
 как боярыня Морозова в саях, с прозрачным носом.

Чуть касаясь клавиш, струн ли и, вот именно, скользя,  
 помнишь, в музыке прием, называется «глиссандо»?  
 Это словно о тебе; лучше и сказать нельзя.  
 Как ребенок, деловит, вопрошаешь: «Это правда?»

Что ж, пока заткнула кривда камфорною ватой уши,  
 и ушла на краткий сон похоронная команда,  
 и глядят из всех зеркал обитавшие здесь души,  
 что сказать тебе, дитя... Думаю, что это правда.

7. III. 2004.

\* \*  
 \*

Яркий март, и Москва в состоянии вечном ремонта,  
 ну а я задыхаюсь от царских внезапных щедрот.  
 Для кого я пишу? А для сельского батюшки, он-то  
 молчалив, и учтив, и умен, и не любит длиннот.

Четверть века назад на каких мы качались качелях!  
 Был оливково-зелен в жемчужине Болшева свет:  
 на ладони она, вся в аллеях сомкнувшихся, в елях...  
 Мы не знали тогда, что у судеб случайного нет.

Я служу при словах, и порою они как полова,  
 как противны бывают дурацкие «кровь» и «морковь»...  
 Я узнала теперь, что молчанье — надежнее слова,  
 и надеюсь, что мы не прибежем к названью «любовь».

О, не зря так Ван Гог убегал от локального цвета,  
 отвергая белила, любил свои охры, сколь мог,  
 верил в тускло-лимонный, кидал к синеве — фиолета,  
 или киноварь, или неаполитанский желток.

Сквозь лечебницы прутья, на своеобразном пленэре  
 брал щебечущий воздух, во всех составляющих — цвет...  
 И поля, и дожди, и деревни, и церкви в Овере  
 в забытьи восхищенно бормочут доньне: «Винсент...»

Как я рада молчанию! Как оно пылко, рысисто,  
 как струит вокруг меня свои токи на сотни ладов...  
 Не любовники — где там! — мы опытных два шахматиста,  
 восхищенно следящие всю безупречность ходов...

Нужно с редкостным тщаньем внимать, чтобы точно исполнить  
 текст, идущий из ночи по огненной почте пустынь...  
 Если кто-нибудь дальний захочет глаза мои вспомнить,  
 пусть к железистым охрам прибавит парижскую синь.

8. III. 2004.



\* \*  
\*

На каблуках-то и то к голове удалой  
не дотянусь — и пригну ее с нежною силой:  
зеленоглазый, и волосы пахнут смолой.  
Ладаном, ты уточняешь. Конечно же, милый.

Как ты похож на меня попаданием впросак,  
простосердечьем и детской жаждою чуда...  
Кстати, как я, не такой уж добряк и простак.  
Властный, как я, и, как я, вероятно, зануда

(как Водолей Водолею скажу я: муштра  
дисциплинирует все-таки в этом шалмане...).

Что же нам делать? Мы, может быть, брат и сестра,  
только меня в раннем детстве украли цыгане?

Слышу, как воздух толчется и ткется оплечь  
легкий виссон... О, взаимное расположение,  
эти горячие токи, идущие встречь,  
чувствую, как  
и твои же все  
богослуженья.

Вижу тебя молодым, выступающим за  
рамки глухого в то время имперского зданья...  
Много чего повидали вот эти глаза  
кроме крещенья, венчания и отпеванья.

Ты  
на двухтысячелетие  
старше меня.  
Знай, напишу еще, сборщица макулатуры,  
малая искра — во славу большого огня  
«Письма к пресвитеру» — памятник литературы.

Пусть остаются, пусть переживут разнбой;  
может, избравшему это же предназначенье  
станет поддержкой мое любованье тобой,  
пусть примеряет к себе он мое восхищенье.

Редкие, как эта страсть, как сухая гроза,  
не изронившая капельки ртам истомленным,  
пусть остаются, пусть вспомнятся наши глаза:  
эти зеленые к этим вот светло-зеленым.

20.III.2004.

\* \*  
\*

Так вот оно что! Надо было хоть  
предупреждать,  
какой обладает он властью,  
безмерный, желанный,

умеющий с легкостью  
   тайные мысли читать...  
 Да я у него еще щетки зубной  
   не оставила в ванной!

Сменился состав атмосферы,  
   я в ней теперь раздвоена:  
 с десертной тарелкой и рюмкой,  
   сползающей к вилке,  
 иду раз за разом к нему,  
   в тот же миг, что сижу у окна,  
 на почту служебную как  
   Робинзон на посланье в бутылке

смотрю... И, по воздуху  
   легкое тело неся,  
 скорее умру, чем спрошу:  
   что ж меня, как стихи-то, не ценишь?  
 Да, в эту подъемную силу  
   мною вгрохана вся  
 прошедшая жизнь...  
   Но уже ничего не изменишь.

24.III.2004.

\* \*  
 \*

Мне жаль тебя терять, мой пылкий бедный разум,  
 ну потерпи еще, сокровище мое.  
 У нас варьянтов нет, хотя воскресший Лазарь  
 массирует плечо и смотрит на питье...

...Какой калейдоскоп: с последним целованьем  
 Владыка; узость в старом кладбище — дорог;  
 даниловский отец Макарий со вниманьем  
 нанизывает мною засоленный груздок...

И бирюзовый шелк с отделкой чем-то белым,  
 но! грубый молоток, но! inferнальный гвоздь,  
 а дальше все пошло в воздушном блеске... Целым  
 семейством осокорье чудо вознеслось,

так тускло серебрясь немыслимой корою  
 топленого, под цвет, пожалуй, молока  
 на ближней из аллей в Даниловском... Свекровью  
 мне, в принципе, могла быть та, что далека

или близка от нас? Не чувствую, не слышу  
 ее, сцепившей птичьей лапки на груди...  
 Я вместе с теплым ветром волосы колышу  
 сынка ее, он в черном ступает вперед.

Учиться у него: он горем заморочен,  
 но ведь создаст Господь такое существо, —  
 рассеянный, он так внимателен и точен  
 и обращен ко всем, сплоченным вокруг него,

так щедро и всегда сердечно, без усилий...  
 Вот страшною лопатой — в коричневую грязь! —  
 обрублен сноп моих желто-зеленых лилий:  
 хоть Лидией была, но Лилией звалась...

...Английские сегодня клеила обои:  
 в оливковой тафте сбежался целый сад.  
 И мокрою бумагой, и краской молодою  
 так пахнет у меня, и вброны кричат

еще по темноте, в шестом часу апреля,  
 и пилит вертолет в такую рань к Кремлю,  
 куда ж ему еще?.. Мелю я, как Емеля,  
 с ним вечно языком, чтоб не сказать «люблю»:

— Голубовато-серый груздь, зовомый гладыш,  
 Можайского уезда, представьте, моего,  
 а на меня, мой друг, таким зеленым взглядом  
 вообще хорош смотреть, я плавлюсь от него.

3.IV.2004.  
 Лазарева суббота.

\* \*  
 \*

Просила тебя у мертвой и выпросила у мертвой.  
 О, на губах столько соли с кожи твоей этим утром,  
 мой сияющий мальчик! Тобою к стене припертой, —  
 нюхать украдкой пальцы со сладким твоим перламутром.

После двух лет печали впервые надела кольца —  
 свое серебро и перстень с яблочным хризопразом,  
 и этот браслетик легкий — цепку с тигровым глазом,  
 а снять не успела на ночь — не оцарапайся, солнце,  
 глядящее вполоборота с подушки — зеленым глазом.

Растрепанный, ты чудесен, и с кремовыми свечами  
 каштан под окном волшебен, и дождик надолго, видно.  
 Мы так чисты, Водолеи, прохладны, ты пахнешь чаем,  
 я пахну своей «Органзою», и вовсе ничто не стыдно.

Атласной юной листвою, армадою туч фигурной  
 тебя обнимаю (как же понравилось обниматься!),  
 коротенькой, из фольварка, чуть сонною, не бравурной  
 шопеновской запотелой мазуркой номер тринадцать.

Тебе давно было нужно так поступить со мною.  
 Отныне все наносное уже не имеет значенья:  
 молчи, не звони, теряйся, бубни свое за стеною,  
 но я, что безумно важно, слышу твое звучанье.

...А дальше весь день как праздник. То вспыхивает, то меркнет  
 кровь, комната, счастье, сердце в отчаянье и восторге,  
 все не имеет значенья, кроме нелепой смерти —  
 вспыхивает и меркнет! — и наших детей жестоких.

21.V.2004.



---

---

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ

\*

## ВСЕ ЛЮДИ УМЕЮТ ПЛАВАТЬ

*Рассказы*

### СЕКТОР «Е»

**Н**а четвертом курсе Кирилл бросил консерваторию и устроился работать дворником. Участок ему достался большой и запущенный. Он выходил на Кропоткинскую улицу недалеко от ее пересечения с Садовым кольцом и захватывал двор углового дома. До Кирилла тут убирала студентка из Литературного института. Она работала плохо, и за несколько месяцев во дворе образовался толстый слой льда. Начальник жэка, который принимал Кирилла на работу, поминал студентку недобрыми словами, но в небольшой квадратной комнатке, смотревшей на московские крыши, ей, должно быть, хорошо писалось, и она забывала про свой участок, тем более что двор был нежилой и лед никому не мешал.

Дом выселили больше года назад, только в одном подъезде принимали пустые бутылки. Приемщик стеклопосуды носил очки с толстыми линзами и читал газету «Известия». К нему выстраивалась длинная очередь, он забирал бутылки, закрывал ставню и пересчитывал тару, а потом нехотя ссыпал деньги, точно подавал нищим. Отдавал он всегда меньше положенного, но очередь не роптала и огорчалась лишь тогда, когда ему надоедало работать и он вывешивал табличку «Закррито». На Кирилла приемщик смотрел прищурившись, как на явление временное, и никогда с ним не заговаривал.

Кирилл работал очень старательно и хорошо. После консерватории ему нравился каждый новый день. Он вставал рано, до того, как на улице появлялись первые прохожие, брал в коридоре инструменты, и после его работы асфальт делался мокрым и чистым, так что пешеходам в грязной обуви было неловко по нему ступать и тем более бросать на тротуар окурки. К девяти часам Кирилл заканчивал убирать участок на улице, заходил в пельменную в подвальном этаже, потом не торопясь колол студенткин лед во дворе, а к одиннадцати все дворники собирались в конторе, и техник-смотритель, моложавая женщина с каштановыми волосами, давала им общую работу. К обеду Кирилл возвращался домой, читал, пил «Алазанскую долину», которую покупал в маленьком магазине неподалеку, или просто сидел у окна и бездумно смотрел на город.

Коммунальная квартира, в которой его поселили, находилась на последнем этаже старого пятиэтажного дома. В самой большой комнате жила державшаяся особняком татарская семья с двумя детьми, еще в одной — одинокая продавщица из овощного магазина, а в самой последней — тихая, услужливая старуха по имени Клеопатра, которая получала мизерную пенсию, зарабатывала на жизнь перепиской нот, почти никогда не выходила из комнаты, и Кирилл даже не знал, как она выглядит.

---

Варламов Алексей Николаевич родился в 1963 году. Закончил МГУ. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Москва» и др. Первый лауреат премии Антибукер за опубликованную в «Новом мире» в 1995 году повесть «Рождение». Живет в Москве.

Он и сам жил одиноко и замкнуто. Друзей у него после ухода из консерватории не осталось, и, когда вечерами ему становилось тоскливо, он ходил в бассейн «Москва», где можно было познакомиться с какой-нибудь девушкой. Бросив музыку, Кирилл испытывал сильное мужское томление. Он заговаривал с самыми разными девушками, они охотно ему отвечали, весело проводили с ним время, купались, болтали, потом гуляли по набережной или по бульвару и иногда поднимались к Кириллу в комнату и задерживались до утра. Но ни одна из них не оставалась дольше. Они еще спали, когда он вставал убирать улицу, а когда возвращался, девушек не было, словно их тоже убирал неведомый дворник, и Кирилл не мог взять в толк, как они уходят. Он немного грустил по ним, но работа рассеивала уныние, а в бассейне появлялись новые лица.

Однажды Кирилл пришел в «Москву» морозным вечером. Народу было немного, и он подумал, что из-за малого числа посетителей сеанс отменят, но один из секторов работал, и в желтом павильоне ему продали, как обычно, билет за пятьдесят копеек с крупной литерой «Е». Дежурная в темно-синем халате привычно скользнула по нему замысленными глазами и протянула резинку с квадратным алюминиевым номерком, которую он должен был натянуть на руку или на ногу.

На открытом пространстве в густой мгле ничего не было видно, но еще больше поражала тишина и покой надвигающейся зеленой массы, в которой редко-редко скользили одинокие человеческие тела. Не было обычной толкотни, женских взвизгов и смеха. Кирилл свободно плавал, нырял и выпрыгивал, глотая воздух, в котором тепло и сырость подогретой воды смешивались с запахом хлорки и морозной резью, и вспоминал, как занимался плаванием в детстве и как его родители долго колебались, когда пришлось всерьез выбирать между бассейном и музыкальной школой, и, видимо, все-таки ошиблись, едва не поломав ему жизнь, только теперь перед ним открывшущаяся. В этот раз он особенно остро переживал воспоминания о мучке консерваторских лет и радовался тому, что никогда больше эта жизнь не вернется, он отрезал ее от себя, и никто не станет говорить ему о его даре.

До окончания сеанса осталось не больше десяти минут, когда его окликнула молодая загорелая женщина в голубом купальнике и темной шапочке. Она не была похожа на тех, кто специально приходил сюда знакомиться. Ее лицо выражало печаль и даже отчаяние, которые она старалась прикрыть лихорадочной веселостью. Женщина подплыла к нему совсем близко, так что он мог почувствовать ее дыхание и увидеть большие темные глаза и смуглое стройное тело. Кирилл предложил ей после сеанса встретиться, и, к его удивлению, она безо всякого смущения согласилась.

Когда он вышел на площадь, где пересекалось несколько улиц и начинался бульвар, стало еще холоднее. Поднялись ветер и поземка. В воздухе пахло карамелью. Запах доносился с кондитерской фабрики за рекой. Женщина не приходила, и Кирилл подумал, что она просто пошутила, посмеялась над его доверчивостью, да и как он мог вообразить, что, такая красивая, интересная, она придет на легкомысленное свидание со случайным, незнакомым ей человеком.

Прошло уже, наверное, больше получаса, бассейн закрылся и погрузился в темноту, когда она наконец вышла, но не из своего павильона, а откуда-то со стороны, одетая очень изящно и модно, однако совсем не по сезону, как если бы она покинула свой дом давно, быть может, ранней осенью. Женщина взяла Кирилла под руку, и они пошли по Кропоткинской мимо роскошных фасадов домов, подъездов с высокими дверями, оград, балконов и раскачивающихся от ветра деревьев.

— А говорили, что живете близко. Целую улицу надо пройти. Вы чувствуете, что эта улица немного изогнута? Каганович говорил, будто Моск-

ву строил пьяный извозчик. А ведь это делали специально для того, чтобы было не так холодно. Зачем вы ходите в этот бассейн? Этого нельзя делать. Ходите в другой, если вам так надо. И не думайте обо мне дурно, просто сегодня мне очень плохо. — Она говорила быстро, задыхаясь от мороза, и Кирилл не понимал, для чего она все это говорит и почему так оживлена, если ей плохо. Болтовня его раздражала, но сама женщина влекла. Он чувствовал необычное волнение и незнакомое очарование и торопил шаг, словно боясь, что кто-то ее отнимет.

Не доходя до конца улицы, они свернули в кривой переулок, ведущий в сторону Арбата. В вечернем магазине на Смоленской купили вина и сыра. В переулках было пусто, только в будках возле иностранных посольств с обледенелыми разноцветными флагами мерзли полусонные милиционеры в темных полушубках. Женщина еще теснее к нему прижалась, он ощущал ее тепло и разливающуюся по собственному телу нежность.

Дома она много пила и продолжала болтать.

— Я хочу танцевать. У вас есть магнитофон или проигрыватель? Почему? Разве вы не любите музыку? Жаль, мне казалось, вы должны ее любить. Расскажите мне о себе. Только давайте ляжем. Сначала ложитесь вы, чтобы согреть постель, а потом лягу я. И дайте мне какую-нибудь рубашку. Вы точно не женаты? Если женаты, я уйду. Почему вы не женитесь? Впрочем, нет, не женитесь. Лучше сначала нагуляйтесь. А иначе ваша жена много будет плакать и делать глупости.

Она замолчала, и в тишине стало слышно, как в глубине квартиры скрипнула дверь, кто-то легкими шагами прошел по коридору. За стенкой в ванной полилась вода, и снова стало тихо. Женщина вздрагивала от холода, и Кирилл поскорее обнял ее, чтобы унять эту дрожь. Сам он больше не волновался, как всякий, кто готовится совершить обыденное, хорошо знакомое ему дело, и лишь испытывал тихую радость и предвкушение привычного и каждый раз нового счастья, но вдруг что-то темное, безнадежное мелькнуло перед его глазами, будто залетела и стала биться в комнате большая птица и сковала все его существо. Кирилл еще продолжал целовать и ласкать маленькую смуглую женщину, но тело его безмолвствовало и не отвечало на ее ласки. Он не понимал, что с ним происходит. Стало стыдно и страшно, кровь прилила к вискам, спустилась к горлу и застыла там. Женщина притихла и молча ждала. Они оба ничего не говорили, потом она пригrelась подле него и уснула, а он долго лежал с открытыми глазами, не выпуская ее из объятий, и прислушивался к ровному дыханию, боясь пошевелиться и разбудить. Некоторое время спустя он тоже уснул.

В середине ночи на улице потеплело, и пошел снег. Кирилл проснулся от падающего снега, как просыпается мать, услышав крик младенца, оделся и, избегая глядеть на женщину, вышел в коридор. Из ванной на пол ложилась полоска света. Он взял лопату и спустился во двор. Идти было тяжело, приходилось выдергивать ноги из снега, словно он был не в городе, а в поле. Сильный ветер гнал снег по всему пространству города, и было непонятно, падает ли он с неба или поднимается вверх от земли. Редкие легковые автомобили с включенными фарами медленно пробивались сквозь заносы. По Садовому кольцу шли снегоуборочные машины. В двух шагах не было видно ни зги, как во вчерашнем бассейне. Кирилл стал чистить улицу. Это было почти бессмысленное занятие. Стоило ему очистить кусочек тротуара, как его тотчас же засыпало снова. Но он все равно чистил и чистил, наваливаясь лопатой на белую массу и укладывая на проезжей части высокие кучи сухого холодного вещества. Ему было жарко, он останавливался и жадно запикивал в рот горсти снега и растирал лицо.

На соседних участках появились другие дворники. Звуки скребущих асфальт лопат перекликались в спящем городе. Прохожие прокладывали тропинки во дворах. Кирилл поднялся наверх, рассеянно посмотрел на полосу света, по-прежнему падавшую из ванной в коридор, и, не решаясь

пересечь ее, прошел на кухню. На улице ему казалось, что все дурное прошло, но теперь ощущение тревоги и страха, а вместе с ними позорной слабости вернулось. Кирилл сел у окна и закурил. Кровь стояла у него в горле. Он чувствовал это теперь совершенно явственно и боялся, что она хлынет наружу и вместе с ней вытечет его жизнь.

«Господи», — произнес Кирилл с усилием, прижавшись лбом к холодному стеклу. Его колотило все сильнее. Он захлопнул форточку, зажег газовую горелку и устоялся на синее пламя. «Я обещаю, что не буду больше ходить в этот проклятый бассейн. Я обещаю, что найду одну женщину и буду только с ней. Я обещаю, что вернусь в консерваторию и буду играть, если это так нужно». Сквозь запотевшее окно ничего не было видно. Отчаяние и злоба сменили напрасные жалобы и мольбу, и ему казалось, что он снова на улице и снова сгребает снег, которого так много, что снег засыпает его с головой и сковывает тело.

— Фу, черт, напугал! Чего сидишь впотьмах? Да еще газ зажег! Спать нас хочешь? — Простоволосая заспанная дородная женщина с огрубелыми руками тяжело смотрела на Кирилла. Он щурился от света и ничего не отвечал. Тускло пробивался, смешиваясь с электрическим, уличный свет. — Давай, студент, иди отсюда. Мне собираться надо, а ванна занята. Опять шлюху к себе привел?

Она развернулась, задев его полую фиолетового халата, из-под которого показалась нога с крупными сиреневыми прожилками вен, пошла по коридору и стала дергать за ручку двери.

— Уснула она там? Да сколько можно ждать, черт тебя подери!

Кирилл схватил в прихожей лом, оттолкнул разъяренную продавщицу и поддел дверь. В остывшей воде лежала старуха Клеопатра. Вода наполовину покрывала ее тело, которое было стройным, как у девушки, и как раз умещалось по длине ванны. Мокрые седые волосы плавали по поверхности. Виновато смотрели на Кирилла блеклые голубые глаза, а маленький рот с полуоткрытыми губами и ровными аккуратными зубами казался еще живым.

Продавщица охнула, завизжала, и лицо у нее пошло красными пятнами. В коридоре появились татары. Они возбужденно говорили и дружелюбно смотрели на Кирилла, как если бы это он умертвил старуху и освободил им помещение для жизни.

Через час приехали милиция и «скорая», старуху унесли, завернув легкое нагое тело в простыню, и, глядя на нее, Кирилл вдруг подумал, что именно Клеопатра закрывала дверь за его девушками. А теперь это будет делать некому.

Пожилой участковый позвал Кирилла и жену татарина Наилю в старухину комнату. Там было светло и чисто, только комната была совсем крошечная, и трудно было понять, как могла старуха тут жить. В столе среди аккуратно переписанных нот участковый нашел паспорт, составил протокол и опечатал дверь.

— Ты вот что, — сказал он Кириллу перед уходом, — ты, я вижу, парень хороший. Но если будешь девок водить, не взыщи. Жалуются на тебя. А площадь служебная. Так что прав у тебя никаких.

Продавщица оделась и ушла, татары вслед за ней, а Кирилл открыл дверь к себе. Давешняя женщина подняла голову при его появлении. Она смотрела на него с недоумением. Потом лицо ее прояснилось, она потянулась, обнажив смуглые руки, и сладко улыбнулась, и Кирилл вдруг почувствовал, как застоявшаяся кровь опустилась, разлилась и заиграла во всем его теле.

— Я спала как убитая. Да что с вами такое? Что вы делаете? Вы с ума сошли! Дверь хотя бы закройте! Ну и что, что никого нету? Что вы так на меня набросились? — возмущалась, отталкивала, а потом смеялась она, обнимая его и целуя. — А ночью что с вами было? Я уж думала, так и не согрешу...

— Это все старуха, — пробормотал Кирилл, озираясь.

— Какая старуха? Ненормальный.

«Мертвая», — хотел сказать он и осекся.

За окнами было слышно, как скребут лопатами дворники. Выстроилась очередь сдавать бутылки, ожидая, когда подслеповатый приемщик кончит читать газету.

Кирилл принес с кухни чайник, смотрел, как одетая в его рубашку женщина ловко режет хлеб и масло, и вся она была такая молодая, свежая, почти родная после недавней близости.

— А какая у вас ванна большая! Как раз под мой рост. Я бы там лежала и лежала.

— Послушайте, — сказал Кирилл хрипло. — Оставайтесь здесь. Живите со мной, прошу вас. Я вас буду любить. Только вас одну. Я обещаю, я уже обещал.

Она улыбалась одними глазами и ничего не говорила.

— Ну давайте хотя бы встречаться. Пусть изредка. Дайте мне свой телефон. Я вас не отпущу, — говорил он умоляюще, обреченно. — Я совсем не то, что вы думаете. Я...

А она уже надевала синий плащ и смотрела на него так же ласково и укоризненно, как давешний участковый.

— Нет, вы точно сумасшедший. Я замужем. И мужа своего люблю. Хотя он порядочная скотина и тоже говорил мне, что будет любить меня одну.

Она быстро поцеловала Кирилла и легко побежала через длинный двор, исчезнув в полутемной арке.

## ВСЕ ЛЮДИ УМЕЮТ ПЛАВАТЬ

### 1

Мальчик жил недалеко от большой реки. Если дул северный ветер и в доме открывали форточку, до него долетал запах воды и доносились гудки больших барж, перевозивших песок и щебень. Ниже по течению находился порт и пойма, а недалеко от того места, где стоял их дом, река делала излучину. По выходным, минуя заводскую окраину, мальчик приходил с отцом на пустынный берег, и взрослый человек рассказывал маленькому, что в центре города река совсем другая, она отгорожена гранитом и по ней ходят прогулочные катера. Но там, где они гуляли, катеров не было, вода подступала к самым ногам, мальчик бросал камешки, щепки, бутылки и доски, которые выносила на берег река, и смотрел, как они с всплеском погружаются в воду. Однажды он бросил доску, в которой был гвоздь. Гвоздь вцепился в ладонь, и из нее потекла кровь. Мальчик заплакал, а папа сказал, что плакать стыдно, и куда-то пропал. Мальчик несколько раз спрашивал про него у матери и просил, чтобы она пошла с ним на берег, но она отвечала, что ей некогда, а когда расспросы ей надоели, сказала, что папа не вернется.

— Он утонул?

— У него теперь другая семья.

Весной она купила сыну небольшой аквариум, он смотрел, как плавают рыбки и поднимаются пузырьки воздуха, и об отце не думал.

Когда мальчику исполнилось восемь лет, мать повела его записываться в бассейн, который находился рядом с их домом.

— В этом бассейне я научилась плавать. Тогда на всю Москву было всего два бассейна — «Динамо» и наш. У моей одноклассницы работала здесь мама, и она пускала нас вечерами плавать одних. — Мать рассказывала немного смущенно и с удовольствием, однако ему было трудно



представить ее девочкой, и он слушал невнимательно, но она и не замечала. У нее была такая привычка — говорить как будто для одной себя.

— В баню была очередь на несколько часов. Там давали кусочек мыла. Надо было помыться самой, постирать и принести мыло домой.

В вестибюле пахло пивом, из-за банных дверей с мутными стеклами выходили раскрасневшиеся мужчины, громко разговаривали, весело смотрели на молодую женщину в сером осеннем плаще и шелковой косынке. Мальчик стал просить, чтобы мама купила ему хрустящую картошку в пакетиках, которая продавалась вместе с разливным пивом и солеными сушками, но она поспешила уйти.

— Неизвестно, на чем ее жарят.

— Тебе просто жалко десять копеек, — сказал мальчик сердито и отвернулся.

Они поднялись по лестнице, он почувствовал знакомый запах воды, и ему стало волнительно и радостно, как в раннем детстве, и стыдно оттого, что он нагрубил матери. Высокий человек в спортивном костюме, со свистком на груди ходил вдоль бортика маленького бассейна, иногда резко взмахивая руками, нагибаясь и поворачивая голову, и его пронзительный голос перекрывал всплески воды и влажный гул, который держался как туман. А во взрослом бассейне большие мужчины в разноцветных шапочках играли в мяч и жестикулировали. И такие же ничего не говорящие, но то и дело взмахивающие руками люди сидели на трибуне. Лица их были напряжены, они что-то беззвучно произносили одними губами и внимательно смотрели друг на друга.

— Кто это? — спросил мальчик.

— Глухонемые, — ответила мать не разжимая губ. — Тише, они все слышат.

— Как?

— Понимают по губам. Помолчи.

Мать подвела его к тренеру.

— Тебе сколько лет?

— Восемь.

— Я, кажется, не вас спрашиваю. Или он у вас глухонемой?

— Он у нас спортивный, — произнесла мать нежным, певучим голосом.

— Нагнись и достань пол. Ниже, ниже. Ладонью можешь? А почему только сейчас опомнились? Учиться плавать начинают в пять лет.

— Пойдем отсюда. — Мальчик потянул мать за рукав.

— Я его беру, — буркнул тренер, глядя в сторону, и резко свистнул. — Приводите завтра в двенадцать.

— У меня уроки.

— Я договорюсь с учительницей, — с досадой проговорила мать, но тренер уже не слышал, и мальчик почувствовал неприязнь.

Еще сильнее он невзлюбил тренера на следующий день, когда мать привела его на первое занятие. В раздевалке дети толкались, потом пошли в душ, но кабинок на всех не хватало, дети отпихивали друг друга, плевались и бросались мочалками, стаскивали друг с друга плавки, но мальчик был старше, и поэтому ему уступили место и трогать его остерегались. Однако возня малышей его утомила. Он с неодобрением смотрел вокруг, и совсем ему разонравилось в бассейне, когда сердитая полная женщина в белом халате стала проверять у всех мальчиков, чисто ли они вымыли попы. Мальчишки глупо хихикали и показывали друг на дружку пальцами, а он оставался серьезным, потому что знал: поппа — это стыдно, и ему было неприятно оттого, что какая-то тетка туда смотрит.

Занимались в лягушатнике, в котором детям было по грудь. Выстраивались вдоль стенки, и тренер показывал упражнения. Он кричал на тех, кто невнимательно слушал, и под звуки пронзительного голоса даже самые хулиганистые дети становились смирными. Мальчик вел себя очень

послушно, повторял вслед за тренером движения рук и корпуса, зависал в воде, обхватив руками ноги, но стоило ему отпустить их, как вместо того, чтобы выпрямиться и лечь на воду, он опускал ноги на дно.

Через несколько занятий все дети легко проплывали несколько метров от стенки до стенки лягушатника, но у мальчика ничего не получалось. Он старательно вытягивал руки и поворачивал голову, чтобы глотнуть воздуха, а вместо этого шел по дну. Потерять опору казалось ему самым ужасным, что может с ним произойти.

— Ляжь и почувствуй воду! — кричал тренер. — Вода сама тебя держит. Люди тонут, потому что не знают, что умеют плавать.

Тренер был похож на его отца. Иногда мальчику казалось, что это и есть его отец, только старый. Хотя молодого он помнил плохо.

— А если ты будешь ходить пешком по дну, я переведу тебя в группу, где занимаются четырехлетки.

Теперь, когда он приходил в раздевалку, ему не уступали душевую кабинку, и он должен был дожидаться, пока все помоются. Он рассказал об этом матери и подумал, что она точно заберет его из бассейна, но она только помазала ему пальцы ног йодом, чтобы не завелся грибок, и тихо проговорила:

— Ты должен себя превозмочь. Если ты спасуешь перед этой трудностью, тебе будет тяжело в жизни.

— Ну и пусть, — поморщился он: от йода пальцам было холодно.

— Так нельзя. Кто же будет меня защищать, когда я стану старенькой? А твой тренер очень хороший, к нему привозят детей со всей Москвы. Научиться плавать — это как научиться жить.

— Вот ты научилась, — возразил он. — И что?

— Что?

— Плачешь.

— Все равно, — проговорила мать упрямо.

Но сколько он ни старался, какая-то сила удерживала его ноги у дна, и он не мог с этим ничего поделать. Сначала он переживал, но вскоре ему стало все равно, что скажет или сделает тренер, как будут дразнить его и кривляться маленькие дети. Он отбывал урок точно повинность, шел домой, механически дав матери руку, и часами смотрел на рыбок.

Когда в очередной раз, быстро ступая ногами по дну, мальчик дошел до противоположного края лягушатника, тренер хлопнул в ладоши.

— Ты надо мной издеваешься? — спросил он спокойно, и мальчик понял, что спокойствие взрослого человека может быть страшнее гнева. — Ты, может быть, думаешь, что я тебя выгоню? Ты пришел сюда, чтобы научиться плавать, и я научу тебя. Я не знаю ни одного ребенка, который не мог бы плавать. Я научил плавать несколько тысяч человек. Ты умеешь плавать, ты очень хорошо плаваешь. Ты просто не хочешь этого показывать, потому что у тебя злое сердце.

«А вот он не умеет плавать, — подумал мальчик. — Иначе он плавал бы в бассейне, как другие люди, а он только ходит вдоль бортика».

— Ты что, оглох? — Сильная рука больно схватила его за ухо. — Вылезай из воды и иди за мной.

По скользкому полу мальчик прошел к бассейну для взрослых. С одной стороны в нем было довольно мелко, с другой, у тумбочек для прыжков в воду, — глубоко. Тренер подвел его к тумбочке.

— Залезай!

Темно-зеленая колышущаяся масса была внизу. Мальчик видел искаженное водой отражение потолка с яркими лампами и не увидел дна.

— Прыгай и плыви!

На него смотрело несколько десятков пар глаз, весь маленький аквариумный мир остановился, замерли глухонемые, которые обыкновенно никогда не обращали внимания на говорящих и слышащих людей.

— Прыгай — или я тебя столкну!

Ноги мальчика скользили по тумбочке. Ему казалось, он балансирует над пропастью. Никогда в жизни он не испытывал такого страха и даже не представлял, что этот страх существует.

— Ну!

Мальчик взмахнул руками, закачался и не понял, прыгнул ли он, упал или его сбросил тренер, как сам он бросал когда-то в воду камешки и палки.

Вода была холоднее, чем в лягушатнике, она приняла его, и мальчик стал медленно опускаться. Ему нужно было коснуться ногами дна и встать на ноги. Тренер ждал, когда он всплывет, но тело мальчика находилось в толще воды и не поднималось. Из другого мира на него замороженно и неподвижно смотрел человек в спортивном костюме, с посиневшими губами, отчаянно жестикулировали большие красивые люди на трибунах, другие плыли ему на помощь. Но они были слишком далеко, а он оставался внизу и, нащупав ногами дно, ждал. Нависшая над водой фигура качнулась, было непонятно, прыгает она или падает, и в следующее мгновение тяжелое безвольное тело опустилось в воду и ушло в глубину.

## 2

— Я поцелую тебя, но только на том берегу.

До дальнего берега от мостков было метров триста. У него было острое зрение, и он хорошо различал деревья. Там начинался хвойный лес. В нем стояли генеральские дачи, которые занимали по полгектара. Дальше шло стрельбище, по краям которого они собирали с матерью грибы. По будням кремлевские курсанты из военных лагерей приезжали на озеро и сдавали норму по плаванию.

— Мы будем плыть рядом. Я не брошу тебя. Я очень хорошо плаваю. Ты не представляешь, как я хорошо плаваю. Однажды я спасла человека, — сказала она с гордостью. — Это был рыбак, у которого пропоролась резиновая лодка.

Она ему очень нравилась. На ней был красивый малиновый сарафан на тонких бретельках, открывавший загорелые плечи. Смотреть ниже он стеснялся. Он тонул в глазах бутылочного цвета.

— Если ты так хочешь на тот берег, — сказал он хрипло, — давай обойдем озеро.

— Это далеко.

— Так только кажется. Я много раз туда ходил.

— Я не могу долго идти. Я люблю плавать, а не ходить. Там, где я живу, умеют плавать все. Можно плавать в море, а можно в заливе. Вода в заливе теплее, но в нем нет больших волн.

Она говорила с маленьким акцентом и оттого казалась ему еще загадочнее и прекраснее. Отец у нее был литовец, а мать русская, и звали ее Регина.

— Ты хочешь меня поцеловать?

— Хочу, — еле выдавил он из себя.

— Мой поцелуй надо заслужить, — засмеялась она. В самом ее смехе было что-то иностранное, но он не мог понять, связано ли это с тем, что она была нерусской или же просто девушкой, а все девушки — иностранки.

Она провела руками по его плечам, наклонилась, и глаза уперлись в вырез на сарафане.

— Мне надо надеть купальник.

— Пойди в лес.

— Там могут быть солдаты. Я боюсь ваших солдат. Лучше встань и закрой меня полотенцем.

Полотенце в руках казалось ему похожим на тяжелое полотнище вроде театрального занавеса.

— Застегни, — попросила она, перешагивая через сарафан и поворачиваясь к нему спиной. — А у нас девушки купаются топлесс. Знаешь, что это такое?

— Что? — Во рту у него пересохло, а руки не слушались.

— То, что ты только что видел. Какой же ты неумеха. Ладно, я сама. Ну не хмурься. Ничего стыдного в этом нет. Лучше улыбнись. Мне нравится, как ты улыбаешься. У тебя красивое сильное тело, узкая талия и мускулистые руки. Тебе никогда не говорили, какой ты красивый?

— Красивые бывают только девочки, — сказал он, с трудом ворочая разбухшим языком.

— Неправда. Мальчики тоже могут быть красивыми. А откуда у тебя шрам на ладони? — Она тащила его за собой по вязкому песку. — Мальчик с таким телом не может не уметь плавать. Я знаю, что, когда ты на меня смотришь, у тебя пересыхает в горле и начинает щемить желудок.

— Неправда.

— Правда, правда. И происходит кое-что еще. — Глаза ее стали узкими, как у кошки. — А я очень хорошо умею целоваться. И научу тебя. Но сначала научу плавать.

— Я никогда не научусь плавать, — буркнул он и отвернулся.

— Научишься. Я тебе помогу.

— Я однажды пробовал.

— Я знаю.

— Что ты знаешь?

— Что в детстве тебя напугали в бассейне и что с твоим тренером произошел несчастный случай. Ты долго не мог оправиться, говорил всем, что утонул, и тебя даже водили к врачу. Но это же глупости. Ты не виноват, что у твоего тренера оказалось больное сердце.

Ему сделалось ужасно больно, и охватившее его напряжение ослабло. То, что случилось в бассейне, было страшной тайной, о которой никто не должен был знать. А что он ходил к психиатру, тем более.

Солнце висело над озером и отражалось в зеленой мутной воде, превращая ее в сверкающее расплавленное серебро. Но он ощущал озноб и дрожь.

— Мне рассказала твоя мама. Она у тебя такая чудная. Я разрешу тебе не только меня поцеловать, но и кое-что еще. Я хочу, чтобы из тебя вырос хороший мужчина. А хороший мужчина — тот, кто ничего не боится.

— Почему ты этого хочешь?

— Ты не такой, как все. — Она испытующе поглядела на него. — Мы не любим русских. Но ты хороший. Не наглый. Ты мог бы жить с нами. Когда ты вырастешь, я пришлю тебе приглашение.

— Что?

— На косе пограничная зона. Туда нельзя приехать просто так. Но если я приглашу тебя, ты приедешь жить к нам.

— Зачем? — спросил он еще растерянное.

— Там гораздо лучше, чем здесь. У нас чисто и никто не оставляет на берегу бутылки и консервные банки. Не бросает их в воду. А здесь я поранила ногу осколком стекла. У меня потекла кровь, и пришлось делать прививку от столбняка. Вы какие-то ненормальные. У вас купаются маленькие дети и рядом плавают собаки. А как ужасно пахнет у вас в электричках. Можно подумать, люди у вас не моются. Ну пойдем же.

Он понял, на кого она похожа, — на русалку. Русалку, знавшую все его тайны. Литовка — то ли женщина, то ли похожая на смерть коса. И говорит про косу.

— Ты дрожишь? Если ты сейчас не пойдешь, я пойду с другим.

В этом месте было пологое дно, и он шел долго, касаясь ногами земли. После случая в бассейне он никогда не заходил в воду больше чем по пояс. Курсанты ушли, где-то далеко стояла на якоре лодка с одуревшим от солнца и бесклевья рыбаком, а больше на озере не было никого.

Она зашла по грудь в воду и поманила его вглубь.

«Хочет меня утопить, — мелькнуло у него в голове. — Сначала будет плыть рядом, а когда мы окажемся на середине, бросит. И пусть».

— Ну вот, вот, видишь — вот так, — говорила она, и глаза ее блестели, а сквозь намокший купальник проступали темные соски. — Это совсем недалеко — тот берег. Скоро мы там будем. Ты и не заметишь, как мы доплывем. Я знаю одно место, где нас никто не увидит. Вот ты и плывешь, видишь, плывешь сам, я только чуть-чуть тебя придерживаю. Не думай ни о чем, просто смотри вперед и работай руками и ногами. Да ты меня обманывал. Ты плаваешь лучше меня. Кто тебя научил? Только не надо так крепко сжимать мою руку. Мне больно. Отпусти, отпусти же меня. Что ты делаешь, псих... Отпусти-и!

## 3

Он плыл легко и свободно, когда уставал, переворачивался на спину и снова плыл. Солнце волнами накатывалось на воду, а волны воды накатывались на пустынные песчаные дюны. Вскоре берега не стало видно, и он ориентировался по солнцу. Оно закатывалось в море, и, чтобы не вернуться на берег, нужно было все время плыть за ним.

Ему очень нравилось это место. Он побывал на многих морях, но в конце концов приехал сюда. Теперь к русским здесь относились хорошо. Да и мало их было. В основном немцы. Они собирались на косе целыми семьями, пили пиво, говорили на своем варварском языке и смотрели вокруг, как смотрят победители. Они многое уже здесь скупили, и местные жители тихо шептались, что под немцами стало хуже, чем под русскими.

Странное место эта коса. Когда-то давно здесь был лес. Потом его извели крестonosцы, и на несколько веков коса превратилась в пустыню. А потом сюда опять пришли люди и стали сажать сосны. Они переносили голод, ели рыбью муку и чаек и отвоевывали место для жизни. Здесь было очень много сосен, в жару они раскалялись и сильно пахли смолой, а внизу росла земляника. Коса была похожа на женщину, которой овладевали разные мужчины, но никому из них она не принадлежала.

Он любил думать, когда плыл. Плыть — это очень легко. Иногда он спрашивал себя — зачем ему было обманывать столько людей, ведь он умел это с той минуты, как первый раз вошел в воду. Вода в Балтике не всегда теплая, но в это лето стояла жара, повсюду горели леса, и, когда он улетал из задымленной Москвы, видел сверху лесные пожары. И здесь иногда показывали по телевизору большой город, погруженный в горькое море, сквозь который текла старая, ленивая река. И здесь тоже было жарко, словно дыхание империи докатывалось до ее бывших окраин, а в освобожденных чешских и немецких городах вода другой реки заливала улицы и затапливала дома. Пройдет время, и она зальет их полностью. Она уничтожит старую землю, и это будет очень красиво: залитые кварталы, подводные церкви, куда будут возить туристов. Они будут спускаться на прогулочных подлодках и заплывать в рыцарские замки и галереи, только туристов почти не останется, а выживут те, кто научится жить в воде. Но сначала вода зальет косу, которая едва возвышается над морем и не достанется никому — ни русским, ни литовцам, ни немцам.

Женщина на серфе проскользнула мимо. Она помахала ему рукой и крикнула что-то по-литовски. Он помотал головой. Она крикнула по-немецки. Он снова замотал головой. Неужели она действительно не знает русского? Как же они все быстро забыли.

— Need help?<sup>1</sup>

Он хотел крикнуть «No», но не стал. Ему нравилась эта женщина. Он любил тех, кто вырос на Балтике. Сколько ни было у него других друзей,

<sup>1</sup> Нужна помощь? (англ.)

больше всего его тянуло к загадочной русалочьей породе, обитавшей лишь здесь. Он вспомнил девочку на берегу озера, которая манила его в воду и не знала, что на самом деле это он ее зовет. Зря только ее достали, а его вызвали к следователю и спрашивали про следы рук на ее теле.

— Почему ты сразу не сказал, что она утонула? Где ты был в это время? Ты умеешь плавать? Как вы очутились на середине озера, если ты не умеешь плавать? Почему ты не звал на помощь? Почему ты не утонул???

Следователь забрасывала его дурацкими вопросами, но он был не один, рядом с ним сидели онемевшая, оглохшая, враз ставшая чужой мать и вежливый человек, который заранее предупредил, о чем его будут спрашивать, и научил, как надо отвечать.

Нет, не нужно было маленькую русалку доставать из воды. Нужно было оставить ее там, где ее стихия. В поселке на кладбище он нашел ухоженную могилу. Католический крест, фарфоровый портрет с живыми глазами, цветы, надпись на литовском и короткие годы жизни.

— Give me your hand<sup>2</sup>.

— Вы не говорите по-русски? — улыбнулся он.

— Плохо-плохо, — улыбнулась она в ответ.

На литовке был красивый узкий купальник. Наверное, она согласилась бы, если бы он пригласил ее вечером в кафе, а потом пошла гулять по дюнам и купаться в ночном море.

— Ходжа Насреддин однажды спас человека, — стал говорить он, держась рукой за серф. — Тот тонул в озере, а люди, которые пытались его спасти, кричали: «Давай, давай руку». Но он продолжал тонуть. Насреддин спросил: «Этот человек бедный или богатый?» Ему ответили: «Богатый». — «Тогда надо кричать: на!»

Женщина на серфе засмеялась.

— Вуу. Пока, — крикнула она.

— Разве вы не хотите, чтобы я вас спас? — удивился он.

Она снова засмеялась, а он потянул на себя край ее доски. Серф качнулся. Женщина нахмурилась и вопросительно на него посмотрела. Он ухватил ее за ногу и потянул на себя. Она была очень сильная и, когда поняла, что он не шутит, начала сопротивляться. Серф накренился, и она полетела вместе с парусом в воду. Оба барахтались, и он вдруг почувствовал, что устал и у него может не хватить сил ее одолеть. Она не понимала, что он хотел спасти ее из воздуха и вернуть в воду, как вернул он своего тренера и красивую Регину.

Вцепившись с двух сторон в серф, мужчина и женщина бились под водой ногами, как ватерполисты. Лица матери, Регины и других женщин промелькнули на русалочьем литовском лице. Она смотрела на него, тяжело дыша, и выжидала момент для броска. Одежда на ней порвалась, он видел ее груди, все это напоминало ему летний день на берегу озера с мутной водой, и желание смешивалось со страхом.

Вдали послышался звук мотора. Женщина стала что-то выкрикивать на своем певучем русалочьем языке. Нужно было бросить ее и уплыть прочь. Но она могла донести на него, и неизвестно, поверили бы ему глупые сухопутные люди и нашел бы он в этой стране хорошего адвоката. Он изловчился, схватил русалку за волосы и притянул к себе. Она хлебнула воды, обмякла и стала медленно опускаться. Вот и все. Море не озеро, если оно что-то забирает, то не возвращает, подумал он и поплыл дальше по направлению к закатывающемуся солнцу, мерно взмахивая руками, как учил когда-то тренер из бассейна на рабочей окраине Москвы.

---

<sup>2</sup> Дайте мне руку (англ.).

---

---

ДМИТРИЙ САРАБЬЯНОВ

\*

## ДОЛГОЖДАННЫЙ ДОЖДЬ

\* \*  
\*

Дождь с небес — и не враг и не друг.  
Он течет себе между строк —  
По запястьям опущенных рук,  
По извилинам старых ног.

Налетает, когда не ждешь,  
Вызывая в округе дрожь.  
Не приходит, когда зовешь.  
Он гуляет где хочет — дождь.

Он сгибает столб верстовой,  
Выметает пыль с мостовой,  
Наполняет реки, пруды,  
Высыхающие без воды.

Он смывает следы сапог,  
Чтоб никто догадаться не смог —  
Где, когда и зачем пришел,  
Что нашел и куда ушел.

Но совсем не отмыться нам.  
Пусть останется памяти след.  
Пусть достанется что-то снам,  
Поспешающим жизни вослед.

Пусть останется что-то все ж —  
Не отмытая правда, ложь.  
Ведь не будет совесть чиста,  
Коли все сотрется с листа.

Не смывай перекрестка чертеж —  
Чтобы знали, как нас найти.  
Оставляй, долгожданный дождь,  
Эти признаки памяти.

\* \*  
\*

Уста, уставшие от долгой речи,  
С листа читавшие молитвы. Свечи  
Как символ вековечного горенья  
Непрекращающегося творенья...

Стою поодаль, не тревожа прочих.  
(Я быть хочу последним среди них.)  
И с глаз Твоих я не спускаю очи,  
И взором к голове Твоей приник.

Люблю Твой лик у царских врат придела,  
Где плат послушно тянется к углам,  
Где золото на нимбе поредело,  
А кожа щек и лба еще смугла.

Я прихожу сюда как на экзамен.  
Быть может, это старости синдром?  
Моя нужда — держать перед глазами  
Твой взгляд, испепеляющий добром.

\* \*  
\*

Белый саван —  
Вдоль, поперек.  
Видно, сам он  
Себе предрек  
Чистым льном  
Устилать тела,  
Заодно  
Крыши крыть добела.  
Значит, нет ему  
Прочих дел —  
К сроку летнему,  
Где предел,  
Где кончается  
Зимний сон,  
Завершающийся  
Постом.  
Должен дать  
Отдохнуть земле,  
Льдинку снять  
На оконном стекле.  
И устать,  
Чтобы снова стать.  
И отбыть,  
Чтобы снова быть.



\* \*  
\*

*Памяти Н. С. Фуделя.*

Ты ушел, как уходит из жизни всякий  
(Кроме застрявших в пути случайно).  
Ушел, не сдвинув дорожные знаки,  
Судьбой расставленные первоначально.

Ты трудную долю свою не проклял  
И нес ее как ношу святую,  
А с ней — отточенный меч Дамоклов,  
По воле высшей провисевший впустую.

Поле, пройденное как минное,  
Тебя научило знать уверенно —  
Что есть подлинное, что есть мнимое,  
Хоть и тысячу раз проверенное.

Тебе дано было словом разведать  
То, что мы лишь предчувствуем смутно.  
Ты о главном говорил напрямую с отцом и дедом,  
А остальное узнавал попутно.

Тебе не понадобится оправдываться  
В том, что не часто случалось радоваться.  
Прими убежище в спокойном месте —  
Как в тихой пристани, с Лидой вместе.

Апрель 2002.

\* \*  
\*

Я ловлю твой взгляд в пустом пространстве,  
Где душа слоняется одна,  
Измеряя даль, что ей видна, —  
От небесного протуберанца  
И до глубины глазного дна.

Я хочу узнать, что душу тешит,  
Где рождается гортанный смех,  
От чего способна ты опешить  
И на что готова ты посметь.

Что печалит, что тревожит око,  
Как оно откликнется на боль,  
Управляемую ненароком  
Не чужою волей, а судьбой.

Как глядят глаза в родные лица,  
Как чего-то нет, кого-то жаль,  
Почему зрачок не суетится,  
Как поладят холод и пожар...

Меркнет взгляд. Но я хочу добраться  
 До всего, чем жизнь твоя полна,  
 Как бы ни была удалена  
 Искра звездного протуберанца  
 От поверхности глазного дна.

\* \*  
 \*

Не доверяй машине сердце.  
 Пером и пальцем озвучи  
 Все показанья страсотерпца.  
 А если можешь — помолчи.

Машина расставляет знаки  
 И обеззвучивает речь.  
 И если мыслишь ты инако,  
 Тебе инакость не сберечь.

Дай знать молчаньем несогласье  
 Суровой поступи эпох.  
 И сделай вид, что в одночасье  
 Ты испустил последний вздох.

И подчеркнет тогда машина  
 Молчанье красною чертой.  
 Как будто сделал ты ошибку  
 И не поставил запятой  
 На месте том, где запятая  
 Нужна, как истина святая.

\* \*  
 \*

Зачем-то изрыли площадь Манежную —  
 И так от парадов и танков усталую,  
 Служившую власти суровой при Брежневе,  
 Хрущеве и раньше еще, при Сталине.

Зачем-то испортили плоскость-формулу,  
 Знак равновесия мироздания.  
 Легко поддались страстишке тлетворной  
 Украшать фонарями места свидания.

Почему-то залезли вниз — в подземелье.  
 Возвели купола, запустили лифты.  
 И подземное царство в момент заимели  
 Новоявленные на час халифы.

Бедную речку под названьем Неглинная,  
 На своем веку нюхнувшую пороха,  
 В трубу запрятанную, хранившую тайну,  
 Что она не широкая и не длинная,  
 Снова пустили катиться поверху —  
 Наверное, с умыслом, не случайно.

Ее заселили животными разными —  
 Кони, медведи, к месту, не к месту.  
 Леда — непорочная и благообразная,  
 Но готовая отдаться Лебедю-Зевсу.

Думаю — гуляющим в назидание,  
 Чтобы знали — кому отдаваться выгодно,  
 Это великолепное изваяние  
 На берегу Неглинки воздвигнуто.

Утопаем в красотах на Манежной площади.  
 Чем глубже опускаемся, тем больше роскоши.  
 И вместо прежних идей победных  
 Торжествует ныне роскошь для бедных.

А если представить судьбу Манежа,  
 Надежды в голову приходят все реже.  
 Несколько лет он, пожалуй, выстоит.  
 Потом снесут, да и снова выстроят.

Но грот останется — это ясно:  
 Ломать — для кремлевской стены опасно.

Февраль 2004.

\* \*  
 \*

Вечная память вам, ушедшим от нас в печальные числа, —  
 Вам — Николай, тебе — Борис, тебе — Нина.  
 Тем, кто еще недавно дышал, мыслил,  
 Жизни ловил стрелу, хоть она и неуловима.

Кто говорил, мечтал, произносил молитву  
 И, наверное, думал о приближении срока,  
 Когда откроется дверь, заскрипит калитка  
 И каждый из нас окажется за порогом.

Этот порог, обозначенный по уставу  
 Как конец, а по Библии — как начало,  
 Что-то вроде зимнего ледостава  
 Или далекого лодочного причала.

Что-то вроде остановки транзитной,  
 Откуда можно и в Лету бухнуть,  
 И в далекое небо с разгону вонзиться  
 Или в море звездном притулиться в бухте.

Вот мы и не знаем — где вы, что вы?  
 Неужели только земля сырая?  
 А *тот свет* — лишь условный адрес почтовый  
 Вместо свежей зелени небесного рая?

Где же тогда эта вечная память? —  
 С вашим уходом сохраняется нами,  
 Но затем заглохнет в наших детях и внуках,  
 Оставаясь в наследстве, как на поручах.

И тогда ищи ее где-то около —  
В траве и в песке, в небе и в поле.  
В солнечном блике, в щепотке соли,  
В полете ласточки, в крике сокола.

В крошке хлеба, в карандаше, в стекле,  
Через которое чьи-то глаза глядели  
(Предположим, в окно). И в дверной петле,  
В календаре очередной недели.

В бытии не только друзей, но и всех людей, вещей, цветов и зверей  
Сберегается вечная память.

Это память о вас. Ей не нужен блеск фонарей  
И надгробный камень.

Февраль 2004.

### Памяти Военторга

Здесь дом стоял. На этаже четвертом  
Я покупал себе рюкзак и кеды,  
Крючки, грузила, атрибуты спорта  
И орденские планки к Дню Победы.

Он назывался гордо — Военторгом.  
Нешуточно — в стране, где вдовья память  
О войнах двух живет почти веками,  
Где помнит каждый ставень, каждый камень,  
Где договор с минувшим не расторгнут,  
Хоть заросли могилы лопухами.

Он кланялся Кремлю своей главой,  
Склонял ее над домом Казакова  
И над полуротондой угловой,  
Построенной умело и толково.

Он был снаружи и внутри отделан  
Со вкусом, по своим законам стиля.  
И был хорош собой — душой и телом.  
Его приезжие особенно любили.

Когда в цветущий век социализма  
Они съезжались в главный город мира  
За колбасою, мясом или сыром,  
Им этот дом был раем и отчизной.

Увы. Снесен... Нет больше Военторга,  
Расчищена площадка для фонтанов,  
Для лимузинов, дансингов и оргий,  
Для девочек, пивных и ресторанов.

Как быстро раскупается пространство,  
Как лихо рубль раскалывает камень,  
И распадается людское братство,  
Скреплявшееся многими веками.

\* \*  
\*

Хриплые голоса  
Наполняют леса  
И доносятся,  
В избу просятся.

Всякая свиристель  
Лезет ко мне в постель —  
В жены целится,  
Рядом стелится.

Полно! Я уже стар  
И хотеть перестал,  
И от века отстал.  
Если б с кем переспал,  
Так с женой бы уж,  
Как законный муж.

Ты ж хитра и пошла,  
Ты б подальше пошла  
В лапы к лешему —  
В тьму кромешную.

Я чужих не люблю  
И один додремлю  
До начала дня.  
Я и сам добреду  
И покой обрету  
Там, где ждут меня.



АНДРЕЙ ЗУБОВ



## РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРИЧИНАМИ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

*Опыт восемнадцатого столетия*

V

**П**ростые русские люди отлично знали, что «матушка императрица» — немка, не живущая православной верой и меняющая любовников по первой прихоти, — повинна в убийстве двух законных русских монархов — внука Петра Великого, своего мужа Петра Федоровича и правнука царя Ивана Алексеевича — Ивана Антоновича, заколотого в 1764 году в Шлиссельбургской крепости. Ее амбициозные реформы гражданского управления мало трогали крестьян, а ярмо рабства тяготило их с каждым годом екатерининского царствования все больше. Понимая зыбкость своих прав на престол и непопулярность в простом народе, Екатерина искала поддержки «шляхетства», а поддержка эта могла быть куплена, как до того Анной Иоанновной и Петром Федоровичем, только ценой дозволения дворянам, не служа государству, еще более поработать «своих» крестьян для собственного благоденствия. Круг замкнулся. Усилия дворян за счет крестьян, Екатерина отчуждала высший класс от низших и одновременно лишала дворян в глазах крестьян всякого доверия и нравственного авторитета.

XVIII век проложил глубокую пропасть между гражданской культурой высших и низших сословий России. Дворяне и крестьяне, еще в XVII столетии культурно почти не отличавшиеся друг от друга, стали чуть ли не двумя различными народами, не столько связанными друг с другом культурным мимесисом, сколько разделяемыми ненавистью низших к высшим и презрением высших к низшим. «В течение XVIII века, — указывает Б. Н. Миронов, — дворянство шаг за шагом отрывалось от народа, чему в большой степени способствовало и правительство. Дворяне стали отличаться именем и фамилией, языком и образованием, манерами и одеждой, западноевропейской ориентацией и менталитетом. Даже монастыри стали разделяться по сословному признаку»<sup>1</sup>. Указ 1766 года воспретил простолюдинам иметь «дворянские» фамилии и использовать отчество<sup>2</sup>.

За век Просвещения русское крестьянство стало совершенно невежественным, впало, по милости государственной власти и дворян-душеладельцев, буквально в скотское состояние, в интеллектуальный и духовный паралич. Поступить так в государстве, именуемом себя православно-христианским, с «царственным священством», с «людьми, взятыми в удел Божий», с членами «тела Христова», составляющими Церковь Живую, с теми, кто выкуплен из рабства греху и смерти кровью Богочеловека, а именно так именует Священ-

---

Окончание. Начало см.: «Новый мир», № 7 с. г.

<sup>1</sup> Миронов Б. Н. Социальная история России периода Империи (XVIII — нач. XX в.). Т. 1. СПб., 2000, стр. 84.

<sup>2</sup> «Полное собрание законов Российской Империи». Вып. I. Т. 17, № 12748 (см. также т. 25, № 19208).

ное Писание Нового Завета христиан, — немислимое кощунство. И потому «дикое рабство» имело своим быстрым следствием не только культурное одичание народа, но и нравственное вырождение рабовладельца. Не ценя и даже не замечая «образа Божьего» в своих меньших братьях, дворяне переставали видеть его и в самих себе. Вместо мимесиса воцарились отупение, ненависть, ложь и взаимное презрение. Стоит ли удивляться после этого, что вера угасла и в народе, и в его порабитителях, а святыня Церкви перестала переживаться на Руси как высшая жизненная правда. Это была трагедия не только русская, но, в той или иной степени, всей Европы века Просвещения. Думаю, что и в странах Центральной и Западной Европы процесс секуляризации имел ложь крепостничества одной из важнейших своих причин.

То же самое можно сказать, если мы перейдем с духовного на душевный уровень анализа, и о социальном вырождении крепостного сообщества. Один из участников дискуссии «Крепостное право в России», Д. И. Раскин, писал, на мой взгляд очень справедливо, о роли крепостничества: «Если во главу угла ставить сохранение государственности, величие „державы” — можно говорить и о благотворности крепостного права для судеб России. Если же считать интересы отдельной личности важнее интересов государства, во главу угла ставить развитие человеческой свободы, институтов гражданского общества и т. д. <...> то, разумеется, взгляд на роль крепостного права в истории России <...> может быть лишь сугубо отрицательный»<sup>3</sup>. Стоит, пожалуй, только добавить, что деградация общества довольно быстро сказывается и на величии «державы», и на ее безопасности, и страна, где народ лишен чувства гражданственности, падает в прах, ибо она, подобно Нововавилонской державе Навуходоносора, — колосс на глиняных ногах.

Петербургский двор Императрицы соперничал по блеску с Версалем, а в пятидесяти верстах от столицы русские православные люди, имевшие несчастье родиться крестьянами, по качеству образования и медицинского обеспечения ничем не отличались от эфиопов. Ревнительница просвещения, собеседница Вольтера и Дидро, соиздательница университета и Академии наук, Екатерина проявляла исключительную заботу о культуре и образовании высших сословий. Во время ее царствования были учреждены около двадцати средних школ и ста начальных. Но это было образование для дворян, купцов и духовенства. На низшие же сословия просветительская политика императорских властей не распространялась, ибо образованный и культурный раб во сто крат опасней для рабовладельца, чем темный и необразованный мужик. Несмотря на все восторги перед естественными правами человека, высказываемыми ею в письмах и дневниках, Екатерина Великая была равнодушна и даже жестока к подвластному ей простому народу, от которого она только требовала труда и денег, но не давала взамен ни гражданских прав, ни защиты личности и собственности, ни образования, ни медицинского обслуживания.

Вплоть до 1861 года у русских крепостных барщина составляла не менее половины недели. В нарушение Павлова закона от 5 апреля 1797 года большинство помещиков принуждало крестьян работать кроме трех рабочих дней и в день воскресный после обедни. Далеко не редки были случаи и четырех с половиной дневной барщины, а то и пяти-шестидневной. Понятно, что истомленный таким трудналогом крестьянин был нищ, не имел ни средств, ни сил устраивать свой быт, свое жилище. А безграмотность и отсутствие досуга делали его неспособным к агротехническим новациям, умелому предпринимательству и к разумному самоуправлению. Между тем на барщине даже в 1850-е годы оставалось 96,1 процента всех крепостных 9 западных губерний, 81,6 процента крепостных в 21 черноземной и восточной губернии, 43,2 процента — в 15 нечерноземных губерниях<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Дискуссия «Крепостное право и крепостничество в России» в кн.: «Английская набережная, 4». Ежегодник С.-Петербургского научного общества историков и архивистов. СПб., 1997, стр. 30.

<sup>4</sup> Миронов в Б. Н. Социальная история России... Т. 1, стр. 394.

Блеск и величие Империи созидался на нравственно порочном основании рабства и презрения к нуждам большей части российских подданных. Естественное для религиозного общества доверие к богоданной власти было использовано лишь как удобное идеологическое средство для порабощения и ограбления православного народа. Такое основание не могло быть прочным.

Сохранилась служебная записка, составленная в 1841 году по указанию министра государственных имуществ графа П. Д. Киселева его помощником А. П. Заблоцким-Десятовским. В результате инспекционной поездки по центральным губерниям России помощник министра был вынужден, в частности, констатировать: «Нечистота и теснота суть необходимые элементы крестьянского быта <...> Зимой все соединяются в одну избу и спят вместе: женатые и холостые <...> Нередко тут же посреди избы лежит отелившаяся корова с теленком, которых мужик ввел в избу для сбережения от стужи. Помещики, живущие в своих имениях, никогда не обращали внимания на эту сторону народной жизни, как и на все то, что не приносит им личной непосредственной выгоды. Примеров такого равнодушия есть множество. Часто встречаются великолепные усадьбы богатых помещиков, окруженные полуразрушенными лачугами. Нигде ни мысли, ни желания улучшения <...> Помещик не входит в это, ибо ему нужен только работник и рабочая сила <...> В голодные зимы положение крестьянина и его семьи ужасно. Он ест всякую гадость. Желуди, древесная кора, болотная трава, солома — все идет в пищу. При том ему не на что купить соли. Он почти отравляется <...> являются страшные болезни <...> У женщин пропадает молоко в груди, и грудные младенцы гибнут как мухи. Никто и не знает этого, потому что никто не посмеет писать или громко толковать об этом; да и многие ли заглядывают в лачуги крестьянина?»<sup>5</sup> Это описание быта крепостных поразительно сходно с тем, которое сделал за полвека до того А. Н. Радищев<sup>6</sup>.

«Часто помещик нарушает права супружеские <...> не щадит целомудрия женского, и это нередко сносится крестьянами терпеливо...» — пишет Заблоцкий-Десятовский в другой работе<sup>7</sup>. О бесчинствах помещиков в этой сфере написано немало. Помещичьи гаремы были столь обычны, что некоторые господа не могли избавиться от этой привычки и после эмансипации, продолжая нанимать уже за деньги соседских крестьянок для сожительства. Распространены были и разнообразные извращения и преступления на половой почве, которые проходили для помещика безнаказанно. В том месте сочинения Радищева, где он повествует о помещике, убитом во время пугачевского бунта своими крестьянами за то, что «каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил, известно же в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности», сама Императрица написала — «едва ли не гистория Александра Васильевича Салтыкова».

И вновь печальный вывод: «Ежели просвещение есть развитие понятий о достоинстве человека, то оно несовместимо с рабским состоянием <...> лучше оставить его в скотообразном положении; тут он терпеливее несет ярмо. Это весьма хорошо понимают те, которые восстают против образования народа. Они не хотят расстаться с лестною для них властью над крепостными и потому боятся просвещать их»<sup>8</sup>. Даже у государственных крестьян, положение которых, по единодушному мнению и современников и историков, всегда было более благоприятным, чем у крестьян частновладельческих, в 1838 году было

<sup>5</sup> Заблоцкий-Десятовский А. П. О крепостном состоянии в России (1841 г.). — В кн.: «Конец крепостничества в России». М., 1994, стр. 50 — 51.

<sup>6</sup> См.: «„О повреждении нравов в России“ князя М. Щербатова и „Путешествие“ А. Радищева». Л., Тгубнер а. Со, 1858, стр. 34 (М., 1984. Репринт. изд.).

<sup>7</sup> Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 4. СПб., 1882, стр. 304.

<sup>8</sup> Заблоцкий-Десятовский А. П. О крепостном состоянии в России (1841 г.), стр. 54 — 55.



всего 60 школ с 1800 учениками. И это — на 17 миллионов государственных крестьян!<sup>9</sup>

Но закрепощенные люди, хотя их держали в безграмотности и религиозной необразованности, не забывали о своем человеческом достоинстве и не переставали желать свободы и восстановления поправленных дворянами гражданских и имущественных прав их.

«При каждом новом царствовании, при каждом важном событии при дворе или в делах государства, издревле и обыкновенно пробегает в народе весть о предстоящей перемене во внутреннем управлении и возбуждается мысль о свободе крестьян, — пишет Государю граф Бенкендорф <...> Толки всегда одни и те же: царь хочет, да бояре противятся»<sup>10</sup>. Понятно, что в такой системе координат доверие народа к высшему сословию, его поработившему, совершенно исчезло, заменившись страхом и лукавством, а когда страх ослаб в результате либеральных реформ 1861 — 1906 годов, вспыхнул небывалый по размаху и жестокости бунт. Крестьянская война 1905 года, немедленное выдвижение в Первой Государственной думе вопроса о безвозмездном возвращении крестьянам помещичьих и казенных земель ясно показывают, что и через сто с лишним лет после кончины «матушки императрицы» русский мужик ничего не забыл и ничего не простил ей.

Любители Империи могут услаждать себя огромными территориальными приращениями екатерининского царствования, но и они должны понимать, что средства на бесконечные войны и на колонизацию казна получала, отчуждая весь прибавочный труд рабов. На этом же отчужденном продукте, на непостроенных школах и больницах, на жалких хижинах и примитивных орудиях рабов созидалась вся великолепная культура золотого века петербургской эпохи, ее дворцы и лицеи, дворянские гнезда и столичные театры, стихи Сумарокова и оды Державина. Владимир Набоков как-то цинично заметил, что без крепостного права не было бы и Пушкина. Не знаю, были же в России Блок и Ахматова, Пастернак и Георгий Иванов без всякого крепостного права. Но если действительно Пушкин бы не состоялся без его михайловских крепостных, то, быть может, пусть лучше не было бы Пушкина?

Можно ли страданиями одних покупать счастье других? Это — нравственный вопрос. И единственным ответом на него является однозначное нет. А доказательством верности этого ответа — несчастная судьба величайшей империи мира, воздвигнутой скорбными трудами белокожих православных эфиопов.

В знаменитом «Послании Совету Народных Депутатов» на первую годовщину Октябрьского переворота Святейший Патриарх Тихон обвинял большевиков: «Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы оуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния — убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями»<sup>11</sup>. Все здесь верно, но в сто крат виновней большевиков те, кто целенаправленно вверг русский народ в темноту и невежество за века своего правления. Большевики и другие революционеры только «вошли в труд их». Россия никогда не была колонией, чьим-то внешним владением. Она всегда управлялась собственной национальной властью. Но эта национальная власть, к сожалению, слишком долго оставалась антинациональной, эгоистически эвдемонистской, думающей о собственном благе, а не о благе вверенного ей Провидением народа.

Тойнби назвал «бесчеловечным» «исключение из сферы эллинистического просвещения местного пролетариата (то есть рабов и плебс. — А. З.), который

<sup>9</sup> Пушкарёв С. Г. Россия 1801 — 1917. Власть и общество. М., 2001, стр. 80.

<sup>10</sup> «Нравственно-политический отчет за 1839 год». — В кн.: «Конец крепостничества в России», стр. 62.

<sup>11</sup> «Послания Святого Тихона, Патриарха Московского и всея Руси». М., 1990, стр. 22.

попросил хлеба, а ему дали камень». «Данью, которую просвещенное эллинистическое правящее меньшинство заплатило за свою духовную замкнутость, стала утрата им своей моральной и материальной силы»<sup>12</sup>. То же произошло и с российским правящим меньшинством.

Ужасные, никак не прощительные жестокости по отношению к представителям высших классов со стороны восставших мужиков, будь то Пугачевский бунт или обе революции начала XX века, могут быть объяснены не столько патологическим садизмом «черни», сколько вековой ненавистью к поработителям и обманщикам, укравшим у народа волю и землю и совсем не спешившим возратить их, несмотря на все красивые слова и смелые оды.

«Ясно, что этос этих обездоленных, обкраденных людей соткан из жестокости и ненависти. Они беспощадны к своим палачам, толкающим их на восстание, на проявление самых низменных порывов и чувств. Вполне естественно, что жертвы беззаконий и произвола должны превзойти в жестокости своих притеснителей <...> В истории движения обществ к цивилизации не зафиксировано ни одного случая, чтобы во времена революции или войны не совершалось злодеяний... Можно утверждать, что при определенной степени напряженности отклонения от нормы, злодеяния совершаются даже в самых цивилизованных обществах современности. Во времена бедствий маска цивилизации срывается с примитивной физиономии человеческого большинства, тем не менее моральная ответственность за надломы цивилизаций лежит на совести их лидеров»<sup>13</sup>.

Вывравшись из огня революционного пожара в Европу, старая графиня Клейнмихель с возмущением подводила итог запоздалой благотворительности: «Думаю, что вследствие того, что мы обратили наши виллы и дома в лазареты (во время Первой мировой войны. — А. З.), давно уже дремлющая в душах вооруженных мужиков зависть стала расти. <...> Чувство благодарности отсутствовало у тех, которые нашли приют и уход во дворцах. Они сравнивали свои душные темные избы и хаты с хорошо проветренными, прекрасно освещенными, украшенными картинами и зеркалами залами. Когда им давали хорошую пищу, они вспоминали о своей жалкой деревенской еде и говорили себе: „Для того, чтобы господа могли так жить в своих дворцах, так хорошо есть, мы должны работать десять часов в день на фабриках и полях“ <...> Солдат, бывший еще в 1914 году, когда дисциплина еще не была подорвана, добродушным, скромным, терпеливым и послушным малым, стал постепенно требовательным, недовольным и непослушным <...> Когда началась революция, наши любимые, избалованные раненые в мгновение ока превратились в наших врагов, немедленно соединились с революционными бандами с тем, чтобы пойти грабить те дворцы, в которых им было так хорошо»<sup>14</sup>. Примечательно, что ни на мгновение ни великому Карамзину, ни светской львице Клейнмихель не приходило в голову, что «скромные и терпеливые малые» отнюдь не считали дворян законными владельцами земель и дворцов, построенных на этих землях трудами тысяч и тысяч подневольных рабов, эту землю задаром обрабатывавших.

Нравственный расчет за преступления дворян, принявших из рук Петра и Екатерины несправедный дар — «тела и души человеческие», — наступил в годы революции. Все богатства, собранные ими, были пожжены огнем, многие дворяне, часто лучшие, погибли, искупая своей кровью грехи предков, а сохранившие жизнь лишились отчизны, из которой их деды и прадеды не постыдились создать себе уютное поместье, поработив и обобрав своих братьев по крови и вере. Страшное пророчество Александра Радищева сбылось до деталей через 125 лет.

<sup>12</sup> Тойнби А. Дж. Постигание Истории. Сборник. М., 1991, стр. 341, 405.

<sup>13</sup> Там же, стр. 304 — 305, 347.

<sup>14</sup> Клейнмихель М., графиня. Из потонувшего мира. Берлин, б/г., стр. 183 — 185.

## VI

Если мы предположим, что мотивация поступка, в том числе и поступка политического, существенней для субъекта действия самого деяния, если мы вспомним евангельское: знающий волю господина своего и не делающий по воле его бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше (Лк. 12: 47 — 48), то тогда нам с прискорбием придется заключить, что Императрица Екатерина «бита будет много». Она, талантливая дочь века Просвещения, прекрасно знала, что порабощение человека — тяжкое преступление. «Свобода — душа всех вещей; без тебя все мертво», «Хочу повиновения законам, а не рабов», «Власть без народного доверия ничего не значит» — такие мысли разбросаны по дневникам молодой Екатерины, еще великой княгини и супруги Цесаревича Петра Федоровича. Захватив престол, она продолжала размышлять подобным же образом. «Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного», — писала она в «Наказе». По поводу крепостнических мнений членов Законодательной Комиссии Императрица оставила замечание: «Если крепостного нельзя признать персоною (то есть личностью. — А. З.), следовательно, он не человек; но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано»<sup>15</sup>. Итак, сторонники крепостного состояния названы Екатериной «скотинами». И это далеко не единичное суждение. В первоначальном тексте «Наказа» Законодательной комиссии, написанном Императрицей, есть немало мест, где осуждается если не само крепостное право, то его эксцессы, ясно высказывается намерение постепенно изжить «рабство», вернуть крестьянам свободное гражданское состояние и с полной определенностью говорится, что прикрепление к земле не может соединяться с потерей личной гражданской свободы и правоспособности. С. Ф. Платонов приводит свидетельства того, что одновременно с Жалованной грамотой дворянству в 1785 году Императрица написала проект указа об объявлении свободными всех детей крепостных, рожденных после 1785 года.

Но проекты эти так и не стали законами, все критические замечания в отношении крепостного состояния были вымараны из «Наказа». В Екатерине мы ясно видим то самое раздвоение души, которое, по мысли Тойнби, да и не его одного, раскалывает человеческое общество. Но почему же, ясно видя всю порочность крепостного права, Императрица, самодержавная правительница, не пошла на его отмену, а, напротив, усиливала гнет рабства и расширяла его границы в обществе?

Ответ несложен. Его дает С. Ф. Платонов и повторяют многие историки. Возведенная на трон дворянским заговором, сознававшая незаконность своего правления, осквернившаяся пролитием крови двух русских царей, неспособная, в силу отсутствия развитого религиозного чувства, к покаянию и в то же время безмерно властолюбивая, честолюбивая и сластолюбивая, Екатерина нигде не могла так ублажать свои страсти, как на троне величайшей Империи, а держаться на троне могла, только ублажая тот класс, который привел ее к власти. Дворянство же, как показывают челобитные служилых людей, начиная с первых лет царствования Романовых, однозначно желало полной власти над крестьянами и одновременно свободы для себя от службы царской. И именно Екатерина, и нравственно и юридически наиболее уязвимая из всех русских государей, решила удовлетворить сполна эти алкания дворянства не из-за пусть ошибочно, но *так* понимаемого блага России, но исключительно ради собственного блага, принося ему в жертву благо Отечества и достоинство подданных.

<sup>15</sup> Цит. по кн.: Платонов С. Ф. Лекции по Русской истории. М., 2000, стр. 632.

Возможно ль, чтоб сама ты ныне  
Повергла в жертву злой судьбине  
Тебя любящих чад твоих? —

спрашивал Императрицу в оде «На рабство» в 1783 году В. Капнист. Вопрос риторичен. И поэт не мог не знать этого. Но важно и иное. Если Петр I был эвдемонистом-государственником, жертвовавшим всем — и народом, и даже собой — ради фантома Государства Российского, то Екатерина была эвдемонисткой вполне эгоистической, лишь психологически компенсирующей государственными делами и успехами попечение о собственной власти, свободе и благополучии.

Честная и умная сподвижница Екатерины, княгиня Дашкова была увлечена идеей дворцового переворота и устранением Петра III, политику которого считала вредной для блага России. Но сколь разочарована и оскорблена была она в своих высоких мыслях, когда случай открыл ей, что для Государыни Екатерины переворот имеет совсем иную цель — свободу в отношениях с любовником Григорием Орловым при сохранении императорской короны, которую Петр III думал переложить с ее головы на голову одной из своих фавориток — то ли графини Елизаветы Воронцовой, то ли княгини Елены Куракиной, а Императрицу заточить в монастырь<sup>16</sup>.

Да, Екатерина пыталась многими реформами преобразовать жизнь страны, дать России мудрые законы, определить границы и права сословий, упорядочить местное управление. Но, странное дело, начинания ее, которым она отдавала так много сил, или вовсе не доводились до конца (Законодательная комиссия), или оказывались мертворожденными бумажными проектами (Городское уложение), или же вовсе наносили громадный вред (вольности дворянства). Подобно Борису Годунову, Екатерина пыталась оправдать незаконность своего царствования примерным монаршим трудолюбием и добрыми деяниями там, где они не вредили устойчивости ее власти, но «помол дьявола весь уходит в труху» — воздвигаемое на нравственно порочном основании правление Екатерины принесло горькие плоды.

Сама же Императрица, психологически не выдерживая постоянных сделок с совестью, совесть свою методично выжигала цинизмом, ложью и грехом. Аббат Шапп д'Отерош опубликовал в 1768 году воспоминания о поездке в Сибирь, в которых весьма критически описал положение низших податных сословий. Ответ Екатерины был скор: «Мнимая нищета в России не существует. Русские крестьяне во сто раз счастливее и достаточнее, чем ваши французские; они знают, сколько и за что они платят, между тем у вас есть провинции, где крестьяне питаются каштанами и не знают даже числа всех повинностей». Екатерина не могла не знать, что то, что она говорила, — ложь, но продолжала говорить эту неправду, предвосхищая практику советского агитпропа. В самый разгар пугачевского восстания, в 1773 году, Дидро спросил Екатерину о сущности отношений между рабовладельцами и рабами в России. Ответ и тут не замедлил: «Не существует никаких условий между владельцами и крестьянами, но каждый хозяин, имеющий здравый смысл, побережет свою корову, чтобы она лучше доилась. Когда нет закона, то в ту же самую минуту начинает действовать естественное право, и часто от этого порядка в делах идут не хуже, ибо тогда вещи текут образно существу своему и совершенно естественно». А в это время крестьяне «образно существу своему» казнили лютой смертью всех попадавших им в руки дворян, да еще и с семьями.

Придравшись к нарушениям цензурных правил, Екатерина в 1791 году повелела сослать на десять лет А. Н. Радищева, а поля его «Путешествия» испещрила циничными ремарками. Там, где описывается душераздирающая и, увы, совершенно обычная для тогдашней действительности сцена продажи крепостных на аукционе, Императрица изволила написать: «Начинается пре-

<sup>16</sup> Дашкова Е. Р. Записки 1743 — 1810 гг. Л., 1986, стр. 47 — 48.

жалкая повесть о семье, проданной с молотка за долги господина». В другом месте книги она отмечает: автор «едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной». В 1917 году Правда Божия подвела итог этому спору всемогущей Императрицы с запрещенным литератором.

Сделки с совестью, неизбежные для просвещенного рабовладельца, постепенно выедают из него душу. Ведь то, что произошло с восторженной и умной Ангальт-Цербстской принцессой, прилежной ученицей французских энциклопедистов, происходило и с большей частью правящего класса старой России. «Знакомясь со всеми фактами, имевшими место во второй половине XVIII века <...> ясно видишь, как неограниченная власть над людьми развращает состоятельный материально, но бедный духовно класс дворян, как этот класс опускался в тину всяческой житейской грязи, как искажался в нем образ Божий, и все яснее и яснее вырисовывалась образина звериная», — говорил на лекции в Императорском Московском университете в 1915 году М. К. Любавский<sup>17</sup>. Качество европейской образованности дворянского сословия России все улучшалось, а источники его материального существования оставались теми же — труд единоверных и единоплеменных крепостных рабов. Напряжение этой нравственной коллизии, у кого на сознательном, у кого на подсознательном уровне, ощущалось сильней и сильней и разрешалось у одних охлаждением обличающей их совесть веры, у других — русским загулом, у третьих — революционным протестом и лишь у четвертых, у очень и очень немногих нравственных и сильных натур, — мужественной каждодневной работой по исправлению величайшей русской несправедливости. Духовно-интеллектуальные поиски конца XVIII — XIX века нельзя понять, не принимая во внимание этот постоянно усиливающийся нравственный гнет.

Вся история императорской России после Екатерины — последовательная череда попыток снять с государства бремя крепостничества, возложенное на него «великой» Императрицей. Надежды крестьян на личную свободу, на возвращение прав на свою землю и на собственный свой труд объективно реализовались в столыпинских реформах (указы от 5 октября и 9 ноября 1906 года и 14 июня 1910 года), но фактически огромная энергия ненависти к поработителям и жажда справедливости стали главным двигателем страшной русской смуты, погубившей страну в XX веке. Старая Россия сломала себе шею, поскользнувшись на арбузной корке земельного вопроса. А сам земельный вопрос — результат бесчестной односторонней эмансипации дворян Екатериной.

Память о крепостном праве как о самом мрачном аспекте старой русской жизни хранится в народе. «Катэрына — вража маты, що ты наробыла. Стэп широкий, край веселый та й занастыла!» — поют украинцы. Известную аббревиатуру ВКП(б) после коллективизации любили расшифровывать как Второе Крепостное Право (большевиков). И до сих пор нет-нет, а сверкнет в споре о судьбах страны социальное происхождение предков: «Я — потомок крепостных и восстановления старой России не желаю, а ты, ратующий за правопреемство и реституцию собственности, верно, из господ».

Могла ли принцесса Софья-Фредерика-Августа, став женой Императора Петра Федоровича, избрать иной путь, нежели прелюбоддеяния, мужеубийство и все за ним следовавшее? Смешной вопрос. Даже при дурном супруге она могла оставаться верной женой и хорошей матерью. Даже опасность насильственного пострижения в монастырь не оправдывает учиненное ею убийство. И кто знает, не пойдя Екатерина на сделки с совестью, не попустил бы ей Бог править как законной регентше при малолетнем Государе Павле Петровиче, проявляя присущую ей энергию и мудрость к устройению русской жизни, а не к ее развращению и разрушению?

<sup>17</sup> Любавский М. К. Русская история XVII — XVIII вв. М., 2001, стр. 532.

## VII

Тяжкое преступление, совершенное Екатериной при восшествии на престол, самым пагубным образом отразилось на ее отношениях с Богом. Права глубоко религиозным народом, еще не забывшим о том идеале симфонии священства и царства, который Русь приняла вместе с православием из Царьграда, Екатерина изгнала Бога из своего сердца потому, видимо, что голос совести не совмещался с совершаемыми ею деяниями. Уличенный пророком Нафаном в прелюбодеянии и убийстве, библейский царь Давид глубоко раскаялся и плакал горько. Русская императрица предпочла иной путь — путь дальнейшего унижения и разрушения Церкви, начатый Петром Великим. Аскетике прекрасно известна такая реакция грешника на святыню, она, если угодно, хрестоматийна. Поскольку грех обнаруживается священным законом, а закон обретает святость от Святаго, грешник может или каяться перед Святыней, или злобиться на нее, желая ее унижением и истреблением убедить и себя и мир, что содеянное им вовсе не грех, а норма. Изъятие монастырских имуществ, запрещения на пострижение в монашество не инвалидов, превращение духовенства в касту, истощаемую к тому же разборами в низшие, податные сословия, — могло ли все это быть делом монарха «милостью Божией», хранителя и защитника «Греко-российской православной церкви»?

«Она — вовсе не религиозна, — говорил о Екатерине Фридрих II Прусский, — но лишь прикидывается верующей»<sup>18</sup>. «Имеет ли она веру к закону Божию? — задает риторический вопрос князь М. Щербатов и продолжает: — Ибо если б сие имела, то бы самый закон Божий мог исправить ее сердце и направить стопы ее на путь истины. Но несть, упоенна безразмысленным чтением новых писателей. Закон христианский (хотя довольно набожной быть притворяется) ни за что почитает <...> И так можно сказать, что в царствование ее и сия нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала»<sup>19</sup>.

То, что видел князь Щербатов, в той или иной степени замечали все — и знатные и простые, и духовные и светские. Императрица старалась своим внешним поведением следовать правилам православной Государыни — говела, причащалась вместе со двором, ходила пешком на богомолья из Москвы к преп. Сергию в Лавру, неуклонно присутствовала на долгих церковных службах. Но лицемерное благочестие Императрицы не созидало, но развращало народ, приучало и подданных к лицемерию, к показному благочестию «по долгу службы» и в конечном счете способствовало эрозии веры сначала в высших, а потом и в низших сословиях. Без веры же священная русская монархия устоять никак не могла...

Однако Екатерина II не ограничивалась только религиозным лицедейством. Несмотря на то что некоторые архиереи были в числе первых, приветствовавших захват ею трона (например, Димитрий, митрополит Новгородский), она твердо решила довести до конца дело об отобрании в государственную казну церковных имуществ, начатое Петром I и достигшее кульминации при Петре III в указе от 21 марта 1762 года. И Екатерина, и убитый ею ее царственный супруг при проведении секуляризации руководствовались одним и тем же простым мотивом, хорошо известным просвещенному XVIII веку. Тот, кто имеет независимые источники дохода, свободен в своих поступках. Сама по себе гражданская свобода, ограниченная законом абсолютного монарха, не казалась веку Просвещения опасной. Европейские монархии не были деспотиями — свободную инициативу подданных в рамках закона весьма ценили и сами венценосцы, и теоретики государственного права. Но Церковь — особая сфера. Церковь — это совесть. Ее долг — заботиться не о собственном земном благополучии, а об абсолютной Божественной правде. Ее аксиология сотерич-

<sup>18</sup> Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х томах. Т. 2. М., 1991, стр. 452.

<sup>19</sup> «„О повреждении нравов в России“ князя М. Щербатова и „Путешествие“ А. Радищева», стр. 94.

на и другой быть не может без извращения самой природы Церкви как Тела Христова, «столпа и утверждения истины» (1 Тим. 3: 15).

Важнейшая обязанность священноначалия, его пророческая миссия — обличение неправды пред Богом тех, кто является «помазанником Божиим», монархом «милостью Божией», считает себя защитником, а то и «главой Церкви» (так именовала себя Екатерина в письмах к Вольтеру, и таковой статус утвердил за российскими самодержцами Павел в Акте о наследии престола 5 апреля 1797 года). И Петр Федорович, и Екатерина Алексеевна вполне сознавали, что жизнь их далека от христианских заповедей. Как и все нераскаявшиеся грешники, они инстинктивно страшились обличений, а как политики (здесь Екатерина намного превосходила своего недалекого супруга) прекрасно понимали, что Церковь имеет против них страшное оружие народного благочестия, которым может лишиться их и власти, и самой жизни при неблагоприятных обстоятельствах.

По древнему византийскому принципу симфонии царь властен только над телом своих подданных, но не над их душами, которые, как и душа самого царя, пребывают во власти Христа — «Царя царствующих» и Его Церкви. Неверующий, неблагочестивый монарх не может вынести такого опасного умаления своей власти и, не имея возможности обессилить Христа, старается лишить Церковь свободы и силы. В то же время, в отличие от богоборческих режимов XX века, традиционный монарх не может бороться с верой самой по себе, ибо, искореняя веру, он уничтожает и все основания законности собственной власти, делегитимизирует сам монархический принцип. Поэтому вольнодумный и грешный монарх пытается делать невозможное — он одной рукой ослабляет Церковь, дабы она не становилась обличителем его неправд перед Богом, а другой — пытается укреплять веру народа, на которой только и зиждется его власть. Эксперимент этот быстро переходит в неуправляемый процесс разрушения народного благочестия и рано или поздно завершается страшной государственной катастрофой, механизм которой хорошо показал британский мыслитель Кристофер Доусон в своей книге «Боги революции»:

«В то время как придворные Екатерины II или Иосифа II (Австрийского Императора, современника Екатерины. — А. З.) читали последние книги из Парижа и усваивали модный рационализм космополитического общества, их крепостные крестьяне все еще жили в мире Католицизма эпохи барокко или же византийского Православия. И отсюда в обществе развивался духовный раскол, который содержал в себе семена классового конфликта и социальной революции. При старых христианских порядках дворяне и крестьяне разделяли общую веру и несли общую службу. Но теперь, когда христианство рассматривалось в качестве единственного блага для низших классов, как неоднократно повторял Вольтер, духовные основания общественного единства были разрушены <...> И с утратой этой традиции из *ancien régime* ушла душа, оставив лишь пустую оболочку»<sup>20</sup>.

Такой «отрицательный мимесис» может быть компенсирован только исповедническим подвигом священноначалия, которое, бесстрашно противостоя духовным неправдам светской власти, становится для народа новым объектом положительного подражания вместо развращенного «помазанника» и его ближайших слуг. Если же официальная церковь, утопая в сервильности, не принимает на себя этот подвиг, народ обращается к иным пророкам и отдает им свою душу. Так, говоря в категориях Тойнби, «внутренний пролетариат» создает новую «вселенскую церковь», которой в русском случае в конце концов оказался атеистический большевизм.

Но вернемся в Век Екатерины. Императрица с первых же дней своего царствования последовательно претворяет в жизнь дело убитого супруга. Указом от 26 февраля 1764 года она отбирает все церковные имущества в казну

<sup>20</sup> Доусон К. Г. Боги революции. СПб., 2002, стр. 103 — 104.

(это почти миллион крепостных крестьян в одной Великороссии). Примерно одну восьмую доходов с бывших монастырских имуществ Государыня отдает на содержание Церкви, но теперь это государственная пенсия, выплачиваемая казначейством по штатам, утвержденным опять же государственной властью. Потеряв независимые источники материального существования, Русская Церковь попадает в полную зависимость от светской власти. Процесс превращения Православной Российской Церкви в государственное ведомство по делам православного исповедания, начатый реформами Петра I, завершается Екатериной.

Сама Императрица объясняла свою церковную политику желанием покончить с неподобающей роскошью, в которой жили архиереи и крупнейшие монастыри. В 1763 году тридцатичетырехлетняя Екатерина собиралась обратиться к Синоду со следующими словами: «Каким образом может происходить то, что вы не поражены огромностью тех богатств, которыми вы владеете и которые делают вас настолько могущественными, что вы должны бы почувствовать, что ваше такое положение совершенно противно духу вашего призвания. Разве вы не наследники апостолов, которым Бог заповедовал проповедовать презрение к богатствам и которые могли бы быть только бедняками — царство их было не от мира сего. Вы соглашаетесь со мной?.. Как смеете вы без угрызения совести пользоваться такими имуществами и поместиями, которые дают вам могущество, как царям? Ах! Разве вы не имеете под своей властью рабов больше, чем некоторые европейские государи имеют подданных?»<sup>21</sup>

Обратим внимание на характерные проговорки о власти и богатстве церковном, подобном царскому и потому соперничающем с ним. Ликвидация такого положения — истинная цель указа 1764 года. Но и роскошь архиерейской жизни, нарушающие все нормы монашеского устава дорогостоящие утехи иноков лавр, крупнейших монастырей и архиерейских домов, проживавших на себя тяжкие труды тысяч единоверных им «рабов», — увы, совершеннейшая правда. Если бы Екатерина отменила крепостное право как таковое, освободив и монастырских и частновладельческих крестьян, источник злоупотреблений исчез бы сам собой. Живя на добровольные пожертвования и на доходы с имущества и трудов самих иноков, Церковь морально очистилась бы от постыдного богатства, сохранив свободу от светской власти. Это, однако, не входило в интересы царицы. Церковь, как и совесть народная, нужна была ей не свободная, но всецело зависящая от воли Государя. И здесь проявилось в полноте господство эвдемонического идеала в умах российского правящего слоя — жизнь во Христе есть не цель, но только средство для национальной консолидации и имперского могущества, олицетворяемых Императором. Когда Император Павел повелел начертать девизом своего царствования библейское «Не нам Господи, не нам, но имени Твоему дай славу...» (Пс. 113: 9), он восстанавливал в русской государственной жизни иерархию земного и небесного, извращенную его царственной матерью.

Оказавшись «за штатом», быстро захирели и закрылись 754 из 954 монастырей Великороссии. Большой частью это были маленькие сельские обители с немногими монашествующими. Они кормились от трудов своих крестьян. Когда крестьяне были отобраны, источник доходов исчез. Если бы все крестьяне были эмансипированы, то они имели бы средства пусть на скудные, но пожертвования продовольствием, трудом, а то и деньгами. Но, пребывая сами в крепостной зависимости, много ли могли пожертвовать они монахам на «исправление службы»?

«Теперь, в отдалении полутора столетия почти лет, можно спокойно обсудить эту меру, — подводит итог православный историк в начале XX столетия. — Она дала государству по 3 миллиона в год дохода, но громадная часть монастырских имений роздана Екатериною в дар своим фаворитам, так что в конце

---

<sup>21</sup> Проект ее никогда не произнесенной речи, но распространявшейся по всей Европе, напечатан в «Чтениях Общества ревнителей истории и древностей Российских», кн. 2, 1862.



концов государство получило от отобрания их недолгую пользу. Было обещано при отобрании имений обеспечить духовные школы и духовенство, но это обещание было забыто. Между тем с нравственной точки зрения эта смелая мера не выдерживает критики.

Здесь было нарушено право собственности и воля тех отдельных лиц, из пожертвований которых сложились церковные имущества. Все эти имения были оставляемы большей частью по духовным (завещаниям. — А. З.), на помин души в излюбленном жертвователем монастыре; и эта последняя воля умирающих не подлежала никакому изменению. Между тем не только эти усердные жертвы церкви были отобраны для целей мира, но и самый помин души не мог более продолжаться, за упразднением самих обителей <...>

До сих пор нельзя без чувства величайшей скорби вспомнить об уничтожении  $\frac{4}{5}$  русских монастырей. Запустили места, освященные подвигами и благодатью святых, ознаменованные стремлением к ним усердия народного <...> И много есть <...> мест, где в бедной приходской церкви, даже иногда бесприходной, покоятся мощи великого угодника, создавшего обитель, которая на просвещение и утешение народа стояла века и упразднена в злосчастный 1764 год»<sup>22</sup>.

Как и повсюду в религиозном обществе, даже не обязательно христианском, сельский монастырь имел на Руси громадное значение для воспитания окружающего населения. Монахи были единственными учителями, а часто и врачами для окрестных крестьян. И грамотность, и благочестие, и физическое здоровье подавались иноками обителей социально очень близким им земледельцам. Иноческие обеты человек принимал добровольно (о политических пострижениях мы не говорим сейчас), и принятие их всегда означало личный подвиг, а потому и сознательное служение Богу и ближнему. Сонм местночтимых народом святых — лучшее тому свидетельство. При всех несовершенствах своих насельников монастырь являлся как бы средоточием совести и души поселян, лучшей частью их коллективной личности. При разумном развитии начал народной образованности через маленькие сельские обители до крестьян могло бы начать доходить книжное образование, начала школьного знания, даже современные навыки землепользования. За век до земской школы могла быть создана школа монастырская, а кое-где она и существовала уже. И тогда образование не стало бы в России плодом секуляризации, но осталось бы в лоне Церкви. Разрушив сельские монастыри, поставив на государственный кошт оставшиеся, запретив без Высочайшего разрешения открывать новые, Екатерина способствовала религиозной деградации народа, его нравственному одичанию.

Законы, которыми Императоры управляли Русской Церковью в XVIII столетии, были таковы, что уже в царствование Николая Павловича их не решались публиковать «ввиду „неблаговидности“ слишком многих постановлений Петровского времени и всего предыдущего (то есть XVIII. — А. З.) века, огласка которых теперь вряд ли вполне удобна и скорее может соблазнить», — объяснял обер-прокурор Синода граф Н. А. Пратасов. Именно поэтому уже подготовленное проф. А. Куницыным «Полное собрание духовных узаконений в России со времени учреждения Свят. Синода» было оставлено в рукописи без движения, и даже «Духовный Регламент» Феофана Прокоповича не разрешали переиздавать в первой половине XIX столетия<sup>23</sup>, хотя вся синодальная система имела его своим источником. Это, наверное, лучший приговор церковной политике Православных Русских Самодержцев «осмнадцатого века».

Церковь, уже приниженная Петром, обезглавленная упразднением Патриаршества, склонилась перед требованиями Императрицы. Но покорность не была всеобщей. Один из виднейших русских архиереев, митрополит Ростов-

<sup>22</sup> Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905, стр. 118 — 119.

<sup>23</sup> Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1988, стр. 208.

ский Арсений Мациевич (1697 — 1772), твердо и решительно выступил против отобрания имуществ у Русской Церкви. Митрополит Арсений прославился уже при Елизавете Петровне тем, что отказался приносить присягу царице как «крайнему судии» Синода, вполне канонично полагая, что крайним судьей Церкви является ее глава — Богочеловек Иисус Христос, а отнюдь не земной монарх. Набожная Государыня простила эту «предерзость» митрополиту и продолжила его ценить и любить. Видимо, именно Арсений убедил Елизавету Петровну не отбирать земли у Церкви, чего добивались алчные аристократы, смотревшие на западноевропейскую секуляризацию и жаждавшие умножения за счет Церкви своих вотчин. «Как хотят пусть делают после моей смерти, а я не подпишу», — объявила Елизавета Петровна в отношении проекта указа о секуляризации, подготовленного графом А. П. Бестужевым.

Сам будучи человеком очень скромным, жизни почти аскетической, митрополит Ростовский твердо отстаивал незыблемость церковных владений и перед Екатериной. Молодая Императрица панически боялась и люто ненавидела Арсения. Известно, что ей доносили и об отъездах митрополита на личную ее жизнь. За свои обличительные письма, за свою твердую позицию против отобрания в казну церковных имений Арсений был сначала извергнут из сана, заточен в Корельский Северо-Двинский монастырь, а позднее расстрижен по повелению Императрицы из монашества и запрятан в каменный мешок Ревельской крепости под именем Андрея Вралья. Здесь в тяжелых лишениях закончил он свою жизнь 28 февраля 1772 года.

Народ еще при жизни почитал святителя Арсения святым, что прекрасно известно было Императрице. Коменданту Ревельской крепости фон Тизенгаузену она писала: «У вас в крепкой клетке есть важная птичка. Береги, чтоб не улетела! Надеюсь, что не подведете себя под большой ответ. Народ очень почитает его исстари и привык его считать святым». Смерть митрополита Арсения только усилила его почитание, которое продолжалось скрыто до самого конца петербургской Империи. Собор 1917 — 1918 годов признал все решения Синода екатерининского времени против Арсения неправильными и отменил их. В августе 2000 года архиерейский Собор Русской Церкви объявил о канонизации митрополита Арсения Мациевича как «священномученика» и сравнил его подвиг с подвигом русских архиереев XX века, отстаивавших независимость и достоинство Церкви Христовой перед лицом советской власти<sup>24</sup>. Установление связи между событиями эпохи Екатерины II и десятилетиями коммунистических гонений — совсем не произвольный домысел Собора: в XVIII веке были посеяны те семена, урожай которых был пожат в XX.

## VIII

Процессы установления внешнего государственного контроля над Церковью, секуляризации церковных имуществ и одновременное обмирщение самой Церкви характерны были для всей христианской Европы XVII — XVIII веков. «Благодаря тесному альянсу с государством Церковь оказалась крайне уязвимой для любой атаки сверху (то есть со стороны верховной государственной власти. — А. З.). Следовательно, замена католического абсолютизма периода барокко просвещенным деспотизмом Иосифа II, Шуазёля и Карла III в Испании лишила церковь ее традиционных методов социального действия и нейтрализовала ее активность на протяжении двух поколений. Созрела ситуация для появления новой духовной силы, которая смогла бы заполнить пустоту, образовавшуюся по причине временного упадка деятельности католиков, и дала бы выход религиозным инстинктам, не находившим удовлетворения в ра-

<sup>24</sup> Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя синодальной комиссии по канонизации святых, на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 13 — 16 августа 2000 года. Информационный бюллетень Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 2000, август, стр. 57.

циональной культуре Просвещения. Ибо Просвещение привело в порядок и украсило западное сознание, при этом ничем не заменив разрушенную им религию», — писал о католических обществах XVIII века Кристофер Доусон<sup>25</sup>.

Характеристику этого печального процесса разрушения Церкви и как следствие народной веры Жозеф де Местр вложил в уста русского участника его «Санкт-Петербургских вечеров»: «Какое зрелище открывается верующему взору у нас в Европе? Во всех странах, подчинившихся безумной реформе XVI века (Реформации. — А. З.), христианство совершенно уничтожено, — и даже в ваших католических государствах от него осталось одно лишь название! Свою церковь я не намерен ставить выше церкви вашей, ведь собрались мы здесь не для препирательств. Увы! Мне прекрасно известны и наши недостатки, но прошу вас, друзья, исследуйте самих себя с таким же нелицеприятием: сколько ненависти на одной стороне, какое невероятное равнодушие к религии и всему, что к ней относится, — на другой! Сколь неистовы озлобление и ярость католических держав против главы вашей, католической, церкви! До какого бедственного состояния доведено у вас духовное сословие общими усилиями ваших государей! Общественное мнение, то ли вдохновляющее их, то ли следующее их примеру, целиком обращено против этого сословия. Это — заговор, это — род бешенства <...> Взгляните на эту скорбную картину, прибавьте к ней ожидания избранных, и вам станет ясно, заблуждаются ли иллюминаты, полагая более или менее близким третье излияние Всемогущей Благости ради рода человеческого»<sup>26</sup>.

И действительно, Россия практически не отставала в этом от католических и протестантских сообществ. Возвышение и падение Никона, Раскол, петровские церковные преобразования, религиозная политика екатерининского царствования типологически достаточно сходны с синхронными процессами в Центральной и Западной Европе. Сходна и реакция общества на эти процессы. Использование светской властью Церкви для достижения внешних, вполне эвдемонических целей (расширение границ, приумножение богатств и военной мощи, контроль над обществом и т. п.) приводит к потере сотерического идеала у одних христиан и к поискам духовного совершенствования уже не на церковных путях — у других.

Первые вместе с Вольтером призывают «раздавить гадину», поскольку не видят в ней ничего, кроме лжи и лицемерия, а заодно с «гадиной» и все то, что Церковью освящалось и на Церкви зиждилось, — по сути, весь общественный уклад старой христианской Европы от института монархии до сословного представительства и цеховой организации производства. Это сторонники идей Просвещения, обретшие своего высшего апостола в Руссо (после его «обращения» 1749 года), а организатора — в немце Адаме Вейсгаупте, присвоившем своему мистико-политическому сообществу, созданному в 1776 году, имя «Общество иллюминатов».

Вторые ищут нравственного совершенства, и личного и общественного, а также вождельного духовного знания, то есть всего того, что в принципе должна давать Церковь, но чего она дать уже не может (или кажется, что не может), склонившись под ярем просвещенного абсолютизма и сочетавшись с ним. Это франкмасоны и розенкрейцеры, различные масонские направления от почти развлекательных светских клубов до весьма глубокомысленных, сложноиерархических лож, серьезно изучающих теософию, алхимию, христианское и герметическое богословие. Некоторые из них также именовали себя иллюминатами, но при этом стремились не покончить с тронem и алтарем, но возродить их былую духовную значимость, забытую и царями, и священниками, и простым народом.

Новые идеи — как мистико-политического иллюминатства, так и религиозного масонства — не могли совместиться ни с одной традиционной обще-

<sup>25</sup> Доусон К. Г. Боги Революции, стр. 109 — 110.

<sup>26</sup> Де Местр Ж. Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998, стр. 566 — 567.

ственной группой европейского общества. Они рассекли всю просвещенную его часть и собрали своих приверженцев и из рыцарства-дворянства, и из бюргерства, и из духовенства. Поскольку абсолютная монархия предшествовавшего столетия (вторая половина XVI — XVII век) разрушила сложное плетение ткани средневекового гражданского общества и с подозрением относилась к любым общественным организациям, неподконтрольным государственной бюрократии, новые организации являлись тайными, тем более что некоторые из них были всецело враждебны существовавшему порядку. В формальную общественную структуру они никак не вписывались, а в политической жизни рассматривались властью, и церковной и светской, как более или менее опасные соперники их абсолютного авторитета. Впрочем, довольно часто масоны, а несколько позже и иллюминаты приходили в тех или иных странах Европы к власти. Масоны обретали власть обычно вполне мирно, хотя часто и не без политической интриги, возводя на престол своих претендентов, таких, как король Швеции Густав III, короли Пруссии Фридрих II и Фридрих-Вильгельм II, герцог Брауншвейгский Фердинанд. Задачей масонов было просвещение и преобразование общества на началах «истинного внутреннего христианства» и гражданской справедливости, противостояние как безбожному Просвещению, так и чисто внешнему, формальному церковному и монархическому порядку, забывшему о своих религиозных целях и призвании. Иллюминаты же Вейсгаупта стремились, в соответствии со своей тайной доктриной, разрушить существовавший церковно-монархический строй «до основания», а не исцелить его и на руинах старого мира построить новое, вполне рациональное республиканское деистическое сообщество, свободное от социальной несправедливости и пороков искусственной христианской цивилизации.

И масонские ложи, и тайные общества иллюминатов, порой принимавшие внешний облик масонских организаций, имели интернациональный характер. Они не только обменивались информацией и обеспечивали своим членам поддержку по всему миру, но и обладали более или менее жесткими властными структурами, которые обязывали национальные организации подчиняться наднациональным высшим органам тайных обществ и орденов. «Каждый капитул, который существует или будет существовать на всем пространстве Империи Всея России, обязан во всем и без замедления повиноваться Директории, представлять ей точные донесения о своем состоянии, о способе своих работ, о своих экономических делах, о производимых ими принятиях и о том, как они исполняют приказания Директории или Великого Мастера...», — гласила, например, инструкция, изданная в 1777 году для русских масонов герцогом Зюдерманландским, братом шведского короля и Великим Мастером шведской линии розенкрейцеров<sup>27</sup>. Именно большая подчиненность и финансовая зависимость русского розенкрейцерства от прусского вызвала в конце 1780-х годов недовольство Екатерины и привела к репрессиям против Новикова и его «братьев»<sup>28</sup>.

Существенные отличия России от Западной Европы, пожалуй, были в том, что, во-первых, отбросив с начала XVIII столетия русско-византийское культурное наследие, русское общество обрело «плоды Просвещения» как экзотические и чужие. Не оно выращивало их, и потому у него не было никакого иммунитета против них. Православная Церковь не воспринимала их как свое родное болезненное извращение, которое именно потому, что оно родное, можно и нужно лечить (как считали, скажем, во Франции епископ Жак Боссюэ или архиепископ Франсуа де ла Мотт Фенелон), но как что-то всецело чуждое, от которого можно просто отгородиться. Именно так пережили Просвещение старообрядцы и наиболее ортодоксальные православные. С тех пор и до сего дня изоляционизм считается лучшей терапией в этой среде русских христиан.

<sup>27</sup> Цит. по кн.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917, стр. 45.

<sup>28</sup> Де Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002, стр. 845.

Во-вторых, Православие в России оставалось глубоко провинциальным в век Просвещения. Если духовные центры католического и протестантского мира практически совмещались с центрами антиклерикальных настроений и потому соперники были сравнимы по силе мысли и слова — «Фенелон в это время был популярен не меньше самого Вольтера»<sup>29</sup>, — то духовное образование и христианская культура России, и никогда не бывшие сильными, окончательно деградировали в результате Смуты, Раскола и светских преобразований первой половины XVIII века. Если в Византии против монофелитов выступил великий Максим Исповедник, против варлаамитов — глубокомысленный Григорий Палама, против неоязычника Плифона и унианитов — Эфесский митрополит Марк Евгеник, то в качестве оппонентов Вольтеру и Руссо в русской Церкви не обрелся по большому счету никто. После «Камня веры» Стефана Яворского и до горячечных обличений Библейского общества Юрьевским архимандритом Фотием Церковь и интеллектуальная жизнь существовали как бы в «параллельных мирах», почти не касаясь друг друга.

И наконец, в-третьих, русское Православие не имело ни жесткой политической и интеллектуальной собственной организации, какой располагал католический мир, ни тех навыков индивидуальной религиозной ответственности, на которых зиждился протестантизм. Полагаясь почти всецело на «своего» православного царя как на «защитника веры», Русская Церковь оказалась заложницей светского просвещенческого абсолютизма Петра и Екатерины. Характерный пример: желая оправдать свое клятвопреступление перед сыном Алексеем, Петр I собрал архиереев и спросил их, позволительно ли нарушить данное царевичу слово о неприкосновенности и лишить его жизни. Прекрасно знали наследники апостола Петра древние священные слова: «Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего» (Лев. 19: 12), но изрекли царю нечто совершенно иное: «Сердце царево в рудии Божия есть. Да изберет тую часть, амо же рука Божия того преклоняет». Этому удобному принципу и следовала почти весь Петербургский период Российская Православная Церковь. И если последний досинодальный патриарх Адриан, местоблюститель Стефан Яворский или тверской архиерей Феофилакт Лопатинский еще решались противостоять Петру и Анне Иоанновне, то после расправы руками русских архиереев над святителем Арсением Мациевичем Церковь Русская окончательно замолкла перед лицом царской власти. Исповеднический подвиг она нести не захотела и не смогла.

И вот результат: «Церковь определенно утратила свое положение главного источника культурной жизни. В XVIII веке аристократия и чиновные классы русского общества получали образование в духе французского Просвещения. Они увлекались Вольтером и по-настоящему Церковь не уважали. Для большей части низших классов Церковь также потеряла свое первоначальное значение. Последователи Раскола <...> отвернулись от нее. Следовательно, Православная Церковь в XVIII столетии потеряла поддержку большей части загородных классов и значительной части классов торговцев и крестьян»<sup>30</sup>.

По большому счету это отношение русского народа к Православию сохранялось вплоть до катастрофы 1917 года и явилось ее духовной причиной и объяснением. До некоторой степени свидетельством этому могут быть результаты выборов во Всероссийское Учредительное собрание в ноябре — декабре 1917 года. За православные партии по всей России было подано, по подсчетам Оливера Радкея, 155 тысяч голосов. Еще 54 тысячи голосов было подано за партии старообрядцев и 18 тысяч — за иные христианские политические движения. То есть в обстоятельствах крайнего не только политического, но и нравственного антагонизма христианские партии привлекли *менее полупроцента* российского электората<sup>31</sup>. На фоне трех четвертей голосов, поданных за ан-

<sup>29</sup> Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 117.

<sup>30</sup> Вернадский Г. В. Русская история. М., 2001, стр. 181.

<sup>31</sup> Radkey O. H. The Election to the Russian Constitutional Assembly of 1917. Cambridge, 1950, p. 16. Речь идет как о предвыборных объединениях «Вера и Отечество» ар-

тирелигиозные революционные партии эсдеков и эсеров, столь слабая поддержка христианских ценностей предвещала лихие времена, и они не замедлили прийти.

Этот процесс духовной дехристианизации в XVIII — XIX веках опять же не был специфически русским. Глядя из 1952 года назад, во всеевропейское безумие первой половины XX века, А. Тойнби отмечал, что «чудовищное рождение современной западной секулярной цивилизации из утробы средневекового западного христианского мира стало возможным благодаря ошибкам и грехам средневековой западной Церкви, практически воплотившись через ренессанс эллинского института «абсолютного государства», в котором религия стала одним из ведомств политики»<sup>32</sup>.

И в России настроение свободной религиозной ответственности начинает формироваться к середине XVIII века не в Православной Церкви, но вне ее — в масонстве, старообрядчестве и сектантстве. И это в конечном счете имело самые пагубные последствия для духовного здоровья народа. «Масонство, увлекая своим идеализмом и благородными мечтами о служении человечеству, само было явлением *внецерковной религиозности*, свободной от всякого церковного авторитета, — точно констатирует о. Василий Зеньковский и объясняет: — С одной стороны, масонство уводило от „вольтерьянства“, а с другой стороны — от Церкви; именно поэтому масонство на Руси служило основному процессу секуляризации, происходившему в XVIII веке в России»<sup>33</sup>.

«Масонство проникло в Россию очень скоро после того, как вылилось в определенные формы и на Западе», то есть на грани XVII и XVIII веков, отмечает Г. В. Вернадский<sup>34</sup>. Во второй половине XVIII века масонство в России становится весьма разветвленной и влиятельной организацией. К масонам был близок Петр III, и скорее всего входил в ложу цесаревич Павел Петрович. Нам практически ничего не известно об организациях иллюминатов в Екатерининской России, но деятельность и идеи франкмасонов и розенкрейцеров изучены весьма тщательно<sup>35</sup>.

Все серьезные историки сходятся в том, что значение масонства для России той эпохи огромно: «Во вторую половину века начинается духовное пробуждение. Это было пробуждение от тяжкого духовного обморока <...> Вся историческая значительность русского масонства была в том, что это была психологическая аскеза и собирание души. В масонстве русская душа возвращается к себе из Петербургского инобытия и рассеяния... Это был не только эпизод, но этап в истории нового русского общества. К концу семидесятых годов масонское движение охватывает почти что весь тогдашний культурный слой, — система масонских лож своими побегамы насквозь прорастает его <...> И в этой „аскезе“ воспитывался новый тип человека <...> Это было сентиментальное воспитание русского общества, — пробуждение сердца. В масонстве впервые будущий русский интеллигент опознает свою разорванность, раздвоенность своего бытия и начинает томиться о цельности и тянуться к ней»<sup>36</sup>.

---

хи епископа Сергия Страгородского в Нижнем Новгороде и «Христианский Союз» (см.: «Известия Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание Комиссии», 1917, № 24, 16 декабря), так и об отдельных кандидатах, заявивших своей целью поддержку веры, например, таковы старообрядцы Хвалынского уезда Саратовской губернии (Radkey O. H. Op. cit., p. 67 — 68).

<sup>32</sup> Тойнби А. Дж. Постигание истории..., стр. 531.

<sup>33</sup> Зеньковский В. В., прот. История русской философии. Т. 1. Париж, 1948, стр. 105.

<sup>34</sup> Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. СПб., 2001, стр. 29.

<sup>35</sup> См. кроме уже упомянутых в том числе: Пыпин А. Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916; «Масонство в его прошлом и настоящем». Под ред. Н. П. Сидорова и С. П. Мельгунова. В 2-х томах. Пг., 1916; Боголюбов В. Н. И. Новиков и его время. М., 1916; Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915; In-ho Li Ryu. Moscow Freemasons and the Rosicrucian Order. A Study in Organisation and Control. — In: «The Eighteenth Century Russia». Ed. by J. G. Garard. Oxford, 1973.

<sup>36</sup> Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия, стр. 115 — 116.

О том, что именно в среде масонства впервые сложилось в России независимое общественное мнение, не раз говорит на страницах своей диссертации и Г. В. Вернадский<sup>37</sup>.

И наконец, взгляд со стороны. Современный британский историк Екатерининского времени Исабель де Мадариага отмечает: «Наверно, нигде в Европе масонство не сыграло такой большой роли в развитии культурной жизни на протяжении целых трех, а то и четырех поколений, как в России. Может быть, в этом сказалась относительная бедность и неоригинальность русской культуры XVIII столетия, по сути дела заимствованной. Возможно также, что в этом отразилось отсутствие православных богословских и пиетистских сочинений, написанных доступным мирянину языком и стилем, которые бы обладали достаточной научной строгостью или эмоциональной глубиной, чтобы удовлетворить взыскательного читателя»<sup>38</sup>.

Для будущего духовного развития России масонство Екатерининской эпохи имело первостепенное значение. Культурная и почти исключительно светская элита России (участие клириков в масонских обществах было единичным) обрела ответы на свои духовные запросы и устремления не в Православной Церкви и не в какой-либо Церкви инославной, но вне Церкви как таковой, на путях свободного мистического странствования. Нравственное и духовное разошлось с церковным, и разошлось очень далеко. Церковь, интеллектуально и духовно обескровленная Расколом и петровскими реформами, как институт превратилась в организацию ритуальных действий, во всем послушную светской власти. Она, казалось, усыхла и умирала. Жаждавшие живой духовной жизни или присоединялись к раскольникам и сектантам, или вступали в масонские ложи.

«Как христианство осталось токмо в устах наших, а язычество овладело сердцем нашим и как наружное богослужение наше не сильно было сокрушать идолов самолюбия и собственности, погружающих нас во все пороки страсти темпераментов наших, — объяснял, например, орловским „братьям” З. Я. Карнеев, — то погибли бы мы в сем положении, ежели бы милосердующая благодать Божия о нас не предоставила нам и еще третьего и последнего средства к избавлению нашему, сокровенного под непроницаемою в мире тайною св. Ордена»<sup>39</sup>. Автор весьма популярной в конце XVIII века книги «О внутренней Церкви» знаменитый московский розенкрейцер И. В. Лопухин ощущал институциональную Православную Церковь как «отживающее учреждение» перед наступлением эры нового, экуменического христианства.

Не Церковь, утратившая в XVIII веке и силу, и нравственный авторитет в обществе, но внецерковные сообщества религиозно настроенных людей предлагали варианты выхода из того духовного и социального тупика, который ими ощущался совершенно явственно в царствование Екатерины. В народе росли сектантские настроения, и крестьянские восстания питались именно этими идеями — старообрядческая духовная подоснова Пугачевского бунта хорошо известна. Именно в первое столетие Петербургского периода широко распространились секты духоборов, хлыстов, молокан, появилось скопчество, русские крестьяне начали интересоваться верой немецких колонистов, приезжавших в Россию по приглашению Екатерины. Вместе с отходом от официального Православия низшие классы утрачивали, как правило, и священный трепет перед царской властью. Многим старообрядцам уже царь Алексей Михайлович, а тем более Петр Алексеевич и его преемники виделись воплощением антихриста, для сектантов царь предстал не помазанником Божьим, а гонителем и узурпатором, новым фараоном, которого приходилось терпеть, но не было никаких оснований любить и почитать. В среде сектантов и старообрядцев широко была распространена грамотность, изучение Писания, строгие

<sup>37</sup> Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II, стр. 322.

<sup>38</sup> Де Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой, стр. 829.

<sup>39</sup> Цит. по кн.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II, стр. 215.

нравственные нормы трудовой и семейной жизни (отвергающие брак оргиастические секты хлыстов и скопцов являются здесь исключением). Те же простолудины, которые не уходили из православия, сравнительно редко оставались серьезными и истово верующими. Они, как правило, жили чисто формальной церковной жизнью, в этой среде широко был распространен примитивный магизм, колдовство, пьянство, непрочность семейных устоев. Фактически в XVIII веке Церковь утратила влияние в обоих сообществах простого народа — и среди «алчущих и жаждущих правды», и среди «теплохладных».

Среди высших сословий религиозно активные люди шли в масонство, а не имевшие «нерва веры» становились вольтерьянцами, руссоистами, иллюминатами, а чаще всего — примитивными гедонистами, обычными прожигателями жизни, ловцами орденов и поместий. Церковь и церковность мало что значили для всех этих групп высшего класса.

В масонской среде и в обществах иллюминатов создавались проекты общественных и политических преобразований, осуществлялась широкая просветительская, издательская, филантропическая деятельность. Многие важные идеи Александра царствования теоретически были проработаны и обсуждены именно в масонской среде в 1770 — 1790-е годы. Это и учение о союзе христианских государей — проект будущего Священного Союза<sup>40</sup>, и военные поселения<sup>41</sup>, и смягчение крепостного гнета, и обязательное духовное и гражданское просвещение крестьян<sup>42</sup>.

Исследователи, однако, единодушны в том, что идеи эмансипации крепостных и введения демократических учреждений были чужды русскому масонству Екатерининского времени. «Люди, подверженные теперь нашей власти, должны для их собственной пользы и выгоды быть в таком же положении», — говорил известный масон О. А. Поздеев в 1785 году в рязанской ложе Орфея<sup>43</sup>, и даже знаменитый Новиков не брезговал приторговывать крепостными<sup>44</sup>. Исключением и здесь был А. Н. Радищев — увлеченный идеями Сен-Мартена, он нашел в себе силы и смелость додумать их до конца, пусть и в ущерб себе и своему сословию.

Русские масоны большей частью горячо поддерживали и монархическую автократию. Восстание Пугачева и Французская революция их страшно напугали. В 1794 году И. В. Лопухин издал даже специальное сочинение «Излияние сердца, чтущаго благость единоначалия и ужасающегося, взирая на пагубные плоды мечтания равенства и буйной свободы». Впрочем, священноначалие русской Церкви еще менее масонов было склонно ратовать за освобождение крепостных и введение законно-свободных установлений.

Абсолютистское государство повсюду не желало, чтобы кто-то со стороны дерзал претендовать на то, чтобы быть его совестью. Церковь, и католическая, и протестантская, и православная, везде лишена была этого права, столь естественного для христианского сознания. Но одно дело — воля просвещенческих монархов, а другое — воля самой Церкви и мнение народа. Католическая Церковь смогла сохранить за собой свободу нравственного суда над царством кесаря, и к ее суждениям внимательно прислушивался верующий народ. Протестантская Церковь, не имея автономной организации, сохраняла свободу суждения на уровне отдельных авторитетных мыслителей и богословов, и к их мнению также прислушивались единоверцы. Голос Православной Церкви, су-

<sup>40</sup> См.: «Новое начертание истинной теологии». Часть 2. М., 1784, стр. 9 — 15; Штендер Г.-Ф. Истина религии. Часть 2. М., 1785, стр. 348 — 349.

<sup>41</sup> См.: «Путешествие в Землю Офирскую. Сочинения князя М. М. Щербатова». Т. 1. СПб., 1896 — 1898, стр. 819, 910 — 911. А также «Записки» Цесаревича Павла Петровича о военной реформе, посланные графу П. И. Панину в 1774 — 1779 годах, — «Русская старина», 1882, № 3.

<sup>42</sup> Особенно характерны здесь речи С. И. Гамалея и беседы Руфа Степанова. См.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II, стр. 232 — 234.

<sup>43</sup> Там же, стр. 255.

<sup>44</sup> Де Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой, стр. 845.



дящий власть, объявляющую себя православной, умолк в XVIII веке, и Церковь безмолвствовала в общественных и политических вопросах до самого конца монархии, чтобы тут же отречься от нее в первом же после 2 марта 1917 года заседании Синода.

«В России не оказалось ни священника, ни пророка, которые могли бы сказать царю во имя Божией воли и высшего достоинства человеческого — ты не должен, тебе не позволено, есть пределы вечные», — писал в 1896 году в статье «Византизм и Россия» Владимир Соловьев<sup>45</sup>. Он не совсем прав, такие пророки находились, но всякий раз *вне* Российской Православной Церкви — сначала в сектантстве и масонстве, позднее, в XIX веке, в квазимасонских тайных обществах иллюминатов-декабристов вроде Великой Ложы Астреи, еще позднее — в радикальных богоборческих обществах народовольцев, эсеров, эсдеков. Им верили, их слушали со вниманием, священникам же, призывавшим «Бога бояться, а Царя чтить», верили все меньше.

Великой трагедией России стало то, что сервилizm Церкви, боявшейся и не сумевшей жить в соответствии с «глаголами вечной жизни», отдал народ во власть сектантов и заговорщиков, владевших лишь крохами той истины, которая в полноте была излита на Церковь. И даже эти крохи привлекли и пленили народ, жаждавший Истины и не обретавший ее там, где естественней всего было надеяться обрести ее.

---

<sup>45</sup> Соловьев В. С. Собрание сочинений. Т. 7. Брюссель, 1966, стр. 310.

---

---

# КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



## СКРЫТЫЙ СЮЖЕТ: ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ

**Д**ве книги двух известных критиков, коллег, соратников и единомышленников вышли почти одновременно: «Скрытый сюжет» Натальи Ивановой (СПб., Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2003) и «Перемена участи» Сергея Чуприна (М., «Новое литературное обозрение», 2003). Событие неординарное: сейчас редко издаются сборники критических статей.

«Русская литература на переходе через век» — ставит в подзаголовок Иванова. «Эта книга... о русской литературе рубежа веков», — сообщает Чуприн в кратком предисловии. Если каждый из критиков ставит себе задачей донести до читателя свое представление о литературе рубежа эпох, то не любопытно ли проследить, как менялось это представление? Что я и попытаюсь сделать, не отвлекаясь на частности дотошного и подробного рецензирования.

Книгу Чуприна открывают, как он сам аттестует их с легкой иронией, «*большие и мудрые*» обзорные статьи 1988 — 1994 годов. Первая статья — «Предвестие. (Взгляд на прозу сквозь призму журнальных публикаций 1988 года)» — прямо-таки напоена оптимизмом. Колкий и ироничный Чуприн, каким он предстанет в более поздних работах, отважно ставит перед статьей донельзя затасканный эпиграф из Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». В статье звучит радостная упоенность «призванием на пир», главным блюдом на котором является литература. «Наше сознание, наша культура литературоцентричны, как никогда», — торжественно констатирует Чуприн, помяная летучую фразу Жванецкого: «Сегодня читать интереснее, чем жить».

Чуприн еще не стыдится быть пафосным, не чурается громких слов, не избегает тяжеловесных фраз и, приветствуя волну публикаций недавно запретных текстов, может написать, что «лавинообразное вторжение отборных вещей», созданных писателями в подполье и изгнании, «изменит духовно-нравственный климат отечественной культуры, ее психологические установки, помогая отделять истинные ценности от мнимых, повышая, как у нас выражаются, „планку” и правдивости, и творческой независимости, и художественности». Ведь «в духовном провинциализме, в творческой худосочности, тень которых плотно легла <...> на литературу последних десятилетий, повинны не столько писатели, сколько их своекорыстные опекуны».

Что ж, тогда многие так думали и многие жили надеждами, что стоит убрать «своекорыстных опекунов», старающихся вытоптать ростки всего живого, — как литература зацветет и заколосится. Проходит всего два года — и Чуприн пишет программную статью «Ситуация» (опубликована в «Знамени», 1991, № 1), начинающуюся с констатации того печального обстоятельства, что «современная литература <...> так редко приковывает к себе всеобщее внимание... что, кажется, будто ее и вовсе нет». Пока это не слишком пугает. Статья «Перемена участи», писавшаяся в конце 1990-го, а опубликованная в «Знамени» в марте 1991-го, констатирует начавшийся процесс разгосударствления литературы. Он приветствуется, а опасения иных писателей насчет собственного будущего сравниваются с поведением дворни, падающей барину в ноги после манифеста 19 февраля 1861 года: «Не гони ты нас, родимый, от себя, дай до-

жить свой век в подневольном тепле и рабстве». Следующая статья, «Нормальный ход», продолжает тему предыдущей. Чупринин спорит с суровой оценкой Владимира Лакшина, бесстрастно констатировавшего на страницах «Литературной газеты» в мае 1991-го, что после некоторого оживления, связанного в основном с публикацией «отреченных» книг, литература вошла в полосу хронического бесплодия. «Ни новых ярких романов, ни новых имен на устах у всех». «Шесть лет прожиты не зря», — возражает Чупринин. Ну а то, что книга перестала быть «нашим всем», спасительным кругом в море лжи, — так ведь и это нормально. Идет процесс десакрализации литературы, естественно, болезненный и противоречивый (о том и статья). Подспудно еще ощущается уверенность: литература вот-вот начнет расцветать, явив миру новые таланты.

Еще через год (1992) Чупринин констатирует, что ожидания «прихода на авансцену нового поколения», которое сложится в плеяду новых имен, к сожалению, не сбылись, зато родилась новая журналистика, и именно она, «взятая в противоречивом единстве, прочтенная как целостный метатекст», играет ту роль «властительницы дум», которая утрачена литературой («Первенцы свободы»). А в 1993-м Чупринин уже рассуждает о том, что литературе, которая «долго была „нашим всем“, стыдно обернуться „ничем“», и предлагает в качестве одной из писательских стратегий сделать шаг «навстречу массовой аудитории», каковой, по его мнению, сделали Пелевин в «Жизни насекомых», Курчаткин в «Стражнице» и Евгений Попов в «Накануне накануне». Единственная, кстати, статья этого периода, которая может быть безоговорочно отнесена к жанру литературной критики. Чупринин начала девяностых — не столько критик, сколько «делатель», организатор и — преимущественно — идеолог.

Его «Ситуация» (1991) была одной из самых идеологизированных статей своего времени и не просто зафиксировала факт размежевания писательской интеллигенции на два лагеря, но в немалой степени сработала на закрепление этого размежевания. Горьковский вопрос «С кем вы, мастера культуры?» снова был грозно задан и провозглашен актуальным. Чупринин, либерал-западник по самоаттестации, требовал от интеллигенции определиться и занять свое место в борьбе. Всегда избегавшая открытой полемики с Чуприниным (за исключением разве что несколько искусственных диалогов в 1988 году на страницах «Литературной газеты», обозревателями которой тогда были мы оба), я решилась на сей раз нарушить обычай не возражать коллеге, с которым была связана давними дружественными отношениями, и заявила, что требование выстроиться в две шеренги исходит из плоскостного деления мира надвое, которое, собственно, и есть главное печальное наследие коммунистической идеологии.

Перечитывая сейчас чупрининскую статью (из которой все же исчезли кое-какие пассажи, например апелляция к Горькому) и позднее написанный постскрипtum, где Чупринин возражает Гальцевой и Роднянской, еще раньше не пожелавшим усесться на один из предложенных стульев, я уже не испытываю тех эмоций, которые заставляли хвататься за перо и доказывать, что нельзя называть реакционными любые «возрожденческие» идеи. Быстротекущее время набросило патину на эти полемики, победили не либералы-западники и не консерваторы-самобытники (по терминологии Чупринина) — победили прагматики.

Однако ж и причины поражения либерализма в ретроспективе становятся яснее, но об этом поговорим ниже.

Читатель сборника, обращающий внимание на годы написания статей, может удивиться: критик энергично работает в 1990 — 1993-м, потом практически семилетний перерыв, до 2000 года. Все знали, что он взвалил на себя неподъемный труд — составить словарь современных писателей, включив туда всех-всех-всех (работа для большого коллектива ученых и издателей). Но что первично? Критик перестает писать о современной литературе, потому что берется делать словарь, или он начинает делать словарь, потому что литература

«ушла из фокуса общественного внимания», перестала быть тем, как он сам замечает, что составляло «смысл жизни»? Несколько заметок 2000 — 2002 годов вошли в раздел «Расколотое зеркало», наименее цельный в книге, «клиповый», по определению самого автора, однако подлинное возвращение Чупринина в критику знаменуют статьи 2002 — 2003 годов, яркие, полемичные, желчные, спорные, сразу же привлечшие к себе внимание в литературном мире.

Можно сколько угодно спорить с тем, что дорогостоящая раскрутка романа Проханова «Господин Гексоген» (в которой, впрочем, участвовали и бескорыстные добровольцы) — исключительно удачная операция спецслужб, переводшая Проханова из «контекста криминальной политической борьбы в контекст экстремальной артистической фронды». Но нельзя не отдать должное тому, как элегантно изложена эта версия (в статье «После драки»), как остроумно высмеяны нравы современной журналистики, как весело и едко написан памфлет. Можно не согласиться с анализом дел в современной критике, пронизанным ностальгией по «богатырскому» ее периоду, но нельзя не почувствовать выстраданности вопроса: «Неужели мы просим слова: граждане, послушайте меня, — лишь затем, чтобы поведать *urbi et orbi* о вручении той или иной премии?» Можно не соглашаться с интерпретацией левого радикализма как игры, Геростратовой жажды славы. Но нельзя не оценить виртуозность самого текста, систему доказательств, мастерское сопоставление цитат, изничтожающее оппонентов, едкость саркастических замечаний. Недаром Дмитрий Быков так взвился, что посвятил возражениям Чупринину обширный выпуск своих «квиклей» в «Русском Журнале» («Быков-quickly: взгляд 57»), обвинив его в подтасовке примеров и фактов, в намеренном смешении левого и правого радикализма и почвенничества, чтобы, дескать, представить «массовое разочарование молодых гуманитариев в идеалах девяностых годов <...> проявлением моды, а никак не окончательной компрометацией либерализма».

В споре этом я, с оговорками, на стороне Чупринина. Однако ж не могу не видеть и кризиса отечественного либерализма. Говорить о кризисе — не значит радоваться ему. У нас почему-то очень часто смешивают трезвую констатацию факта (пусть печального) с удовлетворением по поводу этого события. Скажешь, что литература в кризисе, — тебя обвиняют в том, что ты пляшешь на похоронах. «Какая на дворе погода?» — «Дождь с мокрым снегом». — «Ну ты очернитель, панику сеешь, солнца не любишь».

Для кризиса либерализма есть причины объективные. Его идеи, ставшие на какое-то время экономической доктриной, не привели общество к обещанному процветанию. Идея свободы в который раз в нашей истории уступает место идее социальной справедливости, сильной руки и порядка. Что же касается литературы, то, строго говоря, для нее не совсем важно, суммы каких взглядов придерживается писатель, а радикализм художественных практик прекрасно встраивается в либеральный проект культуры.

Однако в тревожащем Чупринина разочаровании молодого поколения в либерализме нет ли и вины самих либералов? Дмитрий Быков попадает в самую точку, когда в ответ на чупрининский пассаж о терпимости либерализма ехидно возражает, что «трудно, кажется, представить что-нибудь тоталитарнее отечественной либеральной мысли, что-нибудь нетерпимее либеральной интеллигенции, лихо записывавшей в антигуманисты, черносотенцы и только что не в детоубийцы всех, кого не устраивал монетаризм, приватизация или постмодернизм». И эта тактика шельмования и замалчивания «не наших», по мнению Быкова, и вытолкнула в «радикальную оппозицию многих изначально терпимых и умеренных людей». К словам Быкова уместно подверстать мнение писателя совсем другого поколения и другой ориентации.

В марте 2004 года фонд «Либеральная миссия» проводил «круглый стол» по литературе в рамках проекта «Открытая книга — живая дискуссия». Вела заседание Наталья Иванова. В какой-то момент слово взял Владимир Маканин и простодушно стал упрекать Наталью Иванову за нелиберальное отношение к инакомыслящим, припомнив ей слова «Мы печатаем только наших».

«Либерал, — говорил Маканин, — допускает и одно и другое, но есть и третье, и десятое, а это какой-то поиск отступников... Либеральная идея не нуждается в решетке, она не нуждается в ограждении... И когда ты говоришь, что он не наш, — это антилиберально». — «Я не помню, когда я это говорила, это не моя терминология», — сухо возразила Иванова (цитирую по стенограмме).

Маканин вряд ли напугал что-то по существу, но и Иванова права. Это не ее терминология, это терминология Чуприна (хотя в политике журнала «Знамя» незаметно наличие противоречий между главным редактором и его первым замом). Именно в статье «Ситуация» присутствует главка «„Наши” и „не наши”». Нужна была большая отвага, чтобы после «Бесов» Достоевского, где в главе «У наших» эти самые бесы и собираются, употребить скомпрометированную дефиницию для сортировки либералов-западников и консерваторов-самобытников. Иванова не любит так подставляться, ей чужды крайности и безоглядность формулировок.

Маканин прав: либерализм не может заниматься поисками отступников, или он не либерализм. И Быков нащупал большое место оппонента. Действительно, прежде чем твердить о терпимости отечественного либерализма, Чуприну стоило бы вспомнить и собственную статью «Ситуация» (1990) с подробным перечнем признаков «не наших», и статью «Выбор» (1993), где слово «нетерпимость» употребляется как положительное качество либералов, уподобляясь интеллектуальной и нравственной гигиене, «решительным санитарным мерам», и где приветствуется применение «морального остракизма» к людям своего круга, заподозренным в «неразборчивости связей, в том числе и интеллектуальных, продиктованных моральной любознательностью». Хороша свобода, если за «мыслепреступление» полагается кара.

Впрочем, жесткость своей позиции Чупринин со временем смягчил. Да и время не то, чтобы карать и отлучать «не наших». Вон целое поколение народилось, которое уже норовит самих нас отлучить...

«Спасибо, конечно, Сергею Ивановичу — глаза мне открыл на истинную подоплеку моих действий, — насмешливо пишет Дмитрий Быков, отвергая обвинения в игре и упрека в свою очередь Чуприна в неспособности понять новое поколение. — Очень понимаю, барин, что все мы для вас в силу возрастной дистанции русские мальчики и с высоты вашего положения наши различия несущественны».

Ну вот и дождались. Воистину «перемена участи». В статьях Чуприна начала девяностых действительно присутствует этакая вальжная, менторская, барская интонация, действительно ощущается уверенность в собственном праве подвергнуть слушников порке, не на конюшне, так в журнале. В статьях же «Свободные радикалы», «После драки» ощущается скорее интонация Павла Петровича Кирсанова, шокированного хамскими манерами очередных базаровых, глумящихся над его любимыми «принсипами». Я не злорадствую, скорее сочувствую. Это в юности мне нравился Базаров, сейчас же я куда более понимаю Павла Петровича. Его-то либеральные принципы живучи оказались, а из базаровых ничего, кроме лопуха, не вырастает.

В кратком и хвалебном отзыве о книге Чуприна Андрей Немзер пишет, что ему не нравится конструкция «нулевые годы» (отличная, на мой взгляд, метафора, из тех, что подхватываются другими перьями и потом живут независимо от автора, становясь термином) и что он не может «согласиться с чупринским тезисом о „перемене участи” литературы, которая тридцать лет назад „была одним из главных дел в стране”, а теперь, дескать, стала чем-то иным».

Оптимист Немзер, все еще надеющийся, что формула «перемена участи» обретает иной — счастливый — смысл, прерывает цитату из Чуприна, потому что явно не хочет тиражировать горькое признание критика: «А мы живем сегодня в нулевые годы. И я, признаться, временами впадаю в бессильное отчаяние. Литература, когда я тридцать лет тому назад начал ею заниматься, была одним из главных дел в стране, нынче же она... Была вся кровь вся непримиримость, а стала псякрев, стала всетерпимость... (О. Мандельштам)».

Сильно умел припечатать Осип Эмильевич. Сильно высказался и Сергей Иванович. Одного не могу понять: почему в моих рассуждениях о сумерках литературы Чупринин видит косвенную подготовку фона «для воссияния „Господина Гексогена“» («После драки»), если сам выносит литературе куда менее утешительный и куда более злой приговор?

Книгу Ивановой открывает весьма нетрадиционное посвящение — «Неутомимым славистам Европы и США — тем, кому всегда интересно, что происходит в современной российской словесности и что об этом думают литературные критики». Можно увидеть в этом посвящении элемент скрытого упрека отечественной публике. Но есть и еще один аспект. Прилежный участник многочисленных славистских конгрессов, конференций, симпозиумов, Наталья Иванова в своей критической деятельности во многом ориентирована не только на то, как статью прочтут *здесь*, но и на то, как она будет выглядеть *там*, возможно, в качестве доклада. Рассказ об одном из таких докладов в купе с фрагментами других выступлений лег в основу едва ли не самой остроумной статьи сборника «Почему Россия выбрала Путина. (Феномен Александры Марининой)». Парижский институт славяноведения задумал устроить конференцию по Марининой. Почему бы нет? Однако ужасающая серьезность, с какой отнеслись к предмету конференции слависты разных стран, становится предметом усмешки автора, не без чувства превосходства рассказывающего, как ей случилось взорвать чинный ход обсуждения. Стоило только предложить наивному славистскому сообществу темпераментный и беспощадный анализ семейной саги «Тот, кто знает» с ее полемическими выпадами против «бесплодной» элитарной культуры и оправданием «деятельности КГБ — ФСБ как силы, организующей позитивные сдвиги в обществе». «Главная героиня саги, „комсомолка, активистка и сексот“ — это для автора плодоносящее и кормящее <...> положительное начало», — припечатывает Иванова.

В статье сквозит осторожная ирония над славистами, проявляющими явную нечувствительность к качеству текста. Но ирония иронией, а конгрессы конгрессами. Они требуют особых докладов, с массой конкретных примеров и непременными обобщениями, с концепцией, доступной и приятной среднему слависту и соответствующей его ожиданиям, — там любят такие темы, как «Постсоветская литература в поисках идентичности», или «Перекодировка истории в современной прозе», или «О месте критики в прессе и литературе». Все эти статьи Ивановой (я привела подзаголовки, а называются они куда ярче — «После», «В полоску, клеточку и мелкий горошек», «Между») — избыточно подробны, не чужды просветительского начала, в них тщательно прописан фон — политика, общественные ожидания и настроения, в них может присутствовать полемика, но она никогда не будет безоглядной. И конечно, они требуют известного оптимизма. На трибуну всемирного конгресса славистов не вылезешь с чупрининским термином «нулевые годы», не скажешь о «бессильном отчаянии» и не ляпнешь, что литература «стала псякрев, стала всетерпимость». Это значит оскорбить любопытных славистов, да и ухудшить их положение: и так половину кафедр позакрывали. А Иванова свято чтит принцип политкорректности. Но она не упустит случая энергично возразить тем, кто сам не вписывается в этот принцип, — будь то Кушнер, обнаруживший в своем эссе застарелую неприязнь к Ахматовой, Владимир Войнович, создавший гротескный портрет Солженицына, или сам Солженицын, посмевшийся высказать довольно резкие суждения о поэзии Бродского.

Подозрительное отношение к Солженицыну, кстати, сближает Чупринина и Иванову, склонных сводить сложность и богатство его идей к упрощенно понятому национализму. Что ж до Бродского — то любить или не любить его, на мой взгляд, — право Солженицына, и в защите нобелевский лауреат не нуждается, как Шекспир не нуждается в защите от Толстого, а Достоевский — в защите от Набокова.

Книга Ивановой — действительно подарок славистам. Один раздел «Хроники» чего стоит. Пятнадцать статей, год за годом отслеживающие те изменения, которые происходят в литературе, — и это на фоне добросовестно-сдержанного анализа бурных общественных процессов. Да на этом целый лекционный курс построить можно. Десятилетняя дистанция — отличный и редкий ракурс для исследователя и участника событий, когда они еще свежи в памяти, и вместе с тем впечатления от них уже улеглись и позволяют отделить существенное от малозначашего. Мне, однако, больше по душе раздел «Персонажи», где присутствуют Виктор Астафьев и Фридрих Горенштейн, Юрий Давыдов и Эдуард Лимонов, Татьяна Толстая и Сергей Довлатов, Олег Чухонцев и Владимир Маканин. Я ценю эти работы, написанные по конкретному случаю, как образцы профессионализма, примеры того, как на небольшом пространстве лаконичной статьи можно совместить точную экспертную оценку с импрессионистичным личным взглядом. Но все же самый содержательный раздел — первый, занимающий почти половину книги и носящий название «Линии». В него вошли концептуальные статьи Ивановой, по которым, собственно, и можно судить о взглядах критика и их трансформации.

Суждения Ивановой всегда выверенны. Что нередко и раздражает ее давних оппонентов из лагеря газеты «Завтра» и «День литературы», интерпретирующих многочисленные и явные западные научные контакты Ивановой как некую тайную посвященность.

Не склонный особо доверять мифологии газеты «День литературы», Павел Басинский в рецензии на книгу Ивановой тем не менее ее использует: «Я Иванову уважаю потому, что вот уже много лет по ее статьям понимаю: какая там, наверно, погода... Только поймите меня правильно. Я на самом деле ничего не знаю. Я даже не знаю, в какой степени посвящения там находится Наталья Борисовна». Ну а если концепцию «масонской ложи» отбросить, то ирония Басинского окажется направленной на то, что Иванова «всегда держит нос по ветру», «всегда пишет о ком надо, когда надо и как надо». И как бы дальше критик ни уточнял, что «держат нос по ветру» ничуть не легко, неодобрение пропитывает авторскую колонку Басинского в журнале «Топос» — так ведь и рубрика обязывает, называется «Базаров».

Меж тем наблюдения Басинского не беспочвенны. Есть такие пары эпитетов, которые ходят под ручку и обозначают одно и то же, но окрашены в разные — черные и белые — тона. «Критик выражает свое время» звучит одобрительно, «держит нос по ветру» — уже порицание.

«Наталья Иванова умеет и любит быть в центре, откуда видно все, — эффектно сопрягая литературу с политикой, журналистикой, масскультом, коллекционируя (в иных случаях — яростно круша) социокультурные феномены и символы, она сознательно вычерчивает общую карту нашей словесности», — это пишет восторженно приветствующий книгу Андрей Немзер. «Любит и умеет быть в центре», — это не только точка обзора. Наталья Иванова умеет улавливать настроения определенной части интеллигенции и четко их транслировать — вот почему по ее книге можно судить не о капризах прихотливого пера, но о смене общественных настроений и ожиданий.

Книга Натальи Ивановой начинается, как и чупрининская, со статей перестроечного времени, мажорных по звучанию, и в них тоже витает дух надежды. Однако самые пафосные «большие и мудрые» статьи 1987 — 1990 годов в нее не включены. «Перечитывая сегодня свою статью „Испытание правдой“» («Знамя», 1987, № 1) «...вспоминаю свое эмоциональное авторское состояние: состояние азарта, подъема, открывшихся надежд, если не сказать — эйфории», — пишет Иванова. (У Чупринина в статье «Предвестие» наличествует именно такое состояние.) Да оно и вообще характерно для многих литераторов той поры, опьяневших от дуновения свободы, — отрезвление пришло много позже. (Не в укор говорю — сама испытывала то же состояние «азарта» и «подъема». И слово «правда» не к месту часто употребляла, и что мы еще увидим небо в алма-

зах — тоже верила.) Верила и Иванова. Однако предпочла предстать в книге скорее трезвым аналитиком, чем восторженным публицистом времен перестройки.

Первой в сборнике стоит статья 1990 года «Смена языка» (свободное слово после эзоповой речи), не столько обещающая прямо сейчас рождение новой литературы, сколько объясняющая, сколь тяжелыми будут родовые муки.

Как и Чупринин, Иванова констатирует в начале девяностых изменение роли писателя и места литературы в обществе. Нельзя не заметить того, о чем только и твердит литературная среда. Впрочем, можно найти успокаивающее объяснение. Писатель не сможет больше оставаться «властителем дум и изъяснителем „воли народной“»? Но и не надо. Литература по завершении периода «эзопова языка» займется своим делом. Читатель-монолит исчезнет? Не страшно. Иванова избегает слова «кризис». И в середине девяностых, и в начале нового века она протестует против разговоров «о смерти литературы, о ее сумерках, закате или рассвете». Она может даже прибегнуть в полемическом азарте к не слишком корректному обвинению, что говорят о кризисе лишь те, кто старше пятидесяти (тут просто биология), или те, кого преследуют неудачи, как Аксенов, у которого издательство «Рэндом Хауз» отвергло неудачный роман, а он пустился в рассуждения о гибели самого жанра. «Долго ли мы свои собственные проблемы будем выдавать за смерть самой литературы? Значит, если у N импотенция, так никто и не...?!» — прибегает Иванова к сомнительного вкуса остроте.

Но, исследуя движение литературы в своих статьях, о чем же пишет Иванова, какие сюжетные линии прочерчивает? После сурового идеологического сражения «западников» и «славянофилов» кто победил в этой борьбе, завоевал умы и души читателей? — спрашивает Иванова. И насмешливо отвечает: «Массовая литература». Отчего страдают отличные писатели советской эпохи вроде Искандера и Кима, что мучило честнейшего Игоря Дедкова? «Ощущение вакуума, в который попало слово». Откуда взялось это ощущение? Исчезла прежняя публика. Появились странные нечитающие люди, «которые хотят <...> чтобы их развлекали» («После», 1995).

Что происходит с литературой? Она выглядит «непонятой буквой, если не божьим, безнадежно скитающимся от одного коммерческого издательства к другому». Куда делось литературное событие? Его вытеснил литературный быт. А категорию «литературной эволюции» вытеснила «мода литературная» («Сладкая парочка», 1995). Нет, этими горьковатыми сентенциями, разумеется, не исчерпываются разнообразные сюжеты статей Ивановой — она пишет, находчиво сопрягая имена, события, факты, культурные явления, о процессах скорее позитивных: о возникновении внутри «высокой культуры» низовой, о рождении новой газетной критики, весело примеряющей разнообразные маски, о конце романа литературы с идеологией, о преодолении постмодернизма. Но тема кризиса остается важным внутренним и подспудным сюжетом этих статей, его нельзя не заметить, можно только оптимистично объяснить. Иногда оптимизма куда-то исчерпает. В статье «Пейзаж после битвы» (1993), рассуждая на конкретных примерах о конъюнктуре рынка, предьявившего свой счет к литературе, и писательском шаге ему навстречу, Иванова приходит к довольно неутешительным выводам:

«Удержал ли своего читателя тот писатель, который прямо и откровенно поставил на успех? Нет. Обрел ли нового? Тоже нет». Но тогда зачем, за какую чечевичную похлебку он продает свое достоинство, свой самостоятельный голос? — вопрошает критик.

Иванова любит использовать метафоры, любит цитировать классиков, любит эффектные начала и эффектные концовки и ценит внутренний сюжет статьи (вовсе не скрытый). Статья «Пейзаж после битвы», начавшись с пейзажа метафорического, с вопроса «что происходит в изыщной российской словесности», заканчивается цитатой с всемирно известной пейзажной метафорой «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». «Я всегда



думала, почему же в „сумрачном“? И только теперь, „пройдя“ и „очутившись“, — поняла.. Да, пейзаж перед нами расстилается обширный, но пока сумрачный», — признается критик.

Но Иванова не была бы Ивановой, если б, упомянув про лес и сумрак, тут же не выразила бы надежду, что каждый найдет в этом пейзаже свое место. В сумраке-то?

Главным «скрытым сюжетом» книги Ивановой оказывается «перемена участи», случившаяся с литературой на постсоветском пространстве и затронувшая всех — писателя, читателя, критика. У Чупринина эта перемена вызывает «бессильное отчаяние». Иванова предпочитает оптимистическую интерпретацию кризисной ситуации. Какая стратегия предпочтительней?

Есть две категории врачей. Одни твердо рубят сплеча: у вас рак. Другие, отводя глаза, улыбаются: «Вырежем полипы, ничего страшного». У каждой группы свои резоны. Критик не врач, конечно, и литературный процесс не исцелит. Но констатировать болезнь — может. Мне больше по душе трезвый стоицизм Чупринина, заканчивающего книгу советом Гёте «понять постижимое и спокойно принять непостижимое» и жить дальше, делая то, «что нам на роду написано». Но не могу не вникнуть и в резоны тех, кто, догадываясь о неприятном диагнозе, упорно верит в скорый и счастливый исход.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАЛЕРИЯ ПУСТОВАЯ



## НОВОЕ «Я» СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ: ОБ ОЧИЩЕНИИ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ЛИЧНОСТИ

*В. Маканин, С. Гандлевский — Р. Сенчин — И. Кочергин*

*Каждый критик по призванию (а критика, что бы там ни говорили, — одно из писательских призваний) после проб пера рано или поздно должен «пуститьсь на дебют» — выступить со своими «Литературными мечтаниями». Москвичка Валерия Пустовая совершает это на страницах «Нового мира» рано, то есть вовремя. Ей нет еще двадцати двух лет, она только что окончила журфак МГУ, защитив у Владимира Ивановича Новикова диплом на монументальную тему: «Самосознание современной русской интеллигенции. Личность. Литература. Культура». Уже помаленьку пробовала силы в «Книжном обозрении», «Знамени», «Русском Журнале», а в «Новом мире» опубликовала в марте этого года рецензию на книгу прозы Ильи Кочергина — подход к нынешней обширной статье. Участвовала в III Форуме молодых писателей, посещая мастер-класс критики у И. Шайтанова и Е. Ермолина. В общем, основательно замечена. Когда мы с ней попытались сформулировать ее главный на сегодня умственный интерес, ответ тоже прозвучал внушительно: «Профессиональное поведение и духовная ориентация современного литератора в контексте возрождения России».*

*Мне нравится, что Валерия Пустовая оселком для выражения своих взглядов выбирает крупные имена, в движении литературы показательные и даже непременные. Мне нравится бесстрашная энергия, с которой она отрясает прах вчерашней литературной эпохи, надеясь на «жизнекровность» будущей и задавая ей молодой импульс. Нравится живая пылкость и широта ее литературного лексикона, негolosловность ее суждений, рождающихся из пристального всматривания в текст. Далеко не все тут справедливо? Конечно. Но от Маканина и Гандлевского с их общероссийского значения романами не убудет из-за того, что Валерия грозит им кулачком; может быть, не без собственной пользы поймут на себе недоуменный взгляд новейшего поколения. В конце концов, «юность — это вездесудие».*

*А вот за Романа Сенчина мне хотелось бы заступиться — оттого что, насколько знаю, мало кому еще захочется это сделать: он раздражает далеко не одну Пустовую. Мне-то как критику он очень интересен, даже «по-человечески». Его «подробная автобиографичность» — по-моему, не «злой рок», а единственный для него залог литературной удачи. Он как заразы боится литературной лжи и, подозревая ее в любой возможной неточности, может писать единственно о том, что знает доподлинно. А это единственное — его собственная душа с ее внешними впечатлениями и внутренними движениями. Здесь ему неожиданно позавидует тот, кто выикал в столь любимые Пушкиным слова молитвы Ефрема Сирина: «Даруй ми зрети моя прегрешения...» Большинство «нравственных» и «порядочных» людей (включая пишущих!) не замечают за собой и десятой доли того, что видит в себе Сенчин. Его «серый» слог и дотошно описываемые мелкие перипетии житейя (за которыми стоит нешуточная и достаточно всеобщая драма неприкаянности) увлекают (меня) потому, что подле каждой строчки симпатическими чернилами вписан девиз: «Не лгать!» «Некрасивость убьет», — говорит отец Тихон про исповедь Ставрогина и про ее «слог». Сенчин решается на убийственную для него «некрасивость» — сознательно, а в рассказе «Чужой» — даже моралистически «подставляется». А молодой критик этим не без наивности*

пользуется, ломясь в распахнутую самим автором дверь. Замечу, что в новомирской повести «Вперед и вверх на севших батарейках», при множестве ее персонажей, этим «охаивателем действительности» ни о ком не сказано худого слова. Кроме как о себе.

Исповедь эта совершается перед кумиром литературы и литературной публики и, конечно, душу не исцеляет. Но и критик Валерия оказывается в роли плохого духовника, усугубляющего в «грешнике» сознание им же самим признаваемой вины — вплоть до безнадежности. Рекомендации отправить писателя «в жизнь», «на картошку», «в тайгу» мое поколение уже слышало в 50-е годы и вправе отнестись к ним скептически. «На картошке» Роман Сенчин уже побывал. Впрочем, непритворная ярость критика и ему пойдет впрок: «...для того, чтоб ощутить, убедиться, что я действительно чего-то стою... читаю ругательные слова о себе и своих вещах. Это подстегивает лучше всего»...

Рада поздравить Валерию Пустовую с первым серьезным актом вмешательства в литературную жизнь.

*Ирина Роднянская.*

### Попытка вернуться

«Я» думаю, что книге Гандлевского уготовано будущее и еще будут и время и повод к ней вернуться и перечитать. Лет, скажем, через десять. ...Это книга о вечных вещах», — писал Владимир Губайловский о романе «<НРЗБ>» («Новый мир», 2002, № 8). Прошло всего два года — и вот уже есть повод «вернуться». К межевым столпам отечественного литературного самосознания — «<НРЗБ>» С. Гандлевского и «Андеграунду» В. Маканина. Эти книги стали, как говорится, событиями, и от них, как от дат реальных катастроф, можно отсчитывать годы мирной созидательной жизни: мол, некая книга такого-то молодого автора вышла через N утрюмых лет после того, как наша литература, олицетворенная в актуальных образах героев-писателей Криворотова и Петровича, не без апломба и премиальных расписалась в своем творческом, коммуникативном и пророческом бессилии.

Печальный маячок, тускло приветствующий толкучий мирок литературной тусовки, — разочарованный Лев Криворотов в «<НРЗБ>». Могучий столбище, добровольно сошедший с лощеного писательского паркета на топкую почву подполья и там, в одиночестве и вязкой трясине жизни, одичавший настолько, что едва из железобетона не превратился в живое позеленелое дерево, — нерушимый Петрович в «Андеграунде». Вглядитесь в них — это лица уходящей литературной эпохи. «Книги о вечных вещах», говорите вы? Как бы не так. Сегодня я хочу вернуться к этим романам как раз потому, что надеюсь: они не о вечном, а о временном, остроактуальном — и потому преходящем: о странной (не значит: удивительной) личности современного литератора.

Мы рассмотрим наших героев не в самом удобном для них освещении: столкнем их лицом к лицу, да еще и сравним с персонажами так называемой молодой прозы. В. Маканин и С. Гандлевский (на)против Р. Сенчина и И. Кочергина — противостояние или диалог? покорная преемственность или переосмысление опыта? Всегда ли молодо — значит зелено, то есть свежо и живо?

Спросят меня: на каком основании проводится очная ставка таких непохожих героев? Общего в произведениях указанных авторов много. И прежде всего они объединены скрытой в их подтексте, но очевидной для современного литературного процесса проблематикой. Романы «<НРЗБ>» Гандлевского и «Андеграунд» Маканина — равно как и новые произведения Сенчина (рассказ «Чужой» — «Знамя», 2004, № 1; повесть «Вперед и вверх на севших батарейках» — «Новый мир», 2004, № 4) и даже далекие от внутрилитературной темы рассказы и повесть Кочергина (см. его сборник «Помощник китайца», 2003) — все эти произведения ставят вопрос о духовной состоятельности современного писателя, а значит, и о будущем нашей литературы, а также выводят нас на проблему *очищения*, освобождения и укрепления личности современного литератора. Отнесемся к этому со всей серьезностью: ведь «я» литератора — источ-

ник духа произведения, и вся бледность и блудность, низость и узость словесного искусства исходят из непроявленных, искаженных, неразвитых, подавленных писательских «я». «Осевая личность, обращенная к вечным проблемам и проклятым вопросам бытия, остается задачей современной литературы и перспективой духовного роста для современного сочинителя» (Е. Ермолин, «Идеалисты. Интеллигенция бессмертна!» — «Новый мир», 2003, № 2). Личность — актуальная художественно-философская проблема современной словесности.

«Писатель перестал претендовать на статус первопроходца, первооткрывателя неведомых земель и стран духа» (Е. Ермолин, «Цена опыта» — «Дружба народов», 2003, № 2). Но тогда кто он?.. Стирание границ между автором и героем в современной прозе (на что сетует М. Ремизова в статье «Первое лицо главного героя» — «Континент», 2003, № 116) — признак переходной литературной эпохи. Писателю необходимо новое самоопределение в ситуации общего духовного кризиса. Вот почему герой каждого из разбираемых нами произведений в той или иной степени близок личности автора.

Маканин целиком поддерживает абсолютную оппозиционность своего Петровича (ср. высказывания героя с маканинским эссе «Квази»); в персонажах Гандлевского не один критик узнал «своих» — членов литературного сообщества своего поколения; произведения Кочергина основаны на реальных событиях в жизни автора, и в порыве писательской откровенности его герой даже получает имя «Илья»; что же до Сенчина, то, как мы увидим, подробная автобиографичность стала злым роком его художественного мира.

Речь идет даже не о буквальной автобиографичности, а о мировоззренческой автопортретности, символическом выражении автором своих духовных принципов и достижений в образе героя. «Неужели действительно ушел предмет, утрачен как факт обладатель личностного самосознания — и общество превратилось в сумму технологий? ...Или, может, причина лишь в своеобразии современной писательской среды? И это сам писатель выписался из интеллигенции?» — Е. Ермолин в упомянутой статье «Идеалисты» диагностирует кризисное настроение современной литературы, по видимости разочаровавшейся в вечных ценностях и самой себе, как отражение внутреннего духовного упадка самих литераторов. В этом смысле идейно и/или биографически близкие своим создателям герои Маканина, Гандлевского и Сенчина могут быть восприняты как прямые свидетели духовного неблагополучия современного писательского миро- и самоощущения.

Во всех указанных произведениях рассматриваются отношения человеческого «я» и мира, или, мельче, «я» и общества, или, уже, «я» и литературной общественности. Это понятно и неизбежно. Ведь «я» рождается, когда человек заметит мир. «Я» — это явь мира и проявленность человека в нем. С точки зрения развития литературы, не только личность автора нуждается в прояснении, но и сам мир должен стать ясным в глазах писателя. В слове «мировоззрение» два корня — бытие нуждается в двух началах: взирающем и ищущем человеке — и циклично повертывающемся вокруг своей оси мире (когда ни взглянешь — *никаких новостей под солнцем*). Провозглашенный молодыми «новый реализм» — это их новое внимание к реальности, обострившаяся чуткость к мировым ветрам и течениям.

Отношения «я» и мира отражены в рассматриваемых нами произведениях на нескольких уровнях. Показательно и похвально для Кочергина, что именно у него дан полный набор оппозиций личного и внеличного. Назовем их «Я» и обыденность: потасовка героя с повседневностью, противостояние хищным законам мирской необходимости («Алтынай» и повесть «Помощник китайца»). «Я» и используемый мною мир (ключевой образ — «зеркальный пузырь» из рассказа «Потенциальный покупатель»: «Я читал, что каждый из нас всю свою жизнь сидит в таком пузыре с зеркальными стенками и на что ни поглядит — видит самого себя, в смысле свое отражение. Глядишь, например, на медведя и видишь не медведя, а дикого зверя, который может тебя убить, смотришь на симпатичную девочку и думаешь, как было бы приятно ей ножки раздвинуть.

Не их видишь, а, скорее, себя самого на девочке или под медведем...») — в этой оппозиции человек предстает как «юзер», то есть пользователь. Он подминает под себя реальность и рвет ее на сладкие доли, не замечая, что это его самого теснит и терзает слепая жадность, бредущая за поводырем-тщеславием. «Я» и мир — в рассказе «Волки» герой Кочергина впервые замечает мироздание. Его ночной таежный ужас перед заглывающим уютную дневную реальность хаосом мира — настоящий прорыв по сравнению с маленькими страхами безденежья, безбабья и бесславья у героев Гандлевского, Маканина и Сенчина. Наконец, испытание личности тщеславием, оппозиция истинного жизненного пути — и иллюзорного, обществом навязанного «я» («Помощник китайца», «Рекламные дни»). Общепринятое модное «я» — главный соблазн в современном обществе обсосанной рекламной мечты и сусальных жизненных стандартов.

Если человек проигрывает хоть одному из указанных врагов — его личность искажается. В произведениях Маканина, Гандлевского, Сенчина и Кочергина герой заявляет о том, что его «я» искажено несвойственной ему жизнью, и ищет путь к освобождению своей личности от оков общепринятого и обыденного. Однако степень очищения, освобождения, *оличения* (от слова «личность») у выбранных нами персонажей разная. Писательское «монашество» Романа Сенчина (см. его повесть «Вперед и вверх на севших батареях») сравнимо с охотничьим постом героя Кочергина и одиноким подпольем маканинского Петровича — как будто. На деле же приклеившийся к письменному столу герой Сенчина только у начала пути к своему истинному «я», и в этом смысле он продвинулся не дальше героя Гандлевского, никуда от ложного-себя не убежавшего и навсегда оставшегося на старте жизни. На их фоне волевыми и яркими выглядят Петрович Маканина и автобиографический герой Кочергина. Между тем в освобожденности этих персонажей есть что-то неустойчивое и угрожающее. Герой Кочергина, вернувшийся из очистительной тайги в Москву, торопится свергнуть себя в прежние искажения. Герой Маканина, освободивший себя от тщеславия литературного сообщества, тотчас оказывается жертвой тщеславия андеграунда, заложником своего желания исчезнуть из сколько-нибудь *общего* (от общепринятого до общечеловеческого) контекста идей и ценностей. Порыв к своеволию заставит его принести две человеческие жертвы своему обожествленному «я». Что угрожает таким героям, мужественно сделавшим первый шаг к истинному «я»? Опасность — в остановке на полпути. Тайна очищения личности в том, что оно двухэтапно, и бегство от литературы и тщеславия (Петрович), от города и карьеризма (охотник Илья) — только первый, отрицательный этап освобождения. Он должен подготовить человека ко второму шагу — битве со своим «врагом» на новом уровне. Н. Бердяев писал, что покаяние должно сменяться новым, творческим этапом жизни и без этого перехода к обновленной активности пассивное самобичевание бессмысленно. Так и литературное покаяние («монашество», бегство, подполье) должно вылиться в литературное *подвижничество* — двигаться надо, сдвигаться с точечной кочки одиночества, зализав раны самоанализа — бухнуться в омут жизни и попытаться осветлить ее мутный поток, пропустив через фильтр своей очищенной индивидуальности.

#### Маканин — Гандлевский

**Бим и Бом.** С какими только персонажами не сопоставляли Льва Криворотова — а вот Мария Ремизова далеко ходить не стала и сравнила его с Петровичем Маканина (см. упомянутую выше ее статью). Ее поразила творческая истощенность обоих героев-писателей. Между тем это главное, но не единственное их сходство. Их судьбы диаметрально противоположны, но это противоположность конечных точек одной и той же прямой. Оба героя — люди переломного возраста, подводящего итог под активно-зрелым периодом жизни (пятьдесят и пятьдесят пять). Оба — литераторы. Только Петрович — «литератор» подпольный, а Криворотов — официальный. Заметно, что ни для одного

из них потеря творческой способности как будто не является трагедией: Петрович считает, что его личность больше литературы («мое „я“ переросло тексты. Я шагнул дальше»), Криворотов, напротив, — что меньше («потосковал малость, но вскоре понял, что эти скромные габариты — его габариты и есть»). Их литературное непризнание можно толковать как обычное непризнание. Оба оказались нежизнеспособны и к отлоному склону жизни прибрели в одиночестве, без друзей, семьи и любви, без дела жизни и духовных ценностей, без цели и надежд. Поразительно сходны и образы гениев в обоих романах. Очевидно, что, с точки зрения авторов, гений — поэт Чиграшов в «<НРЗБ>» и художник Веня в «Андеграунде» — не может быть главным героем, да чего там, вообще *не может быть*. Гении вытолкнуты на литературную и жизненную пенсию — на почетную обочину повествования, в алкоголизм (Чиграшов) или сумасшедший дом (Веня). Образ гения — оговорочка по Фрейду, один из главных страхов современного литературного подсознания. Его появление в романах о писательском мире обусловлено, с одной стороны, глубинной тоской авторов по гениальности, усталостью от общего смирения с посредственным в искусстве. В то же время очевидно, что гениальная личность абсолютно невыносима для современного литературного сознания. Сегодняшнее литературное «мы» — это Криворотов с красной рыбой на «верткой тарелочке» («<НРЗБ>»). *Богатыри — не «мы»*. Вот почему Маканий и Гандлевский ведут повествование от лица героев с посредственным талантом — в него сегодня верят и его принимают, а гений — это невообразимый Муромец из старой сказки, вытесненный с широких полей жизни на поля романа и там, в уменьшенной копии своей, исподтишка прихлопнутый авторским пером.

**Литература как невеликая иллюзия.** Судьбы Криворотова и Петровича, разбегаясь в противоположные стороны, исходят из одного посыла. Отсчет их писательских жизней ведется от понимания литературы как ярмарки тщеславия, распределения мест в литературном процессе. Так, в своем желании напечататься Петрович обнаруживает суетную потребность в общественном признании, тщеславную претензию на всеобщее одобрение: «Не стоило и носить рукописи — ни эту, ни другие. К каждому человеку однажды приходит понимание бессмысленности тех или иных *оценок* как формы признания. Мир оценок прекратил свое существование». Образы преуспевших писателей в «Андеграунде» похожи на жалкие фигуры измотанных карьерной гонкой горожан в «Помощнике китайца» или «Потенциальном покупателе» Кочергина, а выпавший из литературного контекста Петрович на их фоне так же свеж и яростен, как возмужавший в таежных походах Илья. Мораль такова: литература стала одним из путей к иллюзорному «я», видом карьеры, способом занять место под солнцем. «Потенный испуг Смоликова — испуг всякого нынешнего с именем, понимающего, что его слова, тексты, имя (и сам он вкуче) зыбки, ничтожны и что только телевизионный экран, постоянное мелькание там делает из ничего *нечто...*» («Андеграунд»); «В прошлую пятницу... чувствовали очередную модную бездарь... Она... обменивалась репликами с помятой позавчерашней знаменитостью... а на них двоих, усаженно сглазывая и почтительно соблюдая дистанцию, палились звезды восходящие, послезавтрашние» («<НРЗБ>»). М. Ремизова делает смелое обобщение: «Возможно, в задачу автора входило вообще взять под сомнение значимость *любой* литературной фигуры... Гандлевский выносит своего рода приговор — если не *писателю* как таковому, то литературному миру как среде, способной лишь задушить, но не произрастить» (статья «Первое лицо...»). Подлость статусной литературной среды в том, что она, как все модное и высоко расцениваемое (не обязательно — ценное) обществом, очень привлекает людей, готовых принять писательскую судьбу как звание, а не как призвание. Такие люди оказываются в ловушке выбранного ими ложного пути: «Внешний вид победителя и внутренняя несвобода, а вскоре и тайная зависимость... от литературного процесса... в этом теперь весь Зыков... Оно (имя) вело его и повелевало им. ...Самое тяжелое... то, что он, Зыков, должен все время суетиться: откликаться в газетах, выступать, заявлять...

иначе уже завтра имя потускнеет, заветрится, как сыр...» («Андеграунд»). Суетиться вынужден тот, для кого литература не стала интимным делом, неизбежной дорогой к самому себе. Как раз о таких, успевших на писательский поезд и потерявших себя в беге по разлинованным бумажным путям, — о таких литераторах пишет в «НРЗБ» Гандлевский.

**Два решения.** Очиститься от «липкой горечи нашего тщеславия» («Андеграунд») — или подчиниться общей мечте *о месте* в истории литературы? Петрович выбирает первое. «Ни носить рукописи, ни создавать тексты уже не обязательно», — не обязательно писать, чтобы быть человеком. Маканин уповаает на истинное достоинство личности, несводимое к писательскому статусу. Вот почему отказ героя от творчества подается в романе не как трагедия, а как светлый выбор, освобождение от литературности, выход в настоящую, свободную от текста жизнь. «Я с легким сердцем ощутил себя вне своих текстов. Ты теперь и есть — текст. ...Живи», — говорит себе Петрович. Человек-текст — это, в идеале, человек-жизнь — тот, кто «пишет» самого себя, живя не по окрику общества, не по шепотку обиденности, а так, как сам решит. Это мужественная попытка литератора выйти в бессловесную реальность.

Герой Маканина претендует на исключительность — герой Гандлевского откровенно типичен. Криворотов остается в контексте общественных оценок, превращает всю свою жизнь в один из второстепенных моментов литературного процесса. Неоригинальность, зависть к чужому материальному благополучию, потребность в общественной оценке — типичные, если верить Маканину (образы преуспевших писателей) и Гандлевскому (образ главного героя), свойства человека литературной толпы. А отсутствие глубинной творческой способности — его типичная драма.

**Пусто место и губаста невеста: об истинном пути Криворотова.** Криворотов с юных лет мечтает о подслушанной где-то судьбе — быть знаменитым писателем. Он идет к первенству не по своей дороге — и поэтому всюду приходит вторым. Вторичность героя постоянно подчеркивается в романе на самых разных, от творческого до любовного, уровнях. Он добился своего — и оно оказалось чужим. «Место в истории литературы мне обеспечено» — за счет вторичного творчества, «чиграшововедения», которое, как признается герой, в свою очередь близится к самоисчерпанию. Криворотов не искренне, против желания, не творчески «ведает» поэзию Чиграшова. Он просто уцепился за нее как за последний шанс быть принятым в литтусовку. А все потому, что так и не смог освободиться от навязанного себе иллюзорного «я»: я, мол, поэт — и никак иначе. Между тем его истинная судьба незримо шла рядом...

...Критикам почему-то не понравилась Аня. Осталось незамеченным ее живительное обаяние, какая-то теплота, неяркая, но ощутимая женственность, которые-то как раз и манят далеких от жизни буквенных героев — Чиграшова и Криворотова. Аня — залетевший в книгу зеленый листок, малая копия кортасаровской Маги из «Игры в классики» (не по яркости образа, а по его фактическому содержанию). Что позволяет нам думать об Ане как о символе жизни? Во-первых, ее зоркость к реальности, чего лишен Лев: «Аня была поэтически зряча в живой жизни, и ее наблюдательности Криворотову случилось и позавидовать... Что готовый к побегу кофе будто бы силится снять свитер через голову — это он у нее позаимствовал». Во-вторых, то, что она играет роль вдохновительницы. Ведь именно благодаря ей Чиграшов написал единственное в зрелом возрасте стихотворение. Однако Аня — жизнь больная, ушибленная, потерянная. Ей и Леве следовало найти опору друг в друге: она подарила бы ему реальность и тепло жизни, он ей — свою робкую одухотворенность. Но Лев ослеплен мечтой о литературной славе — и, обездвиженный вялой своей мечтой, оказывается недостаточно мужествен и зрел для Аниной любви. Помните, она говорит ему: «Мне надо полюбить. Лучше, конечно, тебя, — я правда хочу полюбить тебя...» Аня бросается от зеленого еще Криворотова к перезрелому Чиграшову, отдает ему свою теплую жизнечерность — но что получит взамен? Какая опора ей в этом человеке, который слишком истощен

и холоден, чтобы оценить в ней что-нибудь, кроме ее большого, «совершенно неприличного» рта. Этот рот — символ извращенной, надломленной жизненности Ани.

В критике звучал вопрос: почему Криворотов перестал слагать стихи? Списывали и на несчастную любовь, и на то, что он якобы подставил Чиграшова на допросе у следователя. Причина тут, мне кажется, очевидная: творческое банкротство можно было предугадать с самого начала («Ведь есть же оно под черепом, есть, но как свихнуть мозги, чтобы облечь это дело без потерь в слова...»). Талант исчерпала сама жизнь, потекшая не по своему руслу. Допрос же Леву, наоборот, воодушевил: «Все случившееся тому порукой, что я — настоящий, всамделишный поэт».

Но «всамделишным» поэтом ему быть не суждено — тогда кем же? Разочарование в своем творчестве обесмыслило только иллюзорного Криворотова, настоящий Лева мог бы спокойно обойтись без «стихоплетства» — но не без любви: именно после смерти Ани у героя «растет убеждение, что ты опоздал, разминулся, ошибся жизнью». «Лев Криворотов умудрился влюбиться дважды в течение одной недели, и оба раза пылко. Во вздорную сверстницу и в поэта средних лет с репутацией живого классика». Мы осудили вторичность героя, но, может быть, в положительном смысле это — наек судьбы на его место преданного поклонника при ярких, манящих людях? Истинный путь, путь любви и прославления обожаемого объекта, избавляет Льва от наносного самолюбия, от оглядки на то, каким его видят окружающие: «Лев, как шут гороховый, до полного забвения самолюбия будет день-деньской метаться по городу, раскиснув от чувств к двум людям зараз и добываясь их расположения». Это искренность преданной вторичности, радость от бытия-подле-другого.

Иллюзорный Криворотов извращает свое предназначение. От преданности переходит к предательству. Герой предал не Чиграшова — он предал любовь, а тем самым и себя самого. Предал любовь к Ане — в расчетливо-малодушном продолжении связи с Ариной. Предал любовь к Чиграшову — в «шпионских потугах» выбиться «в конфидененты гения», в тщеславном желании использовать его славу для продвижения к своей.

Кумир нашего времени. Если бы герой Маканина захотел очистить себя только от литературного тщеславия, он стал бы героем *нового* времени, жизне-творческим человеком. Однако драматичность его образа в том, что литературность — лишь одно из звеньев в долгой цепи противостояний, сковавшей дух Петровича. Оппозиция литературности накладывается на оппозицию обществу, актуальную для антисоветского человека. То есть протест Петровича получает сразу и социальный, и экзистенциальный смысл. Он смешивает ценности этих миров, перестает отличать идолов общества от святых духа. Протест против литературы выливается в отказ от творчества; неприятие навязанных советских идеалов приводит к сомнению в любых общепринятых ценностях; оппозиция государству рождает отчуждение от мира; отвращение к обывательской толпе вызывает презрение ко всему человечеству. Мир, человечество, общество, государство, ценности — все это для Петровича явления одного порядка, все это не-«я», угрожающее свободному самоопределению его личности.

Маканин любит Петровичем как иллюстрацией к своей идее о безрезультатном, но стойком противостоянии индивидуума-интеллигента бездуховной энергии воцарившейся в современном мире толпы (снова сошлюсь на его эссе «Квази»). «Маканин всю сакрализует своего Петровича» (М. Ремизова, «Первое лицо...»); «Не раз и не два мы замечали, что в романе нет определенной авторской позиции... Маканин... передоверил повествование герою. Но... избрав [эту] манеру повествования... Маканин просто-таки совпадает с героем... Как-то незаметно роман превращается... в апологию героя» (Е. Ермолин, «Человек без адреса. Роман Владимира Маканина „Андеграунд, или Герой нашего времени“ как книга последних слов» — «Континент», 1998, № 4). Маканин воспевает оппозиционных миру индивидуумов как «Божий эскорт суетного человечества», не задумываясь о сущностных качествах этого «эскорта».



Петрович, по воле Маканина, приветствует вечный андеграунд как принципиальное неучастие индивидуума в любом общественном деле, устойчивую невовлеченность личности в общую реальность: «Прочтений (интерпретаций) русского отступничества достанет на всякий вкус... При любом здесь раскладе (при подлом или даже при самом светлом) нас будут гнать pinkами, а мы будем тыкаться из двери в дверь и восторгаться длиной коридора!.. Что до светящегося окна в самом конце коридора... оно не означает, кстати сказать, выхода: не означает ни выхода, ни конца туннеля, ни путеводной звезды, ни даже знака — это просто наша физическая смерть, износ тела». Но познаём дерево по плодам, а не по словам его. Меня поразила та почтительность, с какой большинство критиков писали о герое Маканина. Было ли это остаточное уважение к его писательскому статусу? действие маканинского авторитета? наивная доверчивость к высоким *речам* героя? просто невнимание к сути образа? Недоуменный ужас — вот что должна была вызвать эта фигура, а тем более авторское любование ею, что бы там ни говорил Маканин (а он говорит, и не только в романе, но и в устных выступлениях — скажем, на прошлогоднем Форуме молодых писателей) о достоинстве принципиального бесцельного, безвыходного («ни конца туннеля, ни путеводной звезды, ни даже знака») подполья. Петровича нельзя назвать ни настоящим отшельником, ни философом, живущим исключительно духовной жизнью своего «я». Его существование так же зависимо от потребностей, как жизнь окружающей его «толпы»: у него нет семьи — но много случайных, без любви, связей; друзья его в первую очередь выступают как собутыльники, а подавление литературного тщеславия оборачивается невиданной агрессивностью его гордого «я», провоцирующего героя на два убийства.

У оппозиционного толпе индивидуума — почти гротескная озабоченность противостоянием надличному контексту: любой нажим реальности удесятерит силу упругости его «я», провоцируя его на агрессивный ответный выпад. Его освобожденное «я» становится его новым господином: «Досадно было другое: я не сумел не обидеться. Неужели вид со стороны, взгляд и вид чьими-то чуждыми глазами все еще может меня задеть, царапнуть?»; «каково будет пережить еще и униженность? Завтрашний спрос с самого себя, чем и как завтра оправдаюсь?». Герой подпадает под власть подполья как иллюзорного «места», репутации, новоприобретенного статуса: «Через пять или десять, через сто лет (вон куда дотягивается тщеславие агэшника) я окажусь осведомителем... У агэшника ничего, кроме чести...» — заранее оправдывает он себя за убийство доносчика Чубисова. Это вывороченная, опрокинутая в жизнь кривошея, «липкая горечь» прежнего тщеславия. Иллюзорное «я» раздувается до размеров нового надличного контекста, до новой поработавшей системы, дикого культа — Петровичу от него «некуда деться; вынужденное, выпестованное всей моей жизнью, он [доносчик] загубит *мое* — большее, чем я». Герой воспринимает убийство как выполнение долга перед своим «я». Поэтому так торжественно (и страшно) звучат его размышления об уже совершенном убийстве Чубисова: «Я опять был человек. Моя жизнь, какое-никакое мое бытие, а с ним и мое „я“, а также мои былые тексты (что еще?..) возвращались теперь к себе домой, шли вместе сереньким асфальтом, шли рядом и как бы держась за руки — как шли бы домой сбереженные в чистоте дети».

Общепринято, что для Маканина важна проблема индивидуальности, ее выживания в современном мире. «По Маканину, у человека три ипостаси: либо он безличный представитель биологического вида *homo sapiens*, либо стремящаяся воплотить свою уникальность личность, либо вновь безлика часть толпы, утопившая эту самую уникальность в коллективной безответственности» (А. Генис, «Прикосновение Мидаса: Владимир Маканин» — «Звезда», 1997, № 4). Между тем обостренное переживание кризиса индивидуальности в нашу эпоху: «Как задействовать ресурсы личности, растворенные в толпе? Сейчас в ходу состояние индивидуума на уровне ощущений. Почти зоология» (повесть «Лаз»), — мешает писателю увидеть путь к подлинной лич-

ностной реализации, замыкает его на идее стойкой оппозиционности индивидуума любому надличному контексту. В этом смысле неуместна следующая оптимистическая трактовка проблемы личности в романе «Андеграунд»: «Для него [Маканина] значима одна-единственная хронологическая мета: „А до XXI века рукой подать“... Его занимает один-единственный вопрос: „быть или не быть“ человеку, человеческой личности, человечеству в целом»; «Сломать человека... чуть-чуть сложнее, чем его убить. ...Петрович... знает это как никто другой, а потому до конца сохраняет некое подобие надежды: есть все-таки маленький шанс, что человечеству в XXI веке — быть» (А. Архангельский, «Где сходились концы с концами» — «Дружба народов», 2001, № 2). Напротив, роман, по нашему мнению, отражает кризисность мироощущения Маканина, то, что он отчаялся в личности: «Маканин... не видит для писателя иного пути, кроме как к личностному краху. Оба варианта — и самодовлеющий бунт подпольщика, утерявшего дар *слова*, и униженное вымаливание материальных благ деградировавшим писателем „из бывших“ — равно отталкивающи и равно безнадежны» (М. Ремизова, «Первое лицо...»).

Убийства — это тупик на первом этапе личностного самоочищения и указание на невозможность второго. Герой, выбравший жизнь, оказывается только выбравшим себя и останавливается на достигнутом. Полное освобождение предполагало бы внутреннее очищение Петровича до органичного для него состояния свободного духом, возвысившегося над мирскими потребностями отшельника. Но повторному пересмотру своего «я» мешает закаменелость героя в новой иллюзорной роли «матерого агэшника». Так, кульминационный эпизод в психиатрической больнице, где героя пытаются «развести» на раскаяние, нельзя рассматривать с моральной точки зрения (как наказание за убийство и очищение души — см. статью А. Латыниной «Легко ли убить человека?» в «Литературной газете» от 29 апреля 1998 года), ибо он не ведет к преображению героя. После выхода из больницы герой ни в чем не изменяется: по-прежнему он демонстрирует свою бескомпромиссную подпольность, презирает людей, отстаивает свое «я». И если учесть, что все вышеназванное как раз и привело Петровича к преступлению, то можно сделать неутешительный вывод: в первой же критической ситуации убийство может произойти еще раз.

Иллюзия альтернативы. Криворотов и Петрович оказались заложниками надуманной альтернативы. Или слава литератора — или ничего, загадывает герой Гандлевского. Лучше уйти в спасительное ничто, иначе — зависимость от государства, тщеславия и материальных благ, решает герой Маканина, противопоставляя себя чиновникам, преуспевшим писателям и коммерсантам. Оба оказываются в ситуации безвыходной альтернативы: можно быть ужасным Никем — или расплывчатым Всяким. Оба не смеют найти себя вне ее. В действительности всегда есть третий путь: любовь к Ане и преданное почитание Чиграшова у героя «<НРЗБ>» и духовное отшельничество у героя «Андеграунда».

### Сенчин

Последние произведения Романа Сенчина оставляют критика в неприятной задумчивости: кому посвятить свой отзыв — персонажу сенчинских рассказов и повести или самому Сенчину как реальному «персонажу» литературного процесса? «Перед нами кусок из новой прозы, где впервые без недомолвок Сенчин пишет про себя. Это рискованный рывок. Во-первых, непонятно, что дальше, про кого? Во-вторых, награждая героя собственным именем, автор смело снижает планку, вроде как показывает свою неспособность... к придумкам. ...Главное — не переиграть в „исповедь“...» (С. Шаргунов, «Смурной охотник» — «НГ Ex-libris», 2003, 20 ноября).

Новые произведения Сенчина предельно автобиографичны. Это самоанализ на уровне исповеди перед медицинской картой. Обидчивая серьезность большинства высказываний убийственно нелепа, и редкие проблески самоиронии не извиняют избыточную бытописательность этих откровений. При

этом нельзя сказать, что протокольная откровенность рассказа «Чужой» или повести «Вперед и вверх на севших батарейках» (далее для краткости обозначаемой просто «ВВ») открывает нам совсем новый облик героя-и-автора. Напротив, ощущение его тягучей узнаваемости подсказывает нам ту мысль, что Сенчин с каждым своим произведением все ближе и ближе подходил к этой пропасти неприкрытого самоописания, все с большей беззастенчивостью надевая своих героев однообразным набором собственных переживаний и качеств: «Фигню ты пишешь, Сенчин... У тебя же все одинаково. Все — дерьмо. Бухают, блюют, никто ничем не занимается, а если вдруг и работают, то обязательно работа хуже тюрьмы» («ВВ», реплика подружки Тани).

У многих может возникнуть соблазн рассматривать автобиографичность произведений Сенчина как особый художественный прием. Попробуйте, однако, прочитать вслед за последней, тоном *флагмана* молодой литературы написанной повестью «Вперед и вверх на севших батарейках» — ранний рассказ Сенчина «Вдохновение» («Октябрь», 1997, № 12), опубликованный в рубрике с дебютантски непритязательным названием «Новые имена». Вам откроется, что рассказ наделен абсолютно теми же, что и в повести, сюжетом (метания героя между обывательскими радостями и писательской стезей), пафосом (прославление неотмирности и нежизнеспособности писателя), героем («усталый, забитый, злобный» в рассказе «Вдохновение», он и в повести ничуть не сильнее, не свободнее и не добрее). Это сопоставление приведет к неизбежному выбору: или мы воспринимаем автобиографичность как прием, отчуждающий автора от героя, но тогда повторяемость формальных и содержательных основ этого «приема» неизбежно поставит нас перед выводом об абсолютной неспособности Сенчина к творческой эволюции (что равносильно обвинению его в самоисчерпании как феномена литературы); или мы признаем в автобиографичности наиболее доступный для автора способ воплощения главного идейного мотива его духовного мира, и тогда произведения Сенчина предстанут перед нами как еще одно, наряду с «<НРЗБ>» и «Андеграундом», проявление кризисного самосознания литературы, как отражение духовного неблагополучия личности современного писателя. Последний подход кажется мне наиболее верным.

Сенчин получил признание благодаря современным ноткам и основательному охаиванию окружающей действительности — на фоне грезящих о прошлом литераторов старшего поколения. Между тем уже сейчас видно, что доля новизны, свежести в мироощущении Сенчина очень невелика. Мироотрицание Сенчина происходит изнутри отрицаемого мира, в полном согласии с его потоком. В его произведениях нет ощущения творящей авторской личности — нет символизации, меткости, мысли, обобщения — это почти домашние съемки, почти околоискусство. Его неприкаянные герои, их темный, знакомый большинству наших сверстников мир — не плод свободного творчества, а запись подробной, боящейся чего-то не упомянуть исповеди, недоуменный взгляд: мол, вот так бывает на свете — и что вы думаете по этому поводу? Сенчин вполне адекватен описываемой им реальности, он ни в коем случае не выше, не вне ее.

Сенчин — первая манифестация заболевания, первое заявление современного человека о потребности в очищении. Смысл его произведений можно свести к одной мысли-мечтанию: «Как бы сделать житуху повеселей, чтоб в душе было легко и просторно» («Афинские ночи»). Он задает вопрос — но не отвечает на него. Историческая ценность его произведений — в постановке задачи, решить которую под силу авторам с принципиально иным, чем у Сенчина, мировоззрением.

«Чужой» или «свой»? Рассказ «Чужой» продолжает линию Гандлевского в самосознании литературы. Его герой — типичный литератор средней известности, погруженный в стандартные вялые думы о своей жизненной неприкаянности. Но если Гандлевский описывает человека, чья жизнь осложнена так называемым советским прошлым и — ныне уже — немолодым возрастом, то Сенчин говорит от имени носителя чисто современного, освобожденного от

идеологического пресса сознания, которому не на кого свалить вину за свои неудачи. Под пером Сенчина Криворотов помолодел, раскрутился, разжился деньгами — но осталось в нем какое-то пятидесятилетнее одышливое безволие. Гандлевский пишет о типичном, но все-таки вымышленном персонаже — Сенчин говорит о самом себе, окончательно передвигая проблему личности писателя из области литературы в ведение психологии и истории нравов.

Рассказ построен на контрастной аргументации: герой запутался в противоречивых своих желаниях и раскладывает по ящичкам доводы «за» и «против» того или иного развития своей судьбы. Источник колебаний героя — в его благородной писательской неприкаянности (так хочет думать автор) или в неопределенности его личности, которая не знает о себе, чего она хочет и куда ей идти (так думается мне). Сенчин воспроизводит миф о высокой *неотмирности* писателя, невозможности для него принадлежать к какой-либо общественной группе, участвовать в событиях реальной жизни. Но до смешного пониженный уровень этой неприкаянности превращает писателя в неудачливого приспособленца, выбирающего норку потеплее для своего капризного, малодушного тельца.

Герой Сенчина — столичный писатель, выходец из провинции. Его происхождение сразу же задает тему жизни между мирами, ставит его перед выбором: вернуться в родные места и зажить как все «нормальные» люди или обосноваться в комфортабельной, но так и не ставшей второй родиной Москве? Ни в одном из этих миров он не стал «своим». У него, как у Криворотова, есть место в литературе — и ему так же *нет места на земле*. Ни семьи, ни дома, ни любви. Герой лишен чувства творческого призвания и готов променять вдохновенный писательский труд на румяные радости деревенского быта — и в то же время он обделен вкусом к простым трудовым удовольствиям и потому готов бросить здоровую сельскую жизнь ради возможности ходить в супермаркет и получать столичную зарплату. Герой презирает темную толпу — и тщеславно желает быть признанным ею: он делает вид, что пренебрегает лестным вниманием односельчан, но на деле задет малотиражностью местной газетки, бесполезной для его славы. Он мечтает преодолеть свое одиночество — и страдает от первого же постороннего сознания, которое добродушно вмешивается в его унылый исповедальный монолог. Этим вторжением начинается и заканчивается сюжетная часть рассказа, выявляя духовную суть героя. Знакомая-односельчанка поведала ему о том, как помогла пожилой почтальонше исправить ужасную оплошность: сослепу или с устатку та отдала пятнадцать тысяч рублей людям, которым причиталось только полторы, — а они, хоть и признали ошибку разносчицы, отказались вернуть добытое на чужой беде. Герою скучно слушать толстоногую свою собеседницу — и он по-своему выводит мораль из этой истории: «Народец... И ведь до чего отупели, даже фантазии не хватает сказать: нет, получили мы полторы тысячи, как положено, ничего не знаем. И все бы, никто никогда не доказал. Наглости хоть отбавляй, а мозгов... Обыдлился народ до предела». Именно реакция героя должна обеспокоить нас. Реальную беду почтальонши удалось исправить — герой Сенчина от своего несчастья не выльчится, может быть, никогда. Его беда — в увечной литературности его сознания, которое ушло от непосредственного восприятия жизненных впечатлений в накопление их с одной целью — накопать очередной рассказик, поддержать свой писательский статус. Во время разговора о почтальонше в душе героя живет не сочувствие, а расчет: не написать ли об услышанном? Он хочет выступить в традиционной для писателя роли обличителя тьмы: «Написать такую вещь, по содержанию она будет близка распутинским „Деньгам для Марии“... И показать, что через тридцать с лишним лет ничего не изменилось, а, скорее, страшнее стало, бесчеловечнее...» Но вот чем он в действительности озабочен: «Только вот проблема с деталями. Надо знать детали, без них выйдет неправдоподобно... Что, например, это были за пятнадцать тысяч — действительно перевод или что? Как почта сортируется? Какой штат их почтамта?»

Рассказ «Чужой» — реквием по «своим», по средним литераторам поколения безверия, безмыслия, безбудущности. В нем есть еще проблески самоиронии, которые исчезнут в блеклом самодовольстве повести «Вперед и вверх...». Сенчин бьет себя по щекам: проснись, опомнись, измени свою равнодушную ко всему, бессмысленную жизнь!

После «Чужого» Сенчину необходимо было писать и жить по-новому, это превратило бы рассказ в целительную автопародию. Однако Сенчин не сделал вывода из своего же текста. Повесть «Вперед и вверх...» — уже не реанимация, а морозильная камера морга, не покаяние, а упорство во грехе, не открывающий истину самоанализ, а ложное самоутверждение. Сенчин настаивает на высокой исключительности себя-писателя — мы же видим его абсолютную неоригинальность, неотличимость от презираемой им обывательской толпы.

Герой повести провозглашает свою оппозиционность большинству, но она ему не по силам; это всего лишь повод для постоянных колебаний: стоит ли мне вообще идти по нелегкому писательскому пути? «Долго я успокаивал себя тем, что мое призвание, единственное настоящее дело — писать, а остальное малосущественно, остальное — для обычных, для обывателей, призвание которых — сидеть по восемь часов на нудной работе, создавать уют в жилищах, тратить зарплату на тряпочки и вкусности. А теперь такой же жизни захотелось и мне». У Сенчина — не суд над обывателем, а предрассудок о нем. Он чувствует, что близкая ему по духу общеобывательская среда грозит вырвать его из натужной, вымученной избранности. Понимает, что сам грешен, — и первый бросает камень в побиваемую обыденность. Но камень падает недалеко: обывательщина оказывается тенью Сенчина, прильнувшей к его нетвердым стопам.

«Писатель... это живой мертвец. Это человек, который жирнящий крест на себе поставил. Он может заниматься только одним — писать. А кто хочет соединить писательство с обывательским благополучием — перестает быть писателем» («ВВ»). Сенчин противопоставляет творчеству — жизнь, следуя тривиальному восприятию жизнелюбия и жизнеспособности как угрозы писательскому существу. В действительности же обыденность, а не жизнь ставит крест на творческой личности. Ни молодой Сенчин, ни авторитетный Маканин не понимают разницы между этими понятиями. Жизнь — это энергия, теплокровность, радость, воплощение, открытость, — и она не противоречит писательской судьбе. Обыденность — это бессмыслица гонки, жизнь хапком и нахрапом, вульгарное самосохранение. Сенчин отказывается от объятий ложно понятой им жизни — и попадает в зубы обыденности. Он не странствует по свету — а испуганно перебегает из норки в норку, не пирует — а расчетливо кормится на форумах и презентациях, не любит — а ищет спутницу без претензий. Герой Сенчина всегда страдал низведением жизни до бессмысленных утех повседневности, помогающих скоротать пустые дни: «За завтрашний день можно не переживать. Буду курить „Союз — Аполлон“, приготовлю куриный окорочок со спагетти, куплю сахар, кофе. Посижу наедине с бутылочкой, подумаю. *Поживу*. А там стипендия, потом, глядишь, перевод от родителей...» (рассказ «Вдохновение»; курсив мой. — В. П.). А в последней повести Сенчин прямо открывает себя как человека обывательского мироощущения: «Главное для меня — свой пятак. ...Я сажусь за стол, будто забиваюсь в теплую надежную норку»; «И дни мои такие же рассчитанные, ровные, упорядоченные. Каждая неожиданная мелочь ранит, выбивает из колеи, отравляет весь оставшийся отрезок до сна-отбоя», — герой привязчив к обыденному.

Любимый оппонент героев Сенчина — «быдло». «Обыдлился народ до предела», — сетует, как мы уже слышали, герой «Чужого». И неудачливые алкоголики с художественным образованием из рассказа «Афинские ночи» клянут «быдлярские» вкусы и «быдлярскую» рабочую жизнь. Между тем в них самих, как и в автобиографическом герое Сенчина, есть что-то быдлярски-тупое и бескультурное. Чувствами героя «ВВ» управляет обыдлившееся угрюмое самолюбие. Он, как настоящее «быдло», смеет угрожать женщине: «Слушай,

Тать, за „чмо” и схлопотать можно!» — и не стесняется приступа агрессии: «„А как, блин, я не так живу-то?!” — Мне искренне захотелось хлопнуть ее по розовой, пока что гладко-пухловатой щеке». Он способен переживать из-за центов, потраченных на разговор по мобильнику, попрекать подружку суммой, которую на нее истратил, жаловаться на маленькие порции на «халявном» обеде. И речь его, писателя, или его героев, *типа* художников, — «быдлаякая» как-кая-то, серая: образованные, духовно развитые люди так не разговаривают — просто потому, что у них словарный запас богаче и мысли ярче, чем у персонажей Сенчина.

В какой-то момент искренность автора переходит в беззастенчивость, и мы ясно видим, что он не замечает ничего предосудительного в мыслях и поступках Романа Сенчина, своего героя. В повести «ВВ» нет уже ни миро-, ни самоотрицания. Автор со всем согласен и просит выделить ему за это кусочек благ земных. В его отношении к обывательщине происходит безболезненный переворот: «Я их [некоторых советских писателей] возненавидел — изо всех сил в свое время рвавшихся за рубеж, в капитализм, неплохо там устроившихся, заживших „как люди”. А теперь я им просто завидую — они так или иначе сделали себе биографию, так или иначе обессмертились, с лихвой попиrowали и в ЦДЛ, и потом где-нибудь там в Нью-Йорке. Действительно пожили — и не очень-то при этом пострадали».

Вот так и оказывается, что исключительная личность ныне вполне может оказаться не писателем, а, к примеру, начальницей почты: именно она, героиня рассказа «Чужой», помогла ошибившейся почтальонше, хотя против нее было все местное общество, в том числе и собственный муж. Позиция героя, присоединившегося к мнению большинства, становится таким же показателем его ординарности, как то и дело вкушаемые им продукты истинно массового потребления — разрекламированные марки пива и сухариков. Мелкобуржуазный потребитель «Клинского» и «Кирешек», невзыскательная литературная скотинка, пощипывающая сено подслушанных сюжетцев на поле жизни, — какой же это «чужой»? Он — свой, в любых временах и пространствах, средний маленький человек, без самобытного мировоззрения и без действия, без родного и избранного, — не личность, а так, общее место в литературном бытии.

Муки творчества. Героя Гандлевского совращает литература, героя Кочергина подавляет карьерно-денежный мир — Сенчину угрожает и то, и другое. Сенчин — криворотовская драма не-своей, мнимо подходящей жизни. «В общем, жизнь идет, но зачем-то я постоянно рисую ее как какую-то одноцветно-серую пустыню, ною об этом при любой возможности, пишу в основном об этом, уверяю себя, что все именно так» («ВВ»), — в самом деле, ему ли, достигшему литературной известности, активно задействованному жизнью, жаловаться на нее? И между тем именно источник его успеха — соскучившийся по молодым именам литературный процесс — губит его, заманивая деньгами и почестями, не давая опомниться и подумать: полно, для меня ли это? Безволие Сенчина, его постоянная усталость, бессилие, незаинтересованность в окружающих людях и событиях — словом, его недовольство жизнью — симптомы того, что судьба его пошла по ошибочному, не органичному для него пути. Изначальная ошибка Сенчина — попытка найти свою сущность через изменение своего статуса. Как мы узнаём из «ВВ» и прежних автобиографических вещей, не удовлетворенный жизнью в родном провинциальном городе, он пытается закрепиться в столице, для чего поступает в Литинститут, который видится ему первым шагом к славе и самореализации — а также счастливой, насыщенной жизни. «Я приехал, чтоб изменить свою жизнь, мне надоело там, я... надеялся найти здесь что-то, о чем смутно догадывался, лекарство от вечного неудобства, скуки, неприкаянности. Не скрою, у меня были слишком радужные представления о Литературном институте. Но вот я понял, что попал в еще худшее дерьмо, в более глубокую яму... И здесь, и здесь я одинок и несчастен» («Вдохновение»). Сенчин чувствует, что попал в ловушку. И Литинститут, когда-то казавшийся сказочной пещерой, откуда начинается дорога

к славе, теперь воспринимается им как «капкан»: «Некоторое время я... был занят поеданием вкусной приманки, а теперь захотел выбраться, но — не могу. Теперь лишь слабо трепыхаюсь... полудохлый, обессиленный, искалеченный» («ВВ»).

Если Маканин и Гандлевский пишут о статусном, тщеславном характере современного литературного процесса как о болезни века, гибельном предрасудке, приводящем личность писателя к смысложизненному краху, то Сенчин смотрит на литературу изнутри цехового мифа о ней, полагая, что статус писателя есть главная цель и условие творчества. В отличие от Петровича, герой Сенчина не понимает, что понятие «писатель» уже понятия «человек». «И появляется надежда, что какая-нибудь москвичка клонет на меня, полюбит, станет верной подругой писателя» («Чужой»), — Сенчин закрывает свое лицо суровой маской Известного Писателя и велит женщине целовать его в картонные губы. Нелепее всего то, что он и себя заставил поверить в нешуточность этого маскарада и всерьез удивляется, почему окружающая реальность не включается в игру, не реагирует на атрибутику его карнавной роли. В очереди за визой, перед поездкой на Франкфуртскую ярмарку: «И сейчас, стоя второй час на холоде... я чувствую некоторое раздражение — почему должен добираться до посольства на край города, мерзнуть, тратить время, как большинство этих частных, бесполезных лиц вокруг?.. Неужели Токарева или Пелевин... так же дрожат, пританцовывая на ледяном ветру?» («ВВ»).

Создается впечатление, что Сенчин сосредоточился на следствиях — писательском статусе, гонорах, мероприятиях — в ущерб причине — самому творчеству. Муки слова стали неизбежным злом его карьеры, вроде болей в спине. «Даже теперь, когда писательство — это единственное, что у меня осталось и при этом... вызывает чувство, похожее на отвращение, я сажусь и прилежно, как говорится, скриплю пером...» Сенчин — стахановец-одиночка, работает без помощи муз и других инструментов, восемь часов по ГОСТу, без перерыва на вдохновение. Этот мужественный человек заставляет себя трудиться и день и ночь: «Да, надо писать — писать, двигаясь постепенно вперед и вверх. Да, да, надо писать». Секрет его производительности — в понимании того, что, «как ни крути, а это мой хлеб... Есть смысл мучиться за столом». Сенчин объединяет два соблазна — деньги и литературу — во имя третьего — обыденности. «Неплохое мы себе занятия выбрали — то в пансионат „Липки” бесплатно, то вот в Берлин...» — типичная позиция пользователя, живущего в кочергинском «зеркальном пузыре». «Но взять и бросить писать, и чем я зарабатываю такие вот деньги? — я же ничего как следует не умею». Внимание, вопрос: а умеет ли он «как следует» писать?

Сенчин может стать поучительным экспонатом в музее истории литературы. К нему будут подводить юных писателей и говорить: смотрите, дети, что бывает с теми, кто выбирает литературу не как духовный путь, а как карьерную тропку. Он агрессивно сопротивляется всему оригинальному, безумному, дерзающему, восставая, по сути, против самого творческого начала. «Со второго курса его отчислили, как и многих других романтиков. Я остался учиться. Наверно, остался потому, что загасил романтику. На романтике далеко не уедешь». Соответственно и его герои нередко выказывают непонимающее пренебрежение к людям, по-настоящему вдохновленным творчеством: «У нас был в институте один паренек... Знакомые про него говорили: не от мира сего... Он и был таким — одет в нелепую одежку, что-то вечно бормочет, руки и рожа в краске; экзамены ему ставили почти автоматом, лишь бы сказал пару слов по теме... Он весь был в своей живописи, и его, кажется, мало трогало, нравится людям или нет. ...И интересно, что девушки его любили, жалели, носили еду, пытались ночевать в его грязном подвале, а он их выгонял. Дурачок... Надо бы съездить, посмотреть, там ли он еще, что с ним стало. Но скорей всего вытурили из Москвы или сам уехал обратно в тундру» («Афинские ночи»).

В «Чужом» Сенчин говорит, что пишет в основном о знакомой ему провинциальной жизни, уточняя: «Правда, в последнее время все с большей нату-

гой, с большей долей вымысла». Вымысел как натуга, паралич фантазии — не удивительно, что в произведениях Сенчина такой переизбыток частного, случайного, неосмысленного. По своей литературной стратегии Сенчин — реалист-бюрократ, следующий правдоподобию, как букве закона. Тупая сверка сюжета с ходом реальности ставит его как писателя в зависимость от деталей. Ни мысль, ни образность, ни идея, ни красота, ни, в конце концов, необходимость произведения его не беспокоят. Правдоподобные детали — вот все, чем он озабочен: «С бытом такой вот женщины тоже не знаком, и выдумать правдоподобно, как ее закадрил художник, не получается». Интересно, кстати, как он объясняет то, что часто пишет о художниках: «Художников я повидал, в курсе, что такое краплак.. что у кисточек есть номера». Видимо, именно желанием блеснуть этим знанием объясняется такая деталь в «Афинских ночах»: «Саня приволок откуда-то кисточку. Четвертый номер, кажется». Сенчин думает, что указание на номер кисти заставит нас сильнее поверить в реальность его героя, хотя подробность эта здесь совершенно лишняя и бессмысленная и только сбивает с сопереживательного настроения.

Еще большее удивление вызывает выбранный им источник правдоподобия. «Я мало знаю людей, как пугливый зверек, затаиваюсь, прячусь от жизни, а то, что все-таки меня достигает, пережевываю тщательно, переносу из вещи в вещь...» Вдохновение Сенчина безопасно питается чужими наблюдениями: «Старые газеты, глянцево-журналы, из которых черпаю фактики для украшения, временной достоверности своих вещей». Детальки для сборки текста Сенчин достает не из бездонного колодца жизни, а из коробки вторсырья, как из набора юнписа. А ведь тайна свободного, полетного творчества, его воздушного правдоподобия — в непосредственном личном переживании, в осевшей мысли, в ослепительно случайном слове, вдруг сорвавшемся с языка. Литература не репортаж и не может быть основана на фактах. Опыт исчерпаем — вечен и самовоспроизводим только дух. Личность писателя, получившая оригинальное, живое развитие, откроет ему куда больше дотошного подглядывания за реальностью.

У Сенчина очень натянутые отношения с эстетикой. Художественное в литературе остается вне его понимания. Прикольно было, иначе не скажешь, узнать, что сей молодой писатель не стесняется обнаружить медвежью нечувствительность к стилю: «Я часто путаюсь, где описан тот или иной эпизод — в „Мастере и Маргарите“ или в „Двенадцати стульях“». Одна эпоха, одни учреждения, по которым ходят и Бендер, и Бегемот, один, в общем-то, и язык...» (см. его интервью в газете «НГ Ex libris», 2003, 20 ноября). Что же до художественной ценности его собственных произведений — я выводов делать не буду, а только ограничусь некоторыми наблюдениями. Композиция и в «Чужом», и в повести «ВВ» — отсутствует. Лексика Сенчина однообразна, он пользуется неизменными формулами типа «пили пивко». «Сытно гудящий» холодильник — чуть ли не единственная замеченная мною метафора. Редкие цветные мазки Сенчин подбирает под реальность, пользуясь серыми составными словами: серо-белый, серо-желтый, зеленовато-коричневый. Язык его небрежен и вял, можно сказать, язык Сенчина как явление литературы не существует. «Меня раздражают проблемы, с какими связана, например, баня или полив огорода. В Москве тоже куча проблем, но там проблемы другие...» («Чужой»), — ну прямо не рассказ, а разговор по телефону!

**Капуцин с Тверского бульвара.** «Как написать, чтоб понравилось редакторам и дало пишу критикам?» («ВВ»). Сенчин озабочен не реализацией своей творческой личности, а поддержанием писательского статуса, продвижением по литературной службе. Писательство — иллюзорное «я» Сенчина, выбранная им форма приспособления к требованиям обыденности. Он сам чувствует что-то лживое в своей жизни и свою последнюю повесть пишет, чтобы исповедаться и очиститься — но от чего?

В повести Сенчина проблема соотношения литературы и жизни, мотив очистительного бегства решаются противоположным способом, нежели в ро-



мане Маканина. Петрович, ощущая психологическое неблагополучие литературной среды, принимает решение выйти из нее в свободную сферу жизни. Сенчин, напротив, думает преодолеть свою зависимость от писательского статуса еще большим закреплением в этой явно мучительной для него роли. «Это моя работа. Судьба. Я буду монахом. Монахом литературы»; «Да, кажется, все идет правильно. Постепенно, но все же вперед и вверх. Как ступени пологой лестницы. ...Каждый пытается по-своему зажить как человек. У меня есть писательство. При советском строе, наверное, благополучия на этом пути достичь было легче. Гонорары, говорят, были тогда неслабые, да и другие плюсы... как вернуться — надо сразу снимать квартиру. Найти девушку, симпатичную, простую, спокойную. Как вторая жена Достоевского, как вторая жена Леонида Андреева, Солженицына. Со вторыми женами писателям почему-то больше везет...». Трагедия, однако, в том, что писательский путь «вперед и вверх» преграждает творческая планка, которой иллюзорному «я» Сенчина не преодолеть. Поэтому, судя по тексту повести, он уже начинает ненавидеть творческий процесс, мешающий ему наслаждаться жизнью известного писателя, — вдумайтесь в абсурдность этой ситуации!

Когда мы обсуждали рассказ «Чужой» на Форуме молодых писателей (мастер-класс критики), одна из девушек остроумно посоветовала Сенчину бросить писательство и отправиться «на картошку». Она полшутила, но я поддержу ее всерьез: да, «на картошку» — в жизнь, в истинного себя, в физический труд, в прогулки, пробежки, *назад и вниз* — от письменного стола к матери-земле, твердой почве под ногами и небу над головой. Может быть, реальное, а не декларируемое «монашество» в самом деле окажется плодотворно и Сенчин, *посадив картошку*, пожнет новые произведения? А может, перед ним откроется совершенно иной, не связанный с литературой, но более счастливый и органичный для него жизненный путь?

Подумайте, Роман: ради таких ли повестей отказываются от жизни?

### Кочергин

В произведениях молодого прозаика Ильи Кочергина нет как будто особенной новизны: стиль «добротен» и гладок, но не особенно индивидуален, тематика вроде традиционная — человек между цивилизацией и природой, герой автобиографичен и живет обычными думами о жене, работе, своем будущем. «Автор нескольких рассказов и одной повести о москвиче, убежавшем в тайгу, вернувшемся и снова мечтающем убежать» — так (не называя) характеризует Кочергина Сенчин («ВВ»). Это общее впечатление не откроет нам тайну Кочергина как литератора нового поколения. Произведения Кочергина вовсе не о москвиче и тайге, не о городе и деревне, как это может показаться на первый взгляд. Его литературная молодость означает совершенно новую, «молодую» проблематику, которая, в свою очередь, указывает на омоложение литературы, переход ее от нисхождения по черепкам старых форм и тем к постепенному подъему на новую духовную высоту. Кочергин — одна из точек, от которой можно вести отсчет нового литературного времени.

На обломках старого мира строится новый, и в нем — свои, первоначальные, мирозерцательные проблемы. В «Андеграунде» Маканина и «<НРЗБ>» Гандлевского отражены взаимоотношения «я» и литературы. Это проблематика позднего, кризисного разума: «я» и то, что я создаю, «я» и то, что внутри меня. Это путь к субъективизму и скепсису, разочарованию во всем внеположенном мышлению, к отказу от реального действия. В произведениях Кочергина — диалог «я» и мира, проблематика нарождающегося нового сознания: «я» и то, что никогда не может быть мною создано или уничтожено, «я» и то, что вне и сверх меня. Мир заметил окрепшее человеческое сознание — человек увидел похорошевший к его приходу мир. Это путь к реализму и вере, очарованности битвой.

Литераторы старшего поколения обо всем пишут с точки зрения прежней эпохи: советская идеологическая установка на стандартно-общественное стала главной драмой их жизни. Между тем пора заметить, что новое рыночно-демократическое время само по себе не делает человеческую личность более сильной и свободной. Для сверстников Сенчина и Кочергина противостояние внешнему (государству, власти, коллективу) уже гораздо менее актуально, зато для них эпоха подготовила новый конфликт — противостояние внутреннему, борьбу с веселым распутством ложно понятой свободы, сопротивление лозунгу века: «Выбери то, что подходит только тебе (твоей коже, твоим детям и псам)», — потому что те, кто следуют ему, всегда выбирают не себя, а оболу из рекламного ролика. Раньше все были трудящимися — теперь стали пользователями. Но к освобождению личности это не имеет никакого отношения: ей по-прежнему угрожает ориентация на общеприемлемое, никто из нас не свободен априори, потому что свобода — то, что мы сами выбираем, не соглашаясь на заготовленные обществом роли и проекты. Именно в осознанных поисках свободы вопреки стандартам якобы свободного современного общества — духовная интрига произведений Кочергина.

Лопнули связи коллективизма — и по городу замелькали быстрые отчужденные друг от друга элементы. Они несутся, каждый по своей бешеной бессмысленной траектории, выпавшей из гармонии и взаимосвязи вселенских процессов. Современная городская цивилизация — как до-мировой хаос, безвоздушная колыбель разлетевшихся элементов. Сладкая иллюзия индивидуального выбора (сама видела на упаковке плавленых сырков: «Теперь ты можешь быть уверен, что сделал правильный выбор») тает в горячей лихорадочной погоне за стандартным и общим, за неотличимым. Из темного кома этого хаоса вылупляются двое — Я и Космос. Космос — новозамеченная живая реальность, Я — противостоящая давлению Космоса и соблазнам хаоса личность. Это и есть герой Кочергина — мифологический герой-победитель, восстающий на чудовищ хаоса. Герой «кочергинского» времени должен быть смел, прост, решителен и чист душой — не слабее, но и не сложнее этого.

В произведениях Кочергина рассматриваются все актуальные для современного сознания уровни отношений «я» и не-«я»: «я» и обыденность, «я» и используемый мною мир, «я» и подавляющее меня мироздание, «я» и иллюзорный, обществом навязанный образ «меня».

Мечта о путешествиях — главный мотив мироощущения героя — символизирует его жажду поиска, сознательную незавершенность его личности. Оппоненты героя, модная «нормальная» молодежь, напротив, спешат завершить свой путь на предуготовленном для них обществом месте: «Они даже не задумывались о цели, они ее просто знали. ...И я быстро понял, что заикаться об эзотерических знаниях, о таинственном Востоке, о Шамбале и прочей чепухе просто стыдно. Мой инфантилизм выглядел слишком неприлично. Нужно было срочно выдумывать себе цель или хотя бы пример для подражания» («Помощник китайца», далее — «ПК»). Предопределенная цель не только лишает человека возможности искать себя, но и загодя обрекает его на пожизненную неудовлетворенность. Жизнь работает на иллюзию будущего покоя, никогда не давая почувствовать себя счастливым здесь и сейчас: «От будущего не отвяжешься, оно держит меня на коротком поводке. Плохое ли, хорошее — никакой разницы, на него надо работать, а оно все время отодвигается» («ПК»).

Иллюзорный путь к будущему начинается у героя с необдуманной женитьбы. Женщина оказывается проводником в царство тщеславия и обыденности. Она не задумываясь живет по логике своего, иллюзорного же пути к женскому будущему, который всегда начинается с того, что надо — о да, срочно, ведь все подружки уже там — выйти замуж. Женщина — наместница тиранствующей обыденности; анекдотичный пример «женской», обыденной логики: «На третьей или четвертой свадьбе ее подружек, когда на горизонте стала вырисовываться и наша, меня стали одолевать сомнения, и я спросил, не стоит ли нам

немного подождать. „А как же тогда быть? — удивилась Аленка. — Ведь мама уже насолела летом огурцов” («ПК»).

Так герой стал мужем еще до того, как стал личностью. Впихнул свою аморфную душу в подвернувшуюся формочку-матрешку — и пошло-поехало. Залез в кузов — называйся груздем. Зарабатывай на семью, думай о квартире и продвижении. Образцом иллюзорного пути становится для героя карьера дистрибьютора. Он присоединяется к тем, кто хочет обрести себя в разыгрывании стандартной роли и кого ложное это стремление «объединяет... в коллектив, в парней из этого офиса, в Австралийскую оптовую компанию, которая на самом деле называется „Русский успех” и не имеет к Австралии никакого отношения. Объединяет, потому что они в этот день не должны принадлежать к тому большинству, которое населяет город. Они не говно» («Рекламные дни»). Принадлежность к узкому большинству успешных дистрибьюторов в отличие от широкого большинства неустроенных «лопухов» вовсе не дает личности шанса на самоопределение и счастье. Показательно, что жена уходит от героя как раз в тот день, когда он получает повышение по службе — сдает норму на инструктора дистрибьюторов.

Обессиленный подъемом на не-свою, иллюзорную вершину, герой внезапно ощущает необходимость обнулить счетчик пройденных километров, вернуться к одинокому и полному надежд старту жизни. Бегство в тайгу как покаяние, отпущение грехов — герой заново учится жить. «Одиночество зимних охот; постоянный внутренний диалог с самим собой на переходах, на слепящем однообразии лыжни; ежедневный физический труд и дикое мясо на ужин» («Волки») — герой проходит очищение охотничьим постом. Кочергин, вопреки традиции, не идеализирует бегство от города. В тайге душу его героя уловляют прежние соблазны — женщина, обыденность, работа на будущее (см. «Алтынай»). В рассказах Кочергина, в отличие от произведений Маканина и Сенчина, впервые появляется намек на второй, «возвращенческий» этап очищения. В «Помощнике китайца» герой жалуется на тоску таежной жизни, даже пробует рискнуть игрой в русскую рулетку, проверяя, стоит ли ему жить вообще. В «Потенциальном покупателе» он задумывается о возвращении в Москву под влиянием чувства к новой девушке. И это правильно: человек не должен бежать от мира, но, очистив свою волю и начистив доспехи, смело выдерживать новую битву с вражьим полчищем иллюзорных мирских ценностей.

### Параллели и столкновения

Сенчин и Кочергин, два автора так называемого поколения тридцатилетних, вступили в литературу похожим образом: оба начали с автобиографических рассказов, герои которых обременены сходными конфликтами — с женой, оказавшейся чужим человеком, работой, не приносящей ни денег, ни удовольствия, самими собой, обессиленными, замученными тяжелой неволей не-своей судьбы. Однако на фоне этого сюжетного сходства очевидна разница в осмыслении общей проблемы. Кочергин пришел с темой очищения личности — Сенчин начал только с исповеди, с сигнала «SOS». Кочергин знает больше своего автобиографического героя, смотрит на его столичное мельтешение уже помудревшими глазами — Сенчин просто перелагает поверхностную мглу своего мироощущения на адекватно-двухмерную плоскость бумаги. Сенчин призывает себя «писать, двигаясь постепенно вперед и вверх», аналогичный лозунг выносит и в заглавие новой повести. Кочергин уточняет: «жизнь... устремленная *вперед и вверх, как положено*» («ПК»), верно чувствуя, что движение «вперед и вверх» — это «положенный», предопределенный общим предрассудком путь иллюзорного «я».

У Кочергина появляется то, чего не было у прочих рассмотренных нами авторов, — образ мироздания с его стихийным дыханием. Его герой впервые познает ужас перед огромной жадной темной космосом и риск слияния с животной дикостью (ночное чувство беззащитности перед миром и звероподобие

героя, «беседующего» с волками на их воющем языке, в рассказе «Волки») — в этих переживаниях не вооруженного защитной рациональностью человека есть налет первобытного мироощущения. Человек как часть животного и космического миров — но одухотворенная, претендующая на неслиянность с ними. Герой Кочергина начинает понимать, что городское иллюзорное «я» на самом деле не видит мира, не чувствует его величественной и пугающей реальности: «И нечем защититься от этого страха, я растерял свои спасительные проблемы: склоки с бывшей женой, тоску по свободе, угрызения совести и хроническое безденежье — все, что так надежно мучает человека, укрывает его от свиста весеннего ветра» («Волки»).

Новое «я» и новый мир появляются у Кочергина. В отличие от него, у Гандлевского, Маканина и Сенчина нет ни подлинного «я», ни достоверного мира. У Маканина мир — это государство, власть, общество, масса — мир как тюрьма городского сознания (философски); или — мир как узкоусловное пространство психбольницы, коридоры аллегорической общаги (образно). Его герой не познает мир, а встает к нему в оппозицию не на жизнь, а на смерть. Его «я», претендующее на реальное свободное бытие, без гармоничного диалога с миром, своей дуалистической «половинкой», вырастает до ложного бога, до в себе самой запертой вселенной. «Я» героя Гандлевского расплывается в мире, понятном как замкнутый мирок литературного сообщества. В такую же ловушку внутрилитературного мироощущения пойман и герой Сенчина: женщины его — из Литинститута, чтоб далеко не ходить; друзья — все литераторы; занятия только литературные, мысли и увлечения — тоже. «Меня сейчас повсюду окружает литература» («ВВ»).

Сенчин — продолжение линии Гандлевского, Кочергин — преобразование линии Маканина.

Герой Кочергина, по сути, решается на Петровичеву жизнь «вне оценок», его так же занимает проблема укрепления воли. Однако дорогой сердцу Петровича метод «удара» лишен созидательной концепции: Петрович борется за любой образ своего «я», его «удар» — это не преобразование, а самосохранение, активность внешней, но пассивность внутренней жизни. Кочергин — андеграунд духовный, Маканин — социальный и политический.

И Петрович, и Илья спасаются бегством от мира. Но у Маканина это бегство от государства и толпы — в «я», к ничто (его цель — ничто, или отрицание всего, а «я» — это спасительная обитель). Государство и толпа представляются ему единственно реальным миром, за пределами которого только Ничто и выпавший в его пустоту индивидуум. У Кочергина все наоборот: бегство героя к «я», в реальный мир (его цель — «я», а спасающее пространство — это мир, несводимый к тюремному подворью государства и общества). Кочергин, восставая против всего иллюзорно-общеобязательного, противопоставляет себя не миру, а только его призрачному подобию.

Кочергин утверждает право личности на «третий», самостоятельно выбранный путь. Сенчин, Маканин и Гандлевский мечутся между Сциллой общепринятой стандартной судьбы и Харибдой бездействия, исчезновения из общей жизни. Сегодня эта оппозиция имеет довольно косвенное отношение к реальности. Требуется очистительное дерзновение на активно-созидательную жизнь, в которой не будет ни рабства у суетливой необходимости, ни патетического бездействия.

Сенчин и Маканин приравнивают жизнеспособность к обывательскому приспособленчеству. Оба культивируют давний миф о нежизнеспособности как особом достоинстве интеллигента-писателя, его непринадлежности к благополучной, погруженной в обыденность толпе. Но, как мы уже выяснили, их герои, иллюстрирующие этот миф, сами же его и развенчивают. «Ищущий индивидуум» Маканина («Квази»), которому не нужны «ни деньги, ни белые машины» («Андеграунд»), оказывается просто нищим, как бы ни претендовал он на роль *нищего духом*.

«Обленился. Обеднел мыслями. По-тригорински забытовел», — пишет Е. Ермолин о среднем современном литераторе («Идеалисты»). Тригорин — образ не случайный, а для героев Гандлевского и Сенчина — собирательный. Чеховский Тригорин — это человек, попавший в зависимость от некоего благородного имиджа писателя, общепринятой идеи о нем, — образа, которому он не в силах духовно и творчески соответствовать. Озабоченность Сенчина правдоподобием, газетные вырезки в его «писательской лаборатории» — это тригоринское «облако, похожее на рояль», подстраховка хромающего вдохновения — записной книжкой. Тригорину хочется махнуть на речку и рыбку поудить — но вместо этого он занят выуживанием сюжетов из полноводности жизни. Той же болезненной литературной рефлексией страдает и герой «Чужого». «Вот какие, Роман Валерьевич, сюжеты жизнь-то выдает», — говорит герою Сенчина односельчанка, рассказывающая о беде почтальонши. И ясно, что это для нее обсуждаемое несчастье является жизнью, для Сенчина же оно, в самом деле, — только очередной *сюжет для небольшого рассказа*, — в этом различие между живым и внутрилитературным сознанием.

Пора понять, что писателю нужно жить, а не использовать жизнь для механического поддержания писательского статуса. Отказ от ремесленничества в пользу искусства, от подслушивания в пользу участия должен стать первой заповедью молодых писателей, не желающих уподобиться обессиленному герою Сенчина и разочарованному герою Гандлевского.

То, что герой нашего времени Сенчин так похож на героя Гандлевского, по сути, лишает его права называться «молодым» (то есть свежим, обновляющим литературную тенденцию) писателем: в его последних произведениях, а значит, и в его творческой личности нет необходимой для этого новизны. Перекличка образов его персонажей, духовных близнецов, с образом литературного прошлого — Криворотовым — чуть ли не буквальна. Общие у них и энергетическая опустошенность, предощущение старости — это при том, что Криворотову пятьдесят, а Сенчину и в реальности, и во всех его воплощениях только за тридцать, так что кажется, будто он и состарился быстрее оттого, что встал в отрицающий аппендикс литературного движения.

Объединяет этих актуальных персонажей литературного процесса и причина их несчастной жизни. Литература для обоих «изначально была средством самоутверждения (и отчасти — психотерапией, отчасти — формой противостояния косности и неподвижности)» (С. Костырко; см. его «Обозрение #92», посвященное роману Гандлевского, — [http://www.russ.ru/krug/period/20020212\\_kostyr.html](http://www.russ.ru/krug/period/20020212_kostyr.html)). Творческое бессилие, энергетическое безволие и жизненная безуспешность героев Гандлевского и Сенчина происходят от изначально искаженного понимания ими своего предназначения. О связи творческой реализованности с правильным выбором жизненного пути очень точно сказал Бердяев: «Бездарность есть грех, неверное определение своего места и призвания в мире. Воля к бездарности всегда есть боязливое приспособление к „миру“» («Смысл творчества»). В самом деле, смысложизненный крах и ощущение творческой недоодаренности Криворотова и Сенчина происходят от «приспособления к „миру“», то есть от их желания подчиниться наиболее выгодному, престижному стандарту судьбы.

Симптом выздоровления литературы — внелитературный герой Кочергина. Хорошо, что этот молодой автор начал с разрешения не узко писательского, а широкожизненного конфликта. А ведь соблазн был: «Самое лучшее в такие моменты — не поддаваться. Я раз проявил слабость и сходил к Колькиной Татьяне за тетрадкой — чистой тетрадкой в 12 листов. Вернувшись домой, первым делом написал на обложке — „Как я стал писателем“ и через пятнадцать минут бросил под кровать. Потом вид этой тетради был неприятен мне, и я еще долго не подметал под своей койкой» («Волки»). Именно благодаря этому внутреннему преодолению нездоровой самодовольной литературности герой Кочергина стал не еще одним писателем криворотовского образца, а охотником, мужчиной и, наконец, человеком. Это — переломный для эпохи момент: литератор очищает себя от болезненной литературности, понимая, что само-

влюбленное писательство — это лейбл, тщеславие, обыденность, рабство у виртуального, навязанного обществом «я».

В то же время важно понимать, что Кочергин — это только новый уровень личности, но не новый уровень творчества. Его автобиографический герой вводит его в мейнстримный сегодня контекст произведений, в которых сам писатель становится источником сюжета и его вкусы, страхи и достижения предстают в полный рост на книжных страницах. В будущем обновленная яркая личность писателя из источника сюжета должна стать источником чистого творчества. Писателю предстоит не бесконечно клонировать себя самого, а перевоплощать свою демиургическую энергию в малых персонажных тварей. Его «я» должно вырасти до того, чтобы стать не героем книги, а целым творящим мирозданием.

В этом смысле проза Кочергина — только мост, а не новонайденный берег. Один из перволюдей новой литературной земли, он удивляется открывшемуся миру и воссоздает его простыми штрихами наскальных рисунков. Впереди — новое эволюционное движение к сложности, красоте, стилистической гармонии.



# Р Е Щ Е Н З И И. О Б З О Р Ы

## МОРФОЛОГИЯ ЖИЗНИ

Дмитрий Притула. Факел. Книга рассказов. СПб., «Инапресс», 2004, 256 стр.

**К**азалось бы: сказ, дело известное. От лица малограмотного человека много о жизни не сообщишь (после Гоголя-то, Лескова, Зошенко, Петрушевской). Но, оказывается, очень даже сообщишь, если родился прозаиком и все необходимое при тебе — и безотказная преданность языку, и знание жизни — интимное знание ее тайных пружин, малых винтиков, не заметных глазу, как в механизме старых наручных часов; писатель — *именно что*, сказал бы Дмитрий Притула, специалист по этим самым винтикам и сцеплениям.

Я давно ждала появления этой книги. Рассказы Дмитрия Притулы печатались в петербургских журналах, и я всегда бывала вознаграждена за внимание к этому имени, далеко не всем известному. Но хорошо знаю, что журнальная публикация — это одно, а книга — совсем другое. И вот наконец — книга.

Главное и ошеломительное впечатление от нее... Но, боюсь, с места в карьер сформулированное, оно может озадачить. Придется начать несколько со стороны, с «анкетных данных». Книга состоит из коротких рассказов. Во всех соблюдено единство места — пригород Фонарево, вызывающий, между прочим, воспоминание о маркесовском Макондо в романе «Сто лет одиночества». Время — советское вчерашнее и постсоветское сегодняшнее. Персонажи самые разнообразные: учительница, инженер, фельдшер, врач районной больницы, моряк, студентка, пенсионерка, охранник, продавщица, прапорщик, электрик, бизнесмен, шофер, телефонистка... и т. д. и т. п.

Сюжеты: в очереди за индийским чаем и макаронами завязываются любовные отношения («Человек из очереди»); симпатичный паренек «любит женщин исключительно старше себя» и привязывается к чужому ребенку («Денис Ильин»); старуха мать становится заложницей в войне дочери и сына («Заложница»); отец случайно не убивает своего сына («Волосан»); сын убивает алкаша отца («Сыновья»); бизнесмен на концерте убивает виолончелистку («Брамс. Квартет № 3»); нуждающуюся вдову прочат замуж за богатого старика («Почти невеста»); под новый год к одинокой женщине привозят на санитарном транспорте парализованного мужа, которого она не видела больше двадцати лет («Новогодний подарок»); жена продаст своего мужа сестре («История любви»).

Разнообразие персонажей и сюжетов очевидно. Но («Но!» — в таких случаях восклицает автор) люди-то, в общем, одинаковы: любят, страдают, стремятся к лучшему, добиваются, отчаиваются, болеют, враждуют, сходятся, расходятся и в связи с этим плачут и смеются одинаково. И выходит, что основные моменты самых разных сюжетов — те, что вызывают у читателя интерес и сочувствие, — совпадают, образуя меж тем мозаичную картину жизни данного места и времени. В маленьком Фонареве разворачивается драма жизни с надеждой, разочарованием, трудом, радостями и болезнями — у всех одинаковыми, только в разных пропорциях опущенными, уж как кому повезет. Что тут вспоминает филолог? Правильно, как сказал бы Притула, который, постоянно разговаривая с читателем, задает «наводящие вопросы» и сам же на них отвечает, — филолог вспоминает фольклорную волшебную сказку и классическую работу В. Я. Проппа «Морфология сказки».

Как известно, исследователи фольклора пытались классифицировать сказки по сюжетам и мотивам, а они то совпадали, то отличались; открытие Проппа заключалось в том, что он выделил *функции*, то есть поступки действующих лиц, определяемые с точки зрения *значимости* для хода действия. И они оказались не просто похожими, а одними и теми же. Например, антагонист пытается обмануть жертву, чтобы овладеть ее имуществом (подвох), или антагонист наносит одному из членов семьи ущерб (вредительство), или одному из членов семьи чего-либо не хватает (недостача), герой и его антагонист вступают в непосредственную борьбу (борьба)

и т. д. Все это — опорные пункты сюжетов, и они повторяются, их немного. «Функций чрезвычайно мало, а персонажей чрезвычайно много, — пишет Пропп. — Этим объясняется двоякое качество волшебной сказки: с одной стороны, ее поразительное многообразие, ее пестрота и красочность, с другой — ее не менее поразительное однообразие, ее повторяемость (курсив мой. — Е. Н.)». Интересно, что то же можно сказать о самой жизни. Она и пестра, и неожиданна, но в чем-то самом важном трагически или счастливо повторяется. В ней существует некий незыблемый стержень. Только едва ли можно вспомнить такое произведение, которое бы обнажило это «двоякое качество» так красноречиво, как это вышло под одной обложкой у Дмитрия Притулы. Морфология жизни, можно сказать.

И единство места этому послужило, и социальная однородность населения пригорода, и сюжетная сжатость, при которой главные события, образующие судьбу, мелькают с быстротой клипа. Невольно делается упор не на индивидуальность людей и обстоятельств, а на их однотипность. При этом многообразии персонажей и ситуаций тоже выступает. Однотипность и многообразие.

Все функции, говорит исследователь сказки, укладываются в один последовательный рассказ. Вырисовывается стержень сказки, ее морфология. Какой-то восточный мудрец обрисовал человеческую жизнь в трех словах: человек рождается, мучится и умирает. Есть в этой минимизации функций грустный смысл. Так вот, наш прозаик — хотел того или нет — показал при помощи разнообразного жизненного материала костяк бытия, стержень, на который нанизывается человеческая жизнь. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет» — на фоне пестроты судеб и их носителей. Взаимоотношения людей, какими бы сложными они ни были, имеют ограниченное число вариантов. И они в Фонареве такие же, как в Англии, Дании или Италии. В одном рассказе фигурируют мужчина и женщина, между которыми возникла любовная связь, в другом — отец и сын, находящиеся в трудных отношениях, в третьем — сын и мать, затем — муж и жена и т. д. И даже квартирный вопрос (специфическая «функция» здешних мест), которого не знали шекспировские герои и который лейтмотивом проходит почти по всем рассказам, — это вопрос человеческих отношений.

«Двоякость» удивительным образом выражается в поэтике прозы Притулы. Нельзя не обратить внимания на то, как вводятся новые сюжетные мотивы, какими необычными средствами. Трудно поверить — почти одними междометиями, неожиданно приобретающими разные смысловые оттенки. Вот наугад взятые из одного рассказа начала абзацев: «Да, деваха. Она откуда-то из провинции приехала...»; «Да, а какая квартира! Там кухня метров на четырнадцать...»; «Да, но Зоя Павловна — женщина неожиданная...»; «Да, Скворцов понравился Зое Павловне...»; «Да, обходительный мужчина...». Каким разным может быть это «да»! Вот хотя бы с одной страницы: «Это невозможно. Да, невозможно, но есть». Или чуть ниже: «Несправедливо. Да, несправедливо, но это так». В первом случае звучит оттенок удивления, и междометие принимает в передаче его живейшее участие; во втором — к горечи примешивается твердость, в интонации звучит жесткость какого-то закона. Прошу читателя поверить мне на слово: интонацию определяет контекст, который по поводу каждого примера привести невозможно. Скажу лишь, что именно междометия являются полномочными представителями эмоции. Вот еще одно «да»: «Вечная память, да!» Совсем другое, правда? Завершающая нота похожа на впадение в тонику.

Несколько рассказов (что характерно для диалога) начинаются с междометия «нет»: «Нет, правда, если в семье все более-менее, не следует дергаться и искать, что получше...» («Сыновья»); «Нет, правда, странная история...» («Денис Ильин»); «Нет, чего только люди не выделывают, когда начитаются газет и наслушаются радио» («Заложница»); «Нет. Надежда не в смысле — все еще может быть хорошо...» («Надежда и Вася»); «Нет, правда, чего только на свете не бывает» («История любви»). Все это первые фразы рассказов.

Попробуйте, что-то описывая, начинать каждый абзац с междометия. Сразу почувствуете присутствие собеседника, и не где-нибудь в неизвестном пространстве и отдаленном времени, а тут, рядом, и желание рассказать, убедить, добиться нужной реакции возрастет пропорционально внезапно появившейся близости ад-



ресата. Писатель не скрывает, что он состоит в непрерывном диалоге с читателем, не столько повествует, сколько разговаривает с ним. Горячо, отрывисто, со всеми признаками спонтанной речи. Кажется невероятным, что почти каждую мысль он начинает с междометия или союза: *да, нет, и, а, но, но нет, ну, ну вот, ну и, так, хотя, значит; значит, так* — всё! Особенно запоминается «но» с восклицательным знаком: «Но! Но прожили вместе всего два месяца»; «Но! Когда люди хотят найти выход, они его иной раз находят». Кажется, даже фольклорные формулы более многочисленны, их варианты более разнообразны.

А дело вот в чем. Как бы связанный неумолимой логикой бытия (человек рождается, мучится и умирает), писатель стремится войти в психологию подчиненных этой логике человеческих существ, растолковать читателю их подопытные души. То есть прорваться сквозь безразличие событий и упрямство фактов к теплу и трепету человеческого сердца. Все речевые средства пущены в это исключительно важное рассказчику дело. Отсюда настойчивые повторения свойственных устной речи словосочетаний типа: «важно подчеркнуть», «что важно», «вот именно», «это понятно», «в том-то и дело», «что характерно» и т. д. Эти устойчивые «формулы» кочуют из рассказа в рассказ. А то, что автору задуманное предприятие удастся, на фоне ограниченности приемов особенно очевидно. С одной стороны, небогатые семантикой повторяющиеся клише устной речи, с другой — вся палитра человеческих чувств.

Перескажу один из лучших рассказов книги. Он называется «Светская хроника». Двадцатилетний Славик женился, прожил с женой два месяца, после чего жена от него ушла. «И всё? И всё. Как просто, а?» А Славик говорил жене, что без нее жить не будет и, если она уйдет, он помрет. И вот как-то позвал ее то ли в кино, то ли в театр (они еще и развестись не успели), она сказала, что не придет, но он ждал ее на улице очень долго, замерз, вымок, заболел воспалением легких и в три дня умер. «Ну вот, а говорят... любви нет. Да как же нет, когда именно что есть. Ты со мной — я живу, ты ушла — отлетаю, и не задерживайте меня... Уж лучше бы не было любви. Но есть! И безутешная мать». Да, осталась мать, Вера Антоновна. Можно себе представить, какие чувства она питала к жене сына, Наташе, которая, кстати сказать, ей больше не встречалась: как испарилась. Вера Антоновна исправно посещала церковь. «Только в храме и отходила». Прошло семнадцать лет. Идет она в храм, видит — толпа и узнает, что умерший в Англии старый князь родился в Фонареве и завещал похоронить его на родине. Урну с прахом привезла семья: несколько человек, мужчин и женщин, в подозрительно чистой одежде стояли у церкви, и среди них — Наташа. Сначала подумала: «Ну, какие бывают совпадения, где Англия, где Фонарево, где княжеская семья и где она, Вера Антоновна, пенсионерка, сборщица часового завода». Но наступил такой момент, когда они обе узнали друг друга. «Ну и что же здесь произошло? Вера Антоновна, видать, не очень-то соображала, где она и что с ней, а только она вдруг обняла свою бывшую невестку, вернее сказать, прибилась лицом к ее груди и громко разрыдалась — вот что здесь произошло. Наташа, дочка, приговаривала, и она напрочь забыла, что Славик помер из-за этой вот женщины, нет, она помнила только, что Наташу Славик любил так, что не захотел без нее жить, и она безостановочно рыдала». Это еще не конец и не кульминация рассказа, но я больше не берусь пересказывать, это невозможно! а цитировать пришлось бы еще полторы страницы — тоже нельзя. Я надеюсь, что читатель сам прочтет этот замечательный текст и сам оценит его душераздирающую («душемутительную», как сказано у Баратынского) прелесть. Теоретики литературы, наблюдая неожиданный эффект сочетания трагического содержания с радостью эстетического переживания, говорят о катарсисе. Как ни называй, как ни объясняй, это одно из самых таинственных человеческих чувств. И каким-то образом соотносится с двойственностью всего на свете, с извечным оксюмороном бытия (*радость-страданье — одно*).

В поэтике прозы Прутулы на всех уровнях присутствует присущая жизни «двоякость», как бы поэтизованная у миропорядка. Прежде всего — союз лирики и юмора. Такое тонкое перетекание одного в другое, какое мы знаем по лучшим образцам нашей литературы — Гоголь (которого Набоков называл поэтом), Зощенко, — до того прочное единение, что не знаешь, плакать ли от сострадания,

смеяться ли от удовольствия, читая, например, такое: «Словом, слышит, сын музыку врубил. То есть была тишина, и вдруг бас запел, да как громко, клубится волною... там что-то еще, видать, Шаляпин, ну если громкий бас, и как-то у него тогда особенно трогательно выходило, как-то уж очень протяжно — о-о-ох! Если б навеки так было. Если б навеки так было! Потом тишина — это сын вырубил музыку — и вдруг в тишине громкие рыдания. Но уже не Шаляпина, а ее сына, вот как раз Всеволода Васильевича. Да на удивление надсадные, на удивление безнадежные. И очень, значит, громкие. То есть получается, человек принял решение (лишить себя жизни. — *Е. Н.*), но вместо того, чтоб его исполнить, надрывно разрыдался. И это понятно: у нас все намерения кончаются либо стоном, либо рыданиями».

А затем рассказывается, как после неосуществленного самоубийства, после случившегося с ним инфаркта и двухмесячного пребывания в больнице герой вернулся домой «совсем другим человеком». И «любимым его занятием стало выйти из дому в любую погоду, пойти в парк, сесть на лавочку на берегу пруда, положить руки на набалдашник палки, упереться подбородком на руки и часами смотреть на воду, и на деревья, и на старинный дворец на том берегу пруда». Я узнаю это место, этот парк и дворец в Ораниенбауме (Ломоносове), где живет Дмитрий Притула. В телефонном разговоре автор сказал мне, между прочим, что рассказ этот полон иронии, и подчеркнул — именно иронии; сказал, когда я восхищалась его лиризмом. И тогда я с улыбкой вспомнила, что Толстой переиздал «Душечку» Чехова, любуясь героиней и сокращая те места в чеховском рассказе, где автор позволял себе неуместную, с его точки зрения, насмешку. Конечно, есть ирония судьбы в том, что человек, лишенный всего, готов благодарить эту самую судьбу «за счастье тихое дышать и жить», но это именно ирония судьбы, — автор же, по-моему, иронии не выказывает (и правильно делает), во всяком случае, цитируя, мне ничего не приходится специально сокращать: «А я вам так скажу, я согласен всю оставшуюся жизнь смотреть на вот это как раз чудо: башню дворца, и желтые клены, и осеннее, но голубое небо. Нет, вы вдохните этот воздух, он ведь пьянит, не так ли, прав, прав Шаляпин, о, если б навеки так было, да, как это верно, если б навеки так было».

А еще по этому поводу мне вспоминается тот знаменитый эпизод в «Воине и мире», где проигравший Николай Ростов ждет прихода отца, чтобы признаться в совершенном преступлении, и слышит пение сестры: «Какие тут проигрыши, и Долоховы, и честное слово!.. Все вздор! Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым...»

Оттого, что рассказчик Притулы — один из жителей Фонарева, сторонний наблюдатель, которому не все обстоятельства известных ему историй удастся выяснить (этот мотив звучит постоянным рефреном), особенно ярко вспыхивают психологические подробности, которые только изнутри ситуации и можно почувствовать. «Таисия Павловна потом вспоминала, что Андрей глазами что-то искал на полу, видать, заранее сказал себе: приду в бывшую семью и бухнусь на колени, но что-то удержало его, и он не бухнулся».

Было бы упущением не упомянуть о совсем коротких рассказах-анекдотах, таких, как, например, совершенно зощенковские «Счастье», «Выжимки». Анекдоты на бумаге обычно, как рыбы, вынутые из воды,дохнут, а у Притулы, наоборот, обретают вечную, можно сказать, молодость. Очень смешные! («И на лице ее вспыхнула такая радость, что проходи мимо доморощенный какой философ, решающий, а что же все-таки такое — счастье, он нашел бы однозначный ответ: счастье — это когда могли украсть сыночка, а уперли только коляску»).

В прозе последних десятилетий привычным средством завладеть избалованным вниманием читателя стали экзотические сюжеты, эротические сцены, уголовщина. В этих сильно действующих уловках тонет реальное, тихое, но от этого не менее острое, хочется сказать, простое, но нет, как раз — непростое человеческое чувство. Притуле удается вывести его на свет божий, и это поистине удивительно: трудно его высвободить из повседневности, еще труднее описать, не впадая в штампы. Та «последняя прямота», которая здесь требуется, на самом деле происходит из высокого искусства, виртуозного владения стилем, композицией, формой. Ведь короткий рассказ — самый сложный прозаический жанр. Он, между прочим,

требуется и занимательности; любопытство пресыщенного изобретательным вымыслом читателя не должно погаснуть. Ради справедливости скажу, что все сюжеты Притулы преследуют эту цель, но в некоторых (что редко) возникает ощущение нарочитости: когда банкир убивает на концерте исполнительницу, этому не очень-то веришь: хотя приведены психологические мотивы поступка, сам поступок все-таки кажется натяжкой. Везде, где читатель прозревает «креативную», как теперь говорят, мысль автора, складывается впечатление, что его ведут заранее предусмотренными путями, и только там, где неожиданность и таинство присутствия в чужой жизни кажутся необъяснимыми, проза достигает доступных искусству вершин. Большинство рассказов Притулы таковы.

Елена НЕВЗГЛЯДОВА.

С.-Петербург.



### СЧАСТЛИВЫЙ ПЛЕННИК СТИХОТВОРСТВА

Анатолий Добрович. Монолог. Тель-Авив, 2000, 162 стр.  
Анатолий Добрович. Линия прибора. Иерусалим, 2003, 155 стр.

Сначала должен приватно оговориться. В конце концов, два полноценных стихотворных сборника — мое первое знакомство с поэзией Анатолия Добровича. Думаю, что во многом исчерпывающее. Ведь это не подборка в журнале или выступление на литературном вечере, а две сотни стихотворений, созданных на протяжении почти полувека, и два десятка песен (к одной из книг приложен компакт-диск). Когда отношения, обозначаемые формулой «читатель — поэт», строятся на столь внушительном фундаменте, они невольно перерастают *формат* поверхностного впечатления. Это уже целая история, можно сказать, погружение, и, как ниже выяснится, вполне благодарное. Поэтому сначала чуть-чуть из жанра комнатной философии, касающейся пристрастного чтения поэзии в наши дни. Не просто стихотворных текстов, а именно поэзии, когда ведем речь о трудах человека, через которого, говоря словами Чуковского о Блоке, непрерывной струей идет какая-то бесконечная песня.

В свое время поняв (без умозаключений, но вполне явственным озарением) и впоследствии живя с пониманием, что за талантливыми стихами того или иного твоего современника *действительно* стоит душа их автора, выражающая свое таинственное существо; стоит неповторимая личность, в коей она держится; стоит описываемый, но непознаваемый мир, частью которого она является, и, наконец, стоит новая стихотворная музыка, новая просодия, — так вот, с какого-то момента стараешься свой собственный, однажды устоявшийся *круг чтения* не расширять. Понимание этого, конечно, приходит не сразу, но когда-нибудь да приходит<sup>1</sup>. Ведь здесь, на этом поле, ты уже давно не почитываешь, но принимаешь в себя.

Иными словами — оставаясь то вольным, то невольным читателем всего и вся (в силу профессии и привычки), накрепко помнишь: проверенный временем и любовью личный стихотворный багаж и так давно в перевесе и на тот самый необитаемый остров лишней книги брать не след. Вспыхнувшее и неостывшее чувство, благоприятствующие обстоятельства жизни, случившееся открытие, долговременный поиск, переплавленный в выбор, — вот малая толика ингредиентов того почти ежедневного жизненно необходимого душевного блюда, которое в домашней обстановке принято называть нелепым выражением «мои любимые поэты». И каждый знает свой список. У меня он тоже есть, и оглашать его я не тороплюсь. Некому, да и особенно незачем.

<sup>1</sup> Об этой же проблеме — переполненности, неспособности «включить еще чьи-то там „мечты и звуки“ в состав собственной души» — писал в своей рецензии на книгу Игоря Булатовского петербургский критик и филолог Леонид Дубшан (см. «Новый мир», 2004, № 3). Мне также очень нравится определение Лидии Чуковской: «Я с незнакомыми не знакомлюсь». В нем совершенно нет надменности, но есть честная данность.

Итак, приняв в себя — в разное время — чужие поэтические миры, сделав их своими, вступив в меняющуюся, но непрерывающуюся связь, подталкиваешь себя к признанию: все, больше Боливару не вынести.

Это если по-честному.

Что не отменяет рецензий, откликов и впечатлений.

Даже самые всеохватные литературные критики и редакторы, самые «всеядные» читатели-зрители, «подсевшие» на литературные вечера и встречи, я думаю, хорошо знают, где проходит граница между интересом-любопытством и однажды обретенным-привитым. К тому же я почти уверен, что знаменитая формула из французской философской сказки «работает» в обе стороны: ты отвечаешь и за того, кто тебя приручил. Потому-то мы так ревнивы к своим любимцам-стихослагателям: их взлеты — и наши взлеты, их неудачи — наше горе. И если мы научились не сотворять себе кумиров, не встроились в когорту *поклонников* (это часто случается и хорошо прослеживается на так называемых «бардовских» примерах), нашу связь следует признать долговечной и таинственно взаимной. Или не о каждом из нас писала Ахматова, сравнивая с закопанным кладом?

О трогательности этих отношений я и не говорю. Зная или догадываясь о слабых, например, черточках *своих* писателей (речь тут о поэтической части их жизни<sup>2</sup>), мы не любим, когда их хаот со стороны. Что можно Юпитеру, то недозволено быку. Это как с отцом-матерью или родимым отечеством. Позвольте мне быть необъективным, ну и так далее. Однако, несмотря на «застывший» круг художественных привязанностей иных из нас (к коим отношу себя), мы не чураемся нового доброго знакомства. Но перерастет ли оно в отношения, в ту самую связь «поэт — читатель»?

«Осваивать» Добровича оказалось непростым делом. Литератор, имя и стихи которого до поры были (да и остаются; сомневаюсь, что в Россию доехало из *земли обетованной* более десятка экземпляров) достоянием — воспользуемся метафорой Ю. Кима — *тех* нескольких московских кухонь, выпустил более чем странные сборники с точки зрения композиции. Им бы стать представительскими, удобными для знакомства, а нет: «Линия прибоя», вышедшая через три года после «Монолога», несет загадочный подзаголовок «Стихи разных лет, не вошедшие в сборник „Монолог“». Почему они не вошли — не ясно. Если воспользоваться определением «душевной энергии», в «Линии прибоя» оказались тексты чрезвычайной силы и отделки. Под каким спудом они томились? Непонятно. Помимо прочего, в сборниках не указан тираж.

И видишь вдобавок, что первая книга, выстроенная по строго хронологическому принципу, где за привязанным к определенному историческому периоду стихотворным циклом следует своим чередом новый строгий цикл, — абсолютно не монтируется со второй книгой. В ней, несмотря на разделы-главы (каждая с оригинальным названием), хронология нарушена, и за метрическими стихами 2001 года, посвященными событиям 11 сентября<sup>3</sup>, следуют четвертьвековой давности белые стихи о композиторах и музыкантах, родившие в душе поэта экстатический отклик, сопряженный с внутренним диалогом:

...Эти непостижимые люди (а люди ли?)  
делают из *нашего* мира — храм, и в нем они —  
священнослужители, проводники в *иное*.

Погоди-ка, разве ты в Бога веруешь? Чего ж ревешь,  
дурак, если Его нет?

Чтобы закончить с композицией, я лишь смогу посочувствовать тому читателю, которому выпадет для знакомства только одна из двух книг: для полноты картины нужны обе.

<sup>2</sup> Конечно, наш читательский и жизненный опыт научил пониманию того, что поэт (особенно хорошо это понимаешь, когда наличествует факт личного знакомства, а то и дружбы) и его лирический герой — далеко не одно и то же, что между этими двумя «я» существует дистанция, иногда — «огромного размера».

<sup>3</sup> Они о том, что «прошлое — настало». Испытанный и проверенный образ: в такие времена все откатывается назад, цивилизация встает на четвереньки и залезает на дерево. «Человечества не стало. Волчество. / Полоз вместо колеса».

...Очевидно, в каждом настоящем поэте живет, зреет и взрывается, разламывается сам собой, чтобы в новом стихотворении снова сложиться, — сокровенный мучительный конфликт. Судя по стихам, Добрович мучается именно той темой, что прорвалась рыданием в приведенном выше финальном двустишии. Его герой терзается безграничностью, мучается «чередой трансформаций» и «блеском открытий», но, не постигнув Замысла, не может смириться:

...Нет, не вижу Бога царем сообществ,  
где постройка стоит на сваях презренья.  
Нет, не вижу Бога создателем мира,  
где живое мучит и жрет живое!

(«Ди меола»)

А дальше — удивительная строка и мысль, которая не встречалась мне никогда и нигде: «Помолюсь... желанию быть прощенным».

Анатолий Добрович — театральный человек, во всяком случае, был им. Взывший в руки гитару (а иные из его песен — это отличные поэтические тексты) всегда окружает себя какой-то аудиторией, а она в России у автора — была. И была благодарной. Но чувство сцены у него — это не только внешние обстоятельства большей части жизненной судьбы. Это и важнейший внутренний образ. «Словно застыл на отметке „под сорок“ / истинный возраст. И жизни внавал. / И не во всех еще масках-персонах / я побывал» («Из писем к другу»). И страшнее, мучительней — в стихотворении, давшем название первой книжке, — он кается в том, что «сделался подобием театра бродячего». Взывая к Отцу Небесному, он утверждает, что не ищет прощения, что боится лишь одиночества и в то же время молит именно о нем — через точное, почти диагностическое признание:

По трусости приветлив я. И добр  
по слабости. По глупости умен.  
И даже исповедуюсь — в театре.  
Дай занавес и загони мой дух  
в мой собственный мешок, в мою тюрьму!  
Чтоб я взмолился о Твоем приходе.

Два года назад наше телевидение впервые показало последнее, записанное в 1992 году интервью актера Евгения Леонова. Зритель знал, что незадолго до того артист был даже не при смерти, а скорее *за* жизнью. Несколько недель он лежал в коме, потом ему в Германии сделали сложнейшую операцию, и потом — уже *измененный* — он еще играл и играл свою бессмертную роль в «Поминальной молитве». Интервью записывалось где-то в фойе театра, Леонов сидел, подперев ладонью голову, говорил неторопливо и тихо, как-то очень по-домашнему, чуть-чуть подшучивал над собой, над самим жанром «телевизионной беседы», в котором он, совсем немедийный, как сейчас принято говорить, человек, оказался. И периодически обращался к не отпускаявшей его теме *возвращения*. Видно было, что она его не отпускает. Я записал это интервью на пленку и переписываю фрагмент из него дословно, со всеми паузами: «...В общем, я был в той ситуации, откуда возврата нет. Многие говорят, что меня спас Бог. Может быть, так... Потому что я теперь стал верить... (длинная пауза)... не в Бога, я так переделаться быстро не могу... А в то, что выше закона может быть любовь, выше права — милость, выше справедливости — может быть... прощение».

Я, помню, услышав, застыл. Кто продиктовал ему этот простой и сильный духовный посыл, как будто выхваченный из проповеди священника, кто? Как и откуда это вырвалось?

В некоторых поздних стихах Добрович прорывается, приближается к той ясности сознания извечного «конфликта» поэта с надмирным, которую когда-то так просто запечатлел в своей стихотворной «Беседе» Семен Липкин:

— Я и верил в Тебя, и не верил в Тебя,  
И не в том ли я грешен, свой дух погубя?  
— Уходя от Меня, ты ко Мне приходил  
И, теряя Меня, ты Меня находил.

В те счастливые мгновения, когда Анатолий Добрович или его альтер эго *приходит*, — из-под руки вылетают беспощадные и замаскированно-простодушные стихи, прочитав которые удивляешься совсем по-старинному: они как будто были всегда и живут сами по себе. Несмотря на всю их «домашность».

...Мне надо в секцию у-шу. Я вял, сутул и невынослив.  
Я плохо голод выношу. Я отношу дела на после.  
Я кто? — Стареющий еврей, гораздый становиться в позы.  
Читатель ждет уж рифмы «слезы»? Вот-вот. Лови ее скорей.  
Я не отзывчивей трески. Сребролюбив. К друзьям завистлив.  
В моих стихах так мало мысли,  
что срам печатать их, стишки.

Я говорю себе: терпи. Своих, чужих. Жару, простуду.  
Жену-пилу, себя-зануду. Лишь весть Господню не проспи.  
А весть — она и есть: «Терпи».  
Я буду, Господи, я буду.

(Из цикла «Род возвращения», 1988 — 1999)

В эти же времена Добрович создает виртуозно-громоздкий верлибр, начинающийся словами «Я легко уменьшаюсь до муравья или комара, я побывал / ими в прежней жизни, я верю в прежнюю жизнь...». В этих сюрреалистических стихах он пишет о том, что в прежней жизни был сперва человеком, а потом уже насекомым и что именно среди насекомых перестал-де «верить в Бога всеблагого». Бытование термитных и впрямь чудовищно: начинать живую добычу чужими личинками, чтобы они в ней росли и питались качественной плотью, — ужасно! А самки многих млекопитающих, в экстремальных ситуациях пожирающие своих детенышей? А земноводные? Кстати, интересно, знает ли Добрович, почему, с православной точки зрения, называть домашнее животное человеческим именем — грех? Но Бог с ними, с термитами. В этом талантливом, энергичном стихотворении вся вторая часть посвящена тараканам — тому, что, например, морим мы их с тем же (!) чувством правоты и необходимости, с каким... нацисты травили евреев. Ни много ни мало. И в довершение автор, то бишь лирический герой Анатолия Добровича, старательно и долго смывает струей горячей воды забредшего в ванну прусака. Сработанности этого пассажа и накалу самобичевания позавидовал бы Василий Розанов (который хвалился в одном из своих «коробов» милосердным вылавливанием тараканов из умывальника):

...Я долго не перекрывал воду, чтобы  
она настигла и сожгла его там, внизу. Меня трясло:  
от сознания своего могущества и в то же время от  
живейшего сострадания. Бог всемогущ, это правда, но не  
всеблаг, Он страдает садистически.  
Возможно, Он тоже был насекомым — в Своей прежней  
жизни.

Какое дотошное описание и какой финальный сюрприз!

Зато вот в не менее сюрреалистическом раннем стихотворении «В углу подвала» поэт страдает без всякого могущества и садизма: он жалеет картофельные тяжи, дрожащими головами лезущие к свету от своих сморщенных стариков-картофелин:

...«Не брезгуй, человек, не уходи!  
Они живые, это наши дети.  
Мы долго их держали у груди,  
но нам истлеть, а им — пожить на свете.  
Ты приглядишь: они милее всех.  
Не повреди их, Бога ради...»

Я не ушел. На корточках присев,  
побеги тоненькие гладил.

(Из цикла «Подоконник», 1955 — 1962)

Сейчас я выскажу одну свою давнюю и очень несправедливую по изложению мысли догадку. Поэты и актеры весьма между собой схожи. Чем? Грубо говоря, своеобразной ущербностью логики и интеллекта. Образный (игровой) дар — в отличие от аналитического — вступает с этими двумя субстанциями в весьма причудливые отношения. Они в нем — как бы сказать? — дремлют, что ли. Дар — их — сильнее, он забивает собой всё и всё берет на себя. И носитель этого дара, зная себе цену, подлинной силы своей не сознает. Актер-интеллектуал — это, в общем-то, нонсенс. Или — редкость, если хотите. Нечто похожее и с поэтами: дополняя недавнюю мысль Вл. Губайловского, я уподоблю их рыбакам, оцепенело глядящим на поплавок: клюнет — не клюнет?

А вот духовное (как, впрочем, и поэтическое, когда клюет!) прозрение не бывает глупым: оно всегда высоко, всегда *над*. В стихе срабатывают, как мы знаем, одновременно — и мысль, и образный ряд, и музыка, с которой следовало бы начать это перечисление. И если выходят сильные стихи — в них (ближе или дальше) проступает надмирный отсвет. Посреди нелицеприятных пушкинских помет на «Опытах» Батюшкова имеется и знаменитый восторг *италианскими звуками*. Собрать по перу здесь назван, как помним, чудотворцем.

«Есть мнение», что поэт, поющий некоторые свои стихи, — не совсем поэт. Зачем-де *дополнительная музыка*? Как говорится, вопрос из серии «нужно ли психиатру быть психологом?». По части поэзии и музыки — какая-то правота здесь есть, но это не случай Добровича, который, кстати, по профессии врач-психиатр. Если бы его гитарная, простите, практика помогла родиться только одной метафоре — в стихотворении, которым открывается первый сборник, она уже оправдана:

Кроны тронул — и накрыл, как струны,  
ветер переменный.

(«Север»)

Основной корпус стихов написан Добровичем в «плохое» время. Это несфокусированное и безумное время он запечатлел уверенной кистью художника, уснастил его почти зошенковским сарказмом. В плохом времени по заднему краю сцены всегда должен пройти помешанный или юродивый. На него надо успеть наткнуться, пусть даже и в ресторане, чтобы, поглядев в глаза безумию, увидеть в них свое отражение:

...«Ты меня не будешь бить?» — добродушно он спросил.  
«Ты не *Мырина* ли сын?» Я сказал, что да, сын.  
Он сощурился, как на гадость,  
и ладонью отсек эту лесть.  
«Если *рындекс*, — он сказал, — поделить на *мындекс*,  
то получим *гандекс*.  
Я подумал: а что, так и есть.

(Из цикла «Рындекс», 1963 — 1967)

Память на любимые стихи включает механизм переклички: в те же годы упомянутый мной Семен Липкин пишет свою «Телефонную будку» — стихи о сумасшедшем, напряженно и бессмысленно вертящим диск автомата:

Я слышал, что безумец подобен поэту...  
Для чего мы друг друга сейчас повторяем?  
Опустить мы с тобою забыли монету,  
Мы, приятель, не те номера набираем.

Почти все добровичевские стихи о России — доотъездные, конечно, — заряжены блоковским отвращением-любовью («Грешить бесстыдно, беспробудно...») и лермонтовским адьё. Мундиры, псы, рубли, перины — другие, чувства — те же. Но если ненависть отступает перед изумлением чужой-родной выживаемостью, получается портрет Петропавловска-Камчатского. Остаток дней хочется дожить именно здесь: в типовой коробке, окна которой выходят как на сопки, так и на залив.

Ходить бы мне по сей дороге,  
где с кручи — оба вида разом,  
где сплюснутый скафандр — надгробье  
не вынырнувшим водолазам.

Запомню город в этой части,  
где плиты с высохшей гвоздикой,  
где в людях притихают страсти  
в виду у красоты столь дикой.

(«Петропавловск-Камчатский»)

В одном из отзывов его театральный, драматургический вектор равняют по галичевскому. Что ж, Добрович — мастер превращения подсмотренных и домысленных «сцен из жизни» в искусство. Дается диву той легкости, с которой эта драматургия сама себя держит. Я залюбовался диптихом «На Енисее», где в монологе живущего в Норильске инженера из «почтового ящика» звучат-играют твардовские нотки: «Ну вот. Сегодня взял отгул. / Само собой, поддали. / Чего-то вертится в мозгу... / Обида ли? Хвальба ли? // Живем. Полярные идут. / Отличная квартира. / Четыре месяца в году / один фонарь — светило. // Четыре месяца — не век. / И отпуска в Пицунде. / И я по матери эвенк. / Отсюда и танцуйте».

На обложке второй книги Добрович доверительно сообщает о себе так: «Перелистаем десятилетия. Профессия осталась прежней, сохранилась потребность отводить душу в стихах, песнях; изменилось — с 1988 года — место жительства». Как и запечатленный им советский быт, так и это старомодное «отводить душу» — суть экспонаты музея памяти. Так уже не живут, так уже не говорят. Но *так* продолжают ломать голову над непостижимостью бытия и бытования, поражаются равнодушной прозорливости Хроноса и невозможности «выйти из себя», постичь непознаваемое. Например — женщину. И отчаиваться тем, что она повторяет собою *всех женщин*. Если толпу в метро вы философски окрестите короткой фразой «А ведь они все умрут», — знайте: это тоже тема Добровича.

Что же до собственно поэтических умений, то их Анатолию Добровичу не занимать. Мастер он временами — виртуозный. И в образе, и в рифме, и в размере, и в музыке. Листва у него накрахмалена морозом, а окна по весне ноют шмелями. Французский язык у него тонко курлычет, «пущенный словно бы кловом», а души опавших листьев, «ребячась, рьят под ногами идущих». Надламывая метр, он позволяет себе шеголять неточными рифмами, но не позволяет читателю сморщиться — мгновенно вырывая самой интонацией повествования в строгую классичность, хоть сейчас бери в учебник по стиховедению. Но в чем уж он точно сам себя превзошел, так это в ямбических упражнениях. Обронив в стихах другу и коллеге по профессии Александру Левину: «Я перестал себя обременять / игрой в стихи...», Добрович итожит:

Мы с вами оба топчемся, томимся в отработанном пару  
российских ямбов  
и ждем, что мысль раскрутится.  
А ну как вдруг шарахнет,  
куда никто не звал, не загонял,  
перстом не тыкал?

(«Распад»)

В цикле из книги «Монолог» «Ателье ямба» (1965 — 1987) Добрович поместил десятистраничную ямбическую поэму, выложенную в строку, *прозой* такого напора, буйства созвучий и красок, что знаменитые слова Багрицкого о «Первом свидании» Андрея Белого («больше из русского ямба ничего выжать нельзя») сразу покрылись для меня музейной пылью. Оговорюсь, что в начале книги «Монолог» своеобразный подступ к этой поэме уже был дан им в полной мере. Стихотворение «Третий класс» (из цикла «Тяжбы»), описывающее метафизическое приключение автора на транзитном судне. Застывший эпос и движущийся ад жизни. Кажется, — в «Онегине» — по Тверской мимо монастырей и Английского клуба со львами на воротах заразил русский стих самовоспроизводящимся вирусом. Может, и Добровича тоже?



«...А коридор мешочниками полон. За дверью мальчик спит в обнимку с полом (мать мальчика глазами так и ест меня, владельца двух каютных мест). Уборная: вонь хлорки, комыа грязи. Забитых труб клокочущий позыв. Цыганки моют ноги в унитазе. Уборщица, за этим их накрыв, катая клубни „о“ во всякой фразе, им в лица — шваброй... О, великий Гёте! Какой бы ты целебный чернослив сумел извлечь из этого компота, невозмутим и царственно красив?..»

Из «Ателье ямба» цитировать не буду. Это цельнокроеный «костюм».

Вообще цитировать из эффектных, почти антологичных стихов Добровича — не хочется. Эффектное — по его части, не моей. Получается, как видим, скорее не рецензия, но краткий путеводитель «на любителя». Рекламный проспект создаст кто-то другой. Надеюсь, он не забудет показать раннюю зависимость — легким эхо! — многих стихов Добровича от Маяковского, истовую любовь к Пастернаку (стихотворение *о стихотворении* «На ранних поездах» я бы уже сейчас включил в школьные учебники) и наркотическую, почти имажинистскую тягу к метафоре.

Не это главное.

Это поэт, не умеющий дышать *вне* русского стиха и русского слова («...стихи для меня — это вдох. / Но, как известно, подайте выдох!»).

Я не знаю, почему и зачем он уехал. Судя по стихам, никаких пуповин он не собирается резать, а просто мучительно-счастливо живет на *теперь* родной земле, правда — «одной ногою» («Россию отняли, как ногу...»). Он с наслаждением пишет, что русские слова крал, крадет и будет красть, как репу с поля или подшипники с завода<sup>4</sup>. Неточные ударения эмигрантов в языке отцов бьют ему по сердцу. Он мечтал и мечтает отправиться в лес, где растут слова, нырнуть за словами в пруд или, подобно кошке, отыскать среди обычной травы — лечебную. Словесную. И чтоб в довершение пролился на его поэтическую голову ливень из слов.

В своих новых, израильских стихах он — все тот же: романтик, чуть-чуть позер, мечтатель, философствующий мудрец... Но и отец своей дочери. Время-то идет.

Он не оплакивает себя — того, который *остался* в России. Он сохранил даже странно-счастливую подростковость восприятия мира. Он не устает удивляться своей удачливости (выжил, не сел) и разгадывать тайный смысл всего с ним происходящего. Этим и заканчивает написанное в год отъезда стихотворение «Другая страна». Промысл решил вывести его вон и втолкнуть «на прожарку грехов / в раскаленный *рехов*, где спуют бородастые предки».

И поставить под зной — без смекалки и без языка,  
без ребячьей гордыни и твердых заслуг пожилого.  
Чтоб хватала рука  
только то, что удержит рука.  
И звучало в словах  
только то, что вмещается в слово.

Из тех, кто пишет русские стихи *до* и *после* прибытия на Святую землю, мне так и не вспомнился ни один, который превзошел бы Добровича и в мастерстве, и в объеме написанного. Вдох сделан. Дело за выдохом: книжкой, в которой будет указан тираж (каким бы он ни был), и пусть не торжествующее, но *справедливое* место издания. Читатели стихов в Москве — и в России — еще присутствуют.

Павел КРЮЧКОВ.

\*

## PRO ET CONTRA ИВАНА НЕИСТОВОГО

И. А. Ильин: *pro et contra*. Личность и творчество Ивана Ильина в воспоминаниях, документах и оценках русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2004, 895 стр.

...В 1934 году — через двенадцать лет после высылки из советской России — Иван Ильин писал из Берлина в Париж Ивану Шмелеву про «страшное сознание

<sup>4</sup> Небось, дескать, вразрез и напрочь.

своего одиночества, своей ненужности, своей черной ненужности для чудесной нашей родины <...>. Конечно, честь и верность мои со мною, и я знаю, хорошо знаю те часы, в которые я их предпочел всяческому личному устройению. Но Господи Боже мой! Что за страшное время выпало нам на долю, что негодаям, законченным лжецам и бесстыдникам пути открыты, а нам — поток унижений». Еще актуальнее звучит и ответ Шмелева: «В наше время нет или почти нет великого творчества, огня, опаляющего душу, служения словом <...>. Измельчали, опошлись, оторговились, опохабились, обазарились, обрыночнулись...»

Не раз в переписке их<sup>1</sup> сквозь сетования на ненужность и одиночество сквозит упование на востребованность в «грядущей России». Сбылось ли оно? Отчасти да: книги Шмелева продаются в приходах даже за церковными ящиками, а у Ильина вышло многотомное собрание сочинений, которое еще будет пополняться и дальше. Но и — нет, ибо их влияние настолько же несопоставимо с тем, на которое они уповали в изгнании, насколько современная Россия отлична от той «грядущей», о которой они мечтали.

Об антологии «Pro et contra» мне уже приходилось писать, рецензируя том о Константине Леонтьеве<sup>2</sup>. С тех пор в этой серии вышло много отличных книг, объемно высвечивающих лучшие фигуры отечественной культуры, — и вот книга об Ильине. В определенных православных «белых» кругах Ильин ныне — фигура культовая; публицистика его оказалась живее и интереснее, пожалуй, публицистики любого из его современников, включая Георгия Федотова, его заблуждения поучительны, а сердечный пафос не остывает во времени.

...Открывается том фрагментом воспоминаний Евгении Казимировны Герцык, на двоюродной сестре которой был женат философ. «Всегда вдвоем — и Кант. Позднее — Гегель, процеженный сквозь Гуссерля. И так не год, не два». Возможно, именно потому, что Ильин был еще и «ученым гегельянцем», Ленин не допустил его расстрелять, хотя после революции тот и оказался в гуще антисоветской политики. «И как бывает порой с русскими немцами (Ильин по матери — немецких кровей. — Ю. К.), у него была ревнивая любовь к русской стихии — неразделенная любовь». Была в Ильине — уже и в двадцать лет — «священная безуминка», в течение всей жизни закипавшая порой в интеллектуальную желчь, злость; полемическое равновесие — не его добродетель. «Знакомство с Фрейдом, — вспоминала Герцык, — было для него откровением: он поехал в Вену, прошел курс лечения-бесед, и сперва казалось, что-то улегчилось, расширилось в нем. Но не отомкнуть и фрейдовскому ключу замкнутое на семь поворотов». Впрочем, интеллектуальные стычки, выходящие за границы приличий, — приметное свойство того бурного и мутного предреволюционного времени вообще, серебряный век наш был не без червоточины. Так повздорил Ильин, к примеру, с Андреем Белым: «на разрыв аорты», — а всего-то из-за музыки Метнера. Белый и сам не сахар, тоже особым равновесием не отличался, но на каждого «безумца» найдется другой, покруче (как на Стриндберга — Ницше), и — писал Белый об Ильине — «этот талантливый философ казался клиническим типом <...> ему место было в психиатрической клинике <...> наше знакомство определялось отнюдь не словами, а тем, как молчали мы, исподлобья метая взгляды друг в друга».

Ильин однажды замечательно точно определил распространенный прием полемики: «инсинувировать пакость сердца своего предмету своего недоброжелательства». У самого Ильина сердце было чистым до детскости, беззащитности. Но неосознанно и он приписывал некоторые собственные качества своим оппонентам. Так про маститого юриста и кадета Кокошкина Ильин писал, что тот «понимал политику как мечтатель и доктринер». Речь идет о либерализме Кокошкина, но ведь и мечтательность, и доктринерство, и утопизм могут быть и с другим идеологическим знаком, и в этом плане Ильин сам заплатил им щедрую дань. И — верил в белого если не Царя, то Вождя, способного вытащить Россию из коммунистической бездны, настолько, что, когда скоропостижно скончался барон Врангель

<sup>1</sup> «Переписка двух Иванов» (трехтомник в рамках собрания сочинений И. А. Ильина). М., «Русская книга», 2000.

<sup>2</sup> «Новый мир», 1996, № 9.

(действительно крупнейший, очевидно, наш политический деятель после Столыпина), умолял не хоронить его до появления трупных пятен — в надежде на летаргию.

«Иван Ильин — тип германца», — обронила Герцк. Ницшеанская вера Ильина в вождя, водителя и спасителя человек, не сразу отшатнула его — от Гитлера. «Как Вы могли, русский человек, пойти к Гитлеру?» — вопрошал Роман Гүль Ильина в конце 40-х годов, порывая с ним. Передёрг. Ильину в гитлеровской Германии запретили преподавание, лишили куса хлеба, и ему — при содействии Сергея Рахманинова — пришлось переключиться от немцев в Швейцарию. Но определенные иллюзии в отношении Гитлера у Ильина поначалу были.

...Оказавшись после ленинской тирании в послевоенной Германии, социально и культурно разлаженной на глазах и могшей в любую минуту стать добычей для коммунистов, Ильин увидел в национал-социализме панацею от красной угрозы. Гүль недобросовестно упрекает его за это уже *после* Второй мировой войны, Холокоста и всех прелестей фюреровского беснования. Задним умом все умны. А в начале казалось, что «фашизм мог и не создавать тоталитарного строя: он мог удовлетвориться авторитарной диктатурой, достаточно крепкой для того, чтобы: а) искоренить большевизм и коммунизм и б) предоставить религии, печати, науке, искусству, хозяйству и некоммунистическим партиям свободу суждения и творчества в меру их политической лояльности». Но если фашистам — предупреждал в 1948 году Ильин — «удастся водвориться в России (чего не дай Бог), то они скомпрометируют все государственные и здоровые идеи и провалятся с позором».

Или вот Андрей Белый — не сморгнув, в своих не лишенных подсоветско-конъюнктурных интонаций мемуарах «Между двух революций» аттестует Ильина «воинственным черносотенцем». С чего же он это взял? Какая недобросовестность — знал, что политэмигрант Ильин за руку не схватит. А между тем Ильин еще в 1926 году писал: «Для того чтобы одолеть революцию и возродить Россию, необходимо очистить души — во-первых, *от революционности*, а во-вторых, *от черносотенства* <...> Черносотенство есть *противогосударственная, корыстная правизна в политике*». (Здесь и далее курсив Ильина.)

Ильин дорог и интересен именно своей попыткой выработки новой идеологии: одновременно правой и — просвещенной, моральной — но свободной от обскурантизма. Он срывался, и срывался неоднократно, доходя порой до абсурда, но в *главном* здравости тоже ему хватало...

Знаменитая его книга «О сопротивлении злу силою» (1925) всколыхнула эмигрантов всех политических лагерей. Теперь вся эта полемика собрана под одной обложкой и составляет замечательную яркую и интересную идеологическую полифонию.

Сейчас сразу и не поймешь: из-за чего весь сыр-бор? Взыграло интеллигентское ретивое, и на Ильина накинудись сразу всей стаей в амплитуде от новых религиозных философов до эсеров-террористов. Набросились в стиле «неистового Виссариона»: «Апостол кнута! Проповедник невежества!» Верно, не научила их революция ничему. Ладно социал-демократка Кускова: мол, Ильин проповедует «о допустимости покаяния зла с точки зрения православия». Ужасно. То ли дело предшественники Кусковой: «Желябов, Перовская, сотни других борцов отдавали жизнь за отпор злу. <...> Главное значение террора было в борьбе со злом, в прямой с ним схватке, в отпоре злу, а не в мести». Или эсер Чернов: «В террористе боевой героизм достигает своего максимума <...> одиночество террориста требует чрезвычайной внутренней силы, сосредоточенности, силы личной убежденности и энтузиазма. <...> Коллизия кажется неразрешимой. Она выливается в яркой безысходной формуле: „нельзя — и надо“, как повторял когда-то в величайшем напряжении своей чуткой, беспокойной совести Иван Платонович Каляев». Или: «Если мы вспомним, как решали для себя эти вопросы подвижники и герои подпольной террористической борьбы против самодержавия, мы увидим здесь (в книге И. Ильина. — Ю. К.) перемены их задушевнейших мотивов. Ильин лишь повторяет зады революции... посылно пытаюсь соответственно их освоить согласно потребностям контрреволюции». В этом-то все и дело: нам вас убивать можно, а вам нас — нет! Этим десятилетиями держалась тлеющая русская революция, в этом находила она поддержку у Льва Толстого, либеральной адвокатуры, уж не говорю об идеологах-разночинцах. И вдруг Ильин осмелился возвысить свой голос, что на террор, на

революцию надо отвечать адекватно и это даже богоугодно. Ка-ра-ул! Зинаида Гиппиус об И. Ильине: «Это не философ пишет книги, не публицист фельетоны: это буйствует одержимый». Ильин и впрямь был человеком клокочущим и порою неистовым и мог, как теперь говорят, «подставиться», когда утверждал, например, что дух немецкого национал-социализма сродни духу русского белого движения. Но согласитесь, есть же правда в его ответных — Гиппиус — словах: «В час величайшего крушения и унижения Родины патриоту естественно быть одержимым любовью к ней и буйно относиться к ее врагам <...>».

Хотя и то правда, что, как и во многих мечтателях, не укорененных в циничной повседневности, в Ильине недоверчивость сочеталась с повышенной экспансивностью. Ильин хотел бы любить людей, он и жил, в сущности, как типичный русский правдоискатель, «чтобы любить и быть любимым», но — по понятным причинам — это у него не всегда получалось. И он доходил вдруг до белого каления даже и там, где это было вовсе не обязательно.

Разумеется, талантливее других критиковал Ильина Бердяев. Пафос его свободолюбия носит уже не столько освободительный, сколько экзистенциальный характер. И он, очевидно, прав, указывая, что Ильин «не может мыслить спокойно, легко теряет равновесие». Но эти же упреки он может, впрочем, адресовать и себе. Чем еще объяснишь, что — по Бердяеву — «Ильин хочет восстановить инквизиционную юстицию», что он «ныне отдал дар свой для духовных и моральных наставлений организациям контрразведки, охранным отделениям, департаменту полиции, главному тюремному управлению, военно-полевым судам». Читаешь — и не веришь своим глазам: что за «белибердяевщина»? Ильин иногда, теряя равновесие, и впрямь «заговаривается» (особенно в «Наших задачах»), но все-таки не настолько, как тут Бердяев, который — как справедливо замечает Ильин — «просто галлюцинирует насчет моей книги и моих воззрений». «В длинном пути, уготовлявшем большевизм, непротивленства у нас не было никакого». Ну а «непротивленство» Временного правительства? — спрашивает Ильин. «Кто из нас не помнит этого позора?» И десяти лет не прошло, как забыли позорный жалкий путь от февраля — к октябрю в 1917-м, когда власть, как то, что плохо лежит, взяла наконец, выражаясь современным языком, ленинская преступная группировка, вооруженная мощной популистской идеологией.

Забыли, впрочем, слава Богу, не все. Так, 8 августа 1925 года П. Н. Врангель писал Ильину следующее: «Глубоко благодарю Вас за присланную Вашу книгу „О сопротивлении злу силой“. Книга эта произвела на меня сильное впечатление не только теми мыслями, которые Вы выразили в ней и которые нам, участникам борьбы с величайшим в мире злом, так близки и понятны, но и своей исключительной своевременностью. Многие, духовно утомленные тяжкими годами изгнания, теряют веру в нравственную необходимость борьбы и соблазняются мыслью о греховности „насилия“, которое они начинают усматривать в активном противодействии злу. Ваша книга откроет им глаза. Нам же, взявшим на себя всю тяжесть ответственности за поднятый меч во имя высшей Правды, книга Ваша даст новые силы для тяжелого подвига».

Как видим, между пониманием и признанием одной и той же книги «государственным человеком», с одной стороны, и «орденом русской интеллигенции», с другой — бездна. Ильин освящал войну с большевизмом *религиозно*. И Врангель не мог благодарно не оценить это...

Разделение же сохранялось и далее, аж до 80-х годов. Так, в пору моей эмиграции в разговоре с Н. А. Струве я как-то упомянул о генерале Кутепове и страшной его кончине. «Солдафон», — усмехнулся Струве. Правда, «родословную» такого скептицизма в ту пору я, конечно, еще не вычислил.

Врангель вывез из Крыма не деморализованную, а напитанную высоким патристическим пафосом армию. Но делать ей на Западе как таковой было нечего. И на успешную интервенцию, и на внутреннее восстание, на помощь которому она могла бы прийти, надежды было все меньше: террор и тотальная пропаганда внутри страны делали свое дело. Скоропостижная кончина П. Н. Врангеля в апреле 1928 года уберегла его от еще горшей участи: быть выкраденным и убитым сталинскими агентами. Не «солдафонам» было тягаться с чекистами в конспирации.

Стремясь политически и морально окормлять *белые* эмигрантские массы, Ильин благодаря, увы, оказавшемуся с коротким дыханием «деньгодателю» выпустил несколько номеров журнала с крайне неудачным названием «Новый колокол». Сразу возникали нехорошие исторические аллюзии: христианин-охранитель превращался, таким образом, в революционного демократа, косвенно легитимизируя тем самым и большевистскую власть в Кремле. Гордиев узел послереволюционной истории эмигранты не могли уже ни разрубить, ни распутать<sup>3</sup>.

Ильин был человек закрытый, но и трогательно-экспансивный, готовый вдруг простосердечно распахнуться тому, кому он поверил, кого уважал и любил. Его имманентное одиночество в изгнании наложилось на одиночество общественное, тем открытее он был для тех немногих — в немногие минуты, кому мог открыться. Да что, даже ненавистному Бердяеву пишет он до наивности откровенно: «Очень прошу Вас помочь мне. Доктора нашли у меня катар левой легочной верхушки. Шлют на юг. Надо наскрести денег. Я говорил с С. Л. Франком, прося его протолкнуть какую-нибудь мою вещь в YMCA-Press. Он обещал переговорить с Вами... Если можете и хотите, то помогите!» А ведь Бердяев, пожалуй, мог бы быть и шокирован таким прямолинейным желанием напечататься в «его» издательстве исключительно по материальной необходимости.

«Если бы только рассказать, — пишет Ильин Сергею Рахманинову 30 августа 1938 года, — сколько раз люди обманывали и предавали меня, то это целое мученичество. Ибо — скажу Вам совершенно откровенно и доверительно — моя душа совсем не создана для политики, для всех этих цепких интриг, жестоковийностей и проталкиваний вперед. ...Господь один знает, как мучительно мне жить в наше жестоковийное и каторжное время... Вот почему я говорю о „мученичестве“».

...Увы, многое, слишком многое из написанного русскими религиозными философами сегодня больше не актуально — отчасти по их «вине», в большей степени — по нашему собственному недостоинству. Устаревает творчество, но удивительным образом оказывается живо, злободневно и интересно все, что творчество это сопровождало: сама жизнь выдающегося человека, его письма, записи, дневники, воспоминания и свидетельства о нем современников, включая и... некрологи. Так, член Народно-Трудового Союза (НТС), идеология которого эклектично пыталась сопрячь религиозное и освободительное движение, Н. Тарасова простодушно писала в «Посеве» о покойном И. Ильине, что его заветы легли в основу программы «российских солидаристов», таким образом восстановилась прямая линия Радищева, декабристов, Герцена...» Старый белогвардеец И. Горянинов вынужден был тотчас выступить «В защиту памяти профессора И. А. Ильина»: «Как все просто у Н. Тарасовой! Раз, два — и вот уже покойный И. А. Ильин сопричислен к когорте „славных“ — расстрелятых многих поколений российской нации и погубителей России... Какая клевета, рассчитанная на то, что И. А. Ильин не сможет уже громовым голосом призвать их к порядку»...

Конечно, не клевета — недомыслие Н. Тарасовой, эмигрантки второй, военной, волны со своей специфической психологией. Где еще, как не в серии «Pro et contra», и прочитаешь такую вот собранную воедино «симфонию» к жизни выдающегося деятеля прошлых времен?

Комментарии к тому весьма скрупулезны, к их составлению И. И. Евлампиев привлек знатока и публикатора наследия Ильина Ю. Т. Лисицу, культуролога Н. А. Струве и других. Но почему-то вовсе отсутствуют выходные данные на «Воспоминания» В. А. Маклакова; А. Н. Скрябин аттестован не русским, а «российским» композитором; нигде — ни в примечаниях, ни даже в «Указателе имен» (!) —

<sup>3</sup> Когда в 1968 году А. Белинков бежал на Запад и решил издавать там «Новый колокол» — это понятно, объяснимо и соответствует уровню белинковского мировоззрения. Когда в наши дни С. Бабуриным называется свое политическое движение «Народная воля» (хорошо хоть не «Черный передел») — то же самое: невысокий уровень бабуриновской политической культуры тут налицо. Но Ильин-то был человек совсем другого калибра и должен, обязан был бы слышать исторические смыслы, стоящие за названием. То, что он, однако, их не учитывал, свидетельствует о том, сколь тонкой была еще пленка между новым патриотическим и прежним освободительным интеллигентским сознанием.

не названы инициалы «церковного писателя Нилуса». Таким образом Евлампиев хотел, очевидно, выразить свое презрение к публикатору «Протоколов сионских мудрецов», но такого рода «публицистика» в комментариях неуместна.

В предисловии же он пишет, в частности, что «Ильин, абсолютизируя все негативное в европейской цивилизации XX века, не заметил рождения *принципиально новой культуры*, которая, наследуя лучшие черты ушедших времен, была связана с появлением *нового человека*» (курсив Евлампиева). Или: «В начале XXI века, когда культура новой эпохи завершила свое становление, приобрела стабильность и четкие формы» и т. п. Как говорил Станиславский: «Не верю!» Хоть убейте, не вижу я «четких форм новой культуры, наследующей лучшие черты ушедших времен», а вижу эклектичную в своем «постмодернизме» гигантскую коммерческую поделку, вижу безбожную дребедень на месте литературы и изобразительного искусства. А вместо столь любезного Евлампиеву «нового человека» — хищного, эгоистичного потребителя.

От чего далек — по Евлампиеву — «новый человек», так это от «церковного, исторического православия», что правда. Евлампиева это скорее радует; он подготовил объемный том Ильина и об Ильине (справедливости ради надо сказать, что вся предварительная работа была проделана уже Ю. Т. Лисицей, готовившим ильинское собрание сочинений), а ему ближе, очевидно, «религиозный экзистенциализм» Льва Шестова. Хотя к «новой культуре» и «новому человеку» XXI века Шестов имеет, ежели имеет, самое что ни на есть косвенное отношение. Что ж, *pro et contra* налицо даже и в данном случае.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ

### +8

Майя Кучерская. Современный патерик. [Предисловие Сергея Чуприна]. М., «Время», 2004, 282 стр.

Как совместить веру в Бога, православную, церковную, «ортодоксальную», с интеллектуальной свободой, щепетильностью разума и творческой независимостью? Вопрос, в лабиринтах которого блуждал еще Николай Бердяев, встал в повестку дня для немалого числа российских интеллектуалов, еще сравнительно недавно бывших «новоначальными». Они, если угодно, — это некая новая субкультура («Батюшка Артемий окончил филологический факультет Московского университета...»; «Дьякон Григорий, выпускник Литературного института...»; «Мать Софья, между прочим, выпускница „Шуки“...»), столкнувшаяся лоб в лоб со старой, «лесковской», условно говоря, субкультурой причта и монастыря, к тому же прошедшей сквозь советские медные трубы. Столкновение это, бывает, что и ломает судьбы, а случается, приносит — привлекательные для всех без исключения — плоды взыскуемой христианской культуры. Меня восхищает, как подобное удалось Майе Кучерской, представительнице тех, кто «оканчивал факультеты» и подвергался означенному искусству.

Патерик, или отечник, — это, как известно, сборник кратких повестей о подвижниках вкупе с их наставлениями. Как и в житиях святых, здесь предания о высочайших духовных подвигах и проникновенные образцы богомыслия переплетены с эпизодами, нельзя не признать, сказочными, фантастическими, «варварскими». Не зря Сергей Аверинцев советовал переводить извлечения из подобных памятников в несколько условный план посредством оговорки: «Как верили наши предки...»

Свободу смешивать непостижно глубокое с неприкрыто абсурдным, умиление со страшилкой, диковатые рассказы с истинными свидетельствами — такую свободу Кучерская обрела именно благодаря стилизации, не слишком, впрочем, педантической, больше — шутовой, старинного жанра духовной письменности.

Книжка ее — *стильная, художественная*, потому несколько не дидактичная, хотя очень и очень поучительная — для желающих учиться. Мы должны сами, без авторской метки, успевать переключаться с регистра на регистр: с нехитрого анекдота «Один батюшка был людоедом...» и прочих подражаний иерейскому фольклору (в книжке, кстати, фигурирует Михаил Ардов под именем отца Мисаила) на бесценный рассказ о посещении великого старца о. Николая на острове Залит; с забавно переложённого на монастырский лад популярного сказочного сюжета о премудрой терпеливице, исполняющей с помощью ангельских сил неисполнимые наказания злой госпожи игуменьи, на записанные как бы с диктофона (здесь — искусство!) потрясающе бесхитростные признания женщины, которая все раздала и оставила по слову Христа и прилепилась с малолетним сыном к Дивеевской обители; с пародийных «рассказов для чтения в воскресной школе», живо напоминающих «вредные советы» Г. Остера (в этом «патерике» вообще много чего сказано о том, *как не надо*), — на краткие повествования о юродивых и блаженных, чье «шокирующее» поведение не вызывает у рассказчицы сомнений в их сокровленной мудрости.

Короче, это писательская стратегия, в духовном плане именно «юродством» и зовущаяся, а в литературном плане — парадоксализмом. Ларчик с двойным дном — оставляющий за читателем свободу выбора любого из двух его уровней, а верующую душу отваживающий от фальшивых надрывов.

«Братия спросила старца: „Скажи, отец, где лучше строить нам сарай для дров? Поближе к забору или рядом с банею?“ — „Где хотите“, — отвечал старец».

**Псалмы Давидовы. Перевод С. С. Аверинцева. Киев, «Дух і Літера», 2004, 151 стр.**

Аверинцев перевел на русский (разумеется, обращаясь и к масоретскому тексту, и к Септуагинте и сверяясь с традиционным славянским переводом) и представил здесь пятьдесят псалмов, то есть треть всей Псалтыри. Это, поясняет он в кратком предисловии, первичный, исходный опыт богообщения, «в непредставимой дали времен», «где человек кричит изо всех сил, зная, что за пределами мира его слышат». Переведены в числе прочих псалмы самые знаменитые, самые употребляемые в богослужении, «слова, которые давным-давно знаешь наизусть, но которым не перестаешь удивляться»: «Блажен муж...», «Помилуй мя, Боже...», «Благослови, душе моя, Господа...», «Живый в помощи Вышняго...». (Вот, ничего с собой не могу поделаться, как бы ни были хороши аверинцевские переводы, а перечисляю зачины псалмов по-славянски; знакомый славянский текст проступает сквозь русскую речь, как, прошу прощения за кощунство, «Союз нерушимый республик свободных» сквозь «Россия, священная наша держава».)

Опыты Аверинцева — не первые в своем роде; я не говорю о всем известных переложениях псалмов русскими поэтами начиная с Симеона Полоцкого, но, скажем, недавно в «Вестнике РХД» печатались извлеченные из архива переводы Г. П. Федотова. Но, может быть, в переводах Аверинцева рельефнее всего выявлено, что псалмы — не просто поэзия, а собственно *стихи*, ритмизованная речь, приспособленная для пения; в ушах у переводчика ни на минуту не смолкает их ивритское звучание, и мы вслед за ним различаем строфы-куплеты и едва ли не мелодику (прочитайте великолепный перевод псалма 113/114).

Мне же в книге всего интереснее две приложенные к этой «избранной Псалтыри» статьи. В них, как ни странно (совсем не странно!), разрешаются те самые задачи, что по-своему решала молодая писательница в причудливом своем «патерике», но стоят они теперь перед христианским ученым-библеистом. Как соединить научную добросовестность с неизбежной ангажированностью конфессионального мыслителя (статья «Ветхий Завет как пророчество о Новом. Общая задача глазами переводчика»)? Непроясненность таких вопросов «для чуткой совести не может не быть травматической». И проблема, убедитесь сами, разрешается — со смирением и дерзновением. Можно ли совместить скрупулезную и объективную филологическую экзегезу с пылким уроком моральной теологии? Оказывается, можно (статья «Вслушиваясь в слово: три действия начального стиха первого псал-

ма — три ступени зла»). Не удержусь перечислить вслед за автором эти «три ступени» (речь идет о тексте псалма «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...», вводного, как считает Аверинцев, по отношению ко всей Псалтыри), — может, кто и задумается. *Ходить* к нечестивым — опасная духовная неразборчивость, но от нее еще можно вовремя избавиться; *стоять* на путях грешных — это уже выбор позиции (например, героическими террористами), дело уже хуже; *сидеть* в собраниях развратителей — хуже некуда, это состояние покоя во зле, стадия цинизма, «шедевр сатаны» («Как говорят наши современники, расслабьтесь», — саркастически комментирует автор).

Аверинцева с нами нет — от кого еще мы такое услышим? Кто еще завлечет нас погрузиться в этимоны древнееврейских глаголов, чтобы вынырнуть с таким знанием о себе самих?

**Ивлин Во. Елена. [Роман]. Перевод с английского А. Иорданского. М., «Текст», 2003, 253 стр. («Квадрат»).**

«Святая Елена крест потеряла, со слезами искала, с радостью нашла» — этот заговор-просьба о нахождении потерянной вещи, маленькое милое поверье, — может быть, главное, что вспоминают у нас при звуке имени матери Константина Великого, откопавшей Крест Господень в заброшенном и утратившем свое имя Иерусалиме IV века по Р. Х. Даже на празднике Крестовоздвижения не очень, кажется, ее вспоминает молящийся люд. В Англии более полувека назад решил вывести ее из забвения блистательный романист Ивлин Во, один из тех, наряду со старшим — Честертоном и ровесником — Грэмом Грином, «католических писателей», которые смотрелись отчасти чужаками/чудаками на фоне государственного англиканства, но именно в этой неуютной позиции сумели проблематизировать и провести через художественную рефлексию свою веру, сделав ее источником обшесзначимых драм. Я все о том же...

Но почему — Елена? Согласно одному из преданий, она была родом из Британии — отдаленной римской провинции, откуда и вывез ее римский офицер, ставший отцом Константина. В почти цинически беспощадном сатирике, авторе «Незабвенной» и «Не жалейте флагов», в глубоком душезнатце («Возвращение в Брайдсхед») не может не растрогать такой простодушный, такой инстинктивный патриотический импульс: дескать, «наша Елена».

«Елена» написана в быстрой манере занимательной исторической хроники, без словесных ухищрений и подделки под древние времена, напротив, с долей намеренных анахронизмов, приближающих эти времена к читателю. Можно читать хоть в метро, хоть в электричке — ничего похожего на грандиозную сагу Томаса Манна. Это не значит, что в романе нет никакого христианского — и даже собственно католического — «мессиджа». Живая душа, расположенная к простейшим добродетелям любви и верности, а главное — любопытствующий ясный ум, рассеивающий «детскими вопросами» марево митраистских мистерий и лжеименных гностических умствований, — все в Елене ведет к тому, чтобы она исполнила свое на роду написанное предназначение. Когда юная Елена, еще язычница, за чтением Гомера уверяет своего учителя, что от Трои что-нибудь да осталось и будет-таки найдено, автор исподволь подводит к мысли и о христианстве как исторической религии, в центре которой высится реальное событие, оставившее вещественный след — Крестное Древо. Если в сердцевину православного сознания (мы видим это у Кучерской) ставится парадоксальный подвиг юродства, то в сердцевину католического — просветленное здравомыслие (недаром Честертон писал, что в его оккультно-декадентскую эпоху одни только католики защищают разум). Ну а коли на то пошло, католическая специфика романа — в третировании и принижении Константина за перенос столицы из папского Рима во «Второй Рим» — Константинополь. Остается ответить латинцу по Достоевскому: «Константинополь должен быть наш!»

Кстати, поскольку Во — не единственный *консерватор*, оказавшийся на моей нынешней полке (см. ниже), стоит выписать из его романа пассажи о народовластии. Говорит Елена (в ответ на удрученность сына-кесаря бременем власти): «Власть без



благодати <...> Вместо того, чтобы предоставить одной-единственной жертве нести это проклятие, они возьмут его на себя — все до последнего человека. Подумай только, как несчастен будет целый мир, наделенный властью без благодати».

**Священник Алексей Лисняк. Праздник жизни. Воронеж, ООО «Новый взгляд», 2003, 106 стр.**

Как этот сельский батюшка стал «молодым писателем» (так его рекомендует заметка председателя Воронежской писательской организации), понятно: живой ум переполняют непричесанные впечатления, невместимые в дидактический жанр проповеди с амвона, хотя и влекущие к назидательным выводам. А как этот молодой человек стал батюшкой, догадываемся из повестушки «Девчонки, которые ждут», завершающей сборник. Может быть, и не догадались бы, и не прониклись сочувствием к тривиальному (как почти все в действительной жизни) сюжету об обманутой любви и исцелении от нее в Церкви, кабы не застали автора на приходе, в одиночестве и безбрачии. Должно быть, о себе рассказано. И финал с прощальным *heavy metal* удалого гитариста, навсегда уходящего от мира (ср. «Чистый понедельник» Бунина), — тоже, значит, о себе.

Но привлекательность книжки — не в этой истории, да и не в литературном уровне, вполне, впрочем, удовлетворительном. Привлекает, даже очаровывает юмористическое приятие своего места на «празднике жизни», — а это действительно праздник (хотя название чуть подсвечено иронией), потому что никуда не деваются роща, река, рассветы и закаты, звездное небо и ежевесенняя весть о том, что «Христос воскрес из мертвых», которой радуется горстка чистых душ. Фон же — если можно назвать фоном рутинное бытие — беспробудное пьянство, суеверия, пять-шесть прихожан за литургией, а для батюшки-строителя и его единичных помощников — изо дня в день «благодатная разгрузка церковного кирпича, то земляные, то малярные послушания»... Жить без всяких иллюзий, но с великим упованием — научиться бы этому у Алексея Лисняка! «Как и любой храм, *разграбленный трудящимися* во время безбожной власти...» — умная и беззлобная усмешка, выраженная едва ли не по-зощенковски. И неустанная готовность прийти на помощь неупасенным душам, научить хоть чему-то доброму, в том числе и вот этими своими рассказиками. Только раз прорывается по-человечески понятная горечь: отпевают заведомого пакостника, спьяну замерзшего в сарае, и батюшка, много от него потерпевший, по чину молится о вселении души покойного туда, «идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни въздыхание», а у самого на сердце кошки скребут. Но обида проходит легкой тенью — мелькнула, и нет ее.

Некоторые рассказы, особенно «Словно блаженная Ксения», могли бы без диссонанса пополнить «Современный патерик», да и сам автор — оказаться среди его героев. А юмор — без него вера грозит обратиться в фанатизм, в «идеологическое православие».

**Олеся Николаева. Испанские письма. Книга стихов. М., «Материк», 2004, 83 стр.**

Мне уже приходилось писать о не менее значительной книге стихотворений Олеси Николаевой «Amor fati» (см. «Новый мир», 1998, № 11). В той книжке цикл «Испанские письма» был начат, теперь же — разросся до двадцати одного стихотворения. Он сразу приковал внимание всех, кто ценит сложную и тонкую, убегающую от определений и «далеко заводящую» игру поэтических смыслов. Раньше я замечала, что это не «римские стихи» Бродского с их прямой аллюзионностью. Теперь добавлю, что это и не «Александрийские песни» Кузмина с их стилизованным колоритом, опосредующим лирическую интимность. Чтобы оказаться в «Испании мысленной», поэту пришлось пережить некую неназываемую травму, перешагнуть через невидимую на картах черту, спровоцировать чистый экзистенциальный опыт разлуки. «Дорогой! Испания — это такая страна, куда ни с каких дорог не завернешь, даже если захочешь... / Здесь просто оказываешься однажды, / Обнаруживаешь себя. Входишь сюда на вдохе... / Ах, не то чтобы сделался вовсе бесчувствен-

ным, нет, но своя / жизнь глядит незнакомкой какой-то, испанкой, и локон завил-ся...» Это Испания Поприщина, который *не* сошел с ума, оберегаемый от такого исхода ангелом поэтического воображения. Да и ум слишком обширен, чтобы так прямо с него и «сойти»; Олеся — редкий поэт, у которого ум и вкус не осаживают лирической энергии, доходящей порой до фортиссимо. Поэтому ее Испания-Россия («Дорогой! Испания — сухая, выработанная земля» — «Ох, как сурова зима в Испании») двоятся сразу и как «безумное» наложение видений, и как интеллектуальная игра в переходы туда-обратно, и как социальное взаимоподобие (для чего, кстати, есть реальные основания), и как дрожь души, силящейся попасть в фокус, уцепившись «за архангельский меч Михаила»: «Здесь, в Испании, можно погибнуть за милую душу!»

Эти переливы любо-дорого смаковать, но меня захватили первые разделы книги — силой смятения, которая, можно сказать, вышибает героиню из ее привычного (со всеми оговорками) образа «мудрой девы». Стесненность в однажды избранном уделе-имени: «О, как жаль не бывшего — и Ольги / Вигилянкой, у нее изящней / получился б этот праздник жизни, / этот выход в сапожке испанком!..» («праздник жизни» = тискама жизни); мартовский «ропот дурной крови» («О, март, март! Ты намеренно понижаешь высокое, низкое делаешь еще ниже... дырка в твоём кармане»); зыбкая трясина чудовищного города («А под нами шевелится ненадежная земля...»), посещения мертвых «меж сном и явью», реквием по самоубийце. Это — час испытания, опыт утраты цельности, честно внесенный в стих: «Оттого-то мой конь имеет двойную сбрую / И двойную жизнь мою знает — этакую, такую...»

Когда, разрешение слышится мне в многочастном стихотворении «Путешественник», по чудной переливчатости не уступающем «Испанским письмам». Жажда опасных странствий и неизведанных ощущений, разлучающая нас с самими собой, — это, в сущности... Но тут я замолкаю, боясь огрубить тончайшее поэтическое богомыслие Олеси Николаевой.

**Сергей Боровиков. В русском жанре. Из жизни читателя. [Предисловие Андрея Немзера]. М., «Вагриус», 2003, 302 стр.**

Предисловие свое А. Немзер назвал «Роман о русской прозе». Не спорю, но это еще нравоописательный роман русской жизни, и трудно сказать, что тут «во-первых», а что «во-вторых».

За десять лет работы (1993 — 2002) глава наращивается вслед главе, растет нумерация — в книжке, изданной в 1999 году в Саратове, было 14 таких разделов-циклов, теперь — 21. И дай Бог Сергею Боровикову продолжать впредь — потому что это золотая жила, к которой никого, кроме него, не стоит подпускать. Жанр своих этюдов сам автор оценивает как «русский, ленивый, нетщеславный...», обломовский — читатель, дескать, почитывает и сам же тут же пописывает. В русском жанре — то есть в русском духе. Так-то оно так, но не всему верьте. Есть превосходное знание второго и третьего эшелонов литературного войска (а не одних только генералов) — знание, требующее въедливого трудолюбия. Есть любимые герои, которым посвящены обдуманые главы и фрагменты: Чехов и Толстой с «Войной и миром», Толстой А. Н. и Вертинский; есть главы-темы («Из жизни пьющих»). Но особенная прелесть каждого из двух десятков сюжетов — как раз в неуследимой логике перехода от одной мысли к другой, каковую логику объяснить невозможно, а между тем она существует, как есть она в голове привольно задумавшегося, никому не обязанного отчетом человека. Уверяю вас, это все очень тщательно подобрано и искусно слажено, какая уж там лень.

Вот, к примеру, пишет он о неприязни Бунина к Достоевскому, который «каждой своей страницей сводил на нет <...> все его тончайшее эстетическое сито». А перед тем невзначай сам потряхивает этим «ситом» и заодно тревожит тригоринско-чеховский бутылочный осколок: «Запах мыла утром на реке — запах молодого счастья. Стрекоза, радужные разводы на поверхности, от которых удирает водомерка, и красешек горячего солнца из-за леса». Или вспоминает-описывает вырезание елочных игрушек из журнала «Затейник» — ничуть не хуже позднего Валентина Катаева. Умеет.

Много знает, многое умеет и ничего не боится произносить вслух. «Не бросайте в меня дохлой кошкой!» Возмущенные читатели уже бросали — за «попранье» Паустовского, Булгакова. А возразить-то не получается. Нечего и говорить, что здесь и портрет советской литэпохи — с ее «общей, лагерной тоской», пышными съездами и темными интригами, сорванными кушами и мелочными приработками, посадками и реабилитациями, халявными пиршествами и предательскими смертями. Никакой «завербованности», ностальгии или проклятий, просто пишет человек, не расстававшийся с возможностью быть свободным посреди внешней несвободы. Свободен он еще и потому, что — читатель по призванию: книги для таких людей создают перспективу жизни за гранью текущего и делают текущее отнесенным, не вечным.

В книгах же — рецепты жизни и комментарии к ней. Иногда рецепты буквальные: любой, прочитав главу о Чехове, непременно запомнит, как автор — эврика! — вытащил из холодильника все ингредиенты закуски, описанной в «Сирене», и, с успехом сотворив целое, выпил и закусил. Но вот пример еще лучше на тему «литература и жизнь»: «Кандидатши от блока „Женщины России“ в своих выступлениях так часто употребляют слово „мужчины“, что вспоминаются страницы купринской „Ямы“».

**Николай Любимов. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. [Предисловие Б. Н. Любимова]. Т. 2. М., «Языки славянской культуры», 2004, 509 стр., с ил.**

О первом томе этих воспоминаний я писала в своей книжной полке 2000 года («Новый мир», № 7). Его успел подготовить еще сам мемуарист, знаменитый переводчик Николай Михайлович Любимов (1912 — 1992); второй же том после смерти отца составлен и текстологически выверен театроведом и философом Борисом Николаевичем Любимовым, который в кратком предисловии обещает нам и третий, куда войдут, в частности, театральные воспоминания Н. М. (страстный театрал и друг многих людей сцены и кулис, он, по его признанию, «без Художественного театра не мог представить себе жизнь»).

Однако на страницах этого, второго, тома бушуют совсем не театральные страсти — «кровавый буран». Немудрено: повествование открывается, после недолгой прелюдии — работы в славном издательстве «Academia», ссылкой автора в Архангельск (1933 — 1935), проводит через столичные и провинциальные (в родном Перемышле) перипетии Большого террора и заканчивается освобождением матери рассказчика после долгого срока репрессий (схвачена за то, что в оккупированном городке она, учительница, выгораживала своих земляков, «вступая в контакт» с немецкой администрацией, — в любой европейской стране за спасенные жизни ей дали бы орден, справедливо замечает ее сын-мемуарист).

В книге, как и в предыдущей, превосходны мемуарные портреты — последнего крестьянского поэта (а также искуснейшего прозаика) Сергея Клычкова и знакомца по Северу Александра Яшина, сомнительного Бориса Зубакина и симпатичной Натальи Крандиевской, «азефа» Якова Эльсберга и Д. Горбова, еще многих и многих. Описан взлет «Нового мира» при Вяч. Полонском. Но это — дымящийся текст, меньше всего похожий на утишенные временной дистанцией мирные труды памяти. В конце 60-х — начале 70-х, когда все это писалось, Н. М. Любимов не только не глядит вспять «добрей и безнадежней», но с яростью и надеждой на будущее освобождение попранной России торопится передать потомкам то, что пока от них скрыто или фальсифицировано. Потому-то пространные экскурсы посвящены вещам, к мемуаристике не имеющим прямого отношения: политическим биографиям Пуришкевича и Бухарина, например, или положению Церкви при Сталине; подробному рассказу о капитуляции перед властью Сергеева-Ценского, чей талант прозаика Любимов ставил выше некуда.

...Такая вот зарисовка литературного вечера: «Противно картавил из молодых да ранний Константин Симонов с чуть косящими маслянистыми глазами духанщика, разбавляющего вино водой и не доливающего вина в кружки. Сельвинский на мотив цыганского романса провозглашал тост „за партию нашу...“. Похожий на

чучело льва Луговской с присвистом читал стихи на осточертевшую тему — оду какому-то комиссару гражданской войны». В той же коллекции — «продувная бестия северянка Марфа Крюкова». В той же гамме чувств — жажда победы в великой войне и страх победы, сулящей закрепление гнета. Не припомню, кому еще так остро удалось передать феномен *самооккупации* родной страны, когда твои же соотечественники и земляки — не просто начальство, чиновная элита, а именно захватчики, чуждые всему тому, что ты в этой стране любил и любишь. Я живо помню тоскливое это состояние, но как расскажешь о нем молодым радикалам об его толка, грезящим «советской империей»? Читайте Любимова.

А «Неувядаемый цвет» — Богородичная икона: Богородица с лилией в руке — символом ее чистоты. Здесь: память сердца и хранение сердца.

**Олег Павлов. Русский человек в XX веке. М., «Русский путь», 2003, 248 стр.**

«Боже, как грустна наша Россия!»

Олег Павлов получил Букеровскую премию за последнюю и, по-моему, действительно лучшую часть своей армейской трилогии — за «Карагандинские девятины». Так вот, небольшая книжка очерков и публицистики, название которой похоже на вердикт, стоит вровень с его «букеровским» достижением. И даже слово здесь бьет точнее и больней — писатель меньше «платонизирует» (имею в виду, конечно, Платонова).

Андрей Платонов, а также солженицынский Иван Денисович в сравнении с Платоном Каратаевым — для Павлова темы интересных наблюдений; но продолжать литературный разговор — язык не поворачивается. То, что по преимуществу в книге читаем, — записки из всевозможных «мертвых», они же казенные, домов (будь то армейская часть, городская больница или просто какой-нибудь растащенный колхоз-совхоз) — из «домов», образующих, по аналогии с гулаговским архипелагом и его островами-зонами, один широко раскинувшийся мегаполис по имени «русская жизнь».

В начале книги воспроизводятся и комментируются письма, адресованные Солженицыну в первой трети 90-х, — «огнедышащий вулкан человеческого протеста», выбросами которого отвечено на развороченное бытие: «„некуда жить” — вот русский апокалипсис». Пишут и пишут, ведомые «мифом о писателе — народном заступнике». Не думайте, Павлов не пытается перехватить в глазах читателя эстафету, стать таковым вслед за могучим адресатом (хотя объективно его книга — акт заступничества); он в первую голову — диагност. Он анатомирует устройство жизни, как ни горько соглашаться, извечно: «Мы катим в гору истории Сизифов камень». Он, даже сострадая пишущим и проникаясь их гневом, ясно видит оборотную сторону, безнадежную подоплеку: «Голодные мечтают посадить сытых на голодный паек». И диагноз его потряс меня своею простотой: в России, стране стольких революций, «никакой гуманитарной революции не произошло». Не произошло той самой, к которой звал Достоевский («восстановление павшего человека»), ради приближения которой Чехов отправлялся на Сахалин. Ни разу. Ни в XX веке, ни до, ни после (можно бы напомнить об александровских «великих реформах», о земствах, о лучах праведности и актах благотворительности, но в душе понимаешь: автор прав).

Вывод этот — не идеологический, не политический, не просоветский и не антисоветский, не про- и не антиельцинский, не про- и не антипутинский, а метафизический, если угодно, религиозный. Беря за основу последнюю глубину отношения человека к человеку, он, этот вывод, объясняет, почему сама история отменяла все исторические достижения наших победоносных войн и жертв во имя Родины (очерк «Чужая империя»). Россия — «страна начальников и подчиненных». «Это опричнина, то есть порядок в порядке, такое устройство жизни, когда, чтобы быть не битым, бьешь сам». Распинатели и распинаемые стихийно и произвольно следуют назначенным ролям. Символическая фигура распятого — обмороженный бож, которого под Новый год беззлбно домучивают в приемном покое и отделяются от него вчистую, вплоть до необъяснимого исчезновения мертвого тела (не приходится сомневаться, что происшествие истинное). Как быть?

## ±2

Михаил Ремизов. Опыт консервативной критики. М., Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2002, 111 стр.

От эмпирики в виде «опущенного солдата» и списанного божма поднимаемся на высоты политических наук, где развертывает свой маневр Михаил Ремизов. Это самый яркий, самый талантливый из новых интеллектуалов, выстраивающих оппозицию либерализму, а заодно гуманитарному «морализму» любых оттенков — в форме просвещенной версии фашизма. Говоря о доктринальном фашизме, очень прошу понимать это не как бранное словосочетание, увязываемое нашей пропагандой с гитлеровской практикой, а как обозначение вполне академической политической философии (Эвола, Джентиле; Ремизов, правда, любит цитировать не их, а «консервативного революционера» немца Карла Шмитта). Ну, если «фашизм» не нравится, пусть будет «правый радикализм». Во всяком случае, читатель консервативных взглядов почерпнет из этой книжки много полезного, если будет помнить, что написана она, вопреки самоназванию, не консерватором.

Чтение Ремизова увлекательно, потому что он не из тех, кто прибегает к лукавому «искусству вовремя останавливать мысль». Он-то доводит свои мысли до конца, на самом старте предупреждая о праве такого, как он, «консерватора» на «предвзятость», перешагивающую через табу «универсалистских абстракций» (тут отсылка к К. Мангейму, автору «Идеологии и утопии»: всякая идеология предвзята, — сделаем же это волевым преимуществом, а не предметом разоблачения). Притом Ремизов — мыслитель, а не демагог, хотя стоит на пути, ведущем к демагогии, как только идею «потащат на улицу».

Важным объектом критики Ремизова, в этом пункте неизбежно консервативной (сам автор еще зовет ее «фундаменталистской»), являются основополагающие для современного либерализма концепции «общественного договора» и «политической нации». Пустопорожняя процедурность и формализованность этих понятий, отмечающих «доправовые» (культура, история) основания человеческого общежития во имя абсолюта гражданского равенства и ради десакрализации власти, — это дорога к опустошению Европы, отказывающейся в итоге от себя самой. В одной из лучших статей — в «Утопии конституции» — Ремизов с успехом демонстрирует, как конституционный акт тщится вытащить себя за волосы, с чистого листа «конституируя» тот самый «народ» и ту самую «политическую нацию», которые эту же конституцию «суверенно» учреждают. Порочный круг — не поспоришь. Когда из понятия гражданства, пишет он, изымается всякое культурно-историческое содержание, возникает уравнение: «демос» минус «этнос» равно «плебс».

Все это хорошо сказано, хоть и не так уж ново; как минимум мы читали «Философию неравенства» Бердяева. Интересно, однако, к чему такому «доправовому» апеллирует автор, когда от общих слов об «истории как последнем приюте священного» переходит к конкретике? Оказывается, не к «отеческим преданиям», а к «революции — когда история ничего не брала в расчет, кроме чистой воли к власти». К харизме действующего, «обладающего достаточно сильной волей», чтобы двигать историю в любом направлении. Харизма в исходном, богословском понимании — это благодать, даруемая лицу, принявшему бремя власти: если Бога нет, то какой же имярек президент? — впрямь не более чем ночной сторож. Харизма в послеберовском социологическом понимании — это соблазнительный волюнтаризм дуче, «черного полковника», Ленина, который «понимал, что такое политика», кого там еще? На место Бога, метаправовой инстанции, нам в который раз подсунули «доправового» сверхчеловека. А вместо «органического общества» классиков консервативной мысли — «мир brutальной свободы (разве не всякая свобода brutальна?)».

Осмелось заявить: по-настоящему консервативна (охранительна, сберегательна) только христианская критика просвещенческих и неолиберальных идей. За вычетом компоненты христианского универсализма (воображаю тут усмешку Михаила Ремизова) она превращается в фашизоидную право-левую радикальную критику оных.

Максим Соколов. Чуден Рейн при тихой погоде. Поэтические воззрения россиян на историю. (Кн. III). М., SPSSL — «Русская панорама», 2003, 544 стр., с ил. («Очерки новейшей истории»).

Если слон на кита налезет, кто кого соборет? («Конduit и Швамбрия»). М. Ремизов в непочтенные примеры «либерального консерватора» почему-то выбирает Алексея Кара-Мурзу. Между тем существует Максим Соколов, и мне было бы любопытно присутствовать на их с Ремизовым диспуте, которого, впрочем, не ожидается («все по своим закутам», — как сказано в процитированном О. Павловым письме из солженицынской почты). Диспут попытаюсь соорудить сама, на чем и сосредоточусь, поскольку о третьем томе публицистического временника М. Соколова я уже писала в «Русском Журнале» в марте этого года.

Прежде всего (а в забеге на титул консерватора и важнее всего) — «упоминательная клавиатура» (О. Мандельштам). Провозглашая возвращение к истокам, М. Ремизов своей исторической памятью не забирается далее октября 1917 года: «Раньше мы (! — И. Р.) шли брать Зимний дворец...» Зато Зомбарт, Лукач, упомянутый Мангейм, Хабермас, Фуко, Бодрийяр живо мобилизуются для дела консерватизма. Если бы не присутствие имен Ницше, Шпенглера и Шмитта, квалификацию левого интеллектуала самого расхожего толка этот список ему бы обеспечил. Максим Соколов вместе с Ремизовым Зимний не брал, предпочитая мысленно находиться в рядах «Белого движения российских новомучеников за веру». Его воротит от «рагу из разогретых к ужину несвежих бартовщины и фукотовщины», и он не прочь «ударить по бодрийяровщине» — ибо в этих модах видит то именно бегство современной Европы от самой себя, о котором на словах скорбит Ремизов.

Но дело не только в составе имен. Ремизов мыслит идеологемами, а Соколов, как то и свойственно консерватору, — прецедентами. В его журналистике господствует «прецедентное право», она полнится историческими аналогиями и литературными аллюзиями от Ромула до наших дней. То, что сомышленнику Ремизова Д. Ольшанскому (назвавшему свою рецензию на том Соколова — «Писатель прежних газет») кажется замшелой старорежимностью, для нашего публициста служит органической культурной почвой; Пушкин, А. К. Толстой, Владимир Соловьев — его «простая родина» (как сказал однажды Пришвин о «Капитанской дочке» — «моя простая родина»).

Сообща, казалось бы, бросая камни в огород нынешней Европы за исходящую от нее угрозу «передовой несгибаемой идеологии» (М. Соколов), как по-разному оценивают они одни и те же российские и мировые события! «Августовская революция» была, по Ремизову, «не свершением, а обвалом», потому что попыталась «заколдовать страну пластмассовыми побрякушками гражданского культа». Для Соколова это славная «Преображенская революция», вернувшая «закрытую в 1917 году» Россию в пространство Истории, доподлинно «консервативная революция», и он хранит благодарность «великому старику» Ельцину (отзыв на книгу «Президентский марафон»). 11 сентября для Ремизова — «бенефис плакальщиц и моралистов», вместо участия в котором рекомендуется «не входить в чужой суверенитет и в чужой миф», а по-макиавеллиевски маневрировать, исходя из текущих державных интересов. По Соколову же, 11 сентября произошла «приватизация войны», государство, любое и каждое, в принципе лишилось своей законной монополии на насилие; — а значит, основания мирового порядка поколеблены, и чего стоит межгосударственная возня интересов перед этим сокрушительным фактом! (Не глубже ли он смотрит, тоже не «морализируя»?) Даже такая частность — погром, учиненный в Москве молодежью после нашего футбольного поражения. Ремизов тут воодушевлен «реальностью, берущей слово через толпу»: «инстинкт — это форма непосредственной достоверности», «толпа не может ошибаться» (автор этой максимы, верно, читал Евангелие, но, видимо, не впечатлился). Соколов же предупреждает о новорожденной опасности: «время непуганых наступает».

Соколов вообще защищает обывателя, желающего «кормиться от трудов своих рук и молиться по своей вере», твердя: «Бог, Россия, семья, собственность, государство»; в том числе — защищает от инстинктов штурмовой толпы. Спаси и сохрани. По его словам, вся консервативная программа изложена в великой ектенье.

Я рада с ним согласиться. Почему же к «плюсу» подставила «минус»? В книге, снабженной добротным переплетом, украшенной гравюрами из альбома «Romantische Rheinreise», отлично исполненной полиграфически, хватает грамматических огрехов и опечаток. Понятное дело, файлы с персонального компьютера М. С. были вброшены в книгу без того, чтобы автор удосужился их внимательно перечитать; если в «Известиях», «Эксперте» или «Огоньке» тексты хоть отчасти правили корректоры, то тут все представлено о'натюрель. К консервативным добродетелям, среди коих «осанка, четкость, твердость», стоило бы прибавить еще и аккуратность.

## КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

### ЛЮБОВЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ

*Три французских фильма*

**(МАНЦЕВ)** Вот уже две недели увлечен поступком двоюродного дяди. Кажется, в начале шестидесятых дядя, бывший разведчик, фронтовик, задумал строиться. На тракторе тащил в свою рязанскую деревню стройматериалы. На крутом речном берегу чего-то не рассчитал, вместе с трактором и лесом кувырнулся в воду. Ситуация была стремительной, безнадежной. Единственное, что ему удалось, — насмерть прикусить запястье, чтобы вода не пошла в горло и дальше. «Не понял!» — «Чтобы никто не усомнился: водила был как стеклышко трезв».

Я не склонен преувеличивать этот вполне локальный сюжет. И все-таки он меня волнует. Человек не хотел оставаться в чужой памяти *преступником*. Бережно относился к своим последним секундам. Судьба подкараулила его и, почти не оставив времени на размышление, предложила умереть неосторожной сволочью, пьяным растяпой. Но человек в три-четыре секунды судьбу переиграл, успел выбрать. Две недели назад я услышал про него впервые и теперь буду помнить. Звали человека Анатолий Манцев.

Думаю, все было именно так, как рассказано. Думаю нечасто, иногда. Юкио Мисима, распоровший собственный живот перед дворцом японского императора, нравится мне куда меньше. Мисима оставил о себе слишком публичную память, слишком навязчивую. Японская традиция полагает харакири не преступлением, а доблестью. Наверное, у японцев есть основания так считать, японцам виднее. Речь, однако, пойдет главным образом о французях.

**(РОМЕР)** Зимой увидел в телевизоре любопытный исторический сериал. В одном из первых эпизодов, дальше которого я так и не продвинулся, главная героиня, розовошекая старшеклассница, становилась объектом воцелений большого начальника, похотливого самца Лаврентия Берии. Самец приводил школьницу на конспиративную квартиру и необаятельно с нею заигрывал, вначале бросая перезрелой на вид девице мячик, а потом агрессивно требуя ответного паса и удивляясь ее неловким движениям.

Экранизовав расхожую легенду о злокозненном наркоте, авторы намеревались его дискредитировать? Так сказать, канонизировать образ злодея-сладострастника? Но все последние годы общественную мораль насильственно сдвигали в направлении чувственных свобод и материальных удовольствий. В контексте нашей нынешней, с позволения сказать, культуры, вульгарной и местечковой, сексуальный гигант в пенсне предстает благородным героем-любовником! Эдаким *адаптированным шевалье*. Школьницу не особенно жалко. В самом деле, разве он не обеспечит ей всестороннее «хорошо» — в постели и последующей повседневной жизни? Разве не об этом, уверяют нынешние аналитические программы и ток-шоу, «все они мечтают»? Почему же чертовка не отдается ему с тою готовностью и тем порочным

изяществом, которые не первое десятилетие преподносятся телевизором в качестве *нормы* — в каждом втором рекламном ролике, в каждом первом сериале? Короче, в чем же тут *преступление*? В том, что продвинутый начальник стремится к немедленному удовлетворению естественной потребности? Нет, он решительно ни в чем не виноват.

Глядите, как колбасит, разрывает на части наших растерявшихся от обилия денег и впечатлений «творцов». Их протагонист, заявленный герой сериала, — девчонка. Фабула антисоветская, легендарная: девчонку похищает змей-горыныч, ненавистный либеральному сознанию насильник нарком. Но постсоветская логика переназначает героев: протагонистом становится Берия, активность которого теперь невозможно, попросту неловко осудить. И наоборот: *взятая напрокат* из давешних советских времен девчонка-припевочка в белом фартучке, неумелая и стеснительная, вызывает чувство глубокого недоумения.

Итак, корректное, непредвзятое считывание проявляет следующее: *категория преступления* нашими новыми творцами элиминирована! С некоторых пор преступление у нас невозможно, поздравляю! Не знаю, что было дальше, но в отчетном эпизоде я пожелал любовникам обоюдного удовольствия. Погодите, будут еще и не такие мутации, еще и не такой расколбас.

Отчетный сериал странным образом срифмовался с предпоследним фильмом Эрика Ромера «Леди и герцог» (2001). Фильм рассказывает про эпоху Великой Французской революции. Некая английская дама, Грейс Эллиот, фаворитка, а в недавнем прошлом и любовница герцога Филиппа Орлеанского, оказалась в центре революционных событий, иначе — в Париже. Король Людовик арестован и ждет приговора. Герцог Орлеанский — противник Людовика, хотя, кажется, кузен. Именно в качестве противника короля и записного демократа герцог избран в революционное собрание, в Конвент или как его там, не важно, все равно. Теперь герцог ведет сугубо политическую жизнь, а его бывшая любовница, нынешняя добрая подруга, пытается вести себя прежним, светским образом. Впрочем, это ей не удастся.

Ромер, за вычетом двух-трех случаев работавший исключительно с современностью, идет поперек традиции костюмных исторических фильмов. Точнее, он иллюстрирует достоверной реалистической картинкой только локальную историю Грейс Эллиот, ее частную жизнь, то есть «крупный план», понимаемый в том смысле, который я предложил текстом «Левее левого» («Новый мир», 2004, № 4). Что же касается «общего плана», то он недостоверен. Парижские здания, улицы и дворы выполнены в режиме вызывающе условной компьютерной анимации, словно нарисованы на заднике павильона.

Что же получается, так называемая «улица», где будто бы совершаются революции, маршируют революционные полки и где взбунтовавшаяся чернь победно предъявляет испуганным аристократам отрубленную голову королевы, ставится Ромером под сомнение?! Безусловно! Достоверность и *значение* «улицы» проблематичны. «Улица» — стилизованный, картонный муляж, а растрепанная королевская голова — фетиш, кость для голодных бродяг. Подлинная сущность революционных событий раскрывается в салонных эпизодах.

Рискуя собственной жизнью, Грейс спасает от Революции коменданта дворца Тюильри герцога Шампсене. Не будучи с ним в связи, не будучи даже влюблена, из чистого человеколюбия, по моральным соображениям она просит заступничества у герцога Орлеанского, она прячет несчастного Шампсене в собственной постели.

По мере приближения решающего голосования в Конвенте, где и должна решиться судьба Людовика, Грейс предпринимает обработку герцога Орлеанского. Она требует от него верности законам чести и спасения монарха, она упражняется в риторике, она апеллирует к морали. Герцог увиливает от прямого ответа, намереваясь притвориться больным и не ходить в Конвент в день голосования. Однако идет и голосует. Когда короля таки приговаривают к смерти, Грейс и демократически настроенные, но все же верные королю посетители ее домашнего салона негодуют: «Спасая свою честь, герцог обесчестил дело революции!» Оскорбленная леди даже приказывает снять парадный портрет герцога со стены и спрятать в чулане.



Революция тем временем переходит к Террору, на века оформляя его архетипические черты. Почти безо всяких оснований Грейс приводят в залу, где вершит свою волю революционный Трибунал. «Я невиновна!» — снова морализирует Грейс. Пустое, Трибунал предъявляет свои риторические фигуры: «Я знаю эту женщину, она роялистка. Она пыталась выдать девушку из Орлеанской династии за английского принца!» Кстати, прошлогодняя картина Ромера (род. в 1920-м!), которую мне пока не удалось посмотреть, посвящена, насколько я понял, французенке 30-х годов XX века, внезапно догадавшейся о том, что ее муж является агентом сразу нескольких разведок, и не в последнюю очередь советской.

И все-таки что считает непредвзятый зритель здесь? Во-первых, отмеченное выше обстоятельство: «улица» и чернь — это кровавый декор, а не причина. Далее, ограничив достоверное действие будуаром и гостиной англичанки Грейс Эллиот, Ромер намекнул на особую и, может быть, решающую роль воплощенного этой женщиной социально-психологического типа. В-третьих, противостояние Грейс и Трибунала, несмотря на оголтелое беззаконие последнего, вряд ли можно трактовать в пользу дамы. Ромер подает противостояние подчеркнуто холодно, отстраненно. Ее «невиновна!» отчего-то не убеждает.

Может, дело в том, что нам не кажутся убедительными, даже раздражают и ее бесконечное морализаторство, и ее безупречная критика? А это, в свою очередь, происходит оттого, что здесь, на территории Революции, в средоточии борьбы за влияние и власть, ее язык непонятен, ее, извините, дискурс неуместен? Автор все настойчивее предъявляет свой фильм как драму несоответствия: являясь на самом деле важнейшим субъектом политики, о чем ниже, женщина с большими невинными глазами, Грейс Эллиот, бессознательно, но тем более упорно маскирует свою политическую роль, акцентируя моральный аспект, абстрактные ценности и книжные идеи.

Ромер устраивает со зрителем любопытную игру. Если вначале мы однозначно симпатизируем волевой, активной Грейс (Люси Руссель) и брезгливо гнушаемся одутловатым, почти беспринципным царедворцем Филиппом Орлеанским (Жан-Клод Дрейфус), то постепенно герои меняются местами. «Выясняется», что, как ни странно, герцог Орлеанский честнее и органичнее, нежели его добрая подруга. В финале картины сообщается о его гибели на гильотине и о ее благополучном освобождении. Большие, трогательные глаза дамы отчего-то становятся похожими на рыбы. Зато вернувшийся на прежнее место, хотя и явно приукрашенный придворным живописцем портрет герцога вызывает симпатию.

Ромер никак не развивает мелодраматический сюжет. Грейс не предложено флиртовать ни с Шампсене, ни с герцогом Орлеанским, ни с кем иным. Так, значит, это не историческая мелодрама? Ни в коем случае. Ромер безупречно трансформирует совокупность отвлеченных идей в кинематографическое повествование, в мимесис. Он предъявляет будуар и салон в качестве политического поля. Подчеркну: даже не преимущественно политического, а исключительно политического! Теперь, когда неожиданно для нас, поклонников или противников, но в любом случае знатоков костюмных мелодрам, это новое, неожиданное качество приватного пространства становится очевидным, роль Грейс Эллиот в происходящих событиях представляется не только лицемерной, но попросту преступной. Действительно, она словно бы переступила жанровую границу. Такое свое содержание картина Ромера принудительно диктует внимательному зрителю!

Понятно, человеку, имеющему самое приблизительное представление о французском историческом прошлом, захотелось выяснить, в каком отношении к научным интерпретациям эпохи находится фильм Ромера. Два-три авторитетных переводных издания уточнили картину.

Итак, репрессивные механизмы абсолютизма и его жесткая социальная дисциплина вызвали реакцию, которая воплотилась в Просвещении, осуществившем идеологическое обеспечение Великой Французской революции. Государство отказывало гражданскому обществу в автономном развитии. Реакцией общества стало формирование интеллектуальных элит — своего авангарда. Эта реакция затрагивала как раз ту частную сферу, где подданные скрывались от государства. Самым наглядным, самым емким образом этой сферы как раз и стали салон с будуаром,

именно по этой причине предъявленные Ромером в качестве единственно достойного и — главное! — подлинно революционного пространства.

Мало того что салон с будуаром — квинтэссенция, символ частной сферы. Знаменательно, что реальные Просвещение с Революцией подготовлены именно там. Именно в салонах философы и писатели заявили о своем намерении стать глашатаями новой силы — общественного мнения, изменить, по словам Дидро, привычный образ мыслей. И конечно, философов поддержали, философов сориентировали — женщины, определявшие новые правила светской беседы.

В салонах XVII столетия женщины все еще цивилизовали аристократов-варваров, а хозяйки салонов XVIII века контролировали уже его и дискурс грамотных, уверенных в себе литераторов. Именно *светская беседа*, эта высшая стадия хороших манер, это невозможное доселе сочетание вроде гибрида хлебного злака и павлиньего хвоста, стала тем полигоном, на котором, угождая утонченному дамскому вкусу, кавалеры формировали и вводили в обиход яркие альтернативы. Ромер блестяще показывает этот процесс. Уже в одном из первых эпизодов Леди и Герцог обсуждают роман Шодерло де Лакло «Опасные связи...». Их критика, их моральный пафос внезапно сходят на нет: все эти прения не более чем интеллектуальный тренаж, в процессе которого генерируются пресловутые альтернативы.

По сути, вся эта бесконечная морализация Грейс, ее нескончаемая *критика* в адрес герцога Орлеанского есть не что иное, как попытка обеспечить *морали* верховенство над *политикой*, которую герцог в полной мере олицетворяет («Леди и Герцог» можно переименовать в «Мораль и Политика»). Однако безудержная критика, стремящаяся обеспечить нравственную прозрачность социума и утверждающая общественное мнение в качестве высшего органа, иначе — «трибунала разума», не знает удержу. По словам одного немецкого историка, критика быстро превратилась в контркритику, потом в сверхкритику и, наконец, выродилась в лицемерие. Именно это лицемерие постепенно становится сущностью невменяемой моралистики Грейс Эллиот. Занимаясь разоблачением пороков общества, моралисты не хотят осознавать или признавать свое собственное политическое значение. Парадокс в том, что, реализуя свои нравственные идеалы, Грейс является *основным субъектом* революционной политики, против которой столь яростно выступает! Так называемое «незаконное обвинение» в ее адрес — не что иное, как порыв общества к тотальной прозрачности, сверхкритика и, в сущности, развитие ее собственной стратегии поведения. Таким образом, картина Ромера «крупным планом» предъявляет механику перманентной революции, которая является недостижимым идеалом всякого *реального* революционного процесса.

Фильм Ромера и сопряженная с ним философия истории особенно важны для России, которая до сих пор не может справиться ни с «проклятым коммунистическим прошлым», ни с его вождями, ни даже с современностью. Вышеприведенный сюжет с Берией и девочкой-припевочкой не случаен, но архетипичен. Такого рода «сюжетика», доминирующая в подкорке и власть имущих, и народа, блокирует какое бы то ни было движение, деморализует. Сюжет изнасилования беззащитной девочки наркомом — первобытно-общинная архаика, к тому же отягченная отсутствием Доброго Молодца, избавителя. Архаика, перекладывающая всю ответственность на «злого дядьку» — в пенсне, в жилетке и кепке, во френче и сапогах. Сравните с тем, как ненавязчиво, понуждая зрителя открывать правду в процессе развертывания сюжета, Ромер переводит стрелки с неприятного поначалу политика на обаятельную и отвечающую за свои поступки светскую львицу. Вот это и есть взрослая работа, *взрослая страна*.

В прошлом кинообзоре я пытался показать: двоих персонажей в режиме активного диалога достаточно для того, чтобы обозначить некий универсум. Мне было бы несложно подобрать десятки иных расейских сюжетов, аналогичных описанному бериевскому: соблазнился радикальной наглядностью.

Впрочем, разве отчаяние, спровоцированное сравнением «наших» с «ихними», в новинку? Раз в год перечитываю Ромера, пересматриваю Ромера, нервничаю. Уговариваю себя: может, у «наших» высокая простота? Неужели очередной виток русской духовности? Нет, к сожалению, нет. Исключительно «простота — залог здоровья» и «простота хуже воровства».

**(ЗЭЛДИН)** Решил назначить французов героями очередного кинообозрения, едва наткнулся в старинной беседе Ромера с редакцией «Кайе до синема» на такую вот реплику интервьюера: «Думаете ли Вы, что по отношению к общей структуре „моральной истории“ художественная роль снега эквивалентна роли оккупации?»

Донельзя воодушевленный формулировкой, где-то в подвале отыскал непрочитанную книгу англичанина Теодора Зэлдина «Все о французах» (М., 1989), вторая глава которой, кстати, называется «Как их полюбить». «Подсчитано, в сегодняшней Франции — 130 тысяч интеллектуалов, что непостижимым образом совпадает с числом французского духовенства в 18-м веке».

И все-таки они не маги и не жрецы, а тоже люди, чем-то похожие на нас: «Самая распространенная во Франции фамилия — Мартен, затем идут Бернар и Тома. Мальчики при крещении чаще всего получают имена Жан, Пьер и Мишель, девочки — Мари и Франсуаза. Особенно распространено имя Патрис».

**(РАЙАН)** Не «рядовой Райан», который, кстати, мне активно не нравится, но американская актриса Мэг Райан из безобидного жанрового фильма «Французский поцелуй», с Кевином Кляйном и Жаном Рено. После того, как ее жених влюбился в парижанку, Мэг Райан отправляется на его поиски через океан и, проехав ненавистную сначала страну насквозь, связывает свою жизнь с настоящим французом, в прошлом виртуозным преступником, зато теперь гениальным виноделом.

Два раза смотрел этот фильм из-за Мэг Райан. В этом фильме (и только в этом!) Мэг Райан *восхитительна*. Может быть, мой интерес к французам спровоцирован интересом ее героини? Пожалуй, мне хотелось быть на месте ее французского избранника. Это жанровое кино два раза втащило меня внутрь сюжета, проглотило, растворило, растрогало.

Смысл этой главы в том, что рецензии могут быть и вот такими. Собственно, это и есть некая альтернативная рецензия. Порою наши критики выпендриваются больше, чем все 130 тысяч французских интеллектуалов, вместе взятых. И поскольку формулы вроде «художественная роль снега эквивалентна роли оккупации» у них нипочем не получаются, наши критики брезгливо, точно в отместку матери-природе, отмахиваются ото всего нехитрого, но непосредственного и живого. Это неправильно: живому следует сопереживать.

**(РАППНО)** Не проверял, но уверен: фильму Жан-Поля Раппно «Счастливого пути» (2003) у нас не поздоровилось. Между тем это хороший фильм, совершенно непонятный в бестолковом постсоветском контексте, но занимающий свое, достойное место в контексте французском. Я коснусь лишь тех особенностей, которые рифмуют его с опусом Ромера, с той стратегией повествования, которая позволяет грамотно и *без потерь* выразить Большую историю в параметрах заурядного флирта. Кстати, сценарий написан режиссером в соавторстве с П. Модiano.

Вторая мировая. Действие развивается накануне немецкого блицкрига и в первые месяцы оккупации Франции. Картина выполнена в жанре «бестолковой французской авантюры», с огромным количеством действующих лиц и сюжетных перипетий. Однако существенную роль играют только две пары. Первая — это публичные люди, чьи персоны у всех на виду, чьи лица хорошо известны. Он — Министр Франции, один из кандидатов на пост Президента страны. Она — знаменитая французская актриса, звезда, чьи фильмы имеют бешеный успех и не сходят с экранов даже в нелегкие времена оккупации. В сущности, эта сладкая парочка воплощает неизбывный французский архетип «леди и герцог» на новом историческом этапе. Он — все тот же самозабвенный политик, интриган, зато она превратилась из светской моралистки в своекорыстную красотку, бестолковку: общество «тотальной демократии» более не нуждается в сообразительных дамах, провоцирующих производство идеологом с их последующим обменом. Такое общество давно утвердилось в качестве всеобъемлющей машины по производству критики и морали.

Вторая пара — полная противоположность первой. Эти двое молоды, никому не известны. На фоне первой пары воспринимаются как воплощение частной жизни, как обитатели приватного пространства. Любопытное обстоятельство: сто пятьдесят лет назад, во времена Революции, преимущественным правом на част-

ное пространство и сопутствующий достоверный «крупный план» владели «леди и герцог», воспроизводившие в салонах новую идентичность и в конечном счете новые общественные отношения. Теперь же «салоны», эти производители общественного мнения и агрессивной общеупотребимой морали, не просто легитимны, они, по сути, стали центрами государственного управления. Теперь «леди и герцог» не просто «на виду». Их лица, их частная жизнь известны всякому, являясь плотью и кровью общественной жизни, «рабочим материалом», горячим и топливом общественного мнения. Неудивительно, что на роли этих *публичных персонажей* приглашены звезды первой величины — Изабель Аджани и Жерар Депардьё.

Две пары связаны между собой *преступлением*. Фредерик, молодой человек из второй пары, был поначалу страстным поклонником женщины из первой пары, то есть Изабель Аджани. А кто не входил в число ее поклонников? Аджани — смутный объект желания, все богатеи и политики волочились за нею. Один из них зашел в своих ухаживаниях слишком далеко и попытался овладеть звездой, а та по неосторожности его убила. Фредерик был немедленно приглашен, чтобы избавить звезду от трупя, проблем и преступления в целом. Случилось так, что Фредерик попал в руки полиции с трупом этого публичного человека в багажнике. Фредерик, конечно, не выдает любимую, а та быстро забывает свое обещание поговорить о проблеме с Министром и таким образом парня отмазать. Более того, красотка использует момент и ложится к Министру в постель, в результате чего и образуется вышеозначенная пара номер раз. Фредерик же попадает в тюрьму, из которой бежит во время неразберихи, спровоцированной немецкой оккупацией...

Итак, публичная пара, иначе Депардьё — Аджани, складывается исключительно благодаря *преступлению*, которое утаила звезда, что на руку и ей, и Министру. «Его интересует карьера, ее интересует карьера: они созданы друг для друга! А вот меня разыскивает полиция!» — убивается Фредерик, преследующий публичную парочку после побега из тюрьмы. Таким образом, он *тоже преступник*: в глазах всемогущего общественного мнения. Его приятели, попутчики и новые знакомые — сплошь под подозрением. «Так что *все мы — преступники!* Полиция разыскивает нас всех», — итожит один из них.

Бестолковая на первый, поверхностный, взгляд картина — непроста! Раппно и Модино доводят до логического предела эволюцию пары «леди — герцог». Теперь эти двое воплощают всю полноту власти: и политической, и моральной — не случайно «леди» теперь актриса. В новых условиях она «морализирует», участвуя в жизнеподобных, идеологически ангажированных кинокартинах, формируя «общественное мнение» посредством художественных образов, то есть еще более убедительно, чем это удавалось ее предшественнице Грейс Эллиот.

Этой парочке, скрывающей свое реальное преступление, противостоит иной мир, прозрачность которого — фальшива, ибо достигнута ценой умолчаний, переноса вины и откровенной лжи *этих* моралистов. Тем не менее пресловутая прозрачность демократии *считается обеспеченной* благодаря репрессивному общественному мнению, выращенному в свое время в салонах и спальнях, в процессе совершенствования непринужденной светской болтовни.

*Внимание:* я не утверждаю, что содержание фильма Раппно исчерпывается вышеприведенными соображениями. Я не ставил своей целью детальный разбор фильма, который мало кто увидит (в отличие, допустим, от «Маллхоланд драйв»). Я лишь хотел показать, насколько оформляющий подобные фильмы западный и, в частности, французский контекст отличается от нашего. Насколько непросто устроены «эти французские безделушки» («эти голливудские безделушки»). Терпеть пофыркивание высокомерных и несообразительных «наших» больше нет сил! Утешает вот что: вчитывая в легкие, но умные западные фильмы свою суконно-посконную простоту, свои книжные «идеи», «наши» окончательно дискредитируют непереносимую *эпоху либерального барства*, эпоху 90-х, которую предстоит изживать многие десятилетия.

(ФЕЙДО) Свой прошлогодний фильм *хороший советский* режиссер Эльдар Рязанов придумал, основываясь на пьесе знаменитого французского драматурга Жоржа Фейдо. В телевизионном интервью Рязанов пренебрежительно отозвался о пер-

воисточнике. Заявил что-то вроде: вы же понимаете, такая средняя пьеска, такой легкомысленный, без малого туфтовый драматург.

Зачем Эльдару Рязанову так подставляться? Фейдо — не туфтовый, а в некотором роде великий. Мастер гротеска, абсурда, гений французского расколбаса.

Зачем они так? Не понимаю. Когда это комчванство закончится? Не дают ответа. Их время. *Все еще* — их время.

**(ГАРЕЛЬ)** Взрослые люди знают, что преступление — не обязательно то, что подпадает под статью уголовного кодекса. Инфантильные полагают: если никто не заметил, позволено все.

Героиня ленты Филиппа Гареля «Тристан» (2003) работает в уголовной полиции. Зовут ее комиссар Эмманюэль Барса, и в отчетный период она расследует серию странных смертей. Бледные, исхудавшие девушки. Возле постели — неприменный томик «Тристана и Изольды», снотворные таблетки. Коллеги не сомневаются, что это болезнь, в крайнем случае — это самоубийства. Но исполняющая роль комиссара Матильда Сенье играет такую плотскую жадность, столь агрессивный поиск партнера, что зритель ничуть не удивляется альтернативной версии героини. Эмманюэль соотносит загадочные происшествия со своей личной жизнью. Эмманюэль *ищет мужчину*, закономерно подозревает мужчину. Она уверена, что некий неотразимый любовник, «Тристан», в поисках идеала бросает одну девушку за другой. Пытаясь справиться с бессонницей, вызванной внезапным исчезновением любимого, девушки худеют, бледнеют, упиваются снотворными таблетками, заботливо приготовленными для них исчезнувшим любовником, и закономерно умирают. «Тристан» же упорно движется дальше, не оставляя следов. «Ты уверена, что это преступление?» — сомневается влюбленный в Эмманюэль, но скрывающий свои чувства рохля помощник. *«Абсолютно уверена!»* — отвечает безумевшая от неудовлетворенности героиня. Ведь ее агрессивный перебор партнеров-мужчин осуществляется ровно по той же самой схеме «восторженно примерил — разочарованно выбросил», которую она приписывает злокозненному «Тристану». Таким образом, единственным *доказанным* «Тристаном» фильма окажется она сама.

Безрассудная, сметающая все преграды, не признающая над собой Закона, не обремененная ответственностью *романтическая страсть*, впервые предьявленная легендой о Изольде и Тристане, справедливо квалифицируется комиссаром Барса как *преступление*. Преодолев утилитарную логику уголовного кодекса, выйдя за рамки профессии, героиня трактует преступление в метафизическом ключе. Именно в момент депрофессионализации *преступником* оказывается она сама! Что из этого следует? Социальная роль — не что иное, как человеческое алиби, или «правила игры», по названию великой картины Жана Ренуара.

Гарель бесподобно сочетает скепсис и сарказм, с одной стороны, тотальную вовлеченность в миф — с другой. Снова, как у Ромера и Раппно, жизнеподобное, реалистическое повествование оказывается больше себя. Всем троим удается сопряжение эпох. Все трое демонстрируют органическую связь живого с отвлеченными категориями. Человек и общество предстают сложноорганизованными и проблемными.

**(РОМЕР ДВА)** «Франция — все-таки единственная страна, где есть авторское кино, и эти авторы выходят из гетто, их не оставляют при университетах или в закрытых кружках. И происходит это благодаря тому факту, что во Франции для такого кино есть публика. Во Франции режиссера можно узнать по манере игры актеров. Есть оригинальность на всех этапах творчества, глубокая оригинальность, прочувствовать которую может только искушенная публика. Нет никаких уступок со стороны режиссера, он — совершенный хозяин своего фильма. Именно поэтому я говорю, что французское кино, какие бы ни получались фильмы, даже в годы меньших удач по большому счету — лучшее в мире».

Верно, так.

**(РОМЕР ТРИ)** «Феллини — великий режиссер, по-моему, но чем именно он велик, я сам не очень-то понимаю».

И я не понимаю, и я.

(ПОЛ-БЕЛЬМОНДО) Французы, вы думаете обо мне (и я о французах!). А вы, так называемые «наши», — не думаете, нет. Это возмутительно.

При царице Екатерине, помните, их было много. Верните России французов. Приглашать на службу, платить втрое, вдесятеро. Четверть бальзака, треть де голля, пол-бельмондо и немного, на правах специи, симоны де бовуар. Достаточно, чтобы удовлетворить потребность страны в живой силе и технике. Если у меня все-таки будут дети, я назову их Жан, Пьер, Мишель, Патрис и Франсуаза.

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК НАТАЛЬИ КУРЧАН

### ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗВУКА

Одной из главных целей всякой духовной традиции, каковой представляется мне и европейская «серьезная» музыка, является постижение некой важнейшей истины. Для музыкантов истина эта выражалась прежде всего в обретении «гармонии» — идеального и универсального способа переживания звука. Примерно каждые триста лет достигнутая музыкальная гармония изживала себя, переставая быть актуальной для слушателей, и в звуковом мироустройстве происходили грандиозные перемены: в X — XI веках на смену принципу одноголосия (монодии) приходит принцип многоголосия, который радикально переосмысливается в Ars Nova XIV века, в XVII веке, с рождением оперы, возникает иная, гомофоническая музыка.

Эти новые «музыки» формировались двумя извечными стремлениями европейца-музыканта: найти новое и небывалое и одновременно вернуться в потерянный музыкальный рай древности<sup>1</sup>. Но если в этих далеких теперь потрясениях музыкальная традиция устояла, сумев примирить непримиримое в «Больших» стилях, то близкий нам XX век, несомненно ставший очередным музыкальным переворотом, часто кажется катастрофическим процессом утраты единства и исчезновения самой его возможности. В самом деле, люди, ищущие истинный «новый — старый» звук, образовали в настоящее время две почти герметичные музыкальные области: мир так называемого «академического авангарда» и пространство некой «музыкальной археологии», в котором живут аутентичное исполнительство старинной европейской музыки и фольклорное исполнительство. Музыканты, желающие иного, видятся иногда двуликим существом: композитор — экспериментатор и новатор — совмещается с исполнителем-аутентиком. Таким человеком был малоизвестный у нас Эдгар Варез, один из «классиков» авангарда, почитаемый сейчас предтечей многих направлений второй половины XX века (сериализма, сонористики, электронной музыки). Но в 20-е годы он был широко известен и как организатор «Хора Нью-Йорка», одного из первых американских ансамблей, исполнявших музыку XIII — XVI веков. Такова также и судьба выдающегося композитора Андрея Волконского, чье музыкальное диссидентство в 60-е заключалось в создании первого в СССР ансамбля старинной музыки «Мадригал» и в сочинении фортепьянных пьес в гонимой тогда двенадцатитоновой технике.

Все возрастающие сложность и специфичность каждого вида музыки не оставляют в настоящее время даже такого, формального, пути к объединению. Бесконечный каскад исполнительских-композиторских школ, техник сочинения, самостоятельных типов-жанров музыки отлично укладывается в постмодернистскую картину мира-хаоса и катастрофы; традиция, служившая идее гармонии, все больше видится инструментом звуковой дезориентации. Музыканты живут словно в непрерывном звуковом стрессе, в огромном потоке музыки, словно отрицающем какую-либо духовную значимость звука. Но существуют еще редкие моменты зву-

<sup>1</sup> Так, флорентийские «академики», участники «камераты» графа Барди, трудами которых в 1600 году зазвучала первая «драма с музыкой», считали новый жанр (в будущем — оперу) возрождением античной драмы.

ковой чистоты и ясности, моменты гармонии, собирающие человека в единое целое, — и это подлинное чудо наших дней...

Профессор Парижского университета (Universitet Paris IX) Егор Резников проводит каждую осень в Московской консерватории свой традиционный курс «пения в чистом строе» (исполнения традиционных христианских песнопений V — XII веков). Осенью 2002 года профессор Парижской консерватории Мишель Левинас делился со студентами консерватории своим опытом сочинения в принципах так называемой «спектральной школы», влиятельного композиторского направления, возникшего во Франции во второй половине века XX. Двое парижан вряд ли даже слышали друг о друге. Тем большее потрясение испытываешь, обнаруживая, сколь близким путем идут люди, создавшие на первый взгляд совершенно противоположные «музыки».

Благодаря рок- и поп-музыкантам звуковой образ так называемого «григорианского хорала» известен сегодня даже тем, кто не интересуется собственно старинной музыкой<sup>2</sup>. Монотонный перебор ноток, складывающийся в бесконечную череду полевок, кружащихся возле основного тона, их однообразный ровный ритм с одинаковыми замедлениями в конце, общее ощущение звукового мельтешения при быстром темпе или, наоборот, невероятной заунывности при медленном... Унисон хора или одноголосие солиста, при всей изощренности интонаций так и требующие гармонии. Объясняя себе все это необходимостью молитвенного сосредоточения — следствием религиозного аскетизма — или какой угодно другой причиной, все же до конца не можешь примириться с тем, что эти безрадостные звуки существовали в превосходящих всякое воображение храмовых интерьерах высокой готики, — то есть с тем, что столько веков не рождались в Европе мастера-певчие, способные придать молитве хоть какую-то звуковую выразительность...

Пение Егора Резникова при первом же знакомстве поражает и привлекает своей несхожестью с вышеописанным стереотипом, да и с какими-либо стереотипами вообще<sup>3</sup>. Голос солиста, медленно выпеваяющий слова молитв с необычным вроде бы для хорала интонированием, сопровождает неведомо откуда взявшаяся полнзвучная гармония отзвуков (?), призвуков (?), не очень похожая на обычное эхо при пении в храме. Кто-то вспоминает горловое пение, кто-то индийскую рагу, кто-то удивляется («При чем здесь птички?»), но все согласны — это, без сомнения, нечто «старинное».

Сам Егор Данилович называет свое пение «античным». Под этим словом он понимает представления о музицировании и в целом о мироустройстве, бытовавшие в человеческой культуре и цивилизации вплоть до конца европейского Средневековья. То понимание мира и звука совершенно ушло из нашей цивилизации, и теперь его можно восстановить, лишь практически освоив немногие сохранившиеся еще традиционные типы музыки, такие, как русское обрядовое пение в различных регионах, индийские традиции «дхрупад» и «кхайял», болгарское пение и молитва суфиев. Постигание же молитвенной традиции христианства невозможно без изучения трудов отцов церкви и философии высокой античности, на которую они опирались; «Читайте Платона!» — всегда призывает Резников. В результате этой огромной многолетней работы появилась его уникальная концепция. Егор Данилович Резников — мастер в античном смысле этого слова: музыкальный учитель и воспитатель, он не только проник в тайны пения в «чистом строе», но и продолжает традицию в своих учениках<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Типичнейший «аутентичный» вариант хорала, на мой взгляд один из лучших, можно услышать в исполнении певцов хоральной школы Бенедиктинского аббатства из Мюнстера, Швейцария (запись 1982 года). Заметно, что певцы, исполняющие старинные православные церковные песнопения, пошли по этому же пути, достаточно послушать первые записи ансамбля «Сирин».

<sup>3</sup> Европейские классификаторы многочисленных исполнительских концепций хорального пения хотя и говорят о близости принципов Резникова ревизионистскому методу, признают за ним «именной» стиль.

<sup>4</sup> Больше двадцати лет он обучает пению в Европе, в частности во Франции, в Швейцарии и Финляндии, где три его ученицы организовали в начале 90-х ансамбль «Vox silentii». Вот уже одиннадцать лет подряд ведет он мастер-класс в Московской консерватории.

Восстановление старого пения, по Резникову, начинается с самых основ музыки — собственно звука. Звук, которым он поет и которому учит, должно перестать понимать как «ноту» — это именно звук: ровный, лишенный привычной «вокальности» и «эстетичности», заученной тембральной окрашенности, уже и не замечаемого тобой напряжения. Когда добиваешься этого сколь естественного, столь и трудного звука, в нем начинают доминировать качества, ранее почти не замечаемые, и прежде всего самое яркое из них — так называемый «обертоновый спектр» звука, та самая необыкновенная гармония, что слышна в пении Егора Резникова<sup>5</sup>.

Звук, поющий «правильно», то есть естественно и долго, не представляет собою нерасчлененности — это множество *действительно звучащих*, сочетающихся друг с другом звуков. Впрочем, это возможно услышать лишь «тонким слухом», который современное человечество почти повсеместно утратило. Воспитание такого слуха в своих учениках — первая цель Егора Резникова. Час за часом, день за днем и год за годом, с неистощимым добрым терпением и неколебимой волей он приучает участников своих семинаров к настоящему музыкальному созерцанию — ведь только при погружении в звук, при ощущении звука в своем теле, а не только в гортани, при отказе от постоянной рефлексии приходит понимание звука как реальности «невидимого мира».

Момент открытия «тонкого слуха» как момент возникновения новых возможностей восприятия стал для меня, как и для многих учеников Резникова, замечательным жизненным событием. Откровение вселенной «просто» звука, все более высокие уровни которого учит слышать и ощущать в своем теле мастер, было подлинной музыкальной инициацией, столь же важной, как и мое собственно первое «музыкальное рождение» в осознании/ощущении значимости звука. Этот новый опыт раз и навсегда дает твоей жизни некое новое измерение.

Вслушиваясь в запись Резникова, осознаешь, что мастер не просто производит призывки, а, точно артикулируя поющие гласные и согласные (!) и двигаясь (!) в храме, создает определенное звуковое пространство, в котором он тоже «работает», и что эта «работа» возможна только в одноголосии. Приходит уверенность в том, что принципиально унисонная «высокая» музыка древних молитв была отнюдь не затянувшейся прелюдией к развитию европейской музыки, а самодостаточной культурной традицией, со своими существовавшими реально, а не только в трактатах философов о «музыке сфер» логическими музыкальными системами синтетичной «мелодии-гармонии». Понимание того, что звук никогда не бывает единичен, начисто уничтожает «проблему монодии». Пение правильным звуком, в правильных старых строях порождает совершенную гармонию, чьей сущностью является взаимодействие призывков.

Появление многоголосия в хорах как стремление озвучить небесную гармонию, выявить «тонкий мир» вызвало катастрофу — его необратимое разрушение. Ведь почти невозможно контролировать гармонию призывков даже в чистых, совершенных двузвучиях — интервалах, «наверху» вместо гармонии звучит фальшь. Так и видишь: петь становится все невозможней, и, чтобы заглушить ужасные призывки, вводятся все новые гармонии и сочетания звуков, певцы поют все громче, уже не вслушиваясь в призывки, и, наконец, приходит к ним блаженная глухота: слышат только то, что поют, невидимый мир исчез и звук стал мертвым и скучным.

---

<sup>5</sup> Тран Куанг Хай (Tran Quang Hai) из Национального центра научных исследований Франции, известный как глобальный пропагандист тувинского фольклора, утверждает близость исполнительских принципов Резникова концепции «обертонового стиля» (overtones style), в котором, по его мнению, работают такие музыканты, как Михаэль Веттер (Michael Vetter, основатель знаменитого Обертонового хора и обертоновой «школы»), Кристиан Болтман (Christian Bollman, основатель Обертонового хора Дюссельдорфа), а также Михаэль Райманн (Michael Reimann) из Германии, Дием Грюневельд (Diem Grootenboer) из Дании, Дэвид Хайкс (David Huxes) из Америки. Интересно, что большинство вышеперечисленных музыкантов начинали свою деятельность в лоне академического авангарда. Михаэль Веттер, к примеру, был соратником К. Штокхаузена. Главный принцип обертонового пения — проявление в звуке с помощью голоса основного спектра музыкальных гармоник (призывков), образующих так называемый натуральный звукоряд, соотношения частот которого — это натуральный ряд чисел (1:2:3:4 и т. д.). Конечно, существуют и используются также и более сложные, негармонические ряды призывков.



Как неотвратимо это «кино» напоминает Голдингов «Шпиль», который строили, уничтожая фундамент храма. Понятны теперь предъявлявшиеся творцам многоголосья обвинения в «музыкальной ереси»...

«Тонкий слух» дает возможность бесконечно тонкого интонирования, так как освобождает нас от гегемонии «равномерно-темперированного» строя. На занятиях Резникова перестают быть математической теорией и становятся звуковой реальностью интервалы чистого, пифагорейского и других старых строев, так как в пределах музыкальной октавы теперь действительно можно услышать бессчетное количество звуков.

Теперь лады старинной музыки, составленные на основе правильных строев, обретают свою эмоциональную и конструктивную идентичность, которую невозможно услышать при обычном темперированном исполнении. Каждый лад, да и каждое песнопение обладают в трактовке мастера неповторимыми звуковыми красками, если угодно, своей собственной акустикой, каждый поющий им звук — это совершенный в своем роде микрокосм, а сам напев — целый космос сопрягающихся интонаций и их отзвуков. Вслушиваясь в звучания хоралов, которые поет Егор Данилович, начинаешь ощущать, чем был античный «этос» лада: лады обладают индивидуально-определенным эмоциональным воздействием. Чем больше слушаешь их, тем эти воздействия сильнее, а различия в настроениях становятся все отчетливее. Оказывается, что Платон в «Государстве» описывал реальную музыкальную ситуацию, где свои лады есть для войны и для любви, для веселья и скорби, для излечения болезней и для молитв.

Умение петь «правильным», «ровным» звуком, так же как и умение интонировать в старых ладах, требует, по Резникову, совершенно особого отношения к пению. Настоящий звук молитвы — это акт «глубокого сознания» человека, а не его поверхностного разума. Поэтому мастер на своих занятиях довольно резко пресекает попытки «теоретизирования», утишает громкие голоса и учит сосредоточенно вслушиваться в себя. Именно так возникает необходимое «ощущение звука в теле»: определенные звуки «помещаются» в различных частях тела, чем выше звук, тем ближе он к голове. Правильное пение — это плавная циркуляция звука в теле: «Музыка — искусство хорошо (правильно) двигаться», — повторяет Августина Резников. Движение звука в теле вызывает желание двигаться самому, и хейрономия — жесты рук, которым учит Резников, — становится простейшим и естественно естественным видом такого движения. Логичны и понятны становятся и невмы — особые знаки для записи хорала как аналог движений руки поющего. Двигаясь при пении, Егор Данилович многократно усиливает звучание напева с помощью акустики храма.

При этом вроде бы негромкий голос мастера таков, что может заставить резонировать все пространство монументальных готических соборов Фонтене, Везеле или Тороне. Профессор Московской консерватории М. Сапонов вспоминает свои ощущения от пения Резникова в парижском соборе Сен-Шапель: «Действительно: здание зазвучало как инструмент в рабочем состоянии, певчий оказался лишь естественной сердцевиной, деталью этого инструмента, а также малым подобием храма. Более того, именно здесь не пение „украшает архитектуру“, а храм с его фантастической красотой украшает поющую молитву» (журнал «Старинная музыка», 1998, № 2, стр. 7).

Все выше сказанное, касающееся исключительно звука в пении, все акустические открытия и достижения Резникова остались бы только общим местом современного аутентичного метода исполнения, если бы работа над звуком молитвы была отделена от работы над ее словом, если бы эти два аспекта словесно-музыкальной формы были бы в его исполнении как-то разделимы. Это пение было бы тогда глубокой, но чисто звуковой медитацией, перебиранием бесконечных четкопопевок хорала или концерттированием в чистом строе — поражающим воображение и слух воспроизведением акустических эффектов. Возможности такого применения своего звука Резников показывает в начале распева «Grand Magnificat» с диска «Le Chant de Fontene», где он с помощью различных экзотических вокальных приемов демонстрирует весь диапазон своего голоса, включая и его обертоновые составляющие. Но это — исключение.

Работа певца, по Резникову, начинается с постижения священного слова молитвы, ибо в нем содержится необходимый звук, строй, лад и напев хора, темп и характер исполнения. Слово само *звучит*, особенно слово языка Церкви — греческого, латыни или церковнославянского. Слово содержит в себе движение звука в теле поющего — звучащем микрокосме — и, значит, движется также в пространстве храма и космосе: восходит в «Амен» и «Господи помилуй», нисходит «in deserto», бесконечно расширяется, охватывая весь Божий мир, в «Pasha». Священные слова сопротивляются современным истолкованиям их как случайных обозначений своего смысла — они являются его звучащей эпифанией. Только в звучании до конца понимается смысл слов и их сочетаний, понимается телом, разумом и душой — «глубоким сознанием» человека. Правильное пение, пение в чистом строе и античных ладах, пение в пространстве храма, пение, исключающее суету и спешку, лишь усиливает этот вечный, откровенный смысл. Так опыт пения становится духовным опытом молитвы.

«Новая музыка», отрицавшая все предыдущее свое развитие, ранее появлялась в европейском мире довольно редко, а вот в прошлом и нынешнем веке постоянно находится в поисках себя самой. Ряд прорывов в музыкальном сознании прошлого века — серийность «новой венской школы», творчество американских модернистов, начала электронной музыки в 10 — 20-х годах, сериальность композиторов, связанных с Дармштадтом, в конце 40-х — начале 50-х или сочинения поныне действующих представителей минимализма, постмодернизма, «новой электронной» музыки, направлений, родившихся в конце 60-х — начале 70-х, связан со все ускоряющимся устареванием звуковых и музыкальных техник и идеологий сочинения. Но при этом то существенное, что дало каждое направление «авангарда», не обесценивается; Шёнберг и Варез, Булез и Ксенакис, Анри и Штокхаузен слушаются одинаково свежо. А при длительном вслушивании и тем более при анализе вскрывается нечто еще более невероятное — то, что имело такую концептуальную новизну и такое качество нового, есть предельно строгое и органичное развитие европейской музыкальной традиции как минимум со времен Баха.

Спектральная школа композиции, возникшая в конце 70-х во Франции на базе электронных достижений IRCAM<sup>6</sup>, актуальна и сегодня; она всецело обладает признаками настоящего авангарда...

Музыка Мишеля Левинаса, своеобразного представителя спектральной школы, очень гуманна по отношению к своему слушателю. Ее концептуальность и суперсложная техника сочинения и исполнения совершенно не отягощают слушающего. Она сразу покоряет своей яркостью, остроумием, изяществом. Левинас — редкостный сейчас музыкант, в основу своего творчества положивший ясность звука и невероятную радость музицирования. Парадокс, но от этих экстремальных авангардных звучаний остается впечатление чистоты, необыкновенной легкости и своеобразной акустической естественности. Это неудивительно, ведь ее создатель принадлежит к композиторской школе, для которой звук в его природном, физическом состоянии стал основным содержанием и материалом музыки.

Исходная идея этой музыки предельно проста. Чтобы получить новый звук, необходимо реально озвучить все то, что ранее в нем было скрыто для слуха, а именно — полный набор его частичных тонов, то, из чего, согласно акустике, и составляется звуковая индивидуальность — тембр.

Сочинение такой музыки начиналось с серьезнейших акустических исследований составов различных звуков, шумов и их сочетаний, построения математических моделей звука, которые бы стали основой для его организации в сочинении. Но все это, по Левинасу, сугубая техника, становящаяся все доступнее по мере развития компьютерных технологий. Она позволяет каждому композитору найти именно тот свой звук, который сможет воплотить его идеи.

<sup>6</sup> Институт акустико-музыкальных исследований и координаций, открывшийся в 1977 году в Центре Помпиду в Париже, мировой центр по созданию новых музыкальных технологий; в частности, в настоящее время на базе IRCAM создаются наиболее серьезные компьютерные музыкальные программы. До 1984 года институтом руководил выдающийся композитор современности Пьер Булез.

«Par-de-la», «По ту сторону» — название оркестровой пьесы 1994 и диска 1996 года. Оно, как мне кажется, очень четко определяет сущность музыки Мишеля Левинаса. Во всех его сочинениях присутствует некая жужжащая и звенящая, состоящая из множества микроразличий вибрация, внутри которой вдруг проступает «основная гармония» обертонового ряда. Этот, так сказать, основной спектр существует действительно «по ту сторону» тех определений звука, что выражаются набором обычных оппозиций. Он универсален, одновременно обладая качествами звука музыкального и «немзыкального», вокального и инструментального, акустического и электронного, струнного, ударного и духового, природного и искусственного. Это всеобъемлющий *просто звук*.

Двигаясь в его пространстве, Мишель Левинас заново открывает для себя его качества, задавая себе и решая «основные вопросы»: где начала музыкального в звучании человеческих криков, свиста, визга или стога; когда возникает пение — гармония между людьми («Les Reciproques», «Взаимности», 1986, для 12 певцов соло); как звук из простой шумовой вибрации становится звуком музыкальным, имеющим определенную тембровую и высотную идентичность, эстетическую значимость и символизм, как и когда он возвращается к своей изначальной безразличности («Appels», «Зовы», 1974, для 11 инструментов; «Par-de-la», «По ту сторону», 1994, для большого оркестра); где граница человека и инструмента, как выдыхаемый музыкантом воздух становится звуком флейты («Arsgis et Thesis»); может ли выразительно артикулируемый инструментальный звук приблизиться к конкретности речи («Froissement d'ailes», «Скомканные крылья») или к абстракции электронного звучания («Diaclose»).

Все эти музыкальные концепции композитор включает в типично постмодернистский «всемирный» образный контекст. Вот, к примеру, беккетовские персонажи, изображаемые дуэтом тромбона и трубы, ведут диалог в стиле японского театра Но, в своем течении превращающийся то в речь двух пожилых людей, то в едва внятную колыбельную, то в мычание коровы, то в марш («Clo et Hamm», 1973).

Но удивительно — вслушиваясь в эту музыку, постепенно обнаруживаешь все больше знакомого: прорезаются из «хаоса» духовых бетховенские и вагнеровские фанфары («Appels»), в оркестре слышатся отзвуки «Фантастической» Берлиоза, звукопись Листа и Дебюсси или птичьего мира Мессиана, учителя Левинаса («Ouverture pour une fête étrange», «Увертюра для странного праздника», 1979). То, что слушалось так экзотично, предстает вдруг логическим продолжением традиции. Постепенно осознаешь, сколь всеобъемлющ и разносторонен должен быть слуховой опыт человека, чтобы в конце XX века, казалось бы «после всего», суметь создать «по ту сторону всего» столь интересный и оригинальный звуковой мир.

Как и многое другое в современной музыке, музыка Мишеля Левинаса удивительно расширяет слуховое восприятие, уничтожая выстроенные с начала жизни барьеры. Наслушавшись его специфических звуко-шумовых вибраций, начинаешь слышать и слушать звуковые спектры ламп дневного света, доплеровский эффект поезда подземки, шум и гудки проезжающих машин, голоса людей — все звуки жизни. Так приходит ощущение мира вокруг как естественно и бесконечно музыкального.

О зарождении спектрального направления Левинас рассказывает следующую «легенду».

В 1949 году на Летних курсах Новой Музыки в Дармштадте лидер и идеолог послевоенного авангарда Карлхайнц Штокхаузен, объясняя природу различных тембров, обратил внимание своих учеников на явление формант звука, распевая один и тот же тон на гласные «а — о — у». При изменении гласной явственно изменяется состав призвуков одного и того же тона, так что ими можно было управлять. Именно тогда молодого композитора Д. Гризе осенила идея творить музыку совершенно по-новому, «реально» озвучивая почти неслышимый мир обертонов, резонансов, эха, создавая из их взаимоотношений свои композиции.

Начало развития «тонкого слуха», необходимого в античном пении, Егор Резников полагает в пении и слышании трансформаций священного первозвука «А-О-У-М». Совпадение тем более поразительное, что и сама высота звука (в со-

временном высоком строе В — «си бемоль», а по-старому С — «до»), который пел Штокхаузен и который учит петь Резников, при этом одна и та же.

Хочется думать, что ссылки на фундаментальное единство французской культуры, или на случайные совпадения, или на избирательность моего восприятия уместны, но все же не полны. Музыки, между которыми нет и не может быть ничего общего, внезапно становятся чем-то единым, дойдя в своих устремлениях до предела, до опыта собственно звука как истины. И то, что, идя столь разными путями, музыканты в течение всего прошлого века возвращались к звуку (так, к примеру, идея обертонового строения и акустического звука как природной данности, с которой можно работать, присутствует в композициях А. Шёнберга и П. Хиндемита, Й. Хауэра и Э. Вареза, О. Мессиаана и К. Штокхаузена), уверяет нас в ее, этой музыкальной гармонии, существовании.



# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Валентин Катаев.** Кладбище в Скулянах. Алмазный мой венец. Юношеский роман. Романы. М., «ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир», 2004, 542 стр., 5000 экз.

Книга «поздней прозы» Катаева («Исполняется сто лет со дня рождения Катаева, но объектом сугубо академического исследования его творчество еще не стало. Может быть, потому, что „новый” Катаев... начался „Святым колодцем” всего тридцать два года назад и остается частью современной русской словесности» — из предисловия к тому О. Новиковой и Вл. Новикова); вышла в новой серии «ОЛМА-ПРЕСС» «Классика» (издания зарубежных классиков в этой серии отмечены в «Библиографических листках» — «Новый мир», 2004, № 5). Редколлегия, работающую с отечественной литературой в серии «Классика», составляют С. Б. Рассадин, С. Н. Есин, А. Н. Латынина, Г. В. Рязский, Л. Е. Улицкая.

**Ирина Лукьянова.** Документ.doc. Романы. СПб., «Геликон-Плюс», 2004, 496 стр.

Женское — про студенческие времена, любовь и вообще про жизнь: «Стас немножечко полапал меня на кухне, я для порядку поворчала: иди пропись перед экзаменом» и т. д.

**«Мюнхенская свобода» и другие пьесы.** Немецкоязычная драма 2-й половины XX столетия. Составление, предисловие и перевод с немецкого В. Колязина. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 365 стр.

Фридрих Дюрренматт, «Франк V»; Мартин Шперр, «Мюнхенская свобода»; Хайнер Мюллер, «Гамлет-машина»; Петер Хандке, «Время, когда мы ничего друг о друге не знали»; Вольфганг Мария Бауэр, «В глазах незнакомца»; Герт Хайденрайх, «Магда»; Теа Дорн, «Марлени». Составитель сборника ориентировался на представление тоталитаризма в современной немецкоязычной драме — здесь и политическая притча, и пост-модернистская деконструкция, психологический и философский гротеск. На русском языке пьесы публикуются впервые.

**Людмила Петрушевская.** Номер Один, или В садах других возможностей. М., «Эксмо», 2004, 336 стр.

Новый роман Петрушевской, в стилистике которого сочетаются философский гротеск, признаки этнографического, а также фантастического остросюжетного повествования. На эту книгу журнал откликнется в одном из ближайших номеров.

**Райнер Мария Рильке.** Прикосновение. Сонеты к Орфею. Из поздних стихотворений. **Мартин Хайдеггер.** Петь — для чего? Перевод с немецкого, предисловие и комментарии В. Бакусева. М., «Текст», 2003, 237 стр., 3000 экз.

Стихи Рильке и посвященное поэту эссе Хайдеггера 1946 года. В этой книге «говорят двое: поэт-усматривающий-сущность и усматривающий-сущность-поэт, Райнер Мария Рильке и Мартин Хайдеггер. Первый сотворил поэзию, звезда которой — за собственным своим горизонтом и потому без особенной оптики не видна. Второй — попробовал заглянуть за этот горизонт и вылепить из речи подобие того, что увидел» (от переводчика).

**Владимир Салимон и Татьяна Назаренко.** Опрокинутое небо. М., Центральный выставочный зал «Манеж», 2004, 240 стр., 500 экз.

Книга, имеющая двух полноправных авторов — поэта Владимира Салимона с новыми циклами стихов и художника Татьяну Назаренко, выступившую в ней как график.



**Борис Арэфьев.** Солдат империи. М., «Русский путь», 2003, 240 стр., 1000 экз.

Книга, изначально замышлявшаяся автором как семейные записки для детей и внуков и писавшаяся по рассказам родителей, в процессе работы потребовала обращения к архивам и специальной литературе, в результате главным героем повествования

стал прадед автора, Иван Арефьевич Арефьев, 1830 года рождения, отслуживший в армии 25 лет, — открывшийся материал позволил автору написать документальное историческое повествование об обыкновенном солдате николаевской еще армии, прошедшем войны, которые вела Россия во второй половине XIX века.

**Рене Генон.** Символика креста. Перевод с французского Т. М. Фадеевой и Н. С. Стефанова. М., «Прогресс-Традиция», 2004, 704 стр., 2000 экз.

Центральные работы известного французского философа-традиционалиста Рене Генона (1886 — 1951), прозванного в конце его жизни «каирским отшельником» из-за перехода в ислам и уединенной жизни в Каире. Книгу составили работы «Символика креста» (1931), «Царь мира» (1928), «Заметки об инициации» (1945).

**Лев Гудков.** Негативная идентичность. Статьи 1997 — 2002 годов. М., «Новое литературное обозрение», «ВЦИОМ-А», 2004, 816 стр.

Собрание статей одного из ведущих современных социологов, несколько лет занимавшего социально-психологическими проблемами нашего общества, связанными с тем, что автор называет «тяжелейшими формами коллективной депрессии» в условиях постсоветской России: чувство уныния, страха, незащищенности, отсутствия перспективы, разного рода фобии, национальные в том числе, и т. д. Большинство статей написано на материалах социологических исследований, проводимых ВЦИОМом в рамках проекта «Советский простой человек». Названия (и темы) статей: «Победа в войне: к социологии одного национального символа», «Страх как рамка понимания происходящего», «Комплекс „жертвы“», «Антисемитизм и ксенофобия», «„Чеченский тупик“: прогноз? Диагноз?», «Идеологема „врага“», «Кризис высшего образования в России» и другие.

**Робер Жан-Ноэль.** Рождение роскоши. Древний Рим в погоне за модой. Перевод с французского А. Якимова, К. Щербино, Е. Сутоцкой, Е. Поляковой. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 400 стр., 5000 экз.

Историческая монография, написанная с ориентацией как на специалистов, так и на широкого читателя, посвященная явлениям моды в Древнем Риме — одежда, причёски, макияж; интерьеры жилища, бытовые удобства, стиль отношений, смена литературных мод и т. д.

**Татьяна Касаткина.** О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М., ИМЛИ РАН, 2004, 480 стр., 1000 экз.

Итог многолетней работы одного из ведущих отечественных исследователей творчества Достоевского. «Сам Достоевский определял свой метод словами: „я лишь реалист в высшем смысле“». «„Реализм в высшем смысле“ осмысливается через категорию художественности, в свою очередь определяемую природой слова в художественном произведении. Последовательное внимание к онтологии слова становится главным принципом исследования. В свете этого принципа изменяются представления о центральных литературоведческих категориях стиля и жанра» (из издательской аннотации).

**Корина Куле.** СМИ в Древней Греции. Сочинения, речи, разыскания, путешествия. Перевод с французского С. В. Кулланды. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 256 стр.

Описание форм коммуникации в современном значении этого понятия (обмен информацией) в Древней Греции. «Прежде всего, что мы понимаем под коммуникацией в Древней Греции? Это обмен словами, писаниями, людьми, их передвижение из одного места в другое или внутри одного места, например на агоре, площади общественных собраний. Мы возьмемся за решение сугубо практических вопросов: как в полисе узнавали новости? Устно? Посредством письменных текстов? На каких носителях? При помощи каких средств распространения? Легко ли греки общались с чужеземцами? На каком языке? Нам интересно человеческое общение в широком смысле — перемещение людей, передача знаков» (из «Введения»).

**Владимир Лакшин.** Литературно-критические статьи. Составитель С. Лакшина. М., «Гелиос», 2004, 672 стр., 3000 экз.

Собрание статей одного из самых ярких в русской литературе прошлого века критиков, властителей дум 60-х годов Владимира Яковлевича Лакшина (1933 — 1993).

**Георг Лукач.** История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. Перевод с немецкого Сергея Земляного. М., «Логос-Альтера», 2003, 416 стр., 1500 экз.

Впервые на русском языке самая знаменитая книга одного из ведущих теоретиков марксизма в XX веке Георга (Дьёрдя) Лукача (1885 — 1971), написанная в 1923 году и особую популярность в Европе получившая в 60 — 70-е годы.

**Жорес Медведев, Рой Медведев.** Сахаров и Солженицын. Два пророка. М., «Время», 2004, 432 стр., 3000 экз.

Книга составлена из текстов, писавшихся в разных жанрах (воспоминания, аналитика, полемика, историческая хроника, портретный очерк и т. д.) и в разное время (тематический и хроникальный охват от событий 60-х годов до споров вокруг книги Солженицына «Двести лет вместе»). «Для нас поднятые в этой книге вопросы — не академические вопросы и не проблемы, которые можно решить методами исторических исследований. Это была часть нашей жизни и нашей судьбы...»

**Андрей Немзер.** Дневник читателя. Русская литература в 2003 году. М., «Время», 2004, 336 стр., 1500 экз.

Жанр этой книги опробован автором в предыдущей («Замечательное десятилетие русской литературы». М., «Захаров», 2003; подробнее см. «Библиографические листки» — «Новый мир», 2003, № 8) — сочетание литературной хроники и эстетического анализа, портретирования и исследования. Книгу составили статьи, написанные критиком за год и представляющие опорные для прошедшего литературного года события литературы и литературной жизни.

**О Володине.** Первые воспоминания. Составитель М. Ю. Дмитровская. СПб., «Петербургский театральный журнал», 2004, 208 стр., 2000 экз.

Инна Соловьева, Сергей Юрский, Олег Табаков, Александр Кушнер, Валерий Попов, Виктор Шендерович и другие вспоминают о замечательном русском драматурге Александре Моисеевиче Володине (1919 — 2001). Завершает книгу голос самого Володина в одном из последних его интервью: «— Из чего складываются повседневные радости? — Из разного. Вот недавно иду по улице. Вдруг какая-то женщина навстречу: „У вас пуговицы неправильно застегнуты“. — „Какие?“ — „Да все“. И начинает мне их перестегивать снизу вверх. А потом доходит до последней, видит мое лицо и говорит: „Так вы — Володин?!“ И прошло несколько дней — она мне позвонила: „Вы меня не помните? Я вам пуговицы застегивала“. И у меня на полдня настроение наладилось. А может — от коньяка...»

**Екатерина Орлова.** Литературная судьба Н. В. Недоброво. Томск — М., «Водолей Publishers», 2004, 320 стр.

Первая монография о поэте и литературоведе Николае Владимировиче Недоброво (1882 — 1919). Рецензию на эту книгу см. в следующем номере журнала.

**Владимир Паперный.** Мос-Анджелос. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 280 стр.

Живущий уже более двадцати лет в США известный культуролог, архитектор по образованию, автор книги «Культура Два», посвященной идеологии сталинской архитектуры, в новой своей книге выступает как вольный эссеист — разножанровые тексты, среди которых автобиографическая лирическая проза, репортаж, культурологическая статья, портретный очерк, рецензия, интервью и т. д., тем не менее складываются в цельное повествование о судьбах культуры в современном мире.

**П. П. Стефановский.** Развороты судьбы. Автобиографическая повесть. В двух книгах. Книга первая. Абвер — СМЕРШ. М., Издательство РУДН, 2002, 336 стр., 1000 экз. Книга вторая. КГБ — ГУЛАГ. М., Издательство РУДН, 2002, 256 стр., 1000 экз.

Автобиографическое повествование, действие которого начинается в 1940 году: бывший студент театрального училища призывается в армию, начинается война, в первые же месяцы обернувшаяся для повествователя пленом и немецким лагерем; чтобы выжить, автор соглашается на учебу, а потом и работу в немецких разведшколах, рассчитывая потом при заброске на территорию СССР сдать советской контрразведке и предложить сотрудничество, — так начинается одиссея автора, оказавшегося вовлеченным в самые страшные события XX века и выжившего вопреки всему.

**Ричард С. Уортман.** Развитие правового сознания в императорской России. Авторизованный перевод с английского М. Д. Долбилова при участии Ф. Л. Севастьянова. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 520 стр.

Монография американского историка, посвященная истории российских юридических институтов и юридической профессии XVIII — XIX веков.

**Мартин Хайдеггер.** Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. Перевод с немецкого Г. Ноткина. СПб., «Академический проект», 2003, 320 стр., 1200 экз.

Двуязычное издание четырех лекций, посвященных толкованию нескольких стихотворений Гёльдерлина и собранных Хайдеггером в отдельную книгу.

**Мария Цимборска-Лебода.** Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. На пути к философии любви. Томск — М., «Водолей Publishers», 2004, 256 стр., 500 экз.

Исследование концепции любви в творчестве Вячеслава Иванова, выявление значимости и системности его мышления об Эросе, роли эстетико-философского наследия поэта в формировании философии любви в России, в контексте философской традиции от Платона, неоплатоников, Августина до М. Бубера, П. Клоделя, М. Бахтина и других.

**Сергей Чернышев.** Россия, собственность, идея. М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004, 448 стр., 2000 экз.

Книга экономиста-политолога, руководителя Института корпоративного предпринимательства Высшей школы экономики, директора Русского института, отражающая «новый подход к проблемам российского развития, основанного на современном понимании *собственности*». В частности, на базе предлагаемого в книге подхода автор дает свою трактовку проблемы, «которую скрывает обтекаемая формула „глобализации“. Это всемирная гонка организационно-управленческих методологий, в которой отстающие хозяйственные субъекты расплачиваются неуправляемой уткой собственности. Утечка капиталов из России не лечится ни административно, ни законодательно и может быть остановлена и обращена только управленческими и кадровыми методами, на пути *институционального конструирования организаций*».

**Т. Г. Щедрина.** «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., «Прогресс-Традиция», 2004, 416 стр, 1001 экз.

Монография, посвященная философскому пути Шпета, в контексте русской и европейской философии; в книге использованы также материалы фондов государственных и семейных архивов. В приложении — реконструкция черновиков ранее не опубликованных работ философа. Под тем же названием в «Новом мире» (2004, № 1) Щедрина опубликовала ряд писем Г. Шпета к жене.

**Илья Эренбург.** Письма. Издание подготовлено Б. Фрезинским. М., «Аграф», 2004. Том 1 — 624 стр. Том 2 — 640 стр.

«Первое отдельное издание писем Ильи Эренбурга включило более 1200 писем 1908 — 1967 годов. Эренбург всю жизнь находился в эпицентре литературного процесса (не только отечественного), поэтому среди адресатов Бухарин и Маяковский, Пастернак и Савинков, Арагон и Стейнбек...» («Книжное обозрение»).

**Михаил Ямпольский.** Физиология символического. Книга 1. Возвращение Левиафана. Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 800 стр.

Известный культуролог о «метаморфозах власти во время перехода от абсолютной монархии к демократии» на материале западноевропейской истории от позднего Средневековья до Французской революции. Вышедшая первая книга «Физиологии символического» посвящена «эволюции и деградации символа в обществе» — продолжением этой работы, по замыслу автора, должна будет стать вторая книга, содержащая «микроанализ репрезентации гибели суверена».



**Francesca Giuliano.** Narrazione su Eruslan Lazarevič. La tradizione monscritta. Palermo, FTS, 2002, 222 p.

Вышедший в Италии отдельным изданием текст «Сказания о некоем славном богатыре Еруслане Лазаревиче», подготовленный к публикации и прокомментированный Франческой Гиулиано. К книге прилагается компакт-диск, воспроизводящий факсимильные изображения страниц трех списков текста сказания.

Составитель Сергей Костырко.



## ПЕРИОДИКА



«АртХроника», «Версия», «Время новостей», «Вышгород», «Газета», «GlobalRus.ru», «Даугава», «Дело», «День литературы», «Еврейское слово», «Завтра», «Знание — сила», «Известия», «ИноСМИ.Ru», «Иностранная литература», «Искусство кино», «Книжное обозрение», «Лебедь», «Левая Россия», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», «LiveJournal», «Международная еврейская газета», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-Религии», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новые Известия», «Новый Журнал», «Огонек», «Октябрь», «Отечественные записки», «Подъем», «ПОЛИТ.РУ», «Политический журнал», «Посев», «Правая.ru», «Простор», «Родная газета», «Российская газета», «Россия», «Русский Журнал», «Советская Россия», «Сибирские огни», «Со-Общение», «Страна.Ru», «Топос», «Труд», «Урал», «Утро.ru», «Фома», «Футурум АРТ»

Александр Агеев. Варшавская мелодия. — «Газета», 2004, 20 мая <<http://www.gzt.ru>>.

«Текст Белецкого — не гениальный, наверняка его скоро забудут, но он необходимый. Литературное сознание в нынешней России перенапряжено — разрядка нужна, некий праздник. В том, что пишут, к примеру, Маканин, Петрушевская, Вишневецкая, оба Поповых, Королев и Мелихов, никакого праздника точно нет: жизнь предстает перед нами голой и правдивой, со множеством тошнотворных подробностей; но неужто нам до сих пор нужна эта правда? Хочется праздника — хоть маленького, и чтобы его не приносил „масскульт“ <...>».

См.: Родион Белецкий, «Путешествие в Иваново автора, Коврова и Баранова» — «Новый мир», 2004, № 5.

Светлана Алексиевич. «Человек — это и есть государство». Беседовала Юлия Самохина. — «Политический журнал», 2004, № 15 <<http://www.politjournal.ru>>.

«Я читала рассказ о том, как умирает африканская старуха, ее спрашивают: что бы вы хотели? Англичанин спрашивает, который спасает этих людей. И она так мечтательно, уже на смертном одре, говорит: мне бы кисть маленького мальчика съесть. С ее точки зрения, это было нормально. Я думаю, война — точно так же. Мы живем в культуре, где война — это нормально».

См. также: «Я недавно была в Испании, у басков. И окончательно похоронила остатки симпатии к национализму. Баски добиваются создания собственного государства. Если кто-то (интеллектуалы, политики, военные) не разделяет этой идеи, их убивают. Выбивают элиту нации. Сидим в ресторане: представитель власти, два университетских профессора — и семь охранников. Вот тебе выраженная национальная идея», — говорит Светлана Алексиевич в беседе с Натальей Игруновой («Известия», 2004, 15 мая <<http://www.izvestia.ru>>).

См. также: «<...> во всем мире — ощущение начавшейся третьей мировой войны. При этом зло выступает совершенно в ином обличье, войны совершенно другие. То ли это войны цивилизаций, то ли это войны иного мира, находящегося в другом времени с его скоростями», — говорит Светлана Алексиевич в беседе с Рогнедой Смирновой («Россия», 2004, 20 мая <<http://www.rgz.ru>>).

Лев Аннинский. Госпожа Удача. — «Литературная газета», 2004, № 19, 19 — 25 мая <<http://www.lgz.ru>>.

«Есть Россия. Любой крикун может через слово повторять, что виноват Кремль, и поносить президента. Не будет России — и кричать будет не о чем».

Лев Аннинский. Удар шпагой. Воспоминания о Георгии Владимове. Переписка. — «Даугава», Рига, 2004, № 2, продолжение следует.

Георгий Владимов — Льву Аннинскому: «Я говорю о тех правилах, которые обыкновенно объявляются автором на первых же страницах, а то и в первых абзацах: скажем, садится посреди деревни самолет, и собираются мужики вокруг, и какой-то мальчик вдруг палкой лупит по плоскости, то бишь крылу. Ни в одной российской деревне никакой мальчик ни при каких обстоятельствах не ударит палкой по самолету (да в те годы, начало 40-х!) — стало быть, это не простая деревня, а какая-то необыкновенная,

деревня Войновича, где все возможно, „что и не снилось нашим мудрецам”. Но если мы эти правила игры приняли, эту палку проглотили, то проглотим и Чонкина, которого в природе не было. Не было никакого „русского Швейка” — так его аттестует западная реклама — нечто из области чувашского Фадеева и ханты-мансийского Ильфа-Петрова, сомнительное и несуразное, ибо что оно такое — Швейк? Солдат маленькой страны, втянутой в большую чужую войну. Но наша Отечественная ни для кого чужой не была, даже для дезертиров, уклонявшихся от нее все-таки с чувством греха и вины» (из письма от 30 октября 1989 года).

Ср.: «Следует помнить, что национал-социализм (в его чистом и неприукрашенном виде) был для русских почти что абсолютным злом. Просто потому, что немцы — как, в общем-то, и все европейцы вообще — *не считали русских людьми*. <...> Русские виделись немцам именно что *скотиной* — которую необходимо низвести до скотского состояния, чтобы „возвернуть правильный порядок вещей”. „И не надо иллюзий”. Поэтому победа для русских была победой *биологической*. Поскольку речь тогда шла именно что о существовании нации как таковой. А не просто о „победе в войне” и всякой „геополитике”. И поэтому все разговоры о том, что „победа касается только ветеранов” и „нам-то чего теперь”, являются *в лучшем случае* глупостью. Напротив, *каждое* поколение русских людей имеет право (и даже обязано) праздновать Победу — именно потому, что нас хотели *уничтожить как народ*, а остатки этнического материала превратить в тягловый скот, в самом буквальном смысле этого слова. Не имеют оснований праздновать 9 мая только скоты — которых среди нас, увы, достаточно и которые являются собой именно тот образ русского, который хотели бы видеть Гитлер и компания», — пишет главный редактор газеты «Спецназ России» **Константин Крылов** в своем сетевом дневнике от 9 мая 2004 года <<http://www.livejournal.com/users/krylov>>.

**Юрий Арпишкин, Андрей Ковалев.** Монумент. — «Московские новости», 2004, № 18 <<http://www.mn.ru>>.

В московском издательстве «РА» вышел двухтомник «Малевич о себе. Современники о Малевиче» (авторы-составители И. А. Вакар, Т. Н. Михиенко). «<...> случайный читатель может вынести представление, что Малевич являл собой некий собирательный гоголевский персонаж — Ноздрев, Собакевич и Хлестаков в одном лице. Но все эти курьезные детали биографии становятся содержательными и уникальными только в контексте большого проекта, который без устали до конца своих дней созидал Малевич. <...> Чем еще замечателен для нас Малевич — тем, что был первым в XX веке создателем тоталитарной секты».

**Прасковья (Елена) Артюхова-Симагина.** Мамины записки. Публикация Людмилы Симагиной. — «Вышгород», Таллинн, 2004, № 1-2 <<http://www.veneportaal.ee/vysgorod>>.

«Потом „красных” прогнали „белые”. Были перестрелки, мы [дети] прятались в канаве от пуль. Но иногда выбегали из своего укрытия, чтобы схватить пулю, застрывшую где-нибудь...» Детство рассказчицы прошло, как она выражается, «в киргизских степях», куда во время столыпинской реформы переехали с Украины ее родители.

**Альберт Байбурин.** Этнографический музей: семиотика и идеология. — «Неприкосновенный запас», 2004, № 1 (33) <<http://magazines.russ.ru/nz>>.

«Попав в музейную коллекцию, вещь становится *музейным экспонатом*, и отныне она *навсегда* становится „знаком”. Ситуация специфическая и для вещей неестественная. <...> На лодке никто не поплывет, шпагой никто не защитится. Когда я в детстве впервые попал в музей, именно это обстоятельство меня поразило больше всего. Вещи вроде бы настоящие, но что-то с ними не так. Ближайшей аналогией для меня был зоопарк, где звери были тоже настоящими, но жили ненастоящей жизнью».

**Виктор Бараков.** Виктор Астафьев и Николай Рубцов. — «Москва», 2004, № 5 <<http://www.moskvam.ru>>.

«Надо заметить, что с Астафьевым вообще всегда случался конфуз, когда он касался религиозных тем».

**Татьяна Бек.** «Ко мне возвращается муза». Беседу вела Елена Константинова. — «Труд», 2004, № 81, 5 мая <<http://www.trud.ru>>.

«Есть поэты постоянно ровного горения — например, Александр Кушнер, который, насколько я знаю, почти каждый день пишет стихи. <...> Я всегда писала как пишется, как Бог на душу положит, — будто диктовалось сверху или накатывалось волнами извне. В основном стихи приходят, когда мне плохо. Отсюда — преимущественно трагическая нота, что частенько порождает всякие недоразумения. Те, кто знает меня, недоумевают: „Почему в стихах ты так не похожа на себя? В жизни ты совсем другая — энергичная, часто улыбаешься!”»

**Владимир Березин.** Лермонтов и Кавказская война. — «Литературная учеба», 2004, № 2, март — апрель.

«Кончилась та война, кончилась эта, началась новая...»

**Андрей Битов.** «Вот так мы и разошлись: он просто умер, а я просто жив». Беседа вела Наталья Кочеткова. — «Известия», 2004, № 79, 30 апреля <<http://www.izvestia.ru>>.

«Когда ему [Виктору Астафьеву] давали премию „Триумф“, в жюри которой я состою, то меня выпихнули говорить о нем приветственную речь при вручении. Не зная, что сказать, я сказал приблизительно вот что: „На этот раз премия дается русскому писателю именно за то, что он русский. Только настоящий русский писатель знает, каково это — простоять в двух разрывающихся потоках либерального террора и патриотизма и остаться самим собой“. <...> Сделав такое вызывающее (! — *А. В.*) заявление, что премия дается русскому писателю, когда уже все разошлись по фуршету, по рюмкам, я проходил мимо Залыгина и Астафьева. Они почему-то стояли, как певцы, около рояля. Я услышал краем уха — они не подозревали, что я прохожу мимо, — как Астафьев говорит Залыгину: „Слушай, как может Битов понимать это?“ Я усмехнулся и вспомнил, что на последней встрече, на каком-то залыгинском пароходе, Астафьев мне сказал: „Слушай, Андрей, ну почему ты не можешь писать просто?“ Вот так мы и разошлись: он просто умер, а я просто жив».

См. также: **Станислав Кузиев**, «И Свет и тьма. К 80-летию писателя Виктора Астафьева» — «Наш современник», 2004, № 5 <<http://nashsovr.aihs.net>>; это полемика со статьей Константина Азадовского «Переписка из двух углов Империи» («Вопросы литературы», 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/voplit>>).

См. также большую мемориальную *астафьевскую* подборку в журнале «Урал» (2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/ural>>).

**Владимир Богомяков.** Мифы столицы и мифы провинции. — «Топос». Литературно-философский журнал. 2004, 18 мая <<http://www.topos.ru>>.

«Тюменская провинция свершает свой непонятный путь от пустоты к пустоте. До Ермака — пустота. Реален он или же это человек-миф? Говорят, что это реальное историческое лицо. Но кто он? Первооткрыватель? Завоеватель Сибири? Бандит, пришедший сюда со своей бригадой? Татары похоронили Ермака с почестями, татары почитали его могилу, татары собак в деревнях называли Ермаками... Держится Тюмень на нефти и газе. И сама держится, и долгие годы держала страну. Но — отмерен срок. Кончатся нефть и газ. И дальше что — опять пустота. Но провинция не одинока в своем непонятном пути, ибо и столица тоже идет от пустоты к пустоте. „Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, что будут после“ (Еккл. 1: 9)».

**Виктор Боков.** «Я — из прежних времен». Беседа вел Александр Карлюкевич. — «Российская газета», 2004, 13 мая <<http://www.rg.ru>>.

«Даже мой большой друг Пастернак говорил, что, когда видел Сталина, не мог оторваться от его лица, говорил о том, что в нем присутствовала какая-то магия. Поймите, ма-ги-я!.. Можете думать что угодно. Но не забывайте, что и я — пострадавший от Сталина (лагерь и ссылка. — *А. В.*), поэтому субъективизм моих оценок может выражаться только в плане критическом. А я не хотел бы критиковать. Хочу быть объективным. Сталин был человеком, а не просто палачом».

**Владимир Бондаренко.** Униженный эстет как герой народного бунта. О поэзии Эдуарда Лимонова. — «НГ Ex libris», 2004, № 18, 20 мая <<http://exlibris.ng.ru>>.

«<...> тут его эстетство смыкается с эстетством Николая Гумилева или с таким же имперским эстетством Павла Когана („Но мы еще дойдем до Ганга, / Но мы еще умрем в боях, / Чтob от Японии до Англии / Сияла Родина моя“). „Всекие дивные мысли“, посещающие голову просвещенного влюбленного юноши Эдички Лимонова, особенно после трагедии любви, наполнены взрывом ненависти к благополучному, жирному, сытому буржуазному миру, отчаянием и болью отверженного человека и пока еще экзистенциальным вызовом вольнолюбивого, брошенного, нищего и оборванного-героя. Он уже боец, но пока еще боец-одиночка. Воин в чужих станах: „Кажется в Аравии служил / После пересек границу Чили / И в Бейруте пулю получил / Но от этой пули излечили / Где-то в промежутках был Париж / И Нью-Йорк до этого. И в Риме / Он глядел в средину тибрских жиж / Но переодетым. Даже в гриме / Боже мой! Куда ни убегай / Пули получать. Стрелять. Бороться. / Свой внутри нас мучает Китай / И глазами желтыми смеется...“ Так он шел к своему внутреннему Китаю. Мировой космополитический театр жизни со временем становится для него чужим. Он отстраняется от него. Он отстраняется от самого себя, всячески выживающего в чужом для него мире. Он и в себе видит чужину, которую надо преодолеть в поисках своего национального Китая».

См. также: Владимир Бондаренко, «Поэзия конца Империи» — «День литературы», 2004, № 5, май.

Владимир Бондаренко. Заметки зоила. — «Завтра», 2004, № 19, 5 мая <<http://www.zavtra.ru>>.

«<...>, Бумер» — чисто русский фильм. <...> Ведь можно этот фильм назвать и печальной концовкой нашей деревенской прозы. Значительная часть фильма показывает современную вымирающую деревню, безвыходность которой страшнее даже этих перестрелок парней с ментами. В ней уже нет жизни, она живет уже после смерти <...>».

См. также: Александр Гогун, «Русские фильмы про бандитов» («Посев», 2004, № 3 <<http://posev.ru>>): «Но почему-то патриотизм у героя [фильма „Брат-2“] не русский, а советский, очень лживый. Для него русскость равняется советскости, из которой и вышли такие, как он, бандиты. Вот Данила лихо изрекает: „Русские на войне своих бросают!“ За такое кощунство, на мой взгляд, нужно убивать. Фильм рассчитан на подростков, которые ни бельмеса не смыслят в отечественной истории и, конечно, не знают про 3,4 млн. пленных только с июня по ноябрь 1941-го и про то, как их именно бросили, объявив предателями и отказавшись кормить через Международный Красный Крест. Кому и почему выгодно создавать в сознании молодежи прилизанные и лживые представления о советском прошлом?»

От составителя «Периодики». 1) Это реплика персонажа художественного произведения, уж простите за ликбез. 2) Представим на минуту, что этот персонаж по ходу действия лихо изрек: «Русские на войне своих бросают!» 3) Пленные, их бросили именно русские? 4) В электронной версии журнала «Посев» автор статьи почему-то обозначен как Роман Шухевич.

Илья Бражников. Благодать в Догвиле, или Почему мир должен быть уничтожен? — «Правая.ру», 2004, 3 мая <<http://pravaya.ru>>.

«Хватит! Доколе можно это терпеть? Пора закрывать занавес. „Есть город, без которого мир станет лучше, и это — Догвиль!“ И есть цивилизация, без которой мир станет лучше и вздохнет свободнее, — это Запад. Но есть род ищущих Господа, и об этом европеец Ларс фон Триер ничего не может нам рассказать. Ибо его Благодать-Грейс всего лишь англична. Людей же, род которых не прейдет, Церкви, которую не одолеют врата ада, ни один, даже самый прозорливый, житель Запада уже не видит. И мир иной представляется, даже самым чутким художникам Европы, не милосердным, но лишь несущим справедливое возмездие. Ангелы несут не Благую Весть, но лишь карающий меч и похожи на гангстеров, разбойников с большой дороги. Еще вопрос — Господни ли они. Но кто бы они ни были — в день Суда Содому и Гоморре будет отраднее, чем жителям современной Догвиль-Америки и Догвиль-Европы. Гангстеры уже на полпути к Догвилю, и Суд не за горами».

См. также «Кинообозрение Натальи Сиривли» — «Новый мир», 2003, № 11.

«Будете себя так вести, отправитесь резьбой по дереву заниматься». — «АртХроника/ArtChronika», 2004, № 1 <<http://www.artchronika.ru>>.

«Данная публикация, подготовленная „АртХроникой“ совместно с Фондом „Художественные проекты“, призвана напомнить об одной драматической странице истории отечественного искусства — нескольких обысках в квартирах представителей московского андеграунда, прошедших 15 февраля 1983 года». Вспоминает Михаил Федоров-Рошаль: «Мои работы — портреты Сахарова из сахара и Солженицына из соли — висели на стене, никто на них и внимания не обратил сначала. Один жук у мамы спросил, дескать, кто это. Она сказала: „Какие-то греческие или римские герои“...»

Эдуард Бурмакин. Трагическое падение тополей. Роман. — «Сибирские огни», Новосибирск, 2004, № 3 <<http://www.sibogni.ru>>.

«В первое лето третьего тысячелетия в старинном сибирском городе произошло несколько трагических событий. Ушли из жизни, совершенно неожиданно, уважаемые в городе люди; все больше, как это говорят формальным языком, представители творческой интеллигенции, деятели искусства и литературы. Но самым первым и особенно сильно поразившим местных обывателей событием было падение тополя на Соборной площади, в результате чего погибла шестнадцатилетняя школьница Саша...»

Александр Бушков. «Петр I — выродок и убийца». Поражался (так! — А. В.) Александр Никонов. — «Новая газета», 2004, № 30, 29 апреля <<http://www.novayagazeta.ru>>.

«Что же касается Петра, то я считаю, что самое точное определение для него нашел Лев Толстой — „осатанелый зверь“. И ладно бы еще этот долговязый полуграмот-

ный педераст и алкоголик пролил реки крови во благо России, так нет! Именно Петр отбросил страну назад так, как никто не отбрасывал никого. Именно благодаря „реформам” Петра в XIX век Россия вкатилась настолько ослабленной, что проиграла Крымскую войну. Почти четверть населения потеряла Россия за время петровского правления! И это были не военные жертвы, это было гражданское население. Петр I был единственным в мире правителем, который додумался оккупировать собственную страну в самом прямом и буквальном смысле этого слова. Именно при Петре коррупция достигла невиданных размеров. Именно он придумал заградотряды и использовал их во время Полтавской битвы — с целью стрелять по своим, если они побегут. Именно он придумал продотряды. Именно он изобрел и разослал по стране военные суды-тройки, которые судили не по закону, а по понятиям: „согласно здравого смысла и справедливости”. Именно Петр ввел рабство на Руси (до Петра крепостные имели права, во всяком случае, их нельзя было продавать, как скот). Показательно, что только те отрасли хозяйства, на которые Петру недосуг было обращать внимание, и выжили после его правления, принесли потом славу России, легкая промышленность например. А все, за что брался Петр, влачило после него жалкое существование — металлургия, судостроение...»

**Борис Васильев.** «Ходорковский платил нам по 100 долларов за страницу». Беседу вел Антон Молчанов. — «Вечерняя Москва», 2004, № 92, 21 мая <<http://www.vm.ru>>.

На вопрос журналиста «А почему перестали писать публицистику?» старый писатель рассказывает: «Потому что Ходорковский сидит в тюрьме. <...> Так это он субсидировал. Собрал десятка полтора известных писателей. В их число попал и я. Принял нас — очень приятный молодой человек и сказал: „Платить буду щедро — по сто долларов за страницу, а больше двух-трех страниц и не надо, — и я хочу от вас только одного: чтоб вы писали честно. Почему мне это надо? Не потому, что я вас так безумно люблю. Просто местные власти зажимают региональную прессу. Но Москву им не зажать. Мы будем печатать вас в газетах по всей стране”. Это продолжалось почти пять лет. Это был период, когда я публицистикой реально зарабатывал на жизнь».

См. также беседу **Бориса Васильева** с Михаилом Разгоновым («Газета», 21 мая <<http://www.gzt.ru>>); и тут на аналогичный вопрос журналиста: «Вы же еще совсем недавно были очень активным публицистом. Что-то переменялось?» — юбиляр отвечает: «Да. Ходорковского посадили. Ведь это же он финансировал проект „Золотое перо”. Скажу без ложной скромности — действительно, лучшие перья России были им собраны: Искандер, Войнович, Приставкин, Жуховицкий, Черниченко, Нуйкин, еще десятка полтора громких фамилий. И мы почти пять лет писали *короткие честные статьи* (курсив мой. — *А. В.*) для региональной прессы. На местах зажимали своих журналистов, а именитые московские писатели оказались не по зубам властям в регионах — в этом и состояла идея. Ходорковский платил щедро».

См. также: «Он [Твардовский] действительно потом позвонил и сказал, что повесть хорошая, но требует хорошего редактора. „Я прикрепляю к вам хорошего редактора — ее слушайте. Мы повесть у вас берем”. И как на грех его снимают с работы. Я не понимаю, что мне делать, и еду к *Коновалову, которого назначили вместо Твардовского* (курсив мой. — *А. В.*). Он говорит: „Я уже прочитал весь этот портфель. Мы будем печатать повесть, только не сейчас, подожди, пусть шумиха уляжется, заглохнет. Сейчас все забудут, и мы напечатаем. Потерпи”...» — вспоминает **Борис Васильев** в беседе с Натальей Кочетковой («Известия», 2004, № 88, 21 мая <<http://www.izvestia.ru>>). *Не Коновалов, а — Косолапов. Валерий Алексеевич.*

Соображения писателя по вопросам военного строительства см. в его беседе с Дмитрием Быковым («Огонек», 2004, № 20, май <<http://www.ogoniok.com>>).

См. также беседу **Бориса Васильева** с Анатолием Стародубцем («Труд», 2004, № 93, 21 мая <<http://ww.trud.ru>>).

**Александр Волков.** Библиотеки в огне, архивы в земле. — «Знание — сила», 2004, № 4 <<http://www.znanie-sila.ru>>.

«<...> появившиеся недавно голографические носители таковы, что на „дискете” размером с кредитную карточку может уместиться 3,4 терабайта информации. <...> на шести (!) таких карточках можно записать всю Библиотеку Конгресса. Вот только случайно повредишь дискету, и миллионов томов как не бывало! „Храните библиотеки на дискетах”? А сумеете ли вы лет через двадцать прочесть тексты сегодняшних дискет? <...> На память о своей дипломной работе я храню несколько перфокарт. Написанное на них не прочли бы ни Шампильон, ни Кнорозов. На память о своих статьях десятилетней давности храню пару гибких дискет формата 5,25”. Это не кинописные таблички хеттов или ассирийцев, это не читается уже сегодня». См. об этом также: **Александр Грудкин**, «Общество утратит память?» — «Знание — сила», 2000, № 11.

**Курт Воннегут** («*La Jornada*», Мексика). Абстинентный синдром. Перевод Анны Гонсалес. — «ИноСМИ.Ru», 2004, 19 мая <<http://www.inosmi.ru>>.

«Могу я сказать вам правду? То есть настоящую правду, а не как в теленовостях? Мы все находимся в наркотической зависимости от жидкого топлива, стоим на грани синдрома лишения: померкнет свет, наступит холод, опустошение. И подобно другим наркозависимым, у которых вот-вот должна начаться ломка, наши правители совершают самые страшные преступления ради получения того небольшого количества наркотика, на котором все они сидят».

**Рената Гальцева**. Если не Церковь, то кто же? К вопросу о диалоге Церкви с обществом и государством. — «Посев», 2004, № 3 <<http://posev.ru>>.

«<...> в плодотворном диалоге, не подверженном релятивистской коррозии, всегда участвует, по сути, больше двух сторон, ибо его продуктивность связана с неременным признанием обеими наличными сторонами невидимой третьей, т. е. общей для них истины, служащей незбылемым фундаментом для суждения. В предельном случае — признанием того, что она вообще существует».

«Но диалог — вовсе не извечное призвание Церкви, как, например, оглашение и проповедь; это жанр, потребность в котором возникает в зависимости от обстоятельств, когда нужно решать задачу, по выражению Владимира Соловьева, одновременно „апологетическую и полемическую” <...>».

«Церкви некого на земле бояться и не от кого принимать учительство».

«Пора прекратить пить чай над бездной; время общих и надмирных слов прошло, наступило время интеллектуального резистанса».

Доклад на международной конференции «Вера — диалог — общение» 26 сентября 2003 года. (Организаторы: Свято-Филаретовский православный институт, журнал «Вестник русского христианского движения», Институт человека РАН.)

**Александр Генис**. Счастье недостижимо. Но жизнь невозможна без радостей. — «Независимая газета», 2004, № 100, 21 мая <<http://www.ng.ru>>.

Два эссе из нового сборника. «<...> [японский] переводчик выбрал [токийский] ресторан с непроизносимым для него названием: „Волга”. Из русского в нем были стулья (редкость в японском общепите) и негр-швейцар, умевший говорить „спасибо”. Осторожно отодвинув иероглифическое меню, я предоставил выбор хозяину. Как нетрудно догадаться, он заказал нам борщ. Первым делом наряженный матрешкой официант принес хохломские палочки для еды. Заметив мое недоумение, он брезгливо кивнул и добавил к столовым приборам нож с вилкой. Ложкой и не пахло. Борщом, впрочем, тоже. Его внесли позже и по частям: на квадратной тарелке лежало мясо, на овальной — свекла, в пиале — сметана» («Княгиня Гришка»).

**Нина Гончарова**. А. Ахматова и Г. Х. Андерсен. — «Литературная учеба», 2004, № 2, март — апрель.

«Очевидно, в круг чтения Ахматовой Андерсен вошел действительно довольно поздно, через Н. С. Гумилева».

**Даниил Гранин**. «Не надо чванства! Сделано еще мало». Беседовал Александр Щуплов. — «Родная газета», 2004, № 18, 14 — 20 мая <<http://www.rodgaz.ru>>.

«Вот я сегодня говорил нашим архитекторам: „Что вы так умиляетесь нашим ленинградским церквям и соборам?!” Вот во Флоренции или Падуе у меня была изжога от обильного количества великолепных церквей. Мы же до сих пор не можем, не хотим или боимся признаться, что мы глухая провинция, ничего особенного мировому искусству не дали. У нас живопись появилась только в начале XX века — Марк Шагал, Григорьев, отчасти Малевич. А до этого не было никакой живописи! <...> У нас не было никакой музыки. Музыка появилась только с Чайковским. Ничего не было! Мы очень мало что успели сделать для мировой культуры. Литература — да! Деятнадцатый век был. А всего остального не было. Кино? Ну что такое было наше кино? Несколько шедевров, и все! Что такое наша архитектура — да ничего. <...> В девятнадцатом, может быть, был какой-то модернизм. А вообще ничего не было в нашей архитектуре, кроме деревянных церквей. Какие здания мы можем выставить для мира? <...> Понимаете, нам не хватает смиренности. Мы все время обязательно хотим себе доказать: мы не хуже вас! Мы не хуже Италии. А что мы против Италии?»

**Данила Давыдов**. Пушкин, скинхед и ваххабит. — «Книжное обозрение», 2004, № 19, 11 мая <<http://www.knigoboz.ru>>.

«Многие мои друзья и коллеги, с которыми я склонен солидаризироваться в большинстве вопросов, считают [поэта] Всеволода Емелина гопником и чуть ли не фашистом. Так вот, друзья: это неправда. Напротив, неизвестный журналист Лев Пирогов видит в фигуре Емелина пример того, как совершенная искренность вынуждена в нынеш-

ней культурной ситуации прикрываться постмодернистским языком, цитатностью, иронией. Иными словами: вот вам Емелин, который делает вид, что он скинхед, но вы-то, культурные люди, понимаете, что он не скинхед, что это маска, — так он на самом деле скинхед. Эта позиция также представляется мне неадекватной. <...> Случай Емелина — пример того, как одаренный поэт попадает в жернова социальных дискуссий, не имея к ним, в общем-то, никакого отношения».

**Дачница из литературного шоу.** Автор страницы Ольга Рыжова. — «Литературная газета», 2004, № 19.

Малоинтересный (попросту — «никакой») памфлет о Татьяне Толстой на полосе «Кумирня». С передержками и одновременно с непроговариванием того, о чем стоило бы говорить. Тут же — «разные мнения».

**Юрий Дружников.** Спираль моей жизни. Судьба одиночки на фоне поколения. — «Вышгород», Таллинн, 2004, № 1-2.

«Мы с приятелями [в конце 70-х] вовсю занимались распространением самиздата и тамиздата, одно время держали в Москве библиотеку рукописей и фотокопий, которые я делал сам. Помню, Булат Окуджава просил не давать ему больше подпольных книг и жаловался, что после такого чтения не может писать свое (он как раз заканчивал книгу для Политиздата)».

**Иван Есаулов.** «Одесские рассказы» Исаака Бабеля: логика цикла. — «Москва», 2004, № 1.

«Исааком Бабелем создано два прозаических цикла. Однако если „Конармия“ с момента ее публикации и до последнего времени находилась в центре исследовательского внимания, то „Одесские рассказы“, похоже, так и не вышли из тени конармейской книги».

Ср.: «<...> конармейские рассказы Бабеля многими признаются за бесспорные шедевры, но как-то в наше время не читаются, да и вообще слава их бледнеет на фоне триумфального успеха немногочисленных, общим числом меньше десятка, одесских рассказов про Беню Короля», — пишет **Дмитрий Быков** («Очкарик и кентавры» — «Огонек», 2004, № 14, апрель <<http://www.ogonlok.com>>).

**Юрий Жуков.** Сталин не нуждался в партии власти. — «Политический журнал», 2004, № 15.

«В „Кратком курсе“ точку поставили на событиях декабря 1937 г. Даже объяснили почему: „Конституция (1936 г., сталинская. — Ю. Ж.) закрепила тот всемирно-исторический факт, что СССР вступил в новую полосу развития“. Завершалась книга более чем многозначительно: „Таковы основные уроки исторического пути, пройденного большевистской партией. Конец“. Разумеется, последнее слово можно было понимать просто. Как конец описанного, как констатацию окончания работы над конкретным текстом в столь же конкретное время. И не больше. Однако в сочетании с категоричным и необъясненным утверждением о вступлении страны в „новую полосу развития“ неизбежно возникала и иная трактовка — буквальная: завершенность истории большевизма; завершенность истории той партии, которая существовала до конца 1937 г. И действительно, с октября 1938 г. на истории ВКП(б) была поставлена точка. Ее не продолжали, не дописывали, хотя оснований тому было предостаточно».

**Анна Зайцева.** (Анти)экономика рок-андеграунда: добродетели «сделай сам» и механика вытеснения денег. — «Неприкосновенный запас», 2004, № 1 (33).

«<...> позволяет выявить, каким образом антиэкономическая логика вытекает из негласных правил игры самой микроэкономики независимой сцены».

**Сергей Земляной.** Поэт или гражданин? — «Литературная газета», 2004, № 19.

«Слова нередко ведают о себе нечто такое, что не всегда знают люди. Повторяя затверженные еще в детстве строки Николая Некрасова: „Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан“, мало кто знает, что они прямо восходят к знаменитой „Декларации прав человека и гражданина“ революционной Франции 1789 года. Что „поэт“ здесь является заменой „человека“ в необходимом значении главного действующего лица гражданского (оно же буржуазное) общества. И что эта самая „Декларация“ является истинной Конституцией любого рыночного общества».

**Александр Зиновьев.** Выхолощено главное. — «Советская Россия», 2004, № 62, 13 мая <<http://www.sovross.ru>>.

«<...> главным — решающим — фактором победы [над нацизмом] были советский коммунистический социальный строй, т. е. реальный советский коммунизм, и возглавлявшееся Сталиным высшее руководство страны. Какими бы они ни были, какие бы

недостатки вы им ни приписывали, войну выиграли прежде всего советские коммунисты во главе со Сталиным».

См. также: **Александр Зиновьев**, «Деморализующее начало» — «Литературная газета», 2004, № 18 <<http://www.lgz.ru>>.

**Исполнилось 25 лет премии Андрея Белого.** Беседовала Наталья Кочеткова. — «Известия», 2004, № 84-М, 17 мая.

Говорит поэт, переводчик, социолог **Борис Дубин**: «Только-только начало обнаруживаться понимание того, что литература — это не текст, не группка и не книга. Литература — это большая институция, у которой есть свое историческое время. Я допускаю мысль, что в том виде, в каком она формировалась в середине и до конца XIX века, очень может быть, что ее не то чтобы конец наступил, от нее отлетел творческий дух, это перестало быть новацией, творческой проблемой».

**Александр Кабаков.** «Желаю обществу эстетической глухоты». Беседовали Дмитрий Малков и Андрей Щербак-Жуков. — «Книжное обозрение», 2004, № 17-18, 26 апреля.

«Демократия, как правило, не дает больших эстетических результатов. Именно поэтому люди культуры проклинают современную демократию. Другое дело, что это профессиональный эгоизм и абсолютно безнравственно. <...> Если передо мной стоит вопрос: чего бы я хотел для общества, — я пожелаю обществу эстетических провалов, абсолютной эстетической глухоты. Безвременья эстетического, но мирного, не кровавого, сытого и более или менее свободного развития жизни. Но я при этом отдаю себе отчет, что это рано или поздно вырождается в бытовую эстетику „Макдоналдса“ и „ИКЕА“. Это и есть собственно демократическая эстетика, и ничего с этим не сделаешь».

**Максим Калашников.** Маркс, ты был прав! — «Завтра», 2004, № 20, 12 мая.

«Как это ни парадоксально, но для понимания нынешнего времени нужно читать Карла Маркса. <...> Просто появление Советского государства на век задержало воплощение его теории».

**Леонид Китаев-Смык.** «Убийства на войне пробуждают сексуальные рефлексии». Беседу вела Ксения Фокина. — Национальная информационная служба «Страна.Ru», 2004, 13 мая <<http://www.strana.ru>>.

Говорит психолог, академик Всемирной экологической академии **Леонид Китаев-Смык**: «На войну солдат и офицеров посылают для того, чтобы они побеждали, убивая своих врагов, причем в любом обличье, будь то вооруженный противник или мирное население, обуреваемое враждебными чувствами, ведущее партизанские действия, сопротивляясь приходу врага. Солдаты должны сохранить свою жизнь, победить и для этого убить врага. <...> И еще, когда люди сталкиваются с таким количеством убитых, в них пробуждается такое явление, которое я называю зооантропологическим рефлексом. То есть человеческий рефлекс, корни которого лежат в далеком зоологическом прошлом человека. Возникает желание препятствовать своей смерти не только истребляя врагов, но и производя новую жизнь. Именно поэтому всегда, на всех войнах у бойцов возникает рефлекс продления жизни. Резко возрастает сексуальность и половое влечение. А поскольку война — это насилие, эти рефлексии пробуждаются в виде неодолимого сексуального насилия в различных формах. <...> этот рефлекс есть в каждом человеке, независимо от того, хочет он этого или нет, осознает он это или нет».

См. также: «Война есть санкционированное государством уничтожение противника, и ни одна армия мира, пока эта цель соответствующим правительством не снята, не станет ради сохранения жизни населения противника отказываться от решения поставленных перед нею боевых задач. Либо война запрещается вообще как форма насильственного достижения политических целей (и это, наверное, есть истинный гуманизм), либо, пока этого не случилось, каждый будет считать гуманизмом убиение своих врагов, а негуманизмом — своих солдат и друзей. И нечего здесь лицемерить», — пишет **Виталий Третьяков** («На самом деле» — «Российская газета», 2004, 20 мая).

**Вадим Кожин.** «Давайте обойдемся без идеологических формулировок...» — «Москва», 2004, № 2.

«<...> я стремлюсь, хотя это не так легко сделать, избежать всяческих оценочных суждений, то есть постановки вопроса: что же лучше — социализм или капитализм? С моей точки зрения, всякая оценочность здесь несерьезна, потому что идея прогресса, идея совершенствования общества — это очень поверхностная и в конечном счете ложная идея, которая, кстати, и возникла только в XVIII веке».

«С какой-то точки зрения, безусловно, лучше капитализм, в частности потому, что это органическая саморазвивающаяся система <...>».



«...» я за социализм, но не потому, что я его „одобряю”, а потому, что считаю это неизбежным. То, что частная собственность будет в конечном счете заменена общественной, со все определяющей ролью государства, — это убеждение вы найдете у любого подлинно выдающегося мыслителя XX века, кто бы он ни был».

«В России сейчас живут 3% населения Земли, всего-навсего (об этом редко задумываются). 15% населения Земли живут значительно лучше, чем мы, а 82% даже сейчас живут хуже. <...> И когда говорят, что будем жить так, как живут за рубежом, то это относится только к этим 15% населения стран, которые, между прочим, помимо всех остальных их преимуществ, сумели в свое время совершить гигантское ограбление стран третьего мира. И кстати, если уж так ставить вопрос, то нам просто необходимо кого-нибудь ограбить».

Беседа с другом — поэтом Александром Дориным, которая состоялась в 1998 году в кабинете Кожина на Большой Молчановке.

См. также: **Борис Споров**, «Кто же такой Кожин?» — «День литературы», 2004, № 5 <<http://www.zavtra.ru>>; автор статьи отвечает: «интеллигент по всем статьям».

**Капитолина Кокшенева**. Границы судьбы. О повести Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» и теме зла в современной литературе. — «Москва», 2004, № 2.

«Я же пока только отмечу (а позже об этом буду говорить), что повесть Распутина гораздо обширнее и глубже того „факта насилия”, который привел критиков к столь кардинальным, но ложным выводам о женщине-мстителнице и „слабом” русском мужике».

См. также: **Капитолина Кокшенева**, «Связующая в род. О повести В. Распутина „Дочь Ивана, мать Ивана” и о ее интерпретациях в литературной критике» — «Подъем», 2004, № 2 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

См. также: **Павел Басинский**, «...Коня и трепетную выпь» — «Литературная газета», 2004, № 19 <<http://www.lgz.ru>>; «„Почвенничество” (ну, или „деревенщики”, хотя это уже слишком узкое понятие сегодня) выдыхается на глазах. Либо стремительно провинциализируется, либо (кто поциничней да половчей) переметывается в коммерческий лагерь. <...> Когда я осторожно хвалил в прессе последнюю повесть Распутина, я делал это из соображений гигиены. Лучше иметь хоть обмылок хозяйственного мыла, чтобы отмыться от того дерьма, которое выплескивает современная литература, патронируемая новейшими издательствами г-ми Ивановым и Топоровым (хорошие русские фамилии, прямо Сытин и Ладыжников). Но я никак не предполагал, что новая повесть большого русского писателя станет „козырем” в игре „почвенников” с „постмодернистами”. Мне и в страшном сне не могло привидеться, что Курицын (писатель) будет соперничать с Распутиным [в премии „Национальный бестселлер”] и побеждать его уже на начальном этапе борьбы. С Распутиным, которого Курицын, я думаю, никогда в жизни не читал, искренне считая, что Распутин — это просто „отставной советник Горбачева»».

**Андрей Колесников**. Набоков: уроки либерализма. — «Международная еврейская газета», 2004, № 15-16, апрель <<http://www.jig.ru/rossia/139.html>>.

«„Все, что мне требуется от государства — государственных служащих, — это личная свобода”, — отвечал на вопросы интервьюера Владимир Набоков. Если и можно выразить смысл, букву и дух политического и экономического либерализма в духе манифеста в одной совершенной фразе, то — вот они. <...> Владимир Набоков обладал одним важным качеством — физическим отторжением пошлости, в том числе пошлости политической. То, что еще недавно казалось нам соединением несоединимого — красного и коричневого, то, что представлялось социальным оксюмором, диагностировалось Набоковым задолго до того, как уже в постсоветской России радикальный левый и ультраправый национализм стал одним из доминирующих идеологических и политических течений. Чего стоит вот такой отрывок из „Пнина”: „Только другой русский мог понять, какую реакционно-советофильскую смесь являли собой псевдокрасочные Комаровы, для которых идеальная Россия состояла из Красной Армии, помазанника Божия, колхозов, антропософии, Православной Церкви и гидроэлектростанций”. Здесь все: и уваровская триада „православие — самодержавие — народность”, и пиночетовское „церковь — армия — собственность” с чисто русской поправкой на „незащищенную и нестабильную собственность”, словом, — антилиберальная идеология, в разные периоды российской истории превращавшаяся в государственную. В этой набоковской формуле легко узнаются сегодняшний советский гимн с переправленными, как в палимпсесте, словами, утрированное православие, постепенно поглощающее государство, и даже светское среднее образование, ностальгия по Советам и милитаризация элиты. Персонаж рассказа „Образчик разговора, 1945” говорит: „Я белый офицер и служил в царской гвардии, но я также русский патриот и православный христианин. Сегодня в каждом слове, долетающем из отечества, я чувствую мощь, чувствую величие нашей матушки России. Она опять страна солдат, оплот религии и настоящих славян”. Послед-

нее предложение — тоже формула. Опасная формула политической реакции, формула политической пошлости, становящейся все более популярной и сегодня. <...> Власть в России по сю пору ставит знак равенства между понятиями „государство” и „родина”. В этой же логике формулируются пресловутые „национальные интересы”. Между тем национальный интерес (без кавычек) — космополитичен. Как космополитична человеческая личность. Национальный интерес — это интерес отдельного человека и гражданина, что совершенно не противоречит патриотизму — здоровому, а не черносотенному и милитаризованному. Государство же приватизировало (или национализировало?) национальный интерес, который ему не принадлежит, узурпировало себе право формулировать за гражданина его позицию. Вернуть частной личности право на национальный интерес — в этом, собственно, и состоит практическая политическая цель либерализма. <...> Человек, который считал, что портрет правителя не должен превышать размеров почтовой марки, тем самым задал физические размеры экспансии государства и очертил меловую границу вокруг частного лица, за которую нет хода никому. Учение Набокова весельно, потому что оно верно».

**Симон Кордонский.** Социальная реальность современной России. — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 11 мая <<http://www.polit.ru>>.

Публичная лекция в клубе «*Bilingua*», 29 апреля 2004 года. «Я повторяю, мы страну не знаем и, видимо, знать не хотим. Мы четко уверены в том, какая страна должна быть, мы не фиксируем те ограничения, которые задает сама реальность. Мы говорим о демократии, при этом вся история страны показывает, что демократия — не тот институт, который приживался в России. Поэтому странно ее ждать и прилагать усилия по ее устройству. С конца 80-х годов говорят о том, что нам необходим рынок, мы строим рынок, хотя словосочетание этих строк — противоречиво. *И многочисленные попытки показать, что у нас рынок есть, и гораздо более развитый, чем в других странах мира, я имею в виду административный рынок, которым мы занимались, не встречают понимания.* На обычном рынке есть ограничения, т. е. некоторые услуги и товары, например Родина, в продажу не поступают. Они являются культурной ценностью и не продаются. *На нашем административном рынке торгуется практически все, нет товара, нет, вернее, феномена или объекта, который нельзя продать в нашей стране.* У нас фантастический по объему, по степени демократичности рынок, а мы еще пытаемся его строить. *Нам говорят, что нужно строить гражданское общество. С моей точки зрения, у нас очень мощное, развитое гражданское общество, наследованное еще с советских времен,* потому что, не будь гражданского общества при советской власти, мы бы не выжили. Но это гражданское общество с государством соотносится ортогонально, они пересекаются только в уголовном кодексе. *То, что мы называем коррупцией, блатом, связями системы и всем прочим, это и есть институт российского гражданского общества.* Мы боремся с коррупцией, вы, наверное, знаете про успехи в борьбе с коррупцией — это борьба с собственным обществом».

**Жанна Кормина.** Военская присяга: к истории одного перформатива. — «Неприкосновенный запас», 2004, № 1 (33).

«Беглый экскурс в область новейшей истории патриотического дискурса в России, предлагаемый вниманию читателя в этой статье, ограничивается одним документом — текстом (точнее, текстами) воинской присяги с момента введения в России в 1874 году всеобщей воинской повинности и до сего дня. За это время текст присяги переписывался трижды — в 1918, 1939 и 1993 годах...»

**Наталья Корниенко.** «...Душою плачешь и смеешься от души». Письма читатель Михаилу Шолохову. 1933 — 1938. — «Наш современник», 2004, № 5.

Замечательная публикация. «Я просила бы ответить мне, почему у т. Шолохова так отрицательно выведены женщины?» (из письма М. А. Коркиловой, ленинградской студентки рабочего факультета, бывшей трактористки, 1934 год). Вступительная статья весьма содержательна.

**Борис Крячко.** Маленькие трагедии. Повесть. — «Вышгород», Таллинн, 2004, № 1-2.

«Он бросил лом, отер потное лицо рукавом робы, а проходя мимо, сплюнул в сторону экипажа и поехал за автогенном. До сих пор ездит, скоро два месяца». Продолжение регулярных «вышгородских» публикаций из архива прозаика Б. Ю. Крячко (1930 — 1998), жившего в Эстонии.

См. также: Александр Зорин, «Нестандартная фигура. Борис Крячко в письмах и воспоминаниях» — «Дружба народов», 2004, № 1 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>.

**Владимир Крячко.** *Colere* — воздвигание. Информационный этюд. — «Вышгород», Таллинн, 2004, № 1-2.

«Информация сопоставима с энергией». Автор — филолог, сын писателя Б. Ю. Крячко (см. выше).

**Сергей Кузнецов.** Уйти из джунглей. — «Искусство кино», 2004, № 3 <<http://www.kinoart.ru>>.

«<...> возможно, лучший мультипликационный героический эпос, снятый за пределами Японии. Речь идет о фильме „Маугли“».

*Каа* — это «самый яркий образ смерти во всей мировой мультипликации».

**Валентин Курбатов.** «Сохранить Россию в чистоте». Беседу вел Савва Ямщиков. — «Завтра», 2004, № 20, 21.

«Если бы мы не притворялись христианами, если бы не разделяли Церковь и государство внутри одного человека! Мы-то сами, каждый из нас, в церковь ходим. Я вот с 1974 года пою в храме, уже тридцать лет. Ты же все-таки там один стоишь, ты в небесах стоишь и поешь и читаешь „Апостол“. Вышел — и мгновенно вплелся в этот летучий сор суеты, человеческой политики, низости. Вплеся и смотришь — ты уже изворотливо бежишь, суетишься».

**Сергей Кургинян.** СуперПутин второго срока. — «Политический журнал», 2004, № 17.

«<...> прежняя система сметена и строится принципиально новая. Обсуждать, опасна ли она для Путина, — нелепо. Жить вообще опасно».

«Может возникнуть ситуация, когда никто не атакует верховный трон. А пол, на котором стоит трон, рушится».

«Россия не корпорация. Путин не менеджер. И, оставшись один на один с историей, он это скоро поймет».

**Евгений Курдаков.** Ангел, бабочка, цветок. Дневниковая повесть-эссе. Публикация Ю. Е. Курдаковой. — «Простор», Алматы, 2004, № 3, 4 <<http://prostor.samal.kz>>.

«У Пастернака в „Докторе Живаго“ (кн. 1, стр. 206 — 207) описание весны: „Первое время снег подтаивал изнутри, тихомолком и вскрытную. Когда же половина богатырских трудов была сделана, их стало невозможно далее скрывать. Чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила...“ И т. д. Что это? Что за „богатырские труды“, свершающиеся „тихомолком и вскрытную“. Эта языковая неорганичность — продукт усвоения языка в книжном его виде, а языка обиходного — в маргинальной среде иноязычия. В общем и целом, появился язык-ублюдок, который бессмысленно даже разбирать, здесь каждая фраза нелепа, уродлива, языково приближительна. Это не русский язык. „Воде было где разгуляться. Она летела вниз с отвесов...“ С каких отвесов? Сверху вниз? Но вода и так всегда течет сверху вниз и никогда наоборот. При чем тут „разгуляться“? И „было где“, когда речь идет о лесе? „Лететь вниз“ и „разгуляться“ — это разностихийные понятия. О Господи, да для чего же это писано? Как расхвалено? Зачем этот театр „голового нобелевского короля“, надругавшегося прежде всего над русским языком» (4 марта 1998 года).

См. также: «В первый раз в жизни посмотрел „Школу злословия“. <...> На вопрос „Дуни“ о любимых русских романах двадцатого века [Андрей] Немзер твердо отвечал, что у него это „Доктор Живаго“. Ну и плюс „Мы“, „Дар“, „Пушкин“ и „Колесо“. „Колесо“ я люблю, но ответ все-таки диковатый. Пастернак как главный русский прозаик двадцатого века — нелепость, по-моему. По мне, так главный русский прозаик двадцатого века — Андрей Платонов, конечно же. Говоря о русской литературе, как можно „Живаго“ ставить выше „Котлована“ и „Чевенгура“? Мне это недоступно. Видимо, опять же, действует эта немзеровская идеология — „смысл культуры — в саморефлексии культурных людей“. Мне же все это глубоко отвратительно-омерзительно. Это и есть то „чистое искусство“, в непонимании которого упрекали Немзера „Таня-Дуня“. Культурные люди — дело глубоко пятнадцатое, а вот писатель как языковой медиатор народной стихии — вот это правильно. Писатель — это язык народа, уж извините. И с этих позиций важнее Платонова нет никого», — читаем в сетевом дневнике Дмитрия Ольшанского от 27 апреля 2004 года <<http://www.livejournal.com/users/olshansky>>.

**Дж. М. Кутзее.** Он и его слуга. Перевод с английского С. Ильина. — «Иностранная литература», 2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

Нобелевская лекция — о Робинзоне Крузо. «Ему, вернувшемуся с острова, где он до появления Пятницы жил в безмолвии, представлялось, что в мире слишком много разговоров. Лежа рядом с женой в постели, он чувствовал себя так, точно на голову ему сыплется дождик из гальки, бесконечно шурша и постукивая, между тем как он желал лишь одного — мирного сна».

См. также эту нобелевскую лекцию в переводе Нины Жутовской — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 3 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

См. также: **Михаил Эдельштейн,** «Жизнь и время Джона К.» — «Новый мир», 2004, № 5.

Михаил Лайков. Успеть проститься. Роман. — «Москва», 2004, № 1.

«Это был смерч — небывалый по мощи, обрушившийся на Шумск внезапно, в полдневный час, час ясного солнца и полнейшего безветрия. Некоторые в Шумске потом рассказывали, что издалека еще заметили приближение этого смерча, который был подобен огромному, волчком крутящемуся яйцу, и что накануне наблюдались странные природные метаморфозы: солнце подернулось как бы пеплом, на траву, словно кровавая роса, пала багровая тень, поверхность реки покрылась снулой рыбой, из подвалов и колодцев слышался гул...»

Станислав Лем. Иная эволюция. Перевод В. И. Язневич. — «Знание — сила», 2004, № 5 <<http://www.znanie-sila.ru>>.

Эссе из книги «Мгновение» («*Okamgnienie*», *Krakow*, 2000), которая является продолжением знаменитой «Суммы технологии».

См. также эссе Станислава Лема из книги «Мегабитовая бомба» в переводе Сергея Ларина — «Новый мир», 2000, № 7.

Аманда Лир. Дали глазами Аманды. Главы из книги. Перевод с французского О. Захаровой. — «Иностранная литература», 2004, № 5.

Дружба знаменитой поп-звезды и художницы Аманды Лир с Дали продолжалась более двадцати лет — с осени 1965 года до смерти художника, 23 января 1989 года. Главы из книги печатаются по изданию: «*Le Dali d'Amanda*». *Lausanne*, 1984.

См. также: «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» — «Иностранная литература», 1991, № 2; 1992, № 5, 6, 8, 9.

См. также: Александр Петряков, «Дали — литератор» — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

См. также: Борис Рубенчик, «Он приветствовал возрождение еврейского народа. 11 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Сальвадора Дали» — «Еврейское слово», 5764/2004, № 20, 19 — 25 мая <<http://www.e-slovo.ru>>.

Семен Мадиевский. Другие немцы. — «Знание — сила», 2004, № 5.

Другие — это те, кто в годы нацизма корыстно или бескорыстно помогали евреям.

Сергей Малашенков. Мысль кроткая. — «Топос», 2004, 21 мая <<http://www.topos.ru>>.

«<...> государство, впрочем, по-своему честное в откровенном стремлении подавить или просто уничтожить жизнь на этой обширной полупустынной территории постольку, поскольку жизнь стремится сохранить свою собственную, естественную форму в противовес так называемым реформам. Собственно, здесь формула. Если жизнь — обязательно та или иная форма, то в России всякая реформа означает смерть, не символическую, а реальную смерть реальных людей в большом количестве».

Игорь Манцов. Друг человека. — «Русский Журнал», 2004, 22 мая <<http://www.russ.ru/columns/street>>.

«Я уже отмечал, что за *барахло* американскую продукцию почитают те зрители, которые не обучены эту продукцию смотреть, не понимают ее кодов и конвенций. Зрение одних навсегда скорректировал Эйзенштейн, зрение других — Краснополяский, Усков и Марк Захаров».

См. также «Кинообозрение Игоря Манцова» в *четных* номерах «Нового мира».

Роман Маханьков. Апокалипсис сегодня. — «Фома». Православный журнал. 2004, № 2 (19) <<http://www.fomacenter.ru>>.

«<...>, тайное знание» Апокалипсиса состоит не в том, чтобы найти и обезвредить Антихриста, и даже не в том, чтобы предотвратить конец света. А в том, чтобы, распознав Антихриста, сохранить верность Христу».

Здесь же — Виктор Тростников, «Конец света как отмена материи»; и *другие материалы на тему*.

Александр Мелихов. Состязание грез. — «Литературная газета», 2004, № 18.

«Дар ценить плоды фантазии выше материальных фактов и делает человека человеком: только человек способен жертвовать во имя того, чего нет, что существует лишь в его воображении».

См. также: Александр Мелихов, «Состязание технологий и состязание грез» — «Дружба народов», 2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>.

См. также цикл статей Александра Мелихова о либерализме в России — «Дело», Санкт-Петербург, 2004, 19 и 26 апреля, 17 мая <<http://www.idelo.ru>>.

Юрий Милорава. Эпос Айги. — «Футурум АРТ». Литературно-художественный журнал. 2004, № 5 <<http://www.futurum-art.ru>>.

Апология мнимого.

Молитвенная книга Зинаиды Гиппиус. Публикация и предисловие Темиры Пахмусс (Иллинойс, США). — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2004, № 234 <<http://magazines.russ.ru/nj>>.

«Молитвенная книга написана рукою З. Н. Гиппиус в начале XX века для богослужения в доме Мережковских в Санкт-Петербурге. <...> Текст предназначен для трех „священников“, по очереди читающих молитвы от трех участников „агапы“. <...> Для трех „священников“ были сшиты специальные одежды». *Сектанты, одним словом.*

На трассе. Составитель раздела Борис Равдин. — «Даугава», Рига, 2004, № 1, январь — февраль.

«В 1991 году коммуна [хиппи на Гауе] узнала, что съехалась она в одном государстве, а разъехалась из другого» (Андрей Мадисон, «Прилет, улет и отлет»). Здесь же — комментарий Бориса Равдина к статье Мадисона. Забавные фотографии из фотоархива Михаила Бомбина, одного из отцов основателей лагеря хиппи на Гауе (Латвия). Стихи из машинописного авторского сборника Ирины Р. «Характерно, что среднеазиатов и представителей „кавказской национальности“ не было вовсе, вроде как негров среди североамериканских хиппи» (А. Мадисон).

Александр Неклесса (заместитель директора Института экономических стратегий). Право на Россию. Кто получит его в эпоху глобальной смены политических культур? — «Со-Общение». Технологический журнал для гуманитариев. 2004, № 4 <<http://www.soob.ru>>.

«Для Новой России, конечно же, важно достижение национального консенсуса относительно целей и методов долгосрочной политики в стремительно меняющемся мире. Однако какой консенсус может сложиться у люмпен-элиты, для которой стратегическое планирование возможно на уровне интриги с горизонтом в один-два, максимум четыре года <...>? Ведь ее истинная задача — *легитимация позиции, а не национальное планирование*».

Андрей Немзер. Неугомонные думы. Двести лет назад родился Алексей Хомяков. — «Время новостей», 2004, № 80, 13 мая <<http://www.vremya.ru>>.

«Хомяков был незаурядным богословом. Иные из его адептов говорили „великим“. И приравнивали завсегда московских салонов, остроумного спорщика, готового ради торжества в интеллектуальном сражении всяко играть словами, а то и измысливать „исторические факты“, блестящего говоруна и благодушного семьянина к отцам церкви. Оценка всегда спорна (для человека, вовсе чуждого религиозным чувствам и поискам, никаких „великих богословов“ быть не может — по определению), но в этих „партийных“ суждениях есть свой резон. В полемических богословских брошюрах Хомякова (писанных по-французски, „для Европы“ и трудно пробивавших дорогу к читателю-соотечественнику) ощущается не только интеллектуальная энергия, блеск эрудиции и безусловное риторическое мастерство (давно подмечено, что, дискутируя с католиками, Хомяков великолепно использовал аргументацию протестантских богословов, и наоборот), но и глубина выстраданной веры. Хомяков действительно ощущал свободу и единство Церкви как данность. И знал, что „договариваться“ — после интеллектуальных турниров, демонстрирующих „правоту“ одной из сторон, или по душевной взаимной благорасположенности искателей истины — невозможно. Высоко ценя разум (отсюда устойчивое восхищение „чужим“ величием Гегеля), Хомяков был человеком верующим. И был им до того, как изобрел славянофильскую доктрину. Разумеется, для Хомякова сопряженную с православием, но не подменяющую собственно веру. Критики славянофильства не раз указывали на германские истоки этой историософской доктрины. Они совершенно правы. Но как Хомяков был православным до своих богословских опытов, так и отчизнолюбом, естественно включенным в национальное целое, воспринимающим историческую судьбу России как свое личное дело, он был до славянофильства (учения не слишком самобытного и много чем чреватого)».

См. также: Станислав Рассадин, «Тоска по родине» — «Новая газета», 2004, № 32, 13 мая <<http://www.novayagazeta.ru>>.

Валентин Непомнящий. Три простые истины. — «Литературная газета», 2004, № 17 <<http://www.lgz.ru>>.

Речь на торжественной церемонии вручения премии Александра Солженицына создателям телесериала «Идиот» — режиссеру Владимиру Бортко и актеру Евгению Миронову. «Думаю, это контекст всей великой русской классики — и в нем родился фильм. И когда он родился — идеология корысти потерпела, на территории нашей культуры, крах (по иронии судьбы предшествовавший краху известных сил на парламентских выборах). Наша традиция победила, все „рыночные“ рейтинги были побиты вещью не рыночной: Россия оказалась не „населением“, а народом».

Здесь же: Людмила Сараскина, «Тон задавали зрители».

**Олеся Николаева.** Испанские письма. Стихи. — «Сибирские огни», Новосибирск, 2004, № 3.

*Люблю этот цикл.* Редакция «Нового мира» неоднократно (мы терпеливые) выдвигала Олеся Николаеву на соискание Государственной Пушкинской премии. Об «Испанских письмах» см. «Книжную полку Ирины Роднянской» в настоящем номере «Нового мира».

**Николай Никонов.** Бытие. Книга четвертая из серии «Ледниковый период». — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 6 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

«Первым моим впечатлением от входа в жизнь было серое, задернутое доверху толстым инеем окно».

Здесь же: **Лидия Слобожанинова**, «Две повести Николая Никонова».

См. также: **Николай Никонов**, «Закон милосердия. Опыт трактата». (Публикация А. А. Никоновой) — «Урал», 2003, № 12.

**Алла Никонова.** Очередная заказная статья с моральными претензиями: **Карякин** против **Ленина**. — «Левая Россия». Политический еженедельник. 2004, № 7 (106), 10 мая <<http://www.left.ru>>.

«Как заметил по схожему поводу Ленин: „озлобленный почти до умопомрачения белогвардеец“...» Умопомраченный белогвардеец — это в данном случае **Юрий Карякин**, речь идет о его антиленинской статье «Бес смертный. Главный заказчик и его мысли о кастетах, кипятке и кислоте, а также о Боге, Гегеле, Достоевском, а еще об уме, чести и совести партии» («Новая газета», 2004, № 28, 22 апреля <<http://www.novayagazeta.ru>>).

**О вкусах спорят.** — «Российская газета», 2004, 7 мая <<http://www.rg.ru>>.

Говорит министр культуры и массовых коммуникаций РФ **Александр Соколов**: «Сделать так, чтобы творческие люди могли ощущать себя свободными и чувствовать поддержку. Это совершенно очевидная функция: мы должны быть на службе у тех, для кого и существует министерство».

Ср.: «Государство существует не для того, чтобы удовлетворять запросы художников. Оно призвано удовлетворять запросы граждан», — говорил (ныне бывший) министр культуры РФ **Михаил Швыдкой** в беседе с Юнной Чуприниной («Итоги», 2003, № 47 <<http://www.itogi.ru>>).

**Любовь Овчинцева.** Особенности сельской бедности. — «Отечественные записки», 2004, № 1 <<http://magazines.russ.ru/oz>>.

«Особенность российской бедности в том, что это бедность работающих людей».

«Скрытая безработица советской эпохи превратилась в скрытую занятость постсоветской».

«Не все параметры бедности можно измерить цифрами».

**Давид Оганесян.** Ценностная система ислама: начало пути. — «Отечественные записки», 2004, № 1.

«Затем происходит то, против чего пророк предостерегал и что непременно должно было произойти, — „от него“ начинают передавать не только айаты, но и хадисы».

**Григорий Орлов.** Быть русским сейчас. — «День литературы», 2004, № 4, апрель <<http://www.zavtra.ru>>.

«Я вижу только два возможных варианта. Во-первых, есть все основания предполагать, что через каких-то лет десять собственно русскими — русскими либералами, бизнесменами, писателями, учеными — будут позиционировать себя потомки еврейско-русской интеллигенции, „желтого дворянства“ Советской империи. Они унаследуют литературный русский язык, знание классической литературы и совсем немножко истории (подходящей для них). Большинство же постепенно вымирающего населения замечательной страны РФ, те самые потомки векового **Микулы Сеялиновича**, окончательно осознают себя россиянами, гражданами такой вот „конкретной“ и „нормальной“ латиноамериканской республики. <...> И второй вариант — утопия, идеал, на который можно работать всю свою жизнь, даже зная всю его обреченность. Вариант русского фундаментализма, возможность консервативной революции снизу, осуществляемой лишь малым избранным остатком русских. Конечно, это, во-первых, возвращение к вере Христовой, к Древлеправославию, признание раскола XVII века „яко не бывшего“. Это окончательное признание того, что государство РФ или другие постсоветские республики не имеют никакого отношения к русскому народу и ни в коей мере не являются наследниками исторической России. С государством все закончено, наша вина или нежданное счастье: не удалось сохранить, не получилось. Оставшимся русским придется самоорганизоваться где угодно, от Крыма до Тамбова и Аляски, только на основе общин, приходо-семей, личной взаимопомощи. Только тогда мы сможем обрести своих предпринимателей, свои рабочие места, свои СМИ, своих меценатов».

<...> Нужно воспитывать детей в воскресной школе, но не забыть преподать им и русскую историю и литературу. Нужно носить косоворотки и смазные сапоги, подпоясываться кушаками и плевать на окружающую моду. Девицы и бабы должны носить подколотый платок не только в церкви, но и везде на людях. Нужно слушать Евангелие в церкви, читать „Кормчую” и „Домострой” дома. В конце концов, чтобы нам сохраниться и стать одесную на Страшном Суде, именно нам нужно стать евреями, заслужить право называться Новым Израилем Нового Завета».

**Валерий Островский.** И пошли на пулеметы. — «Дело», Санкт-Петербург, 2004, № 324, 17 мая <<http://www.idelo.ru/324/12.html>>.

<...> 18 мая исполняется полвека со дня начала восстания в Кенгирских концлагерях. Кенгир сыграл в нашей послевоенной истории такую же роль, как Кронштадт — в довоенной. Кронштадтское восстание сломало „военный коммунизм”. Кенгирское — сломало ГУЛАГ и всю систему массовых принудительных работ. <...> По-моему, самый положительный пример для молодежи — это знание о Кенгирском восстании. <...> Наше ворчание на нынешние порядки смехотворно перед атакой безоружных людей на вертунхайские ряды и пулеметные вышки».

См. также: «Хроника восстания в Степлаге» (составители: Д. И. Зубарев, Г. В. Кузовкин, Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал»). — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 18 мая <<http://www.polit.ru>>.

**Виталий Павлов.** Повесть о Панкратии Сумарокове. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 6.

«В 1793 году в Тамбове вышла книга под неясным названием „Варбек”...»

**Глеб Павловский.** Система политических СМИ: какой она сложится. Публичная лекция (ГУ-ВШЭ, весна 2004). — «Русский Журнал», 2004, 5 мая <[www.russ.ru/politics](http://www.russ.ru/politics)>.

«Главная претензия к политической журналистике — ее коррумпированность. Столь же часто о коррумпированности говорят разве что применительно к Госавтоинспекции и таможенной службе. Действительно, СМИ примерно так же, как ГАИ, стали системой продажи разовых лицензий на нарушение правил. И прежде всего — продажи права на фальсификацию фактов и фальсификацию повестки дня».

«Предстоит вот этот период катастрофического обнаружения реальности, в которой мы живем».

**Александр Панарин.** Духовные катастрофы нашей эпохи на языке современного философского знания. Публикация Натальи Зарубиной. — «Москва», 2004, № 1, 3.

«В нашу кризисную эпоху всюду ощущается драматический переход от универсалистской парадигмы просвещенческого (еще прежде того — христианского) типа к новому сегрегационному делению человечества на *избранных* и *неизбранных*». См. также его статью, написанную в декабре 2001 года, «Россия в социокультурном пространстве Евразии» («Москва», 2004, № 4).

См. также беседу с вдовой философа Натальей Зарубиной: «Литературная газета», 2004, № 20-21 <<http://www.lgz.ru>>.

**Глеб Панфилов.** «Моя профессия портит характер». Беседу вела Анна Ковалева. — «Известия», 2004, № 88, 21 мая.

Режиссер Глеб Панфилов снимает «В круге первом» — телесериал и кинофильм. «Сценарий сериала написал Александр Исаевич. Это действительно экранизация. А сценарий кинофильма делал я, он — „по мотивам”. <...> это — оптимистический роман. Роман о проблеме выбора, о том, как в самых тяжелых обстоятельствах человек выбирает трудный, но достойный путь».

См. также беседу Глеба Панфилова с Кириллом Решетниковым («Антисоветская тема меня совершенно не волнует» — «Газета», 2004, 21 мая <<http://www.gzt.ru>>): «Впервые я прочел роман [„В круге первом”] тридцать лет назад, в 1974-м. Тогда это была запрещенная литература. Книга произвела на меня сильное впечатление — и концептуально, и характерами действующих лиц. Мысль о фильме по этому роману возникла тогда же, и тогда же я сказал себе, что это невозможно — ну разве что через триста лет. Я тогда был очень пессимистично настроен в этом отношении. Но получилось не через триста лет, а через тридцать».

См. также: «При встречах с Солженицыным я как бы пытался понять, оценить психологически тайну его личности. И думаю: вот человек самоизлечился от рака. Почему? Потому что вел трудовую, праведную жизнь. <...> При общении с ним лично понимаешь, что написанное и сделанное им, слышимое от него, говоримое им — все необычайно гармонично. Поэтому у него хорошая жена, хорошие дети — замечательные, трудолюбивые, красивые люди. Поэтому у него здоровый быт, здоровая обстановка,

хорошее, положительное поле вокруг него. Он излучает это поле. В его доме есть ощущение надежности, прочности, чистоты, честности. И то, что он находится в России, в Москве, — это очень много дает России и всем нам», — говорит Глеб Панфилов в беседе с Петром Кузьменко «С Солженицыным по жизни» — «Вечерняя Москва», 2004, № 91, 20 мая <<http://www.vrn.ru>>.

**Письма И. А. Бунина к М. Н. Семенову 1950 — 1951.** Предисловие, публикация и комментарии Л. Г. Голубевой и С. Н. Морозова. — «Москва», 2004, № 2.

«Завтра прикажу выслать Вам мои „Воспоминания“. Они многих ошеломили — одни от них в диком восторге, другие — в бешенстве» (из письма от 17 декабря 1950 года).

**Григорий Померанц.** Парадоксы диаспоры. — «Искусство кино», 2004, № 3.

«Беззащитность еврея входит в какой-то таинственный план. Одну из ночей в Бутырках я не спал, думал об этом и выбрал свою роль: решать неразрешимую задачу, чтобы *каждый человек* на земле был защищен. Ибо, пока не защищен каждый человек, заведомо не защищен и человек диаспоры».

См. также: «В постижении глубины, в уходе на глубину, конечно, требуется большая сосредоточенность, нужны физические силы. У меня был случай, когда мне промывали мозги, в 84-м году, на Лубянке. Они специально подловили такой момент, когда у меня был гипертонический криз. Я вел там себя достаточно прилично, но дома начал себя жестко критиковать и почувствовал, что у меня чуть ли не галлюцинации возникают. И тогда я начал молиться: „Господи, останови мою мысль!“ — соединив православную молитву с методом Кастанеды: по Кастанеде, если остановить мысль, какие-то силы входят. <...> И я почувствовал, прямо физически, как ко мне приливают силы», — говорит Григорий Померанц в беседе со Светланой Ковалевой и Михаилом Поздняевым («Новые Известия», 2004, 11 мая <<http://www.newizv.ru>>). Он же: «Я не люблю толстых, но для Зины [Миркиной], которая из-за своей болезни расплнела, я делаю исключение...»

**Олег Попов.** Защитники прав человека или «агенты глобализма»? Кого защищают, а кого нет российские правозащитники? — «Москва», 2004, № 1.

«Я, автор этих строк, в течение нескольких лет собирал и обрабатывал материалы для правозащитных неподцензурных изданий — например, „Хроники текущих событий“, журнала „В“ („Вести“), некоторые из которых были положены в основу Документов Московской Хельсинкской группы. И хотя я отвечаю за правдивость и достоверность приведенных в документах фактов, однако это обстоятельство не снимает с меня *политической* ответственности за фактическое участие на стороне США в идеологической и пропагандистской войне с СССР». Автор с 1969 по 1982 год принимал участие в правозащитном движении, в 1982 году эмигрировал с семьей в США.

См. также: Олег Попов, «Американские „благотворительные“ фонды и российские правозащитные организации» — «Лебедь», Бостон, 2004, № 361, 8 февраля <<http://www.lebed.com>>.

**Президент и Русский Мир.** Третий преемник, Десять тысяч Семей и Птица, палящая над временем. — «Со-Общение», 2004, № 4.

Редакционная статья. «Собственность вызывает несвободу от нее — и именно поэтому „все равны, но некоторые (элита) — *менее* равны, чем все остальные». И именно эта степень несвободы владельных родов задает опору для всех возможных степеней свободы: опираться можно лишь на то, что оказывает сопротивление. Собственность — это физическая ипостась знака предназначения; ее можно потрогать, увидеть... Она позволяет хранить предназначение, даже когда природа решила отдохнуть на каком-то из родовых колен. Общество нуждается в том, чтобы его основу задавали владельные рода. Именно они несут сквозь года и поколения его прочную связность. И общество готово признать право владения нерушимым потому, что оно очень нуждается в нерушимости, неразрывности этих основных нитей».

**Василий Пригодич.** «Алмазная колесница», или Путь к Будде Амида. — «Лебедь», Бостон, 2004, № 376, 23 мая <<http://www.lebed.com>>.

«Злые и завистливые критики относят прозу Акунина к развлекательному „чтиву“. Это нечестно и неверно. Сам писатель подлил масла в огонь, сказав о своем творчестве в одном из интервью: „Не все же Хайдеггера читать“. Читатель, мне приходилось читать труды этого философа: скука смертная, немецкое „гелергерство“, квазинаучные благоглупости, яркая мысль, как саваном, укутана многостраничными *избыточными* размышлениями. Это не В. Соловьев, не В. Розанов и не Н. Бердяев, ну и, разумеется, не Б. Акунин. Автор „Алмазной колесницы“ — круче, увлекательней и *умнее*. „Алмазная колесница“ — Большая книга Большой литературы».



**Александр Проханов.** Победа — религия, Сталин — святой. — «Завтра», 2004, № 19, 5 мая.

«Победа в Великой Отечественной войне должна быть приравнена к сотворению Адама, избавлению земной жизни в ковчеге Ноя, пришествию на землю Христа. <...> Русская Победа — это религия, не противоречащая Христу, „хлеб насущный” для всех будущих русских поколений. Герои Великой Отечественной, безвестные и канонизированные, — Зоя Космодемьянская и партизаны Белоруссии, Талалихин и пехотинец Вязьмы, панфиловцы и артиллеристы Лобни, замерзший Карбышев и сгоревший танкист — суть святые, отдавшие жизни за Родину и Победу, и место их — в Русском Раю вместе с сонмом святых. Поля великих сражений — Москва и Смоленск, Сталинград и Ленинград, Курск и Одесса, Киев и Минск — топонимика Святых мест, как Вифлеем, Назарет, Гефсиманский сад, Голгофа, делающие Россию Святой землей, а русский народ, исполнивший победный божественный промысл, — народом-Богоносцем. Мистические парады 41-го и 45-го — суть иконы Победы, на которые молимся, исполняясь благодатью. Вождь Победы, святоносный выразитель народной веры и воли, ставший во главе священного воинства, генералиссимус Иосиф Сталин, — святой, чье имя просияет среди спасителей России и мира».

См. также: «Я думаю, что Сталин — это последний государственный деятель, которого хоронила *вся страна*. Тех, кто был после него, уже просто оттащивали и зарывали...» — пишет **Николай Переяслов** («Литература — дело не личное» — «День литературы», 2004, № 5, май).

**Станислав Рассадин.** И все изранены, как ты. Репортаж по памяти. — «Новая газета», 2004, № 31, 6 мая.

«Та почти умиленность, с какой воспринимаем его [Окуджавы] поэзию, чему, конечно, способствует обаяние мелодического, музыкального дара, возможно, отчасти уводит нас от понимания, что тут за... Ну, не жестокая, так жесткая — и трезвая — подоснова».

См. также: «Мало кто знает, что в конце жизни он [Окуджавы] дружил с Гайдаром и Чубайсом. Они регулярно встречали в Переделкине старый Новый год, и я бесконечно благодарен тем безвестным дворникам в штатском, что перед приездом экс-премьера и вице-премьера чистили нашу улицу. Но когда я сегодня читаю, что Чубайс и Окуджавы „были людьми одной ментальности”, я с трудом представляю себе Булату Шалвовича певцом „либеральной империи”, — пишет **Юрий Соломонов** («Пехотинец. Булату Окуджаве — 80 лет» — «Российская газета», 2004, 7 мая <<http://www.rg.ru>>).

См. также: **Андрей Немзер**, «Чем громче музыка печали, тем выше музыка любви. К восьмидесятилетиям Виктора Астафьева и Булата Окуджавы» — «Время новостей», 2004, № 77, 6 мая <<http://www.vremya.ru>>.

См. также: **Феликс Медведев**, «Запретная любовь Булата Окуджавы. Жизнь и смерть поэта в воспоминаниях Натальи Горленко» — «Версия — Совершенно Секретно», 2004, № 17, 10 — 16 мая <<http://www.versiasovsek.ru>>.

**Рассказы о будущем.** Какой будет Россия через сто лет: россиян будет меньше, но жить они будут чуть-чуть дольше. Беседу вела Наталья Радулова. — «Огонек», 2004, № 19, май <<http://www.ogoniok.com>>.

Говорит демограф **Анатолий Вишневский** (Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН): «Но есть и оптимистический вариант, по которому продолжительность жизни россиян будет расти теми же темпами, что в странах Евросоюза, и к концу столетия составит у мужчин более 87 лет, а у женщин — более 95».

Да, к концу столетия останется один 87-летний русский мужчина и одна 95-летняя русская женщина, подумал составитель «Периодики».

См. также: «Вот, оптимистический прогноз дает на 2025 г. порядка 132 млн. человек. <...> Да, потерю в 20 млн. человек. И это оптимистический прогноз», — говорит эксперт московского Центра стратегических исследований **Вячеслав Глазых** в беседе с Александром Трифоновым («К 2025 г. вымрут 20 миллионов россиян» — «Утро.ru», 2004, 20 мая <<http://www.utro.ru>>). Он же: «<...> сейчас китайцев в России меньше, чем их жило до революции на территории Дальнего Востока. Количественно меньше». Он же: «Через 7 — 8 лет пойдет в серию водородный двигатель. Тендер на \$ 700 млн. уже разыгран между четырьмя крупнейшими американскими корпорациями, включая *Эхсон*, нефтяную. Они его уже получили, а значит, вопрос только технологический. Это сильно перекроит рынок углеводородов».

**Мэтт Ропер** (*Matt Roper*, «*The Mirror*»). 50 фактов, показывающих, почему мы должны изменить мир. — «ИноСМИ.Ru», 2004, 6 мая <<http://www.inosmi.ru>>.

Писательница Джессика Уильямс («*The Times*») приводит малоизвестную информацию о мире, в котором мы живем. «3. Каждый пятый житель Земли (1,25 миллиарда

человек) недоедает. <...> 6. 81% смертных приговоров, приведенных в исполнение во всем мире в 2002 году, приходится на три страны: Китай, Иран и США. <...> 9. Однополые сексуальные отношения запрещены законом более чем в 70 странах. В девяти, включая Афганистан, Иран и Саудовскую Аравию, они караются смертью. <...> 11. На сегодняшний день в мире насчитывается 27 миллионов рабов. 12. Одна треть населения планеты находится в состоянии войны. В 2002 году в мире произошло 37 военных конфликтов с участием 30 стран (их общее население составляет 2,29 миллиарда человек). <...> 16. Люди в промышленно развитых странах потребляют в год от шести до семи килограммов продовольственных добавок. Бутерброд с ветчиной может содержать до 13 Е-единиц. <...> 24. В Кении расходы на взятки составляют одну треть домашнего бюджета. <...> 28. Каждый год американцы тратят на порнографическую продукцию более 5,6 миллиарда фунтов — в то время как их правительство расходует ту же сумму на помощь иностранным государствам. <...> 34. Более чем 70 процентов населения планеты никогда не слышали звонка телефона. <...> 37. Каждый год в мире прекращают существовать десять языков. 38. От самоубийств людей погибает больше, чем в вооруженных конфликтах. <...> 46. В результате бытового насилия в России каждый год погибает более 12 000 женщин. <...> 48. Каждый год два миллиона девочек и женщин получают увечья половых органов в результате сексуального насилия».

**Юлия Рублева.** За что Игорь Сахновский получил Гран-при «Русского Декамерона»? — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 6.

«<...> его описания эротических сцен столь уникальны для современной российской прозы, что это заслуживает отдельного разговора».

**Само- и миропознание Георгия Гачева.** Беседу вел Сергей Луконин. — «Литературная газета», 2004, № 18.

«В сущности, у меня две жажды: Женщина и Истина <...>».

«Готовы тома серии „Европейские образы мира“: Англия, Германия, Франция, Италия, Эллада, Болгария. Ну еще „Дневник удивлений математике“ — на стыке меж гуманитарностью и естественным. Так что через газету челом припадаю — с поклонением к возможному миссенагам: помогите ввести в обиход культуры мои труды, общепользные... Что до новых трудов? Затеял „Национальные образы Бога“ — как венец моих национальных штудий».

**Людмила Сараскина.** Власть как имитация деятельности. Хозяева губернии в «Бесах» Достоевского. — «НГ Ex libris», 2004, № 17, 13 мая.

«Роман начинается с момента, когда в губернии поменялась законная власть, — на место прежнего, мягкого и патриархального губернатора пришли новые люди, начавшие с обличения старых порядков...»

**Александр Секацкий.** Партитура неслышимой музыки. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 4.

«В сущности, любая рефлексия о музыке начинается лишь тогда, когда подвергнут сомнению тезис, будто музыка представляет собой определенную последовательность звуков».

**Сергей Селянов.** Сказки, сюжеты и сценарии современной России. — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 1 мая.

Публичная лекция в клубе «*Bilingua*», 22 апреля 2004 года. «Люди, которые пишут диалоги [для кино], не потому хорошо их пишут, что их продумывают, а потому, что у них слух есть. Все. Это то, что Бог дал. Научиться этому очень сложно. Можно научиться построению сценария, можно научиться неким драматургическим ходам, но невозможно научиться писать диалоги, если Бог этого не дал».

«Политкорректность вредна для искусства, губительна для него, даже если это искусство всего-навсего кино».

«Я очень не люблю социализм, очень сильно».

**Максим Соколов.** Прихрюпавший хам. — «GlobalRus.Ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2004, 10 мая <<http://www.globalrus.ru/comments>>.

«<...> торгOMETание (равно как и его пропаганда) — дело очень гадкое, и, страшно сказать, даже Билла Гейтса, украшенного сливочным кремом, — и того жалко. *Must die* — и тем не менее. Гадкое — потому что это всего лишь смягченный вариант классической орвелловской формулы о сапoge, попирающем лице человека, как символе и сути тоталитаризма. Да, конечно, кованый сапог на разбитом лице — это не то что больно, это для здоровья и жизни опасно, а кремовый торт на лице — это и не больно, и для здоровья никакой угрозы нет. Но ведь Орвелл имел в виду не только физическую боль, но еще и беспредельное унижение, еще и растоптанное достоинство. И торгOMETание — эта любимая левая забава — в смысле унижения и растаптывания стоит на той же линии. То же

Министерство Любви, но только безболезненное. Идеология же левого хамства в том, что если буржуазным свиньям не причинено физического вреда (хотя акция [нацболов] в Большом была на грани), то и говорить вообще не о чем. „Только то, говорят, и действительно, что для нашего тела чувствительно”, а уважать чужое достоинство — это о чем вы? (правда, в этом случае вряд ли стоит так обижаться на встречную рекомендацию: „И для этих людей, государь Пантелей, палки ты не жалея суковатыя”).

**Алена Солнцева.** Земельная собственность русских литераторов: Пушкин, Толстой, Островский. — «Отечественные записки», 2004, № 1.

Как они хозяйствовало.

**Состояться как человеку.** Беседовал Александр Вознесенский. — «НГ Ex libris», 2004, № 18, 20 мая.

Говорит **Сергей Чернышев**, автор книги «Россия. Собственность. Идея» (М., «РОССПЭН», 2004): «Россия — для меня это имя, по которому я к ней [России] обращаюсь. В нем же и ответ на вопрос: „Мальчик, ты чей?” Я — русский. Я принадлежу России. Но в каком-то смысле это вещь обоюдная. Если я ее собственность — то и она моя. Если же отвечать на вопрос, чьей именно собственностью я являюсь в России, то, видимо, все-таки не корпорации „ЛУКОЙЛ” и даже не Агропрома, а философски выражаясь, некоего субъекта. Этот-то субъект может быть обозначен как раз словами „русская идея”. Но русская идея — часть общечеловеческой. А общечеловеческая идея родом из того мира, откуда все идеи... Это, если цитировать Владимира Соловьева, то, что Бог о нас думает в вечности, а не то, что мы о себе думаем во времени».

**Евгений Степанов.** Фрагменты из книги «Поэты-пророки». — «Футурум АРТ», 2004, № 5.

Рубцов. Волошин. Цой. Нострадамус.

**Яков Тестелец.** «Пикник на обочине». — «Фома». Православный журнал. 2004, № 2 (19).

«„Пикник на обочине” братьев Стругацких, как и другие великие произведения научной фантастики <...>».

«Молитва <...> Шухарта, на которой и кончается повесть, — может быть, одна из вершин русской литературы XX века <...>».

См. также: **Марина Журинская**, «Может ли христианин читать фантастическую литературу?» — «Фома», 2003, № 3 (17).

См. также: «Тут мне по службе надо было поразмышлять на тему о том, отчего в Сети так часто ругают Стругацких. Причем давно по языкам ходит обидная фраза: „Хороший Стругацкий — мертвый Стругацкий, которая точно расставляет акцент: Аркадий умер, Борис несет ответственность за увядание. Это не очень справедливое определение еще раз говорит о вечном действии русского принципа „Мертвые сраму не имут” и не менее вечное — „за действия экипажа отвечают оставшиеся в живых по выполнению задания”. Но так же точно эта фраза и позиционирует взгляд носителя — прошлое было великим, в настоящем — только тлен и запустение. Авторы начинают отвечать за культурную историю, это немного обидно, но все же для них почетно. Причины некоторых типичных претензий к последним текстам Стругацких — общие с причинами недовольства современной фантастикой и напрямую связаны с тем, что формировало „элитный” статус советской фантастики полвека назад. <...> А братья Стругацкие были не просто брендом, а символом советской фантастики. Но как всякий бренд, он состоит не только из товара (текстов), но и из инфраструктуры — это ученики, премия, комментаторы. Собственно, эта инфраструктура и существует. Так счет структуры предьявляется бренду», — пишет **Владимир Березин** в своем сетевом дневнике от 14 апреля 2004 года («История про братьев Стругацких» <<http://www.livejournal.com/users/berezin>>).

См. также: **Армен Асриян**, «Как один Витицкий двух Стругацких поборол» — «Спецназ России», 2004, № 4, 5 <<http://www.specnaz.ru>>.

См. также: **Михаил Харитонов**, «GOD MODE. Дружеская беседа благородного дона Руматы Эсторского с Великим Магистром Ордена высочайшим доном Рэбой» — Сайт «Михаил Харитонов. Ненаучная фантастика» <<http://haritonov.kulichki.net/stories/godmode.htm>>.

См. также: **Ник Перумов**, «Мы вышли из „шинели” братьев Стругацких» — «Труд-7», 2004, № 87, 13 мая <<http://www.trud.ru>>.

См. также: **В. Сербиненко**, «Три века скитаний в мире утопии. Читая братьев Стругацких» — «Новый мир», 1989, № 5.

**Сергей Тихомиров.** Мифы торговцев безумием. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 4.

«Сравнение рекламируемого товара с наркотиком также показывает их значительное сходство. Анализируя это сходство на примере рекламы фруктового чая „Липтон”,

доктор медицинских наук В. Ю. Завьялов пишет, что „герои ведут себя точь-в-точь как зависимые от субстанции субъекты: испытывают абстиненцию (‘похмелье’, ‘ломки’), которая мгновенно снимается приемом чая, пьянеют от ‘всех красок вкуса’ и ведут себя как обкурившиеся гашишисты: хохочут, измазывают себя ‘всеми красками’, расторможенно двигаются, танцуют. Крепкий чай, как известно, — препарат выбора для находящихся в вынужденной абстиненции наркоманов и алкоголиков (‘цифирь’, ‘цихнар’). В массовом сознании чай никак не относится к классу наркотиков, наоборот, он считается полезным для здоровья продуктом. Реклама, таким образом, соединяет воедино наркоманическое поведение и полезный продукт <...>”. Больше всего приближаются к пропаганде наркотизма рекламные клипы лекарственных препаратов, изображая ситуации, очень похожие на „первое угощение” наркотическим веществом. Вспомним в качестве примера Марию (реклама препарата панадол), которая в течение двух лет говорила телезрителям, что она „всегда” принимает таблетки только панадола.

**Михаил Хейфец.** Он не мог поступить иначе? — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 3, 4.

Очерк тридцатилетней давности — об Александре Ульянове и загадках дела «второго первого марта», как называли современники заговор Александра Ульянова со товарищи. «Тогда я все-таки не был абсолютно безумным — и опустил цитату, которая поразила настолько, что, как видите, помню ее и три десятилетия спустя. Анна Елизарова-Ульянова вспомнила, что Александр однажды сказал ей: „Наш Володя — человек очень способный, но у меня нет с ним ничего общего”. И тридцать лет назад я все же догадывался, что текст с *такой* оценкой Ленина пройти через советскую цензуру не сможет. (Впрочем, он и без нее, как вы знаете, не проскочил.)»

**Сергей Чесноков.** Московский концептуализм. Пригов и Рубинштейн. — «Знание — сила», 2004, № 5.

«Меня поражает основательность и четкость, с какой работает Дмитрий Александрович».

**Дмитрий Шеваров.** «Прощай до свидания...» Размышления вослед пушкинским письмам. Читательский дневник. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 6.

«Взявшись за свои найвные комментарии, я понимал, что это будет „путешествием дилетанта”. <...> Я прислушивался не к уму, а к сердцу и в каких-то своих догадках, возможно, ошибся. Но ведь в минуту тихого благодарного чтения и вы находите у Пушкина прежде всего *отзвук* своим мыслям, чувствам, воспоминаниям... И он не всегда „научно обоснован”».

См. также: **Дмитрий Шеваров,** «Парад облаков. (Рассказы из летней тетради)» — «Новый мир», 2004, № 6.

**Михаил Шкаровский.** Богостроительство Третьего рейха. Крушение империи похоронило под своими обломками нацистский мистицизм и германское язычество. — «НГ-Религии», 2004, № 8, 12 мая <<http://religion.ng.ru>>.

«На первом этапе неоязыческое германское движение еще должно было оставаться „по тактическим соображениям без государственного признания в качестве религиозного сообщества”. Через 10 — 15 лет ситуацию планировалось изменить: „Государство признает германско-нордическое религиозное движение. Оно базируется на исторически обоснованной, свободной от христианства религии и развивает соответствующие государственной религии религиозные формы в частной жизни”. На этом промежуточном этапе ставилась следующая цель: „Воспитанная в национал-социалистическом духе молодежь сменит тесно связанное с Церковью старшее поколение, которое отомрет”. И, наконец, „приблизительно через 25 лет” государственная религия должна была вступить в силу». Автор — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центрального государственного архива Санкт-Петербурга.

Составитель Андрей Василевский.

«Вопросы истории», «Дорога вместе», «Дружба народов», «Звезда»,  
«Новое литературное обозрение»

**Данила Давыдов.** Аскетизм естественного отбора. — «Новое литературное обозрение», № 65 (2004, № 1) <<http://magazines.russ.ru/nlo>>.

«[Виталий] Пуханов, при всех возможных параллелях и пересечениях с коллегами по цеху, предстает едва ли не единственным сознательным выразителем идеи о том, что

поэтическое ремесло — сакрально. Он явно ощущает себя ответственным за „потерянное поколение“:

Себя мы в детстве плохо повели.  
Нас вывели из образного ряда,  
Зашив карманы, выдавив угри.  
По яблоку надкушенного взгляда —

Ногтем редактора, прививкой против тли,  
В остывшем гении перемешав угли, —  
Дипломы выдали и выгнали из сада.

Из детского, вишневого, пешком!  
Пустеть в садах словесности российской,  
Где мальчиком резвился босиком  
И бабочек ловил, и василисков.

Желание читателя сопротивляться подобной позиции — крайне архаичной и одновременно вполне отрефлексированной, как это и пристало современному литератору, — сталкивается с тем, что стихи Пуханова выше любой авторской идеологии, — и возникает тот самый катарсис, о котором применительно к современной культуре принято говорить как о крайне проблематичном понятии. Тем не менее стихи Пуханова, их действие оказываются неотменимыми».

**Дорога в церковь.** Интервью с архимандритом Зиномом для журнала «Дорога вместе», взятое Андреем и Кариной Черняк. — «Дорога вместе», 2004, № 1, январь — март <<http://vmeste.by.ru>>.

«Еще одну вещь, как мне кажется очень важную, нужно помнить всякому христианину, не только тому, кто еще на пути к Церкви. Как проверить, христианин ты или нет? Сделать это очень просто, и в этом поможет каждому своя собственная совесть: если у тебя Бог на первом месте, а все остальное — после Него, тогда ты христианин. Если что-то в твоей жизни становится впереди Бога, не нужно лицемерить — лучше быть порядочным язычником, или вообще агностиком, или даже атеистом, чем лицемерным христианином. Вот мать Мария Скобцова об этом написала замечательную статью „Типы религиозной жизни“. Для нее христианство — это огонь, или его нет. „Разбавленное“ христианство — это уже не пойми что, лучше б его не было».

«Дорога вместе» — молодежный христианский журнал.

**Ирина Ермакова.** Языком огня. Стихи. — «Дружба народов», 2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

.....  
Генерал кнопок, полный крыза, дебил —  
если код заклинит — всем отворяет двери,  
потому что с года-урона всех полюбил,  
улыбается всем *вот так* и, как дурик, верит.

.....  
А когда из окна обварили его кипятком,  
стало видно во все концы света — в любые дали,  
в ожидании «скорой» весь дом сбежался, весь дом,  
битый час, кружа, жужжа и держа Наталью.

И когда, Господь, Ты опять соберешь всех нас,  
а потом разберешь по винтику, мигу, слугу,  
нам зачтется, может, юридивый этот час,  
этот час избитый, пока мы любили Гогу.

(«А еще наш сосед Гога из 102-й...»)

**Андрей Зорин.** Из дневника Валерия Брюсова 1892—1893 годов. [Подготовка текста, вступительная статья и примечания Н. А. Богомолова]. — «Новое литературное обозрение», № 65 (2004, № 1).

Грязенькая хроника залезаний под юбку. В прямом смысле.

Я никогда не пойму, для чего над подобным похабством горбатить спину. Будь он хоть трижды разбрюсов. Извините.

«НЛО» — понимаю. Стиль. Традиция. Академизм.

**Г. П. Измestьева.** Михаил Никифорович Катков. — «Вопросы истории», 2004, № 4. О легендарном издателе, редакторе и общественном деятеле.

«Верноподданническое служение Александру II и его преемнику, переписка с ними, аудиенции, которых он устаивался, эрудиция, компетентность и осведомлен-

ность во многих вопросах государственной жизни, смелость публикаций составили Каткову в общественном мнении репутацию деятеля высокой общественной значимости. Его противники приписывали ему некое мифическое влияние на монархов и убеждали современников в том, что многие решения самодержцев принимались с подсказки и под влиянием редактора „Московских Ведомостей”. Слухи об этом стали даже предметом шуток не только в российской, но и в зарубежной печати. В 1882 году, например, в одной из немецких газет был помещен анекдот: болгарский князь Александр, обратившись к Каткову, попросил дать ему министра внутренних дел для его страны. Почтенный редактор вынужден был отказать князю в его просьбе, поскольку он сам-де ищет для России министра по этой части, но никого не может найти».

**«Им кажется, что Бог у них хочет что-то отнять...»** Отрывок из готовящейся к печати книги бесед архимандрита Виктора (Мамонтова) «Как жить с детьми в Церкви?» — «Дорога вместе», 2004, № 1, январь — март.

*«И. Г.: Отец Виктор, а как помочь молодым людям войти в опыт соприкосновения с Господом? Наверное, это самая главная задача христианской педагогики для подростков. Ведь встречу с каким-то иным духом они могут принять за Встречу подлинную.*

*Архим. Виктор: Это опять же часто происходит через человека. Кто-то должен им помочь прийти к Богу.*

Правда, бывают случаи, когда Господь открывает Себя не через человека. В книге „Свет и жизнь” есть стихотворение „Письмо к Богу”. Я читал его в советское время в самиздате и даже помню имя автора — Александр Зацепа. А в книге имя не обозначено, просто написано в подзаголовке: „Стихотворение найдено в шинели солдата, убитого во время Второй мировой войны”. Там есть такие строки:

Послушай, Бог, я никогда с Тобою не говорил,  
но сегодня мне хочется беседовать с Тобой.  
Мне с детских лет твердили, что Тебя нет,  
но каким, оказывается, жестоким может быть обман!  
Вот сегодня я лежал в яме, вырытой гранатой,  
смотрел в звездное небо, и мне все открылось.  
На полночь мы назначены в атаку,  
и бой будет очень жестоким.  
И если я сегодня к Тебе постучусь,  
Ты примешь меня?  
Послушай, мой Бог, мне было хорошо с Тобой.  
Но, кажется, уже я плачу.  
Сигнал. Пора. Иду.  
Но теперь я смерти не боюсь.

Произошла Встреча.

Безо всякой подготовки, без катехизации, без религиозного воспитания в семье. Автор этих строк принял Господа так, как его принял разбойник на кресте, который всю жизнь занимался душегубством, служил не Богу. Все может произойти в один миг, и вечность присутствует тут, в глубине мига жизни. Но это — исключительный случай.

В жизни это относится к человеку любого возраста. В ребенке эта Встреча с Богом может „записаться” где-то в подсознании, потом прорасти, а взрослый человек может ее запомнить, он будет думать о ней».

**Юрий Каграманов.** Элита и инстинкты. — «Дружба народов», 2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

«Развитие собственнического инстинкта в номенклатурной среде, еще подогреваемое граничными видами примерно с середины 50-х годов (когда частично проредился „железный занавес”), в конечном счете стало одной из причин краха советской системы. Пришел час, и захотелось уже не стыдливой, не суррогатной, а полновесной, „нормальной” собственности: особняков с бассейнами, „мерседесов”, костюмов от Армани etc. — „как у всех”. Коммунистический мавр, сделавший свое дело, должен был уйти. Реальное „завоевание революции” оказалось едва ли не одно-единственное: в стране сложилась совершенно новая элита, генетически не имеющая ничего общего со старой».

**Виктор Куллэ.** Стихи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

.....  
Ибо все, что спасает сейчас прониру:  
бормотанье в рифму, цитаты, враки —  
так и так достанется Граду и Миру.  
Мир забудет, а сумрачный Град — навряд ли.

Заболел сызмала недержаньем речи,  
получай ответ, обратившись в камень:

все же было что-либо человечье  
в неприятном, недобром твоём оскале?

**Виктор Куллэ.** Пока душа меняет очертанья... Стихи. — «Дружба народов», 2004, № 5.

Гордиться нечем: ни тугой мощной,  
ни гением. Для полноты картины  
при никакой игре — подобьем мины  
благопристойной, чуточку смешной.

.....  
Что ни вливаешь в старые меха —  
все обратится в уксус. Обнаженье  
приема — отрицает продолженье.

За вымученной внятностью штриха —  
лишь тошнотворный привкус поражения,  
стекающий по лезвию стиха.

(«Сонет»)

**А. М. Панченко.** Стих-плач протопопа Аввакума, в Пустозерской земляной тюрьме сидяща. Стихи. «Другая история». Публикация В. С. Копыловой-Панченко. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 5.

«Хотелось бы попробовать (по крайней мере по отношению к XX веку) сочинить и изложить некоторые очерки этой другой, настоящей, обывательской истории. Тем более, что в XX веке Россия претерпела такие трагические изменения, что человек вынужден был как-то отделяться от истории. Он жил по Эпикуру, у которого есть замечательное выражение: „Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался“. Человеку приходилось и приходится до сих пор как-то прятаться. Потому что, если быть все время на виду, не обязательно, что тебе пустят пулю в лоб (хотя могут пустить и пулю в лоб), но по крайней мере тебе не дадут спокойно жить, тебя будут беспокоить. Давайте попытаемся посмотреть на революционные события XX века с точки зрения обывателя».

**Валерий Попов.** Городские цветы. (Конец водной феерии). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 5.

«— Маша! Пробей молодого человека! — в подвальном магазине, пронзенном лучом, крикнула продавщица.  
И Маша пробила меня».

**А. В. Савельев.** Советский театр абсурда Андрея Амальрика. — «Вопросы истории», 2004, № 4.

«К середине 1970-х годов социальный статус Амальрика в диссидентском движении оставался таким же неопределенным, как и двусмысленные персонажи одной из его первых абсурдистских пьес „Восток—Запад“. На Западе в нем видели самобытного историка диссидентства в СССР, а дома, на Востоке, за глаза называли „агентом КГБ“. Такое положение не могло не отразиться на последующих контактах Амальрика с диссидентами. Собственно говоря, вся правозащитная деятельность Амальрика с мая 1975 г. по июль 1976 г. сводится лишь к сбору подписей под различными декларациями, заявлениями, обращениями и т. п., настойчиво убеждавшими А. Д. Сахарова реально возглавить демократическое движение в стране, от чего опальный академик столь же энергично отказывался. Итоги этой длительной „подписной кампании“ были неутешительны. Амальрик сравнивает ее с путешествием Чичикова за мертвыми душами».

**Елена Скульская.** Интерес к содержанию. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 5.

Печатается в рубрике «Дневник писателя».

«Саня Лурье — скупой рыцарь одиночества.

Американский специалист по русской истории, автор „Большого террора“ Роберт Конквест, попросил уточнить, чем все-таки международное слово „интеллектуал“ отличается от русского „интеллигент“. Саня Лурье ответил:

— Интеллектуал хочет жить, а интеллигент — умереть.

У афоризмов Лурье есть растлевающее свойство: их хочется украсть; у них чешутся кавычки при цитировании. Потому что это не афоризмы, но стихи. Написанные внутри литературы, как внутри боли, чтобы преодолеть и ту и другую. <...> Коля Крышук написал о нем: „Смотрит пристально. И счет у него есть, похоже, в Гамбурге“».

**О. Л. Шахназаров.** Отношение к собственности у старообрядцев (до 1917 года). — «Вопросы истории», 2004, № 4.

«Экономическую основу старообрядчества составляли общественные фонды потребления, включая денежные средства, товары и услуги. Важнейшими политико-экономическими следствиями их возникновения стали: аккумуляция средств для обживания агрессивной природной среды, капитализация средств для успешной конкуренции, разделение функций владения, распоряжения и пользования собственностью, формирование конфессионально-замкнутой беспроцентной, а нередко и безвозвратной ссудной денежной системы, создание собственных товаропроводящих систем, контроль над процессом ценообразования.

Поколения староверов-предпринимателей от мелких до крупных вплоть до последней четверти XIX века отдавали себе отчет в том, что могут управлять средством производства, но не обладают правом безраздельного владения и распоряжения им, то есть по законам царской России они были полноценными собственниками, а по законам общины — нет. <...> Романовская Россия была не в состоянии понять мотивацию старообрядческого поведения. <...> Общинная казна в центре, а вокруг нее — крупные и средние предприятия общинников, в свою очередь связанные со множеством мелких предприятий-поставщиков, — такова была экономическая организация старообрядчества. В западном обществе источником капитала выступал сначала ростовщик, а потом банк, аккумулирующий средства миллионов вкладчиков и делящий с ними ссудный процент. В романовской России с запозданием на несколько лет развивался аналогичный процесс. А в старообрядческой России эта роль отводилась общинной казне. Когда общинных средств для растущей экономической активности не стало хватать, появились старообрядческие банки, но и они продолжали выполнять весьма специфическую, четко обозначенную роль заемного резерва конфессионального характера».

**IN MEMORIAM.** Михаил Шикович Файнерман (9.12.1946, Москва — 29.7.2003, Москва). — «Новое литературное обозрение», № 65 (2004, № 1).

Подборка материалов памяти поэта, входившего в начале 80-х в литературную группу «Список действующих лиц». Он был хороший человек и теплый стихотворец. Писал то, что потом стали называть «концептуальным стихом». Вот — из его маленького эссе о свободном стихе, подготовленном к печати другом — Иваном Ахметьевым:

«Бессмысленно искать истоки верлибра в фольклоре: если они найдутся, что с ними делать?»

Просто писать в этой манере, и все, — мало думая о том, как устроен русский язык. Как напишем, так и будет устроен. Точно так же, как просто писать, не думая об устройстве своих стихов в вечности: это образ жизни, без целей. Но... именно он-то и имеет цель.

Бессмысленно говорить, что в свободном стихе — свой ритм. Где его нет? Интереснее выделить тип свободного стиха, который мог бы существовать сам по себе, без тяготения к прежнему благозвучному. В таком верлибре благозвучие вообще отступает в тень, на свет выходит интонация. Именно такой верлибр дали Уитмен, Паунд, Плат.

Интонация и смысл, и не поймешь, кто кого рождает. Но и способ мыслить здесь другой: не снять налета рассудочности... за верлибром тянется школа западной схоластики. Может быть, это пугает любителей старины? Ну, вольно бояться...»

Здесь же публикуются письма и воспоминания друзей. Замечательные.

Составитель Павел Крючков.

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Август*

**15 лет назад** — в № 8, 9, 10, 11 за 1989 год опубликованы главы из книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

**35 лет назад** — в № 8 за 1969 год напечатаны «Бухтины вологодские» Василия Белова.

**70 лет назад** — в № 8 за 1934 год напечатаны поэма Павла Васильева «Синицын и К°» и пьеса для кинематографа Юрия Олеши «Строгий юноша».



# SUMMARY



This issue publishes three stories by Boris Yekimov, «Tender Theatre», a novel by Nikolay Kononov (the ending), as well as two stories by Aleksey Varlamov. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Bakhyt Kenzheyev, Olga Yermolayeva and Dmitry Sarabyanov.

The sectional offerings are as follows:

*Philosophy-History-Politics:* «Reflection over the Reasons of Revolution in Russia — the Experience of XVIII Century» — an article by Andrey Zubov (the ending).

*Comments:* «The Concealed Topic — Changing the Fate» — an article by Alla Latynina on the new books by critics Sergey Chuprinin and Nataliya Ivanova.

*Literary Critique:* an article by Valeriya Pustovaya «The New Personal Identity of Contemporary Prose — Purifying the Writer's Personality» dwelling on the prose by Vladimir Makanin, Sergey Gandlevsky, Roman Senchin and Ilya Kochergin.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос,  
Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,  
А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,  
П. А. Николаев, О. А. Славникова, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, В. А. Губайловский, Р. Т. Киреев,  
С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова,  
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Луконина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi](http://magazines.russ.ru/novyi_mi)

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.04.2004 г. Подписано к печати 30.06.2004 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 8600 экз. Зак. 4358. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

## ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ANTHOLOGIA»

учреждена редакцией журнала «Новый мир»  
в феврале 2004 года в виде специальных почетных дипломов,  
отмечающих высшие достижения современной русской поэзии.

По решению Координаторского совета лауреатами премии  
по итогам 2003 года стали:

**МАКСИМ АМЕЛИН**  
за книгу «Конь Горгоны» (М., «Время», 2003);

**ИННА ЛИСНЯНСКАЯ**  
за поэтические подборки «Сорок дней» («Знамя», 2003, № 9),  
«День последнего жасмина» и «Без тебя»  
(«Новый мир», 2003, № 1, 10);

**ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ**  
за книгу «Фифа» (СПб., «Пушкинский фонд», 2003).

Правом выдвижения кандидатов на премию 2004 года обладают  
творческие организации, критики, издательства.

Торжественное вручение дипломов лауреатам 2003 и 2004 годов  
состоится на юбилейном вечере в честь 80-летия  
«Нового мира» одновременно с вручением  
премии имени Юрия Казакова  
и ежегодных редакционных премий авторам журнала  
в начале 2005 года.

Предложения лиц и организаций,  
заинтересованных в соучредительстве/сотрудничестве,  
будут внимательно рассмотрены.

Координаторский совет:  
**АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,**  
**ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ,**  
**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.**

Контактный телефон (095) 209-57-02  
nmir@lenta.ru